



О. Т. Райт
ОСТРОВИТЯНИЯ

«ТЕРРА» — «ТЕРРА»

СПБЗДК 2001

Второй том романа-эпопеи продолжает знакомить нас с приключениями молодого американца Джона Ланга в не существующей ни на одной карте Островитянии. Читатель снова встретится с удивительными обитателями — мужественными, красивыми и гордыми людьми. Любовь и смертельные опасности, душевные тревоги и тонкий юмор, перемежаясь на страницах романа, подводят нас к решающему повороту в судьбе героя.

- [ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ](#)

- [18](#)

-

- [19](#)

- [20](#)

- [21](#)

- [22](#)

- [23](#)

- [24](#)

- [ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ](#)

- [25](#)

-

- [26](#)

- [27](#)

- [28](#)

- [29](#)

- [30](#)

- [31](#)



Возвращение с Острова было похоже на бегство. Дело шло к вечеру, когда я вошел в свой дом, пустой и пугающе тихий. В ушах звенело от усталости, впрочем, лишь отчасти физической, более же вызванной изнуряющим напряжением от бесконечной сосредоточенности на одной мысли, одной боли. Я спешил обрести покой в стенах собственного жилища, но если там, в дороге, было пусть и вынужденное, но движение, то здесь царило мертвое безмолвие и покой.

Стопка писем на столе казалась особенно белой в сумерках. Дела, будничная жизнь с ее постылыми хлопотами взывала ко мне из обступавших теней. Эта жизнь должна была продолжаться. Вернувшись домой, я вернулся к ней.

Я просмотрел почту: несколько приглашений и три письма с различными просьбами от пребывающих в Островитянии американцев. Было и письмо от Наттаны, чье внимание показалось мне навязчивым. Я отложил письмо, хотя и чувствовал, что несправедлив к девушке.

Конечно, я отвечу, но позже, сначала надо навести порядок в мыслях.

Сад на крыше выглядел вполне ухоженным: дорожки выметены, земля на клумбах недавно полита. Сумерки сгущались, яркие красные и желтые цветы становились еще ярче и, как бы светясь, плавали в густеющей тьме. Очарование сада, равнины дельты, блекнущие в голубых тенях, сады, пестрым ковром раскинувшиеся на крышах других домов, четкие застывшие очертания зданий на холме, словно выгравированные на шафрановом фоне неба, — красота всего этого заставила вспомнить о Дорне, но Дорна была потеряна навсегда, и прекрасный пейзаж померк.

Сойдя вниз, я зажег свечи и занялся письмами. Главное — сохранять спокойствие и строгость мысли. На те из приглашений, что еще не были просрочены, я ответил согласием. Почему бы и нет? Жизнь должна идти своим чередом.

На меня снизошел некий покой, или, вернее, облегчение, потому что я знал, что скоро перестану быть игрушкой в борьбе враждебных друг другу сил и смогу думать и поступать, как хочу того сам. Я потерял Дорну, и теперь вовсе не было нужды противостоять ей, если только это не будет продиктовано моей собственной волей. И мне не придется больше искать возможности добиться ее при помощи уловок, за которые мне самому было бы потом стыдно и которые шли бы наперекор ее желаниям.

Потом я набросал покаянное письмо в Вашингтон. Точнее, это была просьба об отставке; оправдываться я больше не собирался и единственно выражал надежду, что мой преемник прибудет как можно скорее. Зная, что письмо дойдет только через два месяца, я также решил послать каблограмму из Мобоно. В ней я вкратце излагал суть письма; каблограмма должна была попасть в руки моего начальства намного раньше. Месяца через три я рассчитывал получить утвердительный ответ. Пока же буду добросовестно исполнять обязанности консула. Ну а потом?.. Впрочем, теперь это не имело значения. Никакой мало-мальски важной цели не было. Оставалось просто ждать.

Занимаясь письмами, я постепенно отвлекся, мысленно огляделся и понял, что вполне в состоянии прочесть то, что писала мне Наттана с присущими ей дружеским участием и теплотой. Послание Наттаны было кратким:

«Все это время я так переживала за Джона, что поняла, что обязательно должна написать ему, чтобы еще раз повторить: я желаю ему найти счастье в

Островитянии. Мне кажется, мы, островитяне, в долгу перед ним. И еще я хотела сказать, что моя сестра, Хиса Неттера, вышла замуж. Ее мужа зовут Байн, и ему тридцать пять лет. Байны работают на ферме наших соседей Энсингов, где разводят скот, в пяти милях от нас к западу. Она уехала и будет жить у них. Мы все не очень одобряем ее выбор. Много еще я хотела бы сказать Джону, чего не скажешь в письме. Он должен помнить, что ему всегда рады в этом уединенном уголке.

Хиса Наттана»

О Байне я слышал впервые. Что стояло за выбором Неттеры? Столь сердечное послание требовало незамедлительного ответа, даже если мне не удастся подобрать нужные слова, вложив в них всю теплоту моих чувств. Я начал с того, что мне тоже жаль, что замужество Неттеры не особенно обрадовало ее родных. Потом поблагодарил Наттану за то, что помнит обо мне, и добавил, что, вернувшись от Дорнов, я окончательно понял: счастье, которого желала мне она, невозможно. Написав это и перечитав легшие на бумагу строчки, я понял, что далее писать не в силах. Но Наттана имела право знать о переменах в моей жизни, раз уж ей пришлось выслушивать мои признания, что она делала с такой доброжелательностью.

Я зажил привычной жизнью: встречался с соотечественниками, обедал у Перье, совершал прогулки верхом на Фэке. Если мне и случалось временами так сосредоточиться на своей скорби, что я не слышал обращенного ко мне вопроса Джорджа или кого-нибудь еще, то все равно рано или поздно я брал себя в руки. Маленький здравомыслящий механизм продолжал идти, ни на минуту не останавливаясь, и это он, а не я поддерживал умную беседу, обменивался шутками, смеялся, хлопотал, брился, раздевался на ночь, вновь одевался по утрам. Моя боль была всегда рядом, то тяжело наваливающаяся, то разяще острая, как лезвие кинжала, но она не могла взять надо мной верх, заглушить тиканье маленького механизма. Способность выстоять благодаря двойной жизни, которую я вел, порой изумляла меня самого.

Девятого декабря пришло письмо от Даунса с «Плавучей выставки», находившейся к тому времени в Доринге. Мое присутствие, писал Даунс, не вдаваясь в подробности, необходимо, если я не хочу, чтобы наше предприятие закончилось провалом и позором для всей Америки.

Через пару недель должны были прибыть пароходы, возможно, с почтой и с кем-нибудь из американцев, но, разумеется, первым делом следовало позаботиться о «Плавучей выставке». И все же — снова проделать путь через ущелье Доан на медлительном Фэке! Довольно было и того, что мне придется вновь отправиться на запад, где была Дорна. Я решил выбрать другую дорогу и нанять почтовых лошадей. Это было утомительно и дорого, но я хотел ехать, и как можно быстрее.

Однако в любом случае до Бостии меня ожидала уже такая знакомая Главная дорога. Был душный, пыльный, знойный день, когда мы подъехали к постоялому двору. Мне снилась дорога, я просыпался и снова засыпал и во сне видел Дорну, не похожую на себя, почти некрасивую, но все же это была Дорна, которую я любил, — податливое и бесстыдное ночное видение, — мне снились лишённые вкуса поцелуи, снилось ее тело — и вдруг все снова таяло, слишком быстро, слишком поздно.

В Лоране, в верхней части провинции Лория, стало прохладней, и я спал спокойно — сон перестал быть мучением.

К концу четвертого дня леса кончились — я выехал на берег Доринга. Город-левиафан

покоился на бледной, стеклянистой глади реки. За ним, вниз по течению, расстилались загадочные синевато-зеленые болота. Оставив лошадь на станции, я сел в лодку. Там, за скрадывающей расстоянием голубой дымкой, была Дорна. Я старался не глядеть в ту сторону, весь сосредоточившись на мыслях о «Плавучей выставке».

«Туз» стоял у причала возле набережной острова Моор — последнего из шести островов, на которых был расположен Доринг. Стояла теплая, безветренная погода, и перевозчику пришлось грести всю дорогу. Мы плыли по каналу между островами, скользя по маслянистой синей воде, похожей на отполированную узорную поверхность щита.

С борта «Туза» был спущен трап — для тех, кто приплывал по реке. Попрощавшись с перевозчиком, я взобрался на палубу со всем своим багажом; голова гудела, я чувствовал себя подавленным и абсолютно не был уверен в том, что смогу уладить трудности.

Лучи низко стоящего солнца косо падали на пустую раскаленную палубу. Стены эллингов на берегу слепили белизной. Я думал, что на судне никого нет, пока не увидел худенькую девушку в выцветшем платье. Она прошла по палубе и спустилась в задний люк так уверенно и легко, как не смог бы простой посетитель. Прежде чем скрыться, она бросила на меня беглый взгляд. Волосы у нее были русые, с желтизной, глаза на бледном маленьком лице казались слишком большими и странными.

Размышляя над тем, кто бы это мог быть, я оставил свою поклажу на палубе и тоже спустился вниз. Но девушки и след простыл. Воздух в каюте был тяжелый, спертый. Ни души.

Экспонаты стояли вдоль стен: жатки, сенокосилки, швейные и пишущие машинки, мясорубки, кофемолки и прочее. На столах были разложены фотоальбомы, грудями лежала «специальная литература», пояснения на островитянском, сочиненные мною, висели на стенах. Все вместе отчасти напоминало американскую выставку-продажу, только в меньшем масштабе.

Из каюты, дверь в которую была приоткрыта, доносились голоса. Я вошел. Внутри было не прибрано, дурно пахло. Грязные рубашки вперемешку с ботинками и бумагами валялись на полу. Дженнингс лежал на одной из коек. И он, и Даунс были в рубашках, без пиджаков.

Даунс при виде меня не выказал ни малейшего удивления, зато Дженнингс резко приподнялся.

— Привет, Джон! — воскликнул он. — Как ты здесь оказался?

Он тяжело встал и стиснул мою ладонь. Глаза его глядели мутно, он был неухожен, небрит, ничто в лице уже не напоминало о херувимской свежести. Тем не менее держался он непринужденно и хозяйским жестом предложил мне сесть.

— Небольшая инспекция? — спросил он.

— Приехал посмотреть, как идут дела, — ответил я.

В этот момент дверь открылась, и уже знакомая мне девушка показалась на пороге, однако, завидев меня, тут же опять скрылась. Дженнингс с неожиданной резвостью снова улегся на койку.

— Мэннера! — позвал он.

Незаметно для Дженнингса Даунс бросил на меня многозначительный взгляд.

По зову Дженнингса девушка неохотно вошла. Я встал. Девушка была крайне хрупкого телосложения, гладкая кожа так туго обтягивала скулы и виски, что сквозь нее просвечивал голубой узор вен. Под большими ясными светлыми глазами залегли глубокие тени. Рот у девушки был маленький.

Передо мной, несомненно, стояла островитянка, поэтому я назвал свое имя, девушка же тихо ответила: «Мэннера», — и опустила глаза. Потом она сделала едва заметное движение, по которому я понял, что она хочет уйти. Изящество, изысканность, хрупкое очарование — все в ней было своеобразно.

— Прекрасно! — начал Дженнингс по-английски. — Итак, вы представлены. Мэннера находится здесь, Джон, чтобы продемонстрировать экспонаты, интересующие наших посетительниц-женщин. Женщина нужна нам здесь постоянно, поскольку мы, мужчины, плохо разбираемся в том, что интересует женщин. А она — разбирается, поскольку, естественно, она — женщина. Она даже сама учится пользоваться швейной машинкой. Верно, Мэннера?

Услышав свое имя, девушка подняла глаза, впрочем, по-прежнему избегая глядеть прямо на Дженнингса. Он на уже вполне чистом островитянском вкратце изложил ей суть сказанного и добавил, что я — Джон Ланг, американский консул, о котором он ей рассказывал.

Девушка, все так же до конца не поднимая глаз, перевела взгляд на меня и попыталась улыбнуться, отчего на щеках ее пролегли тонкие старческие морщинки. Она беспокойно переминалась на месте, и я понимал, что ей хочется покинуть нашу компанию. Наконец она взглянула на Дженнингса, словно прося разрешения удалиться. Он пристально посмотрел на нее, улыбаясь особенной улыбкой, и слегка придвинулся к ней. Казалось, он хочет поцеловать ее, и длинные бледные ресницы Мэннеры мгновенно опустились. Сомнений в том, кто она и зачем здесь, больше не оставалось, но было неприятно видеть, как она все время прячет глаза.

— Все в порядке, Мэннера, — сказал Дженнингс, и девушка вышла, неловко и стремительно.

— Закрой дверь! — резко произнес Даунс. — Надо поговорить.

— Что ж, я не против, — ответил Дженнингс уже без прежней самоуверенности. — Прежде чем начать заседание, давайте сядем, джентльмены. Чертовски жарко.

Даунс начал с места в карьер:

— Девицу надо отсюда убрать. Она постоянно живет на корабле, мистер Ланг, у нее даже своя каюта. Кроме нее, здесь, на борту, вообще не бывает женщин. Уже одно это... Впрочем, какое мое дело...

— Нет уж, выкладывай все, — заметил Дженнингс, не вставая с койки. — Меня можешь не стесняться.

Голос его звучал одновременно насмешливо и жестко.

— Вы поняли, кто она? — обратился Даунс ко мне.

— Это та девушка, к которой я ходил в Городе. Ты знаешь о ней, Джон. Это та самая девушка.

Дженнингс оказался достаточно тактичен, чтобы ответить на вопрос Даунса вместо меня.

— Ей здесь очень хорошо! — холодно добавил он.

— Я сказал, что хочу выяснить все до конца, — сказал Даунс после минутной паузы, поворачиваясь к Дженнингсу.

— Давай, давай, приятель!

— Мистер Ланг, назревает скандал, — снова начал Даунс. — Один уже точно произошел. С тех пор, как на борту появилась эта особа, выставку перестали посещать. Она здесь уже пятый день. Мистер Дженнингс, должно быть, договорился обо всем, когда был в Городе, хотя я тогда ничего не знал. Он уехал дней десять назад и вернулся вместе с ней. Его не было около недели. Так же нельзя! Он сказал мне, зачем едет, и я посчитал, что он достаточно откровенен. А потом, как я ни старался остановить его, уже не мог: он сказал, что он здесь главный и что нам нужна женщина — объяснять назначение экспонатов посетительницам. Тогда я решил написать вам. Мне никак не втолковать ему, что он губит все дело. Это выше моих сил. К тому же я не начальник.

— Так кто же здесь начальник, Джон? Ты или я?

Мы никогда не обсуждали этого между собой. Усталость, духота и собственные заботы мешали мне сосредоточиться.

Дженнингс между тем продолжал:

— Старина Гарри во всем прав. Бедный старина Гарри. Джон, Мэннера действительно нам полезна. Это просто спасительная соломинка. Главную ставку я делаю на швейные машинки. Зингеровские ребята вложили в нашу выставку кучу денег. И я перед ними в ответе, потому что превозносил им нашу затею до небес. А я не умею шить на машинке! Конечно, я могу показать, как она работает, но Мэннера — женщина, и она может *шить*. И она шьет. Ты бы видел! Одно дело, я сижу тут и разглагольствую, и совсем другое, когда Мэннера шьет на глазах у островитянок вполне реальные вещи.

— Прекрасно, пусть будет женщина-демонстратор, — воскликнул Даунс, — но только не эта...

— Послушай, Гарри! — крикнул Дженнингс, садясь.

— Успокойся! — сказал я, не желая стать участником потасовки. — Значит, она — та самая девушка, к которой ты ходил в Городе? Да?

Наступило молчание. Дженнингс вновь улегся, потом неожиданно рассмеялся, но смех тут же оборвался, и он повернул ко мне красное, опухшее лицо.

— Джон, я смертельно от всего устал. От нашей затеи и от этой страны. Проклятое место!

И если вначале интонации его голоса были шутливыми, то теперь в нем звучала неподдельная злость. Его слова как-то странно знакомо отозвались во мне, и я вспомнил о двух американцах, которые, еще на заре моего консульства, мечтали поскорее выбраться из Островитянии. Я понял их тогда и почти понимал сейчас Дженнингса, но, с болезненной отчетливостью представив свое положение, столь же отчетливо увидел и огромную разницу между нами. Дело было серьезнее, чем простой скандал.

— Даунс, — сказал я, — разрешите нам с Дженнингсом поговорить минутку наедине.

Поколебавшись, Даунс вышел, прикрыв за собой дверь.

Дженнингс лежал неподвижно, словно силы окончательно покинули его.

— Не знаю, кто из нас начальник, — сказал я, — я приехал потому, что попросил Даунс: он писал, что иначе наша затея обернется позором для всей нации.

Дженнингс вяло принялся бранить Даунса; видно было, что его гораздо больше тревожит собственное положение.

— Скучно? — спросил я.

— Скучно?! — возопил Дженнингс. — Да это не то слово!..

И он одним духом рассказал все, излил всю накопившуюся в душе горечь. Он уже давно не мог найти себе настоящего дела, и вот «Плавучая выставка» — возможность не без пользы убить время и хоть куда-нибудь выбраться. Но решающим аргументом стала Мэннера. Конечно, оба мы понимали, кто она, но в Островитянии на многое смотрели по-иному, и жизнь была не такой уж тяжелой, чтобы девушка не могла изменить род занятий. Скорее, по мнению Дженнингса, она напоминала какую-нибудь свою американскую сверстницу, у которой несколько приятелей-мужчин и которая еще не «перебесилась».

Я промолчал, решив оставить свое мнение при себе. После небольшой паузы Дженнингс продолжал:

— Когда я вернулся в июле в Нью-Йорк, можешь считать меня предателем, Джон, но я готов был все бросить. Никогда и нигде мне не было так хорошо! Господи, дружище, я просто не понимал, как Островитяния давит мне на психику. И я решил послать ко всем чертям и «Плавучую выставку», и Джона Ланга с его теориями, и Мэннеру, и все-все. Нью-Йорк — вот город по мне! И все же, пожив какое-то время в свое удовольствие, я решил держаться данного слова. Взялся за работу и поработал на славу! Я отказался от нескольких очень неплохих предложений, вернулся, и — будь все проклято! — самым добрым, единственно драгоценным

для меня в этой стране оставалась Мэннера.

Дженнингс приподнялся.

— Я продавал разные товары разным людям, навидался всяких престранных субъектов, но такого еще не видел никогда. С этими островитянами каши не сваришь. Приходят, смотрят, улыбаются, даже, кажется, слушают. Рассказываю я, допустим, про сенокосилку: какая у нее производительность и прочее. Ну, они меня выслушивают, а потом кто-нибудь важно так говорит: «Да какое ж нужно дышло, чтобы пара лошадей потянула такую махину!» «Потянут!» — отвечаю. «Да, может, и потянут, — говорит он, — только нам это не годится, лучше уж мы — волокушей». И вот он с приятелями начинает поносить все, потому что ну никак пара лошадей это не потянет. А они своих лошадей жалеют и мучить их не дадут. И ничего ты им не докажешь! Вот в чем штука. Я объясняю, что с этой машиной легко управляться, показываю, как смазывать. А они нюхают масло и морщатся! И вечно спрашивают насчет шума. Да вдруг еще она поломается! Потом заводят разговор про посадки. Тут уж я вконец запутываюсь, а они мне: вы с вашими хитрыми расчетами только поле загубите! Я стою на своем, как ты учил, и начинаю толковать им про экономию времени. Слушают, улыбаются вежливо. И так — с улыбочками да с улыбочками — поближе к выходу. И ни одной брошюры не возьмут. Я-то думал — ерунда, выдержу, — голос его задрожал, — да и выдержал бы, если бы не...

Он резко умолк.

— Если бы не что? — спросил я после некоторого молчания.

Дженнингс вновь откинулся на подушку.

— Сам не знаю, — сказал он. — Эта проклятая тишина, застылость. Как мертвое все. Не могу объяснить. Не могу толком объяснить. Упрутся — и конец! Устал я. Надоело.

Я снова помолчал.

— Значит, хочешь домой?

— Я не дезертир, — ответил он глухо. — И за это дело тоже отвечаю.

— А если бы Мэннеры здесь не было?

— Мэннеры? — переспросил он, ласково выговаривая каждый звук и на мгновение словно забыв обо мне, но тут же вернулся к прерванной мысли. — Она хотя бы делает жизнь сносной. Но с тех пор, как я привез ее из Города, она — другая. Как умерла. Она и там-то часто, бывало, задумается, вся в себе, а здесь!.. С самого приезда даже не улыбнулась ни разу. Целыми днями только и шьет на машинке. И мне — ни слова упрека. Нет, с ней все в порядке. Она так просто не сдастся.

— Чего ты хочешь? — спросил я, чувствуя, что Мэннера из чего-то смутно постыдного начинала становиться едва ли не главной в нашем разговоре.

— Повторяю: я не дезертир! И вообще человек упрямый. Но каков Гарри: «позор для нации»! Говорю тебе, что моя основная ставка — на швейные машинки, заинтересовать женщин. И кому какое дело, откуда взялась Мэннера. Кто что про нее в этой глуши знает? Да и она не особенно разговорчивая. Почему кого-то должно волновать, кем она... — он запнулся, — была.

— Значит, ты хочешь, чтобы она оставалась здесь, и сам собираешься распорядиться «Тузом»?

— Да, именно.

Я постарался найти достойный ответ и не смог. Отчасти усталость служила извинением, но...

— Пусть Даунс тоже скажет свое слово.

— Бога ради, — голос Дженнингса звучал безразлично.

— Я поднимусь на палубу, подышу воздухом.

Открыв дверь, я услышал ровный механический звук. Пристроившись в углу каюты, Мэннера сидела за швейной машинкой. Я бросил на нее быстрый взгляд. Она сидела ко мне спиной, слегка склонив голову. Все движения ее были выверены и осторожны. Она неторопливо нажимала на педаль, и издаваемый машинкой звук не был похож на проворное стрекотанье, к которому я привык дома. Я мог едва ли не вести счет стежкам.

Проходя мимо Мэннеры, я увидел ее бледный, бесстрастный профиль. Взгляд широко раскрытых глаз был замороженно-непонимающим. Уголки рта расслабленно опущены. То ли перенапряжение, то ли еще что позволило мне на секунду ясновидчески заглянуть в душу этого существа. Дженнингс сказал, что девушка изменилась, перестала смеяться и почти все время проводила за машинкой. Да, похоже, она стала одной из тех, кто запутался в паутине противоречивых чувств. Ждать от нее помощи было нечего. Подобно Дженнингсу, она вряд ли знала, что делать, за что страдать и вообще — чего она хочет.

Даунс неторопливо прохаживался по палубе. Понять его было несложно. Никакой личной ответственности за происходящее он не нес. Он так часто повторял это, что я понял: он обижен и возмущен, однако, то ли потому, что чувствовал свою подчиненность, то ли потому, что претендовал на роль светского человека, хотел продемонстрировать свою высокую нравственность, которой явно не обладал. Но моральный ущерб, наносимый нации, он действительно воспринимал как личное оскорбление. То, что «Выставку» стали меньше посещать из-за присутствия Мэннеры, было сколь очевидно, столь же и трудно доказуемо. Да и, по правде говоря, Даунс так плохо знал островитянский, что вряд ли мог полноценно общаться с окружающими и не понимал, что же именно происходит и как это воспринимается со стороны. Но в одном, по его словам, он был уверен. Однажды ночью странное беспокойство мешало ему заснуть. Было уже совсем поздно, когда он услышал, как дверь каюты Дженнингса открылась. Даунс почувствовал, что его долг — проверить, в чем дело; он встал и выглянул в коридор. Заметив Даунса, девушка приглушенно вскрикнула и пустилась наутек. Одетая она была, мягко выражаясь, легко, и в воздухе стоял густой запах спиртного, которое они, очевидно, пили вместе с Дженнингсом и которое называлось, кажется, *сарка*.

Только один человек мог помочь мне: капитан судна — островитянин. Я решил воспользоваться его поддержкой и сообщил об этом Даунсу.

Я нашел Баннинга в одной из носовых кают, где он отдыхал, лежа на матросской койке. У него и у его помощника были отдельные каюты ближе к корме, но оба проводили большую часть времени в компании соотечественников, как мы бы сказали, на баке. Это совершенно шло вразрез с островитянскими традициями дальнего плавания, однако, похоже, дисциплина от этого не очень страдала. Я попросил капитана подняться со мной на палубу, и он, улыбаясь, спустился с койки. Это был высокий, больше шести футов ростом, мужчина с густой, когда-то черной, а теперь — с сильной проседью бородой. Вся одежда его состояла из синих коротких штанов, похожих на детские бриджи, и фуфайки. Длинные, сильные ноги были босыми.

Он предложил сесть. Палуба, хоть и жесткая, показалась мне мягче самого мягкого кресла.

Мы сидели на самом носу корабля, так круто поднимавшемся, что отсюда были видны и бульвары Моора, и набережная, и — вдали, за отделяющей их полосой воды, — болота, над которыми уже синела, сгущаясь, сумеречная дымка. Там, за нею, был остров Дорн. Я находился у края владений Дорны, глядел на те же болота, которые она видела каждый день; она была близко, так близко, что, казалось, вот-вот среди вечерних теней покажется ее фигура. И в то же время мысли о Дженнингсе, Даунсе, Мэннере и о корабле — тоже отчасти моей собственности — безостановочно крутились в моей голове, будто колеса ткацкого станка.

Потянул ветерок. Там, за болотами, откуда он дул, плавали когда-то мы с Дорной, плутая по протокам... Да, нелегко было снова очутиться на Западе: до боли знакомое сияние повсюду

находило щели в броне моего напускного равнодушия.

Баннинг, понимая, как трудно мне начать, заговорил первым.

— Неладно дело, — сказал он, махнув рукой в сторону кормы.

— Да, — согласился я, — неладно. И то, что творится на корабле, и то, как к нам здесь относятся. Интересно, что думают посетители, когда видят Мэннеру на борту?

Баннинг помолчал.

— Что ж, она женщина как женщина, и это их не удивляет.

— Но она — островитянка.

— А мы разве не островитяне? Какая разница? Она работает на этой штуке, которая шьет.

— Вам известно, кто она такая?

— Да, известно. И команде тоже. А те, кто приходит, не знают, да и не спрашивают.

— А если бы они узнали — сразу ушли бы или стали думать, что американцы — с причудами?

— С чего им думать, что вы с причудами? — сказал Баннинг после долгого молчания. — Наверное, они бы подумали так: «У них свои привычки, у нас — свои».

Такой ответ не мог полностью удовлетворить меня.

— И все же кто-то ушел бы?

— Может быть, некоторые женщины, — неохотно ответил наконец Баннинг. — Вряд ли многие.

— Значит, мы ведем себя вполне по-островитянски?

— Нет... но какое это имеет значение? Вы — американцы.

Неужели это была просто вежливость?

— Мы не хотим жить в вашей стране противно вашим обычаям, — сказал я.

Лицо Баннинга неожиданно просветлело.

— Скажу вам то, что сам думаю. Когда эти девушки меняют жизнь, перестают жить с несколькими мужчинами, они обычно возвращаются домой, хотя бы на время. Там они живут как незамужние и с мужчинами не встречаются. Потом они могут выйти замуж. Но всегда должно пройти какое-то время, чтобы им как бы утихомириться. Поэтому матросы наши еще не до конца понимают. Не понимают — по-прежнему ли она такая, как в Городе. Они говорят об этом, когда спускаются на берег, и другие тоже начинают задумываться. Но никто ничего плохого ей не сделает, ручаюсь. Так что волноваться незачем.

Он умолк. Чего-то он не договаривал, но это было явно не то, о чем думал Даунс с его американскими предрассудками.

— Что-то не так? — спросил я.

— Все в порядке. Дженнинг, — он произнес фамилию без конечного «с», — привез ее сюда. Он ее содержит, и она исполняет его желания. Тут нет ничего дурного, раз уж сама выбрала такую жизнь.

И все же в его голосе звучала неуверенность, причем касавшаяся не того, правильно или неправильно ведет себя Мэннеру, а чего-то еще. Я чувствовал, что для него самого все ясно, но он с трудом, на ощупь подыскивает слова, чтобы объяснить с сидящим перед ним чуждым, непонятным ему человеком.

— Баннинг, — сказал я, — мне неизвестно, как у вас относятся к вещам такого рода. Но ясно, что мы относимся иначе. Вы думаете — ей лучше отсюда уехать?

— Нет, — ответил он, — не в этом дело.

Он изучающе поглядел на меня, и я подумал, уж не обижаю ли его, объясняя столь очевидные вещи.

— Может быть, дело в том, что он ее содержит?

— Да! — воскликнул Баннинг. — Если женщине нравится вести такую жизнь, она может уйти из семьи и зарабатывать себе этим на пропитание, но никогда мужчина у нас не содержит женщину, покупая ее тело. Это у нас не принято.

Вид моего удивленного лица побудил его откровенно и до конца высказать мне все, что для него самого было так просто и ясно.

— Когда женщина вступает в брак, она переезжает туда, где живет семья ее мужа, и становится равноправным ее членом. Там она обеспечена всем. Если женщина становится чьей-нибудь любовницей, она не порывает со своей семьей. Может быть, не всем это нравится, но в любом случае она не превращается в содержанку. Опора для нее по-прежнему — семья, которая ее обеспечивает. Когда женщина выбирает такую жизнь, какую выбрала Мэннера, хозяйка дома, где она живет, присматривает и заботится о ней, пусть даже девушка порвала с семьей. Но когда мужчина поступает, как Дженнинг, и забирает ее оттуда, где ее обеспечивают, это плохо кончается. Мэннера оставила семью. Теперь, без поддержки, она не может чувствовать себя свободно и уверенно. Она должна делать все, что хочется Дженнигу, отдаваться ему независимо от того, чувствует ли она *анию* или *апию*, иначе она лишится куска хлеба... Ей надо вернуться домой, — продолжал капитан. — Если они чувствуют *анию*, пусть через какое-то время поженятся. Если нет, ей лучше остаться в семье. А если ей больше нравится прежняя жизнь, пусть возвращается в Город.

Теперь он высказался, но это ни на йоту не приблизило решения проблемы. И все-таки Даунс почти во всем оказался не прав. «Плавучей выставке» угрожала куда меньшая опасность, чем людям, которые ее сопровождали.

Из носового люка донесся запах готовящейся пищи. Остаться ужинать на палубе с Баннингом и его помощником было в каком-то смысле предательством по отношению к трем мучимым сомнениями обитателям кормовых кают, но я решительно не знал, что сказать каждому из них. Больше других жалость вызывала Мэннера. Может быть, она взбунтовалась против жизни, которую вела в Городе. Может быть, Дженнингс был для нее чем-то иным, чем прочие мужчины, и открыл перед ней новый мир. Однако он склонил ее к поведению, идущему вразрез с обычаями страны и ее собственной бессознательной волей. Неудивительно, если бы она умерла. Дженнингс толкнул ее на путь, пагубный в глазах островитянки. Даунсу я тоже сочувствовал. Пуританин и патриот в душе, он и вправду мучительно переживал, видя, как порочат честь его нации. Что до Дженнингса, то он уже утратил власть над собой и потерпел полный крах. Его тоже следовало пожалеть.

Немного погодя я отправился на корму, раздумывая, где мне устроиться на ночь. Уже совсем стемнело. Болота лежали, скрытые густым, опалово светящимся туманом. Память о ночи на «Болотной Утке» вдруг показалась выдумкой, сном.

Мэннера сидела в своей каюте за машинкой так, словно и не вставала из-за нее. Свет был тусклый, и Мэннера то и дело останавливалась, наклоняясь к машинке и что-то близоруко подправляя на ощупь.

Дверь в каюту Дженнингса стояла открытой. Там горел яркий свет, сам Дженнингс лежал на койке. Закрытая дверь каюты Даунса словно выражала немой укор.

Пожалуй, стоило поговорить с Мэннерой. Я не входил, ожидая, пока она оторвется от шитья и заметит меня. Нога ее медленно нажимала на педаль. Я окликнул ее. Она полуобернулась ко мне, не поднимая глаз.

Вид ее пробудил во мне совсем нежелательные эмоции. Трудно было отрешиться от мыслей о тех услугах, которые она оказывала мужчинам за скромное вознаграждение, и держаться с ней непринужденно оказалось нелегко. Неожиданно, и с некоторой неприязнью к самому себе, я почувствовал ее привлекательность.

Я завел разговор о шитье. Мэннера показала свою работу.

— Вам нравится шить на этой машинке?

Девушка не ответила; я никак не мог придумать, что бы еще сказать.

— Вы хотите остаться на «Тузе» и жить так, как живете?

Вопрос, должно быть, прозвучал странно.

Мэннера сидела застыв, уронив руки на колени.

— Чего хочется вам? — спросил я.

Голос Мэннеры, который я слышал лишь однажды, да и то когда она говорила шепотом, прозвучал неожиданно ясно и твердо.

— Чего хочу я? — она рассмеялась. — Сидеть на солнышке, под деревом на холме, никого не видеть и ничего не делать.

Шутила она или была предельно откровенна?

— Вы хотите вернуться домой?

Она не отвечала.

— Скажите, Мэннера, это очень важно.

Девушка совсем потупилась.

— Ну скажите же! Кому знать, как не вам?

Мэннера снова взялась за ручку машинки, уставясь на иглу. Потом покачала головой. Снова застучала педаль.

— Посетители! — донесся сверху голос Баннинга.

Дженнингс заворочался в своей каюте.

— Джон, проводи их! — крикнул он мне, захлопывая дверь. — Я здорово набрался.

Я взглянул на спускавшиеся по узкой лесенке фигуры. Первым шел мужчина лет шестидесяти, за ним женщина примерно тех же лет и мужчина помоложе. Все трое дышали свежестью и были одеты просто и опрятно. Это была семья фермера из-под Тори. Я провел их по выставке.

Дольше всего они простояли у швейной машинки, скорее всего потому, что это был действующий экспонат. Потом они задали Мэннере несколько вопросов, и я испугался, что она не ответит, — так затянулась пауза, но ответ все же прозвучал, впрочем, более чем краткий и не очень вразумительный. Только тут до меня дошло, что она сама не понимает, как работает это устройство.

Наконец посетители собрались идти. Старик вежливо поблагодарил меня. Женщина, подойдя к Мэннере, поблагодарила ее, после чего семья удалилась.

Я решил переговорить с Дженнингсом, как бы он ни был пьян.

Мэннера поднялась и стояла, глядя на меня. Мы были в каюте одни. И снова, глядя на ее стройную, обворожительную фигурку, я против воли, с неприязнью к себе, почувствовал: да, я понимаю, что так влекло к ней Дженнингса.

Что было там, в пристальном взгляде этих настороженных, широко раскрытых глаз? Невысказанный вопрос, раскаяние, стыд? Или просто мое присутствие мешало ей выйти, чтобы отправиться к Дженнингсу?

Я улыбнулся. Что еще оставалось делать? Она ответила машинальной гримаской и вышла, в последний момент оглянувшись, словно желая проверить, что я делаю, и затем исчезнув за повешенной между двух агрегатов занавеской. Уж не была ли это та самая «каюта», которую ей выделили?

Дженнингс на самом деле вовсе не был так пьян. Я вкратце изложил ему то, что услышал от Баннинга, а под конец добавил, что «национальный позор», так тревоживший Даунса, беспокоит меня много меньше, чем положение Мэннеры, и дал понять как можно яснее, что с

его стороны было ошибкой привозить ее сюда.

— И то, что она «стала, как мертвая», как ты выражаешься, скорее всего произошло потому, что ты поставил ее в положение ложное, с точки зрения островитянки.

— Что ты мелешь? — таков был ответ Дженнингса. Чтобы произнести его, он даже привстал на койке, потом снова лег.

— Давай поговорим завтра, Джон, — добавил он чуть погодя. — Я пьян, а ты устал с дороги. Уверен, ты все поймешь. И что он лезет не в свои дела, этот чертов капитан!

Да, пожалуй, лучше было отложить разговор до утра.

— Где мне спать? — спросил я.

— С Гарри! С нашим целомудренным Гарри.

Даунс ждал меня. В его каюте было две койки; одну он приготовил мне. Я сразу же лег, но не сразу уснул, потому что Даунс снова и снова пытался объяснить, как все это представляется ему. Ничего нового я не услышал. Передо мной был истинный патриот и пуританин. Потом он стал рассказывать про себя, и я только усилием воли, из приличия не давал себе уснуть. Даунс разворачивал передо мной картину своей жизни со всеми ее тяготами и мытарствами, рассказал о жене: какой это милый и тонкий человек, о том, как бедно они живут, о своих бесчисленных врагах... Он чувствовал себя одиноким, и ему хотелось излить перед кем-нибудь душу. Ничего не поделаешь — я был вынужден слушать, время от времени вставляя какое-нибудь односложное замечание. Но я ни на минуту не переставал думать о плачевном положении, в каком оказался Дженнингс, о том, как жалко Мэннеру, а в самой глубине, причиняя нестерпимую боль, мысль о собственных несчастьях буравила мое сознание.

Разговор так затянулся, что проснулись мы поздно. Одевшись и собравшись к завтраку, мы увидели, что дверь в каюту Дженнингса по-прежнему заперта. Даунс не хотел беспокоить его, объяснив, что тот частенько спит подолгу, пока хмель не выйдет, но его удивило, что нигде не видно Мэннеры, хотя обычно она поднималась рано. Он сказал, что пару раз завтракал с ней, пока Дженнингс еще спал. Вообще в то утро он был настроен миролюбиво и явно хотел подбодрить девушку ласковым словом, хотя вряд ли решился бы на это, боясь скомпрометировать себя в моих и собственных глазах.

— Да, с ней вопрос непростой, — сказал я. — Она — глубоко чувствующая и очень симпатичная девушка.

— Так давайте позовем ее, — сказал Даунс после некоторого раздумья.

Мы позвали Мэннеру, но занавеска, скрывавшая вход в ее «жилище», не шелохнулась. Мы позвали снова — безрезультатно.

— Может быть, она у Дженнингса? — сказал Даунс.

Действительно, возможно, оба еще спали. Мы решили их не трогать.

Потом, однако, их молчание показалось нам подозрительным. Подойдя к пристанищу Мэннеры, я несколько раз громко позвал ее, но, так и не услышав ответа, отодвинул занавеску. Места внутри едва хватало для стула и койки. Видно, и Дженнингс, и Даунс не особенно баловали девушку. Мэннеры не было. Койка — застелена, и все прибрано... Как-то слишком чисто и прибрано! Ни одной, по виду, ее вещи не было.

Мы постучались в каюту Дженнингса — никакого ответа. Он тоже покинул корабль. На столе, впрочем, осталась адресованная мне записка.

«Дорогой Джон.

В конце концов я решил уехать. Мы и Мэннерой обо всем переговорили. Когда вы проснетесь, мы будем уже далеко. 18-го отбывает пароход, и мы — вместе с ним. Я-

то уж точно. Для такой работы я не гожусь. Хочется домой. Островитяния для меня — сущий ад. Теперь ты один начальник.

Р. С. Дж.»

Стало быть, они уехали по меньшей мере четыре или пять часов назад. Скорее всего переправились на раннем пароме, раздобыли лошадей, и теперь перехватить их было уже невозможно. Поначалу мы все же хотели броситься в погоню, даже не из-за Дженнингса, а ради Мэннеры. Но что могли мы сделать? Необходимо было что-то немедленно предпринять. Но что? Убедить Мэннеру не уезжать с Дженнингсом в Америку? Однако вряд ли она собиралась поступить так.

Мы отбрасывали вариант за вариантом. Даунс был в полном замешательстве: ведь теперь, после бегства Дженнингса, на него ложилась вся ответственность. Мое внимание и поддержка были ему в данную минуту необходимы. Оставив мысль о преследовании, мы принялись думать, как дальше быть с «Плавучей выставкой». Нужен был человек, который, зная английский и островитянский, мог бы помогать Даунсу. Консульские дела, связанные с прибытием пароходов и почты, а равно и задача найти такого человека требовали моего скорейшего возвращения в Город.

Несколько человек посетило «Выставку» утром и во второй половине дня. Мы с Даунсом провели их по экспозиции, причем он пытался давать пояснения сам, понимая, что теперь, когда он главный на «Тузе», ему придется хорошенько выучить островитянский. Я испытывал чувства обычного лавочника, любопытствующего, кто зайдет следующим, скучно рассказывающего по нескольку раз одно и то же и прикидывающего возможный барыш. Мы много говорили о том, что вызывает у наших посетителей более или менее живой интерес.

Воздух в каюте успел уже основательно прогреться. Очередная группа ушла, и мы обсуждали, что же скрывается за учтивостью островитянских манер: действительный интерес к тому, что мы им показывали, или наоборот.

На палубе над нами послышался звук шагов. Новые посетители, и не один!

На верхних ступенях трапа показались обутые в сандалии девичьи ноги — сначала голые лодыжки, потом голые сильные икры; в походке, в том, как они ступали, было что-то неповторимо знакомое, раскованное, почти вызывающее; вот показался и край зеленой юбки. Следующие сзади ноги, прикрытые светло-голубой юбкой, были стройнее, тоньше и не такие загорелые. Последним спускался мужчина, тоже в сандалиях, серых чулках, и тоже было что-то знакомое в его поступи.

В каюту «Туза» сходили Дорна, Стеллина и лорд Дорн. Я поспешил им навстречу, в упор глядя на старого лорда. На лицах вошедших заиграли дружеские улыбки. Смех, приветствия — среди них я различил голос Дорны. Я поблагодарил их за то, что они пришли на корабль, теперь по большей части мой, хотя он и был символом того, против чего они боролись. Они выразили удивление, что видят меня на борту. Виски заныли, горло сжал нервный спазм. В стоящих передо мной людях было что-то ненастоящее, кукольное, черты их то расплывались, словно приближаясь, то удалялись, голоса звучали то громко, совсем рядом, то как бы издалека. Я чувствовал слабость, голова кружилась все сильнее. Смотреть на Дорну было больно, как на слишком яркий свет, но я сделал усилие и поднял взгляд. Наши глаза встретились, на губах ее мелькнула улыбка, которая ничего не сказала бы постороннему, но за одно мгновение мы успели обменяться всем продуманным и пережитым. Раздался голос старого лорда. Дорна отвела взгляд. Лорд сказал, что все очень рады застать меня на корабле. Не против ли я навестить их во дворце, отобедать вместе, заночевать у них? Что-то внутри настойчиво

твердило, чтобы я не ехал, отказался от приглашения...

Стоявший рядом Даунс отчасти оказался спасением. Я поблагодарил лорда, сказав, что никак не смогу. Лицо мое покрылось холодной испариной. Потом я представил Даунса. Гости в свою очередь представились ему. Я вновь услышал голос Дорны, называющей свое имя. С улыбкой объяснив гостям, кто такой Даунс, я сказал своему компаньону, что перед ним — лорд Дорн и его внучатая племянница Дорна с подругой Стеллиной — Дочерью лорда Стеллина из Камии. Этого хватило, что Даунс оценил важность момента. Приосанившись, он, запинаясь, сказал на островитянском, что лорд Келвин тоже побывал на борту «Туза» в Городе, а лорд Файн — в Ривсе. При взгляде на Дорну у меня начинало жечь в уголках глаз, а стоило открыто посмотреть ей в лицо, и я чувствовал, что у меня перехватывает дыхание и сердце перестает биться в груди. Совсем другое были глаза Стеллины. Наши взоры встретились. Глаза девушки, ясные, как родниковая вода, лучились фиалковой синевой. На мгновение из прекрасной восковой фигуры она превратилась в обычную, живую девушку с тонкими чертами лица и маленьким, пухлым, но четко очерченным ртом. Голова моя закружилась. Лицо Дорны, на которую я так и не решился взглянуть, полыхало сгустком золотистого цвета.

Не желают ли гости осмотреть остальные экспонаты? Мой благоразумный часовой вовремя шепнул мне нужные слова. Да, именно ради этого они и пришли. Я провел гостей по выставке, продолжая без умолку говорить, чувствуя, как горят мои щеки, и даже пытаюсь иногда перейти на шутливый тон, впрочем, сам тут же умеряя свою шутливость из боязни сорваться. Дорна была рядом. Совсем рядом. Так близко. Она слушала мои объяснения, переходила с места на место, и я слышал ее дыхание. Продолжая свой рассказ, я краешком глаза следил за колыханием зеленой юбки, за переступанием загорелых ног в сандалиях, таких открытых, что были видны ложбинки между пальцами, за тем, как по-детски сжимаются и разжимаются от любопытства ее руки; когда же она отворачивалась и я мог не бояться встретиться с ней глазами, я жадно, в упор разглядывал мягкую линию ее разгумившейся скулы, мерцающий, прекрасный профиль, длинные темные ресницы. И в каждый из подобных моментов я словно ощущал удар тока, волна жгучей боли окатывала меня. В полыхающем свечении, исходившем от девушки, наши экспонаты тоже начинали светиться и выглядели ярче и привлекательнее.

А теперь — швейная машинка! Я неожиданно заметил ее, и она показалась мне волшебным произведением искусства. Я повел гостей к машинке, на ходу расхваливая ее исключительные достоинства. Даунс уселся, готовый продемонстрировать это чудо в работе. Он тоже был взволнован. Все внимательно наблюдали, как он сшил вместе два лоскута ткани, потом перевернул и прострочил еще раз. Дорна стояла рядом со мной. Даунс передал ей готовый образец, и девушка стала придирчиво разглядывать стежки. Ее руки, держащие материю, излучали внутреннее тепло, и я вспомнил, как однажды эти же руки покорно лежали в моих и как потом они яростно вырывались из сжимавших их пальцев. Я желал вновь завладеть этими руками, этим телом, я желал ее всю.

Даунс сказал, что Дорна может оставить лоскут на память.

Я заявил, что Стеллине тоже необходимо иметь образец американской швейной продукции.

В ответ девушка улыбнулась. Взгляд ее ясных глаз был глубок, и сколько безбоязненной простоты крылось в его глубине! Однажды она поцеловала меня, и тот поцелуй связывал и будет связывать нас всегда, ничего не требуя. Казалось, в глазах Стеллины мелькнул вопрос — словно набежавшее и мгновенно растаявшее облачко.

Даунс вручил ей второй лоскут, и девушка одарила его самой очаровательной улыбкой, пробормотав несколько благодарственных слов по-английски, видимо, единственные, какие она знала.

Лорд Дорн попросил объяснить ему устройство сенокосилки. Это был предмет, хорошо

знакомый мне еще со времен работы у дядюшки Джозефа, и тут я о многом мог бы порассказать, но сейчас у меня не было желания восхвалять либо ругать сенокосилки, поэтому я сказал лишь, как и для чего ими пользуются в Америке, добавив, что они дают сильный выхлоп, производят шум, что скашивают траву они даже не так ровно, как хорошо отточенный серп, что у островитян наверняка возникнут трудности с запасными частями, а использование лошадиной тяги — сомнительно.

Я говорил, лишь бы подольше удержать Дорну на «Тузе». Показывать было уже почти нечего. Может быть, все же поехать к Дорнам, отобедать у них? Тогда я смогу увидеть ее наедине. Глядеть на ее руки было сущей пыткой. Казалось, она дразнит меня ими. А эти мягкие, полные, упрямые губы, о которых я столько мечтал! Я смогу сказать все, что осталось несказанным, о чем я передумал за эти дни, — что я люблю ее.

Нет, я этого никогда не скажу. Пусть уходит.

Лорд Дорн вновь повторил свое приглашение, и его взгляда было не избежать. Дорна стояла, облокотясь, делая вид, что ее это не касается, и явно не желая мне помочь. Я почувствовал, что сдаюсь, сил выдумывать отговорки уже не осталось. Лорд обратился с тем же приглашением к Даунсу. Для меня это был последний шанс, пусть ничтожная, но зацепка, и я принялся говорить, не давая лорду времени для возражений, о том, что сегодня утром один из наших компаньонов сбежал, что завтра рано утром мне нужно ехать, а перед этим многое уладить с Даунсом и, наконец, могут прийти еще посетители...

Так, может быть, я хотя бы пообедаю с ними, а потом вернусь на корабль? На это, казалось, возразить было уже нечего. И тут я заметил неуловимое движение Стеллины. Мне почудилось... Не знаю, как объяснить... И вот я уже снова извинялся, придумывая отговорки. Впрочем, лорд не желал быть излишне навязчивым. Неожиданно для меня самого мой отказ был принят, и все трое направились к выходу.

Я упустил свой шанс, но еще можно было проводить их до сходней, держась так близко к Дорне, как это было возможно. Я шел рядом, стараясь затянуть каждое мгновение, впитывая ощущение ее близости. Мы прошли через каюту, поднялись по трапу, пересекли палубу — время истекало, секунда за секундой.

Мы еще продолжали говорить, но все было кончено. Дорна прошла мимо меня — так расстанутся навсегда.

Она единственная оглянулась. Остальные медленно удалялись. На мгновение ее темные глаза встретились с моими. О, как я благодарен, что она не улыбнулась!

Даунс задумчиво потирал подбородок. Дорны и Стеллина скрылись за белой стеной эллинга.

— Красивые девушки, — сказал Даунс. — И уж наверное ваши знакомые.

Потом, еще немного поразмыслив, добавил:

— Что ж, пробыли они довольно долго, правда?

Видение мелькнуло и исчезло, сковав меня ледяной стылостью.

Поля, дома и огороженные выгоны, и снова поля, и дома, и выгоны медленно двигались мне навстречу в жарких лучах солнца и оставались позади. Я ехал равнинами Нижнего Доринга по дороге на Доан. Почему бы и не избрать этот, кратчайший путь к Городу?

Было бы позорно смалодушничать, как Дженнингс. Он лгал себе, он изменил нашему делу, он был несправедлив к Мэннере. Островитяния оказалась для него слишком крепким орешком. Со мной такого не будет. А значит, лучше всего сейчас сосредоточиться на консульских делах, на «Плавучей выставке», на том, где бы подыскать человека, в равной степени владеющего

английским и островитянским... Но ничто не оставляло на стеклянной броне моего горя даже царапины... Спасительные мысли не шли на ум.

Перевал... Лесистые склоны и кажущиеся маленькими деревья там, наверху — зубчатая полоска, окаймляющая хребты гор... Они были прекрасны, но нас разделяла пропасть. Перевал Доан? — Не более чем горная дорога. Постоялый двор? — Место, где можно поменять лошадей и ехать дальше.

Ночью измученный ум лишается точек опоры, и горестные хляби разверзаются над головой несчастного влюбленного. Вдыхая в вершинах деревьев, ветер шептал «никогда», и ничего иного на свете не было... Уверенный стук копыт раздавался на ровной и гладкой ночной дороге, еще один день выигран, и не придется со стонами метаться в постели, даже мысль о которой пугала. Тело слишком устало для любых желаний, и только «никогда», как магнит, влекло его. «Никогда», подобное звездам над головой, такое же бесконечно бездонное, как черные пространства между ними.

Все в жизни — великое и малое — имело отношение к Дорне. Она преграждала все дороги, кроме дороги к ней самой, но и эта дорога для меня заповедана. Любое удовольствие заранее было для меня отравлено, ведь Дорна не захочет разделить его со мной. Она придавала ясность моему взгляду, и она же делала меня незрячим; она вселяла в меня желание, которое сама только и могла удовлетворить, — и отдавалась другому. И все это лишь потому, что существовала на свете и была именно такой. Бледное свечение разливалось по склонам гор. Сердитый шум Кэннена еще доносился из темноты.

Поддаваться отчаянию, впадать в панику — позор. Это и только это слышалось мне в перестуке копыт.

Белесые, бесцветные расстилались передо мной равнины Инеррии.

Солнце холодно вспыхнуло на вершине. Мир оттаивал и расцветал красками с восходом светила.

Еще одна бессонная ночь во имя тебя, Дорна...

Я разглядываю свои и как бы не свои безвольно протянутые на столе руки. Стоит повернуть голову, и я увижу за окном земли дельты. Пробейся солнце сквозь тучи — и мир снаружи сразу же изменится, и я предчувствую эту перемену даже в рассеянном, пасмурном свете моей комнаты, в дальнем конце которой полумрак сгущается. По разлитому в воздухе ожиданию я угадываю время, по каменным стенам и висячим мостам — место, где нахожусь. Мужчина по имени Джордж ушел на весь день; женщина по имени Лона скоро подаст то, что принято обозначать словом «ужин». Память работала исправно: побуждаемый Джорджем, считавшим, что дела всегда должны идти своим чередом, я, вернее, некий автомат в моем обличье, совершал положенные действия, при этом по-человечески разумно.

Зимними вечерами, когда надвигается тьма, холод сковывает мир, делая его застывшим, недвижимым. Так же, почти нечувствительно, меня охватывало отчаяние. Настанет момент, когда из всех ощущений жизни мне будет доступно лишь одно — что я жив.

На лестнице послышались шаги. Слух отметил этот звук, донесшийся из иного мира, не имеющего отношения к ледяной пустыне моей души. Но человек всегда оборачивается навстречу тому, что приходит извне. Рассудок подсказал мне, что высокий человек с загорелым лицом и усталым, но горящим взглядом темных глаз, с перекинутой через плечо дорожной сумой — мой друг Дорн. Тот же рассудок напомнил, что людям обычно не свойственно сидеть сложа руки. Он же, всеведущий, знал, что в периоды подобной праздности на ум приходят разные странные мысли и — что еще хуже — зарождаются необъяснимые влечения.

Внезапное появление Дорна не могло не поразить меня, однако, хотя сердце учащенно забилось, я почувствовал и смутное сожаление — так мало, почти ничего не осталось от прежней радости и теплоты.

Дорн первым нарушил молчание. Окинув меня быстрым, испытующим взглядом, он тем не менее не стал ни о чем расспрашивать и не показал, что удивлен. Я сказал, что рад видеть его, улыбнулся и провел в отведенную ему комнату.

— Я видел Лону, — сказал Дорн. — Она знает, что я останусь ужинать.

В душе я порадовался: такая мука всегда объяснять что-то чужим людям, а Лона снова стала чужой.

Переодеваясь, Дорн ни разу не взглянул на меня, затем сказал по-английски: «Пять дней, как я вернулся домой, на Остров. Сестру не видел больше месяца».

При упоминании о Дорне сердце мое на мгновение замерло, потом часто забилось. Она снова стала реальной, живой. В мертвом холоде вспыхнул огонь, несущий боль.

Голос Дорна звучал теперь словно издали:

— Она сказала, что после моего отъезда у вас произошел разговор, ты признался ей и просил ее руки. О своем ответе она мне тоже сообщила. Не знаю, нуждаешься ли ты сейчас во мне и хочешь ли меня видеть, но на следующее же утро я выехал, чтобы прибыть как можно скорее.

Его поступок был мне понятен — проявление дружбы, за которое я должен быть признателен. Дорн стоял, глядя в окно. Сказать, что я в нем не нуждаюсь и не хочу видеть, было бы жестоким предательством.

— Не принуждай себя, — продолжал Дорн. — Не делай вид, будто рад, если это не так. Но мы, островитяне, считаем, что друг должен доказать свою дружбу, пусть и не произнеся ни слова. Поэтому друг всегда может появиться внезапно. Вот как я.

— Рад, что ты приехал, — ответил я, решив спокойно, без излишних эмоций изложить свою точку зрения на случившееся.

Мы поднялись в сад. Гор не было видно, равнины дельты растворились в голубоватой дымке. Присутствие человека, родного и близкого Дорне, трепетом отозвалось во мне, дав возможность на мгновение вновь проникнуться очарованием уходящих вдаль плоских равнин, но взлет чувства был недолог, и я вновь оказался среди обступивших меня каменных стен.

— Присядем, — предложил я, отворачиваясь. Мы устроились на одной из скамеек, и я тут же принялся излагать свою историю.

— Ты должен знать все, — начал я.

— Я весь внимание, говори, — откликнулся Дорн.

Странно было говорить с кем-то на эту тему, странно — упрямо и с трудом облекать в слова свои чувства. Обретая форму, они как будто менялись, и слова непонятным образом смягчали боль. Я поведал Дорну историю моей любви к его сестре, рассказал о том, как еще вначале она предостерегала меня от влюбленности, с какими чувствами я покидал Остров после первого посещения, и о двухдневном плавании по болотам, когда, уже будучи влюблен, не мог поверить в это, и как, увидев Дорну в июне на зимнем собрании Совета, я окончательно понял, что люблю ее. Я рассказал, сколь она была добра со мною, как чутка и откровенна и как не стала скрывать от меня тот самый «вопрос», что делал ее свободной, но удалял от меня; вспомнил и о том, как я приезжал весной и изо всех сил старался не докучать ей своим чувством. Мне показалось, продолжал я, что она догадывается о моей любви и сама довольно сильно влюблена, хотя, разумеется, никак не проявляла этого. Затем я описал нашу встречу в январе, шесть долгих недель спустя, когда я приехал, твердо вознамерившись узнать, как решился «вопрос». Но здесь я вновь так явственно представил себе прекрасный образ Дорны, что был не в силах продолжать.

— Какое счастье ее ждет? — вскричал я, переставая понимать, где я и что со мной.

Ответ Дорна не заставил себя ждать. Он говорил медленно, тщательно взвешивая каждое слово.

— Могу лишь догадываться, зная сестру достаточно хорошо, хотя и не настолько, насколько полагал раньше. Во всем, что касается помолвки, она действовала сама, ни с кем не советуясь. Думаю, они с Тором отлично понимают друг друга, и им будет легко жить в согласии. Сестра хочет от жизни больше, чем просто выйти за любимого человека. И я думаю, что Тор — единственный мужчина, от кого бы она хотела иметь детей. Желание жить во имя семьи и желание, или, скорее, готовность стать матерью детей Тора в ней сильнее всего. И она добьется того, чтобы стать тем, кем она хочет стать. Быть может, ее счастье именно в этом.

Он умолк, и я понял, что лишь некое исключительное стечение обстоятельств поможет Дорне полностью воплотиться.

— Если ты не против, — продолжал Дорн, — я скажу то, что думаю о ваших отношениях с сестрой.

— Конечно.

— Вероятно, ты мог бы дать ей что-то, чего не может дать он. Разумеется, если бы она любила тебя, я был бы рад за вас во многих смыслах. Ты очень нравишься ей и всегда будешь нравиться, причем не только как друг, я думаю. В глазах женщин есть разряд мужчин, которые больше чем друзья, мужчин, которые могли бы стать их любовниками, будь их чувства чуть глубже. Действительной любви они к таким мужчинам не питают, поскольку чувства их не перешли определенную грань. Сестра, однако, боялась тебя, вероятно, из опасения, что помимо своей воли слишком сблизится с тобою. Но, мне кажется, она понимала, что ты никогда не сможешь дать ей все, что ей нужно... Впрочем, я лишь строю догадки. Она совсем сбила меня с

толку. Вряд ли она собиралась говорить мне о том, что случилось, но сделала это ради тебя.

Пока Дорн не сказал ничего нового, ничего неожиданного. Его сомнения по поводу того, что касалось чувств сестры ко мне, оставили во мне сладковато-горький привкус, но стены, оградившие меня от любого непосредственного переживания, отрезавшие все пути, вновь обступили меня каменным кольцом. Тюрьма может быть даже уютной, но вместе со мной в ней поселился мой палач и мучитель — мысль о том, что Дорна будет несчастлива, причем неизбежно, как то следовало из слов ее брата.

— Дело в том, — продолжал он медленно, — что ты не способен дать ей все, что ей нужно. Я понимаю, тебе не очень приятно сознавать это, но все же, Джон, она была отчасти права, отказав тебе.

Слова Дорна действовали как скальпель хирурга.

— Она была права, и это может помочь тебе в будущем. Ведь дело не в том, что два идеально подходящие друг другу человека разлучены судьбой. Ваша совместная жизнь была бы обречена заранее.

Это было уже невыносимо. Сам факт, что я не могу дать Дорне всего, что ей нужно, делал мою жизнь бессмысленной.

— Да! — воскликнул я. — Мне ли не понимать, что я ей не пара.

— Предположим, она дала бы тебе согласие, но неужели ты, сознавая, что вряд ли сможешь дать ей все необходимое, женился бы на ней? Нет, нет, не отвечай! Если бы дело было только в словах, ответ был бы ясен: нет! Но в жизни все иначе. Надежда на то, что она любит тебя и что ты когда-нибудь сможешь дать ей все, велика. Однако я думаю, что, если мужчина не до конца уверен в любви женщины, ему не следует на ней жениться. Желания заставляют его строить воздушные замки и не позволяют ему быть вполне искренним и благоразумным.

Значило ли это, что я был не прав, добиваясь его сестры?

— Ты был прав, — сказал Дорн, заметив, что я нахмурился. — Прав, когда признался ей, что любишь ее и хочешь на ней жениться. Быть может, ей нужно было услышать это, чтобы лучше разобраться в своих чувствах. Женщине проще, когда мужчина говорит ей все начистоту. И мужчине лучше знать все, что чувствует женщина.

— Она высказала мне свои чувства совершенно недвусмысленно.

— Что ж, она умеет держать слово.

Дорн помолчал.

— Оба мы, — продолжал он после небольшой паузы, — будем рады, зная, что она идет к своей цели уверенно, без сомнений и колебаний. И хотя мы не можем знать этого наверняка, нам обоим известно, что Дорна человек отважный и сильный. А это уже кое-что значит.

Я кивнул.

— Мне бы хотелось объяснить тебе то, что ты еще, по-моему, не до конца понимаешь. Правильно, что вы не пустились вдвоем наугад в бурное море, не имея в лодке достаточных запасов. Ты не настаивал на подобном путешествии, так что ж из того, что сестра оказалась более дальновидной?

— Но задета моя гордость! — воскликнул я.

— Ты ни в чем не виноват. Разве ты не любил Дорну еще больше за ее пронизательность и умение предвидеть события? Разве не любил ты ее за склонность к риску, за желание дать развиваться заложенным в ней чертам? Ты любил человека, достойного любви. А это великая вещь! И ты ничем не умалил своего достоинства. Союз крепок тогда, когда двое находят общий язык. И не твоя вина, что вы с сестрой по-разному смотрите на мир. Ты тоже по-своему прав.

— Какая же мне польза от моей правоты?

— Какая польза от неразделенной любви? А разве тебе не кажется, что любовь — это

всегда благо, всегда польза? Я уверен, ты чувствуешь это! Да, крушение надежд болезненно. Однако любовь — всегда благо, и лучше, если ты любишь человека достойного... Позволь мне говорить начистоту.

— Разумеется!

— Я боялся того, что случилось, и много думал об этом. Мне не под силу переменить твое мнение, но, может быть, мои мысли помогут тебе разобраться в собственных. Что еще может сделать друг?

Слова Дорна глубоко тронули меня. То, что, как я полагал, уже умерло, оказалось живым и вновь отозвалось болью.

— Скажи мне, я хочу знать все, что ты думаешь, — ответил я.

— Тебе ведь не хотелось умереть, не так ли?

— Нет, но иногда мне казалось, что в смерти — покой.

— А не в том ли причина, что ты в разладе с жизнью, которую вынужден вести?

— Да, я это понимаю, — сказал я, — хотя никогда раньше мне это не приходило в голову.

— Существует притча о маленьком сером волчонке. Он охотился по ночам и добывал достаточно пищи, а днем выбирал место поукромнее и спал. Но волчонок рос, голод все чаще мучил его, и вот ему стало казаться, что можно устроить большую охоту и наестся вдосталь — так, чтобы этого хватило на всю жизнь. Однажды в лесу разбушевался пожар, и все животные — добыча волчонка — кинулись в разные стороны, спасаясь от пламени. Волчонок проснулся и тоже бросился прочь сквозь странно освещенный, не похожий на дневной лес. И тут ему пришло в голову, что вот он — подходящий случай для большой охоты... Мораль не в том, что в конце концов волчонок погиб в огне пожара. Наверное, такой моралью закончил бы свою притчу европеец. Но притча — островитянская. Итак, после большой охоты, насытившись вдосталь, волк погрузился в счастливый сон. Проснувшись, он решил, что сделал великое открытие: отныне он будет охотиться днем! Так он и сделал. Однако теперь он не мог уснуть по ночам. Он лежал, томясь, без сна, и странные знакомые инстинкты бродили в нем. Понемногу он стал чахнуть, пока наконец не ослаб так, что погиб от рогов маленькой антилопы. Волк — ночной охотник, днем ему положено спать. Волк из притчи не захотел вести жизнь, для которой был рожден, и оттого его ждал такой печальный конец.

Я слушал с величайшим вниманием. Мораль притчи ускользала, мне не удавалось уловить ее. Ум блуждал в растерянности. Я представил себе маленького серого волчонка, которого видел во время нашей прогулки со Стеллиной, вспомнил о необычных, иногда болезненных переживаниях тех встреч, и мне внезапно захотелось пройти по тому заснеженному лесу вместе с Дорной и вновь повстречать того волчонка. Совершенное, прекрасное видение самой красоты возникло передо мной — но опять непреодолимая преграда разделяла нас.

— Не кажется ли тебе, что в чем-то ты повел себя, как этот волчонок? — продолжал между тем Дорн. — Мы были жестоки к тебе. Мы вынудили тебя охотиться не так, как ты привык. Это не хорошо и не плохо, но ты не нашей породы, хотя и очень похож на нас. Конечно, есть чувства, которые испытывает всякий мужчина. Таковы любовь и дружба. Ты можешь дружить с нами, можешь любить и быть любимым. Но взгляды на брак у нас разные, а отношение к браку играет здесь важную роль.

Все это было мучительно знакомо. Островитянина вновь обратила ко мне свой чуждый, каменно-непроницаемый лик.

— Вы кажетесь мне очень странными, — ответил я. — Временами я чувствую, что понимаю вас, что я — такой же, и вдруг наталкиваюсь на что-то ужасно чужое, непонятное для меня. Словно вы моментально меняетесь, становясь существами иной породы, даже не совсем людьми.

— Все мы — люди, — сказал Дорн. — Будь мы просто животными, вряд ли бы мы чувствовали разницу.

Он помолчал, раздумывая над сказанным, и добавил:

— Хотя, впрочем, различия в повадках и образе мыслей, отличающие одну породу людей от другой, бросаются в глаза не меньше, чем разница между, скажем, пантерой и леопардом.

— Или между лошастью и ослом!

Мы рассмеялись, и обоим стало как-то легче. Понятия, слова вдруг показались забавой, яркими игрушками.

— Смысл притчи не в том, что лошадям и ослам надо пастись на разных выгонах, — сказал Дорн.

Мы оба понимали, о чем речь, — ведь от ослов и кобылиц рождаются мулы, сами бесплодные.

— Я хотел бы рассказать тебе притчу Станнинга «Идеальная жизнь». Не слышал такой?

— Нет.

— Так вот, в одной низине был заросший руд, скорее болотце, с большим камнем посередине, который все время пригревало солнце. На болотце расплодилось уйма жирных, ленивых мух. Место было укромное и безопасное. На камне, лежа на солнце, грелись ящерицы, недосыгаемые для своих врагов, и могли есть мух, сколько хотели. Опасностей и мук голода они не знали. Ящерицы были жирные, лоснящиеся. Почти все время они спали крепким, липким сном под жаркими лучами солнца. Если самцу вдруг хотелось самку, она ему не отказывала. Самок тоже было вдоволь. Все самцы ходили друг на друга, как и самки, и никому из них даже не приходило на ум, что может быть иначе. Самцы снова впадали в спячку, ну или подкреплялись немного. Полусонные самки откладывали яйца, предоставляя солнцу роль наседки, а сами тоже засыпали или подкреплялись мухами. Жизнь их была идеально гармоничной. Каждый, будь то он или она, имел все, что хотел. Все они умирали во сне и о смерти не имели понятия. Покой болота, вдоволь еды, вдоволь любви и безмятежность — такова была Идеальная Жизнь ящериц. Все было на редкость идеально, но вот однажды, может быть, потому, что солнце грело жарче обычного, вылупился ящеренок с осознанным стремлением к совершенству, не похожий на других, в котором вслед за означенным желанием совершенства появилось и его следствие — мысль. Так идеальной жизни ящериц настал конец... На этом кончается и притча.

Еще одна островитянская притча, и вновь — намек и скрытое нравоучение! Теплое, радостное чувство понемногу гасло. Слова Дорна разбередили во мне глубоко затаенное отчаяние и гнев.

— Эти ящерицы, — продолжал Дорн, — были в полном согласии с окружающим миром, а соответственно — с каждым из себе подобных. Люди тоже иногда жаждут подобного состояния, и иногда им удается его достичь. Мы — отчасти животные, и поэтому тоже нуждаемся в нем, желаем его и стараемся достичь такого согласия. Но люди способны испытывать подобное лишь недолго. По сути они утратили согласие с миром, а стало быть, и самими собою, хотя и утешаются, временами осознавая утрату.

Он негромко рассмеялся над своим нечаянным парадоксом. Но, Боже, какое отношение все это имело ко мне?

— Эти мысли не дают мне покоя, — добавил Дорн. — Быть может, то же происходит и с животными, но стремления их менее осознанны. А вот человеку равно глупо как стремиться достичь постоянного животного довольства, так и отрицать, что оно прекрасно только потому, что ему не дано наслаждаться им постоянно, и отчаиваться из-за этого.

Своими последними словами Дорн, быть может, сам того не подозревая, больно ранил

меня; что-то, а уж мою любовь к Дорне никак нельзя было назвать стремлением к «животному удовольствию».

— Не потому ли ты отчаиваешься, что чувствуешь в себе разлад? — спросил он, быстро взглянув на меня, но, так и не дав мне ответить, продолжал: — Средства против преходящего отчаяния нет, но если человек постоянно пребывает в отчаянии, единственный логичный выход — смерть. Ежели же человек хочет жить, то нелепо питать в себе отчаяние.

Все это были трюизмы, и все же они причиняли боль.

Неужто он думал, что я сознательно растравляю свою рану?

— Со всех сторон мы окружены природой: ветром и солнцем, дождем и облаками, деревьями, кустами и травами, животными и человеческими существами. Разлад наступает, если мы слишком резко изменяем естественное окружение. По крайней мере мы здесь думаем так, хотя вы, иностранцы, часто не придаете этому значения или вовсе не принимаете в расчет. Живя в естественном мире, мы испытываем естественные желания — голод, любовь, стремление так или иначе приложить свои физические и духовные силы. Если что-либо мешает естественному удовлетворению наших желаний, мы ощущаем внутренний разлад. Однако нам удалось в значительной степени упростить многие сложности. Мы живем так, что всегда можем удовлетворить голод и найти потребное приложение своим силам, физическим и духовным. Вы, иностранцы, устроили среду, в которой обитаете, так, что сами затруднили себе удовлетворение простых, естественных желаний, а ведь сложность мира усложняет и желания, а их разнообразие приводит к душевной смуте. Джон, тебе тяжело, тяжелее, чем могло бы быть кому-либо из нас. Ни один молодой островитянин не вынужден, как у вас принято выражаться, «прокладывать себе жизненный путь», когда он влюблен и хочет жениться. У него есть дом, куда привести жену, будь он *тана* или *денерип*. Женщина тоже выбирает между двумя мужчинами, а не так, как это зачастую случается у вас, — между двумя общественными и материальными положениями, которые меняют облик человека и скрадывают его внутренние мужские качества, их значимость. Нам трудно понять причины того, что приводит вас в замешательство. Но, мне кажется, я понял. Ведь я жил в вашей стране. Я видел многих женщин и мужчин, обременяющих чаши весов, предназначенных лишь для того, чтобы взвешивать чувства, совершенно посторонними доводами и соображениями... «Пусть ставка — лишь бездушный комфорт, но я — рискну».

Дорн умолк. Краем глаза я заметил, что он улыбнулся. По комнате пробежал ветерок, воздух потемнел.

— Я сделал тебе больно? — спросил Дорн.

— Ты не мог сделать мне больно.

— Мог — если бы солгал... Но не бери в голову! В подобных делах помочь человеку всегда нелегко. Я хочу вывести тебя на правильный путь. У нас есть свои средства. Природа ближе к нам, чем к вам, потому что окружающий нас мир — проще. С детства привыкли мы не сосредоточиваться на себе, целиком погружаясь в глубины природного естества, ронясь с ветром, солнцем, дождем, зеленью полей, трепещущей на ветру или под дождем древесной листвой, с нашими друзьями, нашим нехитрым искусством и каждым из всех тех существ, что до сих пор представляют собой часть природы. Мы знаем, что делать, когда теряем самое для нас дорогое... О, прикажи замолчать, если мои слова ранят тебя, но, поверь, быть может, и ты что-то почерпнешь из нашего опыта.

Чем могла быть для меня земля, самый воздух которой был пропитан запахом Дорны? Могло ли хоть что-то в опустевшей моей стране восполнить ее отсутствие?.. Я закрыл глаза. Вернуться домой, попытаться что-то сделать, кем-то стать — но зачем? В ту минуту мне показалось, будто я уже настолько отравлен опасным хмелем Островитянии, что единственное

лекарство для меня — смерть. Но рассудок гнал эту мысль прочь, и слова мои прозвучали трезво.

— Мне следует вернуться домой. Полная перемена обстановки — вот что, пожалуй, мне сейчас нужно.

— Как знать... — пробормотал Дорн. — Не знаю, не знаю... В Америке тебя снова закружит водоворот противоречивых чувств и мыслей. Скорее всего ты позабудешь о прошлом, но если нет, то тебе будет еще тяжелее. Твоя тоска отгородит тебя от всех, сделает одиноким. Она будет биться в тебе, не находя выхода. Это может погубить тебя... Не уверен, что ты вполне понимаешь. И все же лучше бы тебе остаться еще по крайней мере на год. А прожить ты здесь проживешь.

Он замолчал, и я неожиданно вспомнил о Дженнингсе. Ему удалось отплыть на корабле, о котором он упоминал в записке. Мэннеру он с собой не взял. В письме, которое я нашел по возвращении в Город, он сообщал, что в последнюю минуту девушка отказалась ехать с ним.

«Я переживаю за нее, как никогда не переживал ни за одну женщину, — писал Дженнингс. — Мне будет дьявольски не хватать ее. Конечно, я позорный дезертир, но я еду домой, там мне будет хорошо, там я позабуду все свои тревоги».

Дорн снова заговорил, продолжая развивать теорию волчонка, и, слушая его, трудно было не увлечься его рассказом.

— Вопреки Дарвину, — рассуждал Дорн, — вы, европейцы, не приучились воспринимать себя животными, и ваша философия тоже не дает себе отчета в том, что все мы не более чем животные. Нам же здесь никогда и в голову не приходило, что мы — это что-нибудь иное. Все мы в чем-то похожи на того маленького серого волчонка, еще до пожара. Если он и упустил понравившуюся ему красивую серую самку, уверен, это не нанесло ему душевной раны. Он выл от тоски, думая о ее поджарых серых боках. Для него то была наивысшая точка разлада и смятения. Наверное, в его маленькой голове осталась после утраты затаенная боль, но, движимый прежним инстинктом, верный себе, он повел *ночную охоту*, и она дала ему знакомое чувство уверенности и успокоения. Насколько труднее было бы ему смириться с потерей, охотясь он по-прежнему днем, когда все немного чужое! Возможно, состояние утраченного идеального равновесия уже никогда больше не посетило его, но он продолжал жить естественной жизнью маленьких серых волков. И островитянин в твоем положении продолжал бы прежнюю жизнь. Он не утратил бы корней, как ты, потому что у него есть свое место на земле, среда, освоенная многими и многими его предками, — его *алия*.

Последние слова, произнесенные низким, глубоким голосом, тронули меня.

— Я хочу предложить тебе ближайший, скорейший выход, — продолжал Дорн. — И все же — что может сравниться с чувством *алии*?

— У меня нет поместья, — начал я, как никогда понимая, какая пропасть лежит между ходом мыслей островитянина и моим. — Но я думаю, что, будь у меня свой дом, он послужил бы мне последним желанным прибежищем.

— Кажется, усадьба представляется тебе всего лишь местом, куда можно укрыться со своей избранницей. Прости, но для нас оно — нечто иное, и уж никак не убежище от окружающего. Границы и значение поместья — шире. Это не гнездо, свитое одним человеком, не крохотная ячейка, предназначенная для мужчины, женщины и их детей. Поместье — целый мир, включающий прошлое, настоящее и будущее семьи, мир древний, но постоянно растущий — предмет заботы всех нас. И никакая личная утрата или горе не может отравить это место для всех.

— Такого поместья у меня нет, — сказал я, — но мне понятно, что ты имеешь в виду.

— Сейчас перед тобой — очень сложная задача: покончить с мучающим тебя внутренним

раздором. К тому же у тебя нет хоть какого-то естественного начала, к которому ты мог бы обратиться. Что ты собираешься делать?

Жестокий вопрос!

— Не знаю!

— Твоя давняя, страстная мечта не воплотилась. Но и умирать, я думаю, тебе не хочется.

Дорн легонько, ласково коснулся моего колена. Я взглянул на него в отчаянии. Да, он был прав, но спасительного выхода, существовавшего для островитян, для меня не было. В то же время жест Дорна глубоко тронул меня. Я всматривался в ясные, пристально глядящие на меня глаза, казавшиеся чуть светлее на загорелом, обветренном лице, — глаза с ослепительно белыми белками, горевшие ярким, теплым блеском. То был взгляд из иного мира, взгляд почти нечеловеческий. Затем на мгновение они напомнили мне Дорну — ее независимый, горделивый взор. Мы не могли понять друг друга, и я опустил глаза, стараясь не смотреть на Дорна, чей взгляд, словно в насмешку, так напоминал взгляд сестры.

— Я знаю, что говорю, — воскликнул Дорн с неожиданным чувством и еще сильнее сжал мое колено. — Жизнь должна вернуться к тебе. Не прячься от нее, как бы больно тебе ни было! Не старайся отстраниться, уйти в себя. Не бойся, когда что-то напоминает тебе сестру.

Слова, слова, слова! Что мне было в них? Я хотел покоя и тишины.

— Я понимаю, что ты имеешь в виду, — ответил я. — Конечно, ты прав.

— Не жалея себя. Тебе не за что себя жалеть.

— Да я и не жалею!

— Радуйся тому, что чувства твои столь сильны. И ты ни в чем не виноват!

— Еще бы! — воскликнул я, всерьез начиная сердиться.

— Гони тоску — она ведь тоже одна из форм снисхождения к себе.

— Я вовсе не тоскую! Нет. Дорна никогда не обнадеживала меня.

Но на мгновение я с неподдельной тоской вспомнил один ее поступок, который сама Дорна расценила как кокетство.

— Пусть чувство твое будет сильным и великодушным!

— Оно таково! — воскликнул я; однако длить его означало обрекать себя на бесконечную муку.

— Ты не в силах окончательно забыть ее. Ты не хочешь этого. Твоей любви не хватает страстности. Пламя страсти — *ания* — гаснет, забывается. Совсем не то ровное сияние *ании*. Ты должен держаться этого светоча, Джон!

Слова его взволновали меня, но пробудившиеся чувства лишь обострили боль утраты.

— Я ничего не должен!

— Но с ним ты не пропадешь! Не думай, что я предлагаю тебе лелеять пустые мечты. В моей сестре ты увидел женщину, благодаря которой твоя жизнь могла бы продолжиться в новых жизнях, соединявших оба ваши существования.

Я вспыхнул. Мне никогда не приходилось думать об этом столь определенно, и я устыдился.

— Оставь надежду, но и не пытайся забыть — не удастся. Не подавляй чувства, возникающие из глубин, подобно бьющим весною ключам.

Дорн встал.

— Глупо, конечно, говорить тебе, чтобы ты не надеялся. Надежда похожа на дуновение ветерка. Она может стихнуть на время, как ветер, и, как ветер, неожиданно повеять вновь.

Темнота сгущалась. Деревья в полях, дома, разбросанные по плоской равнине, укутывались покрывалами тьмы, готовясь к ночи, равномерно погружаясь в сумрак. Звезды — то здесь, то там — проклевывались на небе.

— Мне нужно сказать тебе нечто вполне определенное, — произнес Дорн...

Неслышно вошла Лона, чье лицо светилось в полутьме, как полная луна, и сказала, что ужин готов. Мы спустились вниз — к ярким свечам, пламя которых отливало в столовом фарфоре, разливалось по белой льняной скатерти. Мы сели, тьма обступила нас. Дорн намеками подводил меня к мысли о новой надежде — но не той, что была бы своевольна, как ветерок.

«Нечто вполне определенное», что собирался сообщить мне Дорн, сводилось к трем пунктам: во-первых, поскольку у меня нет своего поместья, мне следует отправиться к кому-нибудь, и там на правах члена семьи я смогу жить и работать столько, сколько захочу; во-вторых, мы с ним сможем путешествовать при любом удобном случае; наконец, в-третьих, покончив с консульскими делами, я получу возможность наблюдать и описывать свои впечатления от политической борьбы, публикуя их в какой-нибудь американской газете или журнале. Это и вправду были конкретные предложения, и, прими я их, они бы полностью отвлекли меня умственно и физически от невеселых дум. На первый взгляд все это казалось пустой затеей, но попробовать стоило, поскольку я был приговорен жить. Итак, я препоручил себя Дорну, согласившись делать все, что он велит, и питая к нему примерно такие же чувства, какие испытывают к врачу, который сам по себе не внушает особого доверия, но предписывает курс лечения, обещающий поправить здоровье пациента и уж никак не навредить ему. Единственное, в чем я сомневался, — оставаться ли мне в Островитянии? Почему бы не отправиться домой, как только прибудет мой преемник? При этой мысли мороз пробежал по коже. Что ожидало меня дома?

Дорн мог остаться у меня до послезавтра, не дольше, но должен был вернуться через две недели, после чего мы собирались вместе отправиться к Файнам, где я и поселюсь, отлучаясь в Город, как только того потребуют дела в консульстве либо важные политические события. Критика в мой адрес из-за отлучек и предписание не покидать столицу теперь не имели значения. Подав прошение об отставке, я мог делать работу, как я считаю нужным.

Имея перед собой цель — уехать хоть куда-нибудь, пусть даже хлопоты оказались бы пустыми, я неожиданно почувствовал облегчение, словно попал в накатанную колею, по которой можно было двигаться не задумываясь. За две оставшиеся недели предстояло переделать массу дел. Для Даунса я подыскал отставного солдата, который немного знал английский и был достаточно сообразителен, чтобы исправлять оплошности хозяина. Консульские дела были приведены в идеальный порядок, причем не в соответствии с вашингтонскими инструкциями, а по собственному усмотрению. Джордж переехал в мой дом на городской стене. В случае необходимости он мог вызвать меня письмом, и я через три дня оказался бы в Городе — срок недолгий по островитянским понятиям.

Две недели спустя, седьмого числа, вернулся Дорн, и на следующее утро мы отправились к Файнам; университет в Ривсе должен был стать нашим первым ночлегом. Путешествие в компании сильно отличается от путешествия в одиночку. Год назад мы ехали с моим другом той же дорогой, на тех же лошадях — но память о той давней поездке казалась сейчас воспоминаниями человека, мне почти не знакомого.

Было жарко, мы спешили и подъехали к Ривсу запыленные, с запекшимися от зноя и жажды губами. В пути я заметил, что у Дорна явно было что-то на уме. Я знал его достаточно хорошо, чтобы подметить это, но не настолько, чтобы угадать причину. Он был весел и рассеян в одно и то же время. Что бы это значило?

В университете нам отвели комнаты для старшекурсников в дальней части здания. И снова, как год назад, мы шли к ним по запутанному лабиринту открытых дворов и крытых галерей. Здесь по-прежнему царила тишина, студентов почти не было видно. За нашими окнами по-

прежнему желтели пшеничные поля, ожидавшие сбора урожая. Как и раньше, здесь полностью отсутствовала преграда между сложным, но полным мира и покоя царством знания, мысли и архитектурных красот и — открытыми небу просторами фермерских земель. Каждая часть островитянской цивилизации, строго замкнутая и ограниченная, была прежде всего сама собою. Не существовало никаких переходных участков, как не было предместий вокруг столицы и провинциальных городков. Столица, университет и провинциальные города, с одной стороны, так же, как фермы — с другой, придерживались каждый своего исконного облика. Оставаясь сами по себе, они дополняли друг друга.

Дорн поинтересовался, чем я собираюсь заняться, таким тоном, что в его собственных планах мне не пришлось усомниться. Именно этого я и хотел. Итак, было решено, что мы не будем обедать в главной трапезной вместе с преподавателями и студентами и не станем сразу же заявляться к Гилморам. Сначала выкупаемся, а потом, ближе к вечеру, поужинаем у себя. И Дорн, и я были настроены держаться подальше от окружающих.

Мы сняли одежду и, оставшись в одном нижнем белье и захватив чистую смену и полотенца, отправились к месту купания. В воздухе еще стоял полуденный зной, когда мы прошли через Речные ворота и сразу же очутились в лесу, покрывавшем склон спускающегося к реке холма. Однако на обратном пути, после неторопливого купания в полном одиночестве, стало понемногу темнеть и подул легкий ветерок.

Мы сели ужинать в угасающем свете дня. Кожа еще слишком горела, и мы были чересчур усталыми, чтобы почувствовать настоящий голод. Купание приглушило жажду, и легкое сухое вино, заказанное Дорном, пришлось как нельзя более кстати.

Дорн что-то задумал. В этом я ни минуты не сомневался, глядя на его обветренное решительное лицо, когда он — одну за другой — зажигал стоящие на столе свечи. До какого-то мгновения проникавший в комнату свет резко сменился тьмою, и только слабо светился прямоугольник открытого окна. В зрачках Дорна плясали огоньки свечей. Он налил мне вина, до краев наполнил свой бокал и поднял его.

— Почему бы нам не попытаться разогнать тоску? — спросил Дорн, залпом опустошая бокал.

Право, почему бы и нет? У меня настроение было, что и говорить, мрачное, однако вино могло лишь усугубить его.

— Так, значит, тоска пройдет? — спросил я.

— Попробуй — узнаешь.

Я тоже опустошил свой бокал.

— В Гарварде был человек, — продолжал Дорн. — Он не употреблял спиртного и объяснял это не тем, что боится стать пьянчужкой, не страхом показать дурной пример слабовольным, не боязнь испортить себе здоровье и не тем, что может зайти слишком далеко и превратиться в посмешище. Он полагал дурным все, что может так или иначе изменить его естественное отношение к окружающему.

— И ты с ним согласен? — спросил я. — Это всегда было для меня немаловажно.

— По-моему, он был дурак, — ответил Дорн. — Мы всегда стремимся так или иначе повлиять на свое настроение, изменить его. И это не худший способ, если только знать меру.

— А не бывает так, что от него становится еще хуже?

— Если тебе стало хуже, бросай пить и пойдешь прогуляйся или займись чем-нибудь.

Мы снова наполнили бокалы.

— У меня на душе так же невесело, как и у тебя, — произнес Дорн. — Причин много! Потом расскажу... Сначала разберусь сам.

Он бросил на меня быстрый взгляд и рассмеялся, блеснув зубами.

— Почему наш приятель не желал принимать в расчет вполне очевидные поводы для воздержания: ну хотя бы здоровье или возможность утратить над собой власть? А настрой человеку необходимо временами менять. Настроение, длящееся бесконечно, — гибель. Поддаваться настроению опасно, особенно если ты человек по характеру суровый и замкнутый, да еще не в ладу с окружающим.

Дорн пронзил меня быстрым взглядом. Он возвращался к темам нашего разговора двухнедельной давности — разговора такого большого для меня, и я подозревал, что это не случайно. Что ж, тем лучше!

— Стало быть, ты посоветовал бы волчонку из притчи привыкнуть к вину, так же как он приучился охотиться днем?

— Зависит от здоровья, — уклончиво протянул Дорн. — Кроме этого — о чем беспокоиться?

— Здоровый человек тоже все помнит.

— А кто сознательно стремится к забвению? Что за ерунда! Ты забываешь или не можешь забыть — все зависит от глубины твоих чувств. Забыть сознательно? Чепуха!

Он пристально поглядел на бокал в своей руке.

— От этого вина голова завтра болеть не будет. Не отставай, Джон Ланг! Куда нас занесет, я и сам не знаю. Какая разница!

— Не отстаю! — ответил я, хотя перед моим внутренним взором на мгновение мелькнуло пугающе безобразное видение — страшный призрак завтрашнего дня, который пьяница надеется позабыть в праздничном ослеплении преходящей минуты.

— Пуританин! — сказал Дорн.

— Почему пуританин?

— Пуританин до мозга костей!

— Возможно, — ответил я, задумавшись.

— В этой стране нельзя быть пуританином, — продолжал между тем Дорн, и голос его звучал то громче, то тише, то опять совсем рядом. В голове у меня приятно шумело.

— Так что там насчет пуритан?

— Они надеются обрести спасение, обуздывая свои чувства. Я узнал про это в Гарварде. Доводы того человека против вина были типично пуританскими. Конечно, ваши пуритане многое черпают прямо из Библии. «Всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже согрешил с ней в сердце своем». Таков пуританизм. Он игнорирует реальность... Джон, мы мало занимаемся умозрительными науками в нашем университете — чуть ли не вдвое меньше, чем вы у себя в Гарварде. Сравнивая их, я всегда думаю примерно об одном и том же. Островитянская философия — или называй как знаешь — это более или менее четко сформулированные советы о том, как жить счастливо. Кое-кто у нас пытался обобщить их. Я сам однажды написал на эту тему небольшой трактат, но вряд ли смог бы повторить попытку, во всяком случае сегодня. Ни один иностранец, насколько я знаю, не пробовал ее описать, но Борден Картрайт свидетельствует, что как-то беседовал о философии с неким островитянином и, насколько он мог судить, его собеседник полагал, что гедонизм в сочетании с врожденной добросердечностью и есть философия островитян. Истинно островитянская философия еще ожидает своего часа, когда какой-нибудь умудренный опытом философ провозгласит ее миру.

Мой друг улыбнулся все той же коварной улыбкой эльфа, которая была мне так знакома... Если ты настроен мрачно, вино делает тебя еще мрачнее. На благодатную перемену надежды мало... Так мне казалось... Философия, хм?

— Почему ты ведешь себя не как мужчина? — спросил Дорн.

— Еще не научился.

— Вернись на пару лет в Гарвард. Получи философскую степень. Забудь обо всем и возвращайся. — Глаза его вспыхнули. — Живи, как мы живем. Читай наши притчи, особенно Бодвина. Попробуй! У Файнов ты найдешь все издания Бодвина и других авторов. Скорее всего они предложат тебе заняться починкой изгородей. Тогда бери книгу с собой. У нас не принято обязательно работать по восемь часов в день, так что пусть твоя совесть будет спокойна. Ты подолгу будешь предоставлен сам себе, и когда тебе надоест копать ямы, вбивать столбы и всякое такое прочее, найди место на солнышке и читай сколько душе угодно.

Дорн и помыслить не мог, каким чудовищно скучным представлялось мне то, что он так вдохновенно расписывал!

— Мы никогда не относились с недоверием к своим чувствам. Чем больше их, тем богаче человеческая жизнь, так мы считаем. Мы не привыкли копаться в собственных ощущениях... О, безусловно, мы можем обобщать и делать выводы, что я пытаюсь продемонстрировать сейчас! Мы полагаем, что именно внешний мир — мир вне нас — помогает нашим чувствам становиться разнообразней и богаче, а вовсе не заигрывания с уже пережитым, не самокопание и не стремление приукрасить чувства словами. Когда что-то у кого-то не ладится, мы советуем ему внимательней оглядеться вокруг, сознательно ища спасение вовне. Целебные ощущения можно обрести, и работая у себя на ферме, а когда приестся и перестанет действовать, всегда можно отправиться в странствия. Если человек — художник, творец, пусть творит новое, извлекая его из внешнего опыта, разумеется, заботясь о том, чтобы не вложить в свое сознание только свою печаль. Сознательное обращение к внешнему ведет к тому, что человек забывает о себе и вновь чувствует гармонию с миром. Быть может, именно это имел в виду Картрайт, говоря о нашем гедонизме. Прочие люди — не более чем объекты нашего чувственного восприятия — женщина, которую мы любим и которая, конечно, кажется нам самой прекрасной на свете... Ах, извини!

— Ничего, ничего, — ответил я. И в самом деле, разговор, да и все происходящее мало занимали меня. Слегка клонило в сон, а голос Дорна звучал убаюкивающе и как бы издалека, пока он не сказал «ах, извини!». Слова его разом заставили меня проснуться.

— Кажется, я действительно говорю что-то складное, — заметил Дорн почти удивленно. — Прямо глава из моего трактата. Но, конечно, увлеченность внешним тоже может далеко завести.

— И что тогда? — спросил я, собственный голос показался чужим.

— Человек становится таким безликим и несебялюбивым, что от него остается лишь оболочка. Если тебя воспринимают только как нечто внешнее, то могут пройти мимо того, что у тебя внутри. Вот и Стеллины... хоть я и люблю их. Они зашли так далеко, что лишь изредка думают о себе, сосредоточившись только на друзьях — на том, что те чувствуют, чего хотят. Чересчур развитая отстраненность подавляет личность, лишает плодотворности ее усилия, истощает ее.

Я рассмеялся: объяснения Дорна лишали поцелуй Стеллины лестного привкуса. Дорн на мгновение задержал на мне взгляд.

— Разве таким людям дано узнать, что такое настоящая *ания*? — задумчиво произнес он. — Они вредят сами себе безмерной заинтересованностью в других, желанием нравиться, и тем, кто их любит, они вредят тоже... Нет, устремленность вовне может завести человека слишком далеко. Здесь, как и везде, все решает мера. — Ну а как ты? — неожиданно спросил он.

— Пока в порядке.

Дорн вновь наполнил бокалы и, взяв их, медленно обошел вокруг стола. Я следил за ним, испытывая легкое головокружение.

— Я тоже, — произнес Дорн и выпил. Оба мы были уже слегка навеселе. Крепко сжатые губы Дорна обмякли, у меня в голове тоже творилось что-то непонятное. Я помнил о своей

великой утрате, о том, как мне пришлось страдать, но теперь даже это казалось далеким. Однако глаза Дорна по-прежнему глядели сурово и трезво. О чем он думал?

— Жаль, что у меня нет под рукой моего трактата, — сказал он. — Все раздарил. Впрочем, ни тебе, ни мне он и не нужен. Тебе надо просто стать островитянином, обзавестись именем. Если Мора одолеет нас — почему бы тебе не поселиться здесь? Мы подыщем тебе имение.

Сердце мое залила волна благодарности, но я был верен присяге.

— Надеюсь, не одолеет. Хотя это единственное, из-за чего я желал бы ему победы.

— Так тебе и вправду хотелось бы поселиться среди нас?

— Другого такого места нет, — ответил я, вновь чувствуя подступающее отчаяние.

— Если это и в самом деле так... — начал Дорн, но голос его оборвался. Он был очень взволнован. Минуту спустя он, почти непринужденно, продолжил: — Даже если мы не победим, быть может, нам удастся помочь тебе задержаться на время... хотя пока я не вижу реальных путей. Словом, не особенно обнадеживайся, Джон.

— Не буду.

— Думаю, у тебя получится, — сказал Дорн. — Правда. И вовсе не потому, что я сейчас немножко пьян и очень люблю тебя. Тебе многому надо научиться, но ты — прилежный ученик. Ты схватываешь все проще и легче, чем я, когда старался постичь вашу страну. По сравнению с тобой я — провинциал. Но пока ты, да прости мне, слишком мягок.

— Мягок? — переспросил я, уже с интересом.

— Мы причинили тебе столько боли! У меня нет сейчас готовых рецептов, но постарайся понять наш образ жизни, и ты возмужаешь! Все дело не в тебе, а в твоей проклятой работе. В тебе заложено все необходимое. Ты действительно — один из нас!

Я окончательно оттаял, чувствовал себя счастливым, но все еще пытался сопротивляться.

— Я до сих пор не уверен, захочу ли.

— Ладно, подожди, пока будешь уверен.

Слова Дорна прозвучали несколько загадочно. Он рассмеялся.

— Я сказал, тебе нужна ферма и еще кое-что, чего тебе хочется, но что никак тебе не дается. Не знаю, хорошо ли ты сейчас соображаешь, но я скажу. Конечно, есть разные мужчины, и у некоторых бывают желания...

— Не надо! — прервал я его, догадавшись, что он имеет в виду женщин — других женщин.

— И в этом ты должен быть уверен, — с расстановкой произнес Дорн, — прежде чем обречь себя на бесплодие.

На несколько мгновений мы оба полностью протрезвели.

Дорн налил еще вина.

— Это было бы еще хуже, — сказал он.

— Да! — воскликнул я. — Ведь она может умереть.

И снова всё вокруг подернулось дымкой, сквозь которую я видел, как Дорн медленно покачал головой.

— Ее смерть как заход солнца, — сказал он наконец. — И для меня со смертью Некки навсегда зашло бы солнце и мир превратился бы в груды пепла... Но я не то имел в виду. Ты потерял Дорну, потому что она сама так захотела, и в этом есть некая справедливость. Но гораздо хуже — отвернуться от любимой женщины, когда она вверится тебе. Так случилось со мной.

Казалось, воздух в комнате звенит от напряжения. Предметы стали медленно вращаться вокруг меня. Это было темное и страшное дело, сути которого я был сейчас не в силах понять.

— Почему? Что именно случилось? — И вдруг я вспомнил признание Дорна во время нашей остановки в Мэнсоне. — Прости! — сказал я, едва сдерживая рыдания.

— В прошлом году я рассказывал тебе о своих опасениях, не заставляй меня повторяться. Некка не может стать моей женой при той жизни, которую я должен вести, не может чувствовать, думать и делать все так, как раньше... Я знаю, что она стала бы моей. Она сама говорила об этом. И я хочу ее, но не могу обладать ею. В этом тоже, наверное, есть своя правота. Но, повторяю, гораздо хуже отвернуться от любимой женщины, чем если она сама отказывает тебе.

Я не на шутку рассердился.

— Хуже?! Ведь ничто не мешает тебе соединиться с нею. Тебе не придется отказываться от нее. И она будет все время ждать тебя. А мне не видать Дорны! Она никогда не достанется мне!

— У тебя есть цель...

— Какая?!

— Жить... жить, чтобы в твоей жизни не умирала красота, подаренная ею. Тебе не придется думать о том, что она... ждет.

— Цель есть у тебя, а не у меня! У меня нет цели! У тебя есть над чем трудиться. Неужели ты и вправду считаешь, что это хуже? Она ждет тебя! Говорю тебе, она...

— Да, она ждет меня, и это-то — самое ужасное.

— У тебя есть причины...

— Твоя причина — Дорна.

— Я хочу иметь свои причины. Все остальное ничего не значит.

— Неужто нам станет легче, если мы выясним, чей жребий хуже?

Смысл сказанного Дорном охладил мой гнев — словно туман окутал палящее солнце, повеяло холодом, жутким и сверхъестественным холодом; мертвый мир кружился вокруг.

— Остановимся на том, что каждому из нас по-своему плохо, — сказал Дорн.

Значит, он был способен вытерпеть даже это.

— Хорошо. Согласен.

— Сегодня тяжелый день для Некки.

Голос Дорна донесся издалека, и я не сразу понял, что он хочет сказать.

— Для Некки? Почему?

— Сегодня мужчина, за которого она хотела выйти замуж, женится.

Я затаил дыхание.

— Какой мужчина?

— Тор женится на моей сестре.

— Тогда почему ты не там?

Было неправильно, что Дорн сейчас здесь, а не на свадьбе у сестры.

— Я должен был повидать тебя сегодня...

В ту ночь Тор ласкал тело Дорны, а я пил с моим другом. Мир вращался все быстрее и быстрее. Нельзя пить — ведь сегодня Тор овладел Дорной.

Я попытался встать.

— Я еще держусь, — прозвучал голос Дорна.

— Но ведь они должны были... в мае...

— Они передумали.

С бешеной скоростью вращавшийся водоворот утягивал меня вниз.

— Спасибо, что приехал, — только и сказал я.

Воронка сомкнулась над моей головой.

Наутро после моего приезда к Файнам мы с Анором выехали со двора усадьбы. Анор, крепкий, коренастый мужчина лет сорока пяти, с походкой вразвалку, с лицом, заросшим темной небритой щетиной. Вместе с семьей он жил примерно за четверть мили от усадьбы Файнов, у дороги к ущелью Моров, рядом с домами еще двух арендаторов — Бодвинов и Ларнелов. Он должен был показать мне изгороди, нуждающиеся в починке. Отправились мы верхом, сразу после завтрака, прихватив с собой кое-что перекусить. Анор был почти уверен, что к концу дня я уже сам смогу во всем разобраться. Обращался он со мной, как взрослый с ребенком, объясняя то, что и само собой было понятно, стараясь говорить как можно медленнее, подбирая самые простые слова. Ему казалось странным, что кому-то приходится втолковывать, как чинить изгороди. Если человек и не занимался этим раньше, то уж наверняка ему приходилось делать много схожего — так чего тут учить ученого.

Погода по-прежнему стояла жаркая, но здесь, в горах, воздух был сухой, прохладный и свежий, пропитанный бодрящим запахом сосновой смолы и хвои.

Сначала по плану Анора нам предстояло проехать поместье из конца в конец, двигаясь вдоль большой дороги, — от южной оконечности, где горы смыкались, оставляя лишь узкое ущелье, по которому текла река и где проходила дорога, ведущая вниз, в Тиндал, до северной — где горы снова сходились теснее и дорога вела вверх, к ущелью Моров. Почти все время нас с обеих сторон окружали каменные стены.

Дорога была пыльной. Дождя, по словам Анора, давненько уже не было. Через равные промежутки времени мы останавливались.

— Посмотрите, — сказал Анор. — Камень выпал. Видите? Надо положить новый. Такого же размера. И немного замазать известкой. Знаете, что такое известка?

Я ответил, что знаю.

— Как замесить раствор — я покажу. В других местах можно и без раствора. А здесь без раствора не обойтись. Если камень вывалился — посмотрите хорошенько, может, найдете. Ежели найдете — ставьте обратно. Бывает, правда, камень вывалится, да и закатится куда-нибудь. Кто их знает? Коли так — ищите новый. Тут везде каменные кучи есть. Я покажу. А можно и из ручьев брать. Где ручьи — тоже покажу. Каменная стена — одно дело. По равнине они всегда каменные стоят. Одно то есть дело. А вот по косогорам — другое: столбы с поперечинами. Совсем другое дело. Все покажу.

Мы тронулись дальше.

— И куда эти камни закатываются? — риторически спросил Анор. Похоже, это серьезно волновало его.

Доехав до северной границы поместья, мы спешили. Каменная стена здесь кончалась, но изгородь, свернув, круто поднималась по лесистому склону. Лошади из последних сил карабкались вверх по тяжелому грунту, так что скоро и сами они, и седоки покрылись горячей испариной.

— Дальше пойдем пешком, — сказал Анор, останавливаясь в душной тени под деревом. Потом указал на изгородь, углубляющуюся в густой лес совершенно непонятно зачем, и возобновил свои наставления. Уже готовые столбы и поперечины лежали на мельнице, откуда их можно было брать по мере надобности, но их, как ни крути, не хватало. Посему предстояло валить лес, свозить бревна на мельницу, распиливать там и смолить. Этой науке я должен буду специально обучиться. Починяя изгороди, я смогу брать с собой лошадь, нагруженную

необходимыми материалами, а иногда, для больших грузов, запрягать ее в повозку. Изгородь, вдоль которой мы шли, на мой взгляд, была вполне надежной и прочной, однако Анор подметил изъяны и показал, как находить их. Потом подробно описал, как производится починка.

Третью милю мы шли вдоль протянувшейся прямой линией изгороди, то еле заметно опускавшейся, то подымавшейся соответственно рельефу; по ходу мы проверяли столбы и поперечины. Мне доставляло особое удовольствие обнаруживать сломанную жердь, пропущенную Анором. Что ж, возможно, я когда-нибудь овладею искусством чинить изгороди. Это будет даже забавно.

— По холмам камней много, а изгороди — деревянные, — сказал Анор. — А вот на равнине — ни камня, а изгороди ставят каменные. Почему камни сами не берутся там, где изгороди — каменные? От подземной воды на равнинах гниют опоры. А на холмах — глянь — деревья, и ничего. Во всем то есть мера соблюдается.

Довольный своим рассуждением, он замолчал, а немного спустя я услышал, как он тихонько напевает:

Человеку — птичье пенье отрада,
Птице — отдых на ветвях,
Корню дерева сок земной сладок,
Лишь земля сама собою жива.

Красота людские сердца питает,
Красота расцветает на стебле любви,
Человеков Он для любви сотворяет,
Лишь любовь сама собою жива.

Не обращая на мое присутствие абсолютно никакого внимания, он ковырял кончиком ножа верхушку опоры.

— Еще постоит, — сказал он наконец и пошел дальше, придирчиво осматривая поперечные жерди.

Слово «любовь» в песне Анора везде звучало как *ания*...

На следующее утро мы с Анором спустились к мельнице взглянуть на сложенные там столбы и жерди, причем Анор объяснил мне, как обращаться с пилой, если потребуются дополнительные материалы, добавив, что по уговору с Катлинами, жившими на другой стороне долины, Файны могли законно пользоваться мельничными механизмами.

Теперь, когда я тоже был одним из Файнов, мне было особенно приятно слышать это.

Затем мы проехали к мастерским, стоявшим вдоль дороги почти сразу за домами самого Анора и других арендаторов. Здесь Анор показал, как замешивается раствор, и я под его наблюдением зацементировал камень в стену. Потом, вооружившись жердями и гвоздями, пилой и молотком, я продемонстрировал свое умение чинить сломанные жердины.

— Ну, мне пора, — неожиданно сказал Анор. — Может, пока вы не слишком расторопны, но главному уже научились. Приезжайте к нам, когда у нас будут гости или когда хотите.

Погода стояла примерно такая, как в середине нашего сентября. Днем было тепло, как летом, хотя по воздуху чувствовалось, что лето прошло, да и ночи стали холодные. Жители долины старались поскорее собрать фрукты, которым угрожали заморозки.

Каждое утро я объезжал свои изгороди, возвращаясь к вечеру; на работу я шел пешком — Фэк был нагружен жердями, но обратно — чаще всего не спеша ехал верхом в холодных сырых сумерках.

Отправной точкой служил северный угол изгороди, и я медленно продвигался к югу — от опоры к опоре. Первые три-четыре дня изгородь шла лесом. Ковер из шуршащих под ногами листьев, влажно переливающийся в низких лучах утреннего солнца, ласкал взгляд, но к полудню, когда солнце поднималось к зениту и начинало припекать, листва, то тут, то там тронутая желтизной, смыкалась со всех сторон, закрывая видимость, и я торопился с работой, спеша покинуть уже ставшие знакомыми места. Да, жестоко поступил Дорн, посоветовав мне столь одинокое занятие в окружении мертвенно застывших деревьев с их бессмысленно лепечущей, бесцельно падающей листвой, усыпающей мшистую землю жухнувшим покровом, и весь долгий день изгородь тянулась и тянулась перед моими глазами, в монотонном чередовании опор и жердей, каждая пядь которых требовала пристального внимания. Стук молотка громко разносился вокруг. Я разговаривал вслух, впервые на собственном опыте постигнув, как одиночество и непоправимое сознание утраты внушают человеку странные привычки, вплотную подводя его к черте, за которой лежит непостижимая область безумия.

Лорд Файн отбыл в столицу на собрание Совета. Брат лорда и его жена Мара, тихая престарелая чета, держались со мной вежливо, но отчужденно. Я рассказывал им, что успел сделать, где побывал. Они, в свою очередь, делились новостями о происходящем в имении. Год выдался хороший, разве что дождей было маловато. Посевы нигде не пострадали, но урожай оказался невелик. Старички не выказывали ни особого удовольствия, ни тревоги, ни радости, ни разочарования.

Как-то появилась Мара — взглянуть на мою работу, заодно прихватив и полдник. Было жарко, и видневшееся вдали стадо искало тени. Усадьба далеко внизу расплывчато проступала сквозь марево, словно придавленная к земле зноем.

Мара посоветовала мне перед едой сходить искупаться в пруду. Сын и дочь Ларнелов были примерно моими ровесниками, в семье Катлинов тоже подрастала молодежь, и в жаркие дни кто-нибудь из них обязательно ходил на пруд купаться. Не следует и мне так много быть одному.

— Мы все тут — хорошие друзья, — слабо улыбнувшись, сказала Мара, и мне показалось, что она, как и все старики, думает, что молодые люди легко забывают свои печали в компании сверстников.

Мы устроились перекусить в тени старого дуба, и мне не только не было тяжело говорить с Марой — напротив, я без усталости рассказывал ей о самых незначущих своих мыслях и происшествиях.

Я понимал, что прийти старушке было непросто — из-за возраста, да уж и слишком жаркий стоял день.

Когда лорд двадцать третьего марта вернулся с Совета, со дня моего пребывания у Файнов прошло две недели. Внешняя изгородь, огибавшая северный край поместья, была укреплена на расстоянии в полмили, и я был уверен, что сделал работу на совесть и теперь изгородь простоит еще много лет. Я похудел, загорел и обветрил, мышцы мои окрепли, хотя и ныли от усталости.

Вечером того же дня лорд Файн рассказал о собрании Совета, привнеся в дом то, чего там так без него не хватало, — дух и отпечаток яркой личности. Несмотря на годы, он выглядел решительным, властным и полным сил. Белая шапка седых волос оттеняла смуглое лицо с темными бровями. Глубоко посаженные по сторонам крючковатого носа глаза живо и умно поблескивали. Его присутствие заставило всех нас внутренне приободриться.

Он вскользь упомянул имя Дорны:

— Когда Тор принимал нас во дворце, — сказал Файн, — с ним была молодая королева. Настоящая красавица. И потом она появлялась на всех заседаниях.

Но роль государственного мужа не мешала лорду оставаться человеком сельским. Когда все новости были сообщены, его внимание переключилось на заботы поместья, на жизнь его владений, где сейчас трудился и я. Мне пришлось подробно отчитаться.

— Похоже, вы на славу поработали, — сказал лорд.

— Такой труд — одно удовольствие.

— Чем вы еще занимались?

По правде говоря, на работу уходило все время, только перед сном удавалось перемолвиться с домочадцами.

— И ничего не читали? Не вели никаких записей? А молодой Дорн говорил, что вы подумываете рассказать о нас своим соотечественникам.

В голосе его прозвучали мягкий, доброжелательный упрек и глубокое понимание. Ответить мне было нечего.

— Не перетруждайтесь из-за нас, — продолжал лорд. — Работа, которую вы делаете, рассчитана на многие годы. Не упустите свое время, Джон Ланг. Пока погода еще теплая, берите с собой книги; работайте, читайте или пишите — по настроению. Тогда жизнь действительно будет вам в радость.

В ту ночь я уснул не сразу. Выходя вместе с Тором встречать членов Совета, Дорна, конечно, была в ярко-зеленом платье, этот цвет шел ей больше всего, если только не переходил в темные тона. На ней было зеленое платье во время нашей последней встречи, и она сама выбрала его — цвет свободной от всего молодой женщины. Теперь она носила зеленое по праву королевской супруги... Мне хотелось, чтобы Дорна осталась верной своим цветам, не променяла их на яркую королевскую зелень. Весь день, пока я работал, вокруг царил зеленый цвет. Скорее бы зима, когда трава пожухнет, деревья облетят и выпадет снег.

На следующее утро, когда я вместе с Фэком, нагруженным опорами и жердями, выехал в направлении Певучего ключа, лорд Файн отправился со мною. Я показал ему несколько участков починенной изгороди, лорд с улыбкой, внимательно осмотрел мою работу и одобрительно кивнул. Солнце ярко сияло над нами, но в лощинах залегла прохлада. Осень уже началась. Облетающие листья стайками кружились над изгородью, как только задувал ветер. Деревья раскачивались, словно стараясь стряхнуть с себя последний покров.

Невысокого роста, лорд держался очень прямо. Он не надел шляпы, и волосы его могли поспорить белизной с проплывающими по небу белоснежными облаками. Цвет загорелого лица напоминал красное дерево, выражение его было горделивым и жестким. Когда он раскачивал опоры, вцепившись в них своими маленькими сильными руками, казалось, что перед ним — враг. Скрытая сила чувствовалась в каждом его движении.

Мы проработали вместе больше часа. Около девяти лорд предложил мне съездить верхом посмотреть окрестности, и мы стали подниматься по склону холма тропой, становившейся все круче по мере подъема, пока наконец не выехали к Певучему ключу и остановились у крутого обрыва. Далеко внизу виднелись фермы, и долина распаивалась во всю ширь, до противоположного края, где вздымались снеговые вершины Матклорна. Мы привязали лошадей, и лорд достал из своей сумы книги и бумагу — ему надо было написать несколько писем. Но сначала, склонившись над ручьем, лорд утолили жажду. Потом он отошел в сторону, сел и, прислонясь к дереву, скоро погрузился в свои мысли. Было даже странно видеть этого сурового, привыкшего повелевать человека за таким мирным занятием, как сочинение письма. Я взял книгу, которую лорд захватил для меня, устроился поудобнее и постарался внешне и внутренне

сосредоточиться, как это сделал лорд Файн; увы, не так-то легко было переключиться с одних мыслей на другие.

Книга называлась вполне лаконично — «Изборник». В нее входили притчи, стихи, разрозненные отрывки, некоторые принадлежали известным авторам, другие же вообще не имели подписи. Возможно, они были сочинены самим безымянным составителем изборника.

Чтение не шло на ум. Певучий ключ на этой высоте представлял собой всего лишь небольшой ручеек, но русло его было достаточно широким и для паводковых периодов. Сегодня он бежал, рассыпая брызги и весело перепрыгивая с одного лесистого уступа на другой, собирался в заводь и, скользнув в расщелину скалы, беззвучно скрывался вниз. С того места, где я сидел, было удобно наблюдать за безостановочно, бесшумно текущей и исчезающей водой. Где-то там, внизу, она падала, разбиваясь о камни, вновь собиралась в запруды и вновь продолжала свой бег.

Ближе к полудню, когда Исла Файн покончил с письмами, мы пошли дальше, вверх по руслу ручья. Подъем оказался нелегким, и, изрядно вспотев, я разделся и выкупался в пруду, вода в котором доходила мне до плеч. Лорд сидел на обломке скалы, молча глядел на меня, и уж не знаю, о чем он думал в тот момент — о погоде, об Островитянии, о своем поместье, обо мне, обнаженном и плещущемся в пруду, или о жизни вообще.

Вернувшись, мы съели ленч и так же, верхом, спустились в долину. Я остановился у места, где работал над изгородью.

— Оставьте себе книгу, — сказал лорд Файн. — Почитайте ее. Нельзя только работать.

Итак, я получил двойной урок: сначала от Мары, потом — от Ислы Файна. С тех пор я делал передышки в течение дня, во время которых писал или предавался праздным мыслям.

Книга была из тех, которые наскоро не прочитаешь. Все очевиднее становилось, что автор включил в свой сборник то, что так или иначе тронуло его душу. Все яснее вырисовывался образ человека, склонного к созерцанию, отягощенного не всегда веселыми раздумьями и нуждавшегося в успокоении, хотя он и мыслился мне выдержанным и уравновешенным.

Присутствие Ислы Файна и уже не столь изматывающая дневная работа сказались и на том, как я отныне проводил вечера. Лорд вел большую переписку, которой вдохновенно предавался именно в эти часы. Он писал многим из своих избирателей, интересуясь их взглядами на Договор Моры, но еще больше корреспонденции получал сам с изложением разных точек зрения и вопросами по поводу его собственной позиции. Письма эти были столь многочисленны, что лорд разрешил мне помогать ему разбираться с ними, так как в усадьбе не было специальной должности секретаря. Сочиняя письмо неведомому адресату, я чувствовал, как сам заражаюсь писательским зудом. Скоро я принялся за статью о политической ситуации в стране, предназначенную для публикации в одной из американских газет к моменту, когда придет мой преемник; в ней я писал все, что думал.

День на свежем воздухе, проводимый то за починкой изгородей, то за досугом, к чему я уже привык, вечерами — два или три часа в роли секретаря или за собственными сочинениями, до тех пор пока глаза не начинали смыкаться, — такова была моя жизнь теперь.

Снова настали жаркие дни, но солнце грело уже по-осеннему. От яблоневых садов пахло паданцами и незрелыми плодами. Густой, едкий запах опаленной стерни повис над полями. Жгли листья, и дым от них, навевавший отдающие горечью и в то же время пронзительно сладкие воспоминания, пропитал воздух.

В один из таких жарких дней я чинил изгородь, отделявшую поля денерир, к югу от Певучего ключа. Было не только очень жарко, но и сухо — пыль сушила кожу. Когда солнце

достигло точки, которую я условился считать полуденной, я верхом на Фэке отправился вниз, к Ларнелам. Дочка Ларнелов, молодая женщина лет двадцати семи, крепко сбитая, свежая и загорелая, встретила меня на пороге.

— Мара сказала, что вы с братом ходите купаться в жаркие дня, — объяснил я. — Она посоветовала как-нибудь пойти вместе с вами. Сегодня очень жарко.

Девушка рассмеялась, взглянула на меня, пожала плечами и ответила:

— Брат уехал, мне же кажется, что сегодня слишком холодно. Вода — ледяная... Мы ждали, что вы как-нибудь заглянете.

— Так, значит, не пойдете?

— Слишком холодно, — покачала головой девушка.

Я поехал прочь. Облака пыли, летевшие из-под копыт Фэка, окутывали нас обоих. Мы свернули на дорогу к мельнице. Справа и слева за уже пожелтевшими ивами расстиралась зелень лугов. Я поставил Фэка в тени мельницы и не стал его привязывать, понадеявшись на его послушный характер. За мельницей дорога сворачивала и, проходя по мосту, пересекала Фрайс; там же была запруда, и купальщички стояли на краю каменной дамбы за шлюзом. Я увидел Ларнела, загорелого, крепкого юношу, двух дочерей Катлинов, каждой из которых на вид можно было дать лет двадцать, их отца — мужчину лет сорока семи с проседью в волосах, Толли и его сестру, чуть помоложе его. Никто не удивился моему появлению. Ларнел сказал, что пока ни один из них не решился спуститься в воду.

Я разделся и присоединился к компании. По предложению Катлина было решено, что все выстроятся на берегу и по счету «шесть» прыгнут одновременно.

— Эк... атта...

Вода плескалась внизу, темная, глубокая и холодная. Опавшие листья покачивались на ее поверхности. Голубая осенняя дымка повисла над лугами и запрудой, в воздухе стоял ощутимый запах дыма. Каким бы жарким ни казался день, зной был обманчив, скрывая холод, — не то что потоки летнего тепла, нежащие обнаженное тело.

— Эттери... нек...

Паузы становились все дольше, голос Катлина звучал все серьезней, даже суровой. Стройные, но крепкие тела его юных дочерей, стоявших позади отца и видных мне сбоку, были словно выточены из слоновой кости. Головы их окружал нимб каштановых волос, соски маленьких круглых грудей были ярко-красными, а курчавая поросль паха отливала рыжиной. Темные блестящие глаза одной из девушек, с которой я столкнулся взглядом, выражали любопытство и отчаянный детский страх.

— Натта... неттери... Стелл! (Прыгай!)

Я на мгновение завис в воздухе, черная рябь ринулась мне навстречу, ледяной холод перехватил дыхание, и вода со всплеском сомкнулась над головой. Все глубже во тьму — пока наконец ступни мои не коснулись мягкой холодной глины. Оттолкнувшись я стал подыматься с открытыми глазами, видя над собой постепенно светлеющую зыбкую зеленую полумглу, пронизанную струйками пузырьков, и наконец вынырнул в теплый, курящийся воздух; над водой была лишь голова — тело, обнаженное и слегка онемевшее, ласкали струи течения.

Все держались мужественно, никто не струсил и не остался на берегу, и вот все семеро, брызгаясь и плещась, чтобы хоть как-то согреться, поплыли к противоположному берегу, пологому, со скатом, на который можно было легко взобраться. И хотя он был слишком узок, чтобы всем нашлось место, но ледяная вода выгнала всех на берег, и мы сгрудились на краю, дрожа от холода и невольно касаясь друг друга.

Цепочкой, следуя один за другим, на мосту показались еще мужчины и женщины. Переходя через реку, они скрывались за желтеющими ивами, раскинувшимися под голубым небосводом.

Ларнел дал мне полотенце, и, спрятавшись за стеной, где пригревало солнце, мы насухо вытерлись и стали одеваться, обмениваясь отрывистыми замечаниями о том, какая холодная вода, о погоде, о моей работе над изгородями, о Фэке, который направился к нам через мост; выяснилось, что Толли и Катлин знают его — ведь он был одной из лошадей Дорна.

На темной водной ряби у берега еще не улеглась желтоватая пена, поднятая нашим бурным купаньем. Полотенца из грубого небеленого холста влажно блестели. Но вот белые, темно-красные и синие одежды скрыли розовую, не ведающую притворного стыда наготу.

Щепетильность, с которой у меня дома привыкли скрывать ее, была позабыта, а если и вспоминалась, то казалась бессмысленным лицемерием.

Толли и Катлины отправились в одну сторону, упомянув о своих гостевых днях и пригласив меня заглянуть к ним, Ларнелы — пошли к себе.

Задав Фэку полуденную порцию корма, я перекусил и сам, выбрав самое теплое, самое солнечное место на стене. После купания я чувствовал себя взбодренным, хотя и несколько размороженным, между лопаток еще затаился холодок, а пальцы слушались плохо. Лишь взявшись за работу, я окончательно согрелся.

Я трудился, подправляя сломанные жерди, мирно, но с сокрушенным сердцем. Дорна была так далеко.

Во второй половине дня с юга нагнало туч, и они сумрачным сводом укрыли долину, спрятав вершины окрестных гор и холмов, но дождь пошел только утром.

На следующий день я распиливал жерди и опоры на мельнице, благодаря дождь за то, что в долине теперь будет вдоволь воды и мельница сможет работать бесперебойно. Облако мелких опилок висело в воздухе, и тонкий пряный запах свежераспиленного дерева мешался с доносящимися через открытую дверь разнообразными влажными запахами. Анор зашел посмотреть и кое-что подсказать и в полдень ушел, вполне довольный тем, как я справляюсь со своей работой, пусть пока медленно и чересчур расточительно обходясь с деревом и водной энергией.

Царящий на мельнице полумрак, дождь, голубовато-серой стеной отгородивший меня от остального мира, тихий перестук капель по крыше помогали сосредоточиться. Управившись с ленчем, я принялся за чтение.

Открыв наугад «Изборник», я был пленен названием одной из притч, кстати, принадлежавшей перу Бодвина.

Детские картинки

Картина имеет всего два измерения. Мастерство художника придает ей иллюзию перспективы, но это — лишь иллюзия. Человек с детства рисует картины собственного будущего, и чем богаче его воображение, тем ярче они получаются. Когда картину будущего рисует мощное, жадное, но несведущее воображение, она выходит поистине ложной.

История Амеры, юной дочери тана из Мильтейна, — самая обыкновенная. Представлявшиеся ей картины будущего были яркие, прекрасны и обманчивы. Мать девушки, хлебнувшая горя в жизни, всячески воодушевляла ее: в блеске фантазий Амеры ей виделась собственная давняя любовная история, так ничем и не кончившаяся. К тому же она хотела поудачнее выдать дочь замуж — слишком много ртов было в доме Амеров.

Явился и ухажер по имени Данлинг, тана из Броума, вдовец, имевший хорошее поместье. Подобно большинству молодых женщин на пороге зрелости, Амеру сбивала с толку

непоследовательность, с какой молодой человек рисовал перед своей избранницей постоянно сменяющие друг друга картины совместного будущего. Данлинг был человеком прочных устоев, основательным и вполне довольным собою. Воображение Амеры нарисовала ей новую картину. Большую часть ее занимало поместье и жизнь в нем; Данлинг старался поспеть за девушкой, но его фантазиям недоставало глубины и размаха. Амера же, вглядываясь в мысленный образ, переносась в него из своих нынешних стесненных обстоятельств, старалась вжиться в его просторную, но плоскую двухмерность, насколько ей это удавалось, и подчас принимая вымысел за реальность. Данлинг виделся ей другом, наставником, старшим братом, она представляла, как они вместе садятся за стол или как она провожает его в поле. Она же будет следить за порядком в усадьбе, уже прекрасной в ее мечтах и еще более прекрасной — в будущем. Оставались еще таинства брака, но она ни разу не слышала, чтобы кому-нибудь из женщин они принесли несчастье. Ну а мужчина, уместающийся в двух измерениях, и подавно не внушал страхов; не исключением был и Данлинг. Все это пока были слова и игра фантазии. Да, рожать — тяжело и больно, но на то она и женщина, к тому же не робкого десятка, и на судьбу не роптала. Важнее всего был для нее образ, который она создавала с помощью матери и будущего мужа. Взлелеянная юным сердцем, картина получилась пленительной, яркой, и зачарованная ею Амера вышла замуж за Данлинга.

Девушка была молода и прелестна. Муж ее — добр и желал ей счастья, но никакая доброта не возместит любовного чувства, если его нет. Став существом трехмерным, сойдя с плоскости картины, Данлинг разрушил ее раз и навсегда. Теперь он был для Амеры горше соли, которая распяляет жажду, но жажду нежеланную. Рядом с ней был мужчина, ничем не запятанный, всеми почитаемый и славный своей добротой. Те, кому брак кажется чем-то вроде спаривания, те, кто негодует, если два здоровых представителя порой не приносят хорошего потомства в виде образцовых жеребчиков и телушек, — осудят поведение Амеры, а притча покажется им скучной. Ведь героине, поскольку она женщина, следовало довольствоваться тем, что рядом с ней — примерный муж. Ей следовало жить по плану, предначертанному природой. Но насколько завиднее участь животного, которое может отклонить притязания другого, нежели судьба мужчины и женщины, связанных узами брака и вынужденных повиноваться обычаям и условностям! Безусловно, многие женщины постарались бы угодить своему суженому, однако Амера была не из их числа и при всем желании не могла стать такой. Когда Данлинг, любя ее, искал в ней утolenия своих полнокровных желаний, она не могла сохранить хотя бы частицу себя для себя и, не любя мужа, вовсе не хотела и не могла отдавать ему всю себя без остатка. Никто из двоих не получал отдачи. Каждый только брал, ничего не давая взамен. Терзаясь болью и стыдом, девушка готова была расстаться с чем угодно, отдать самое жизнь, но хоть одна пядь ее души должна была оставаться ее, и только ее. Муж вторгался в ее мир, заполнял его, не опустошая, а именно подавляя своим началом. Мертвые не сознают, что мертвы; Амера была жива и сознавала, что больше не существует. Когда, пройдя тысячу мучений, она вновь почувствовала в себе живую душу, любящий Данлинг — сама доброта — ненароком разрушил возрожденное с таким трудом. Ребенок, которого она ему родила, был слишком похож на отца, чтобы Амера могла чувствовать его своим. Так они жили.

О прекрасные и обманчивые фантазии юности! Трудно винить кого-либо из героев: оба были верны своей натуре. И все же закравшейся в их жизнь лжи можно было избежать. Не скрывайте от тех, кто юн и скоро вступит в брак, какова она, та реальная жизнь, что их ожидает! Тяжело внушить тем, кто верит в плоские, расхожие картинки, что живая жизнь многомерна. Мы, люди старшего поколения, лишь через долгие годы приближаемся к осознанию этого чуда, так никогда полностью и не постигая его. Но сделаем все, что в наших силах, дабы юные увидели, сколь многогранна и глубока истинная *ания*.

В Америке я увидел Дорну. Нарисованная ею картина оказалась обманчивой. Не обделенная умом, она понимала, что не должна принадлежать мужчине — мне или кому бы то ни было. И все же она не довела свою мысль до конца. Она сказала, что испытывает *анию*, но, ослепленная ложной яркостью представившегося, не поняла, что чувство ее неистинно, что оно — не многомерная, многогранная *ания*, о которой писал Бодвин. Прочитав притчу, я так живо представил себе страдания Амеры-Дорны, что, право, это было невыносимо.

Мягкий перестук дождя по крыше напомнил дождь и мельницу на Острове. Жизнь у Файнов не смягчила мое горе. С течением времени я все глубже понимал произошедшее, и боль становилась острее. Жалкое положение, на которое была обречена Дорна, из маячащего впереди призрака стало обыденным, каждодневным...

Тринадцатого апреля верхом на Фэке я выехал на дорогу, ведущую к Городу, рассчитывая прибыть в столицу через полтора дня. Пятнадцатого и восемнадцатого приходили пароходы с почтой. Самой важной новостью было то, что мой преемник, Освальд Ламбертсон, с женой должен был прибыть на «Суллиабе» третьего мая, то есть примерно через пару недель. Известие о его приезде было окончательным подтверждением моего провала, и чувство сожаления, даже, быть может, стыда, больно кольнуло меня. Напоминание об отставке пришлось как нельзя некстати. Официальное положение позволяло мне находиться в Островитянии. Теперь же, как и любой простой турист, в соответствии с законом я вынужден буду покинуть страну через год, считая с третьего мая или с любой другой даты, когда моя отставка будет окончательно утверждена. Тем не менее Вашингтон явно предпринимал усилия, чтобы спасти мою репутацию. Мой преемник прибывал в ранге посла, и, если я останусь примерным молодым человеком и понравлюсь новому начальству, меня могут оставить на какое-то время консулом.

Моя первая корреспонденция начинающего журналиста была отослана восемнадцатого числа. Я направил ее своему приятелю, наказав дожидаться каблогаммы. Получив ее, он должен был от моего лица передать заметку в одну нью-йоркскую газету. По крайней мере ее можно будет пустить в ход сразу, как только я дам знать о своей отставке.

Наконец прибыли Ламбертсоны: сам мистер Ламбертсон, изысканно одетый мужчина, с секретарем и слугой, и его жена со служанкой. Я заказал им номера в гостинице.

Первые дни дел было хоть отбавляй. Я вынужден был переодеться в уже ставший непривычным американский костюм, дабы не слишком выделяться среди окружения м-ра Ламбертсона. Он попросил меня сопровождать его во время всех официальных визитов, и мы вместе с женой посла и секретарем обошли все представительства, оставляя визитные карточки тем, кого не застали на месте. Я давно уже не говорил так много, однако надо было рассказать мистеру и миссис Ламбертсон буквально все, что мне известно об Островитянии, ее обычаях, ведущих политиках, хотя посол знал больше меня обо всем, что касалось различных синдикатов и вероятных концессий.

Ежедневное общение с моим преемником было не очень-то приятным. Манеры его отличались безупречностью. Временами он снисходил до дружеского, даже задушевного тона, правда, при этом словно насосом выкачивая из меня информацию, так что под конец я чувствовал себя выжатым как лимон. Все, касавшееся Договора лорда Моры, он вызнал у меня до крупницы, и когда уже, казалось бы, нечего было добавить, «процедура» продолжалась.

Он тоже хотел знать решительно все об инциденте на перевале Лор, не исключая мельчайших подробностей реакции каждого дипломата, и я подолгу, и часто тщетно, пытался вспомнить, кто из них хмыкнул, а кто — язвительно улыбнулся.

Примерно через неделю после прибытия Ламбертсон неожиданно заявил, что о моей отставке не может быть и речи, пусть я навсегда выброшу эту мысль из головы, и тут же перекрестные допросы прекратились и тон господина посла в общении со мной стал куда более любезным. Как-то мы вместе завтракали у него в гостинице, и я заметил, что поведение миссис Ламбертсон изменилось соответственно. Да, явно я был полезен и компетентен в достаточной степени, чтобы держать меня при себе.

По окончании завтрака, когда мы ненадолго остались одни, я сказал, что готов оказывать господину послу любую помощь, оставаясь в столице, и готов откликнуться по любому его зову в июне, но только как лицо неофициальное, и, наконец, что буду крайне ему обязан, если он воспользуется данными ему полномочиями и утвердит мою отставку.

— С какого времени? — спросил Ламбертсон.

— Сегодня с полудня.

Мы еще немного поторговались относительно сроков, и, думаю, Ламбертсон уступил потому, что слишком спешил: на сегодня у него было назначено много визитов.

Итак, победа! Я был наконец свободен, однако в полной мере ощутил это благотворное чувство лишь пятнадцатого мая, когда снова направился к Файнам. Город перестал быть моим домом в каком бы то ни было смысле, я оставил свою квартиру на городской стене, и к лучшему: какое облегчение было сознавать, что я уже не вернусь туда, где пережито столько мук и разочарований, хоть я и сожалел, что теряю ставший уже таким привычным уют и навсегда расстанусь с романтическим видом на сады городских крыш. Оставалось немного: отослать каблогранму с разрешением печатать статью, написать дядюшке Джозефу, посвятив его в мои новые планы, и послать письмо Глэдис Хантер — моей единственной американской корреспондентке, не являвшейся членом нашего семейства.

Да, я был, пожалуй, даже чересчур свободен, не имея собственного дома, влекомый неведомым течением. Сейчас моим домом, конечно, отнюдь не роскошным, скорее всего можно было назвать усадьбу Файнов. Но я ехал верхом на собственной любимой лошади островитянских кровей, с которой провел вместе больше времени, чем с кем-либо еще. Начальства надо мной не было. Была работа, которой я мог занять себя, и верные друзья. Сердце мое принадлежало женщине, тоже любившей меня, хотя и навсегда потерянной. В общем, не так уж и плохо...

На ферме было холоднее. Деревья почти все облетели, но земля не успела промерзнуть — бабье лето еще не кончилось. Починка изгородей оказалась увлекательным, приятным занятием: работа на свежем воздухе после томительных часов, проведенных в столичной канцелярии, жизнь, в которой слова играли второстепенную роль.

День или два спустя пришло письмо от Наттаны, она приглашала навестить ее (тут чувствовалась рука Дорна).

«Погода у нас чудесная, — писала Наттана, — просто замечательная, так что мне не усидеть дома, даже если есть интересные дела. Тку материал себе на новое платье, поеду в нем на Совет. Что-то нас ждет? Все разговоры в доме только об этом. Мне тоже хочется поехать, хоть я часто теряюсь и мне бывает не по себе. Похоже, старые времена кончаются, впереди — большие перемены. Я к ним не готова. Не хочу, чтобы, меня тянули в новую жизнь силком... Гостил Дорн. Они с Неккой уезжали вдвоем на целый день, к чему бы это? У Неттеры все в порядке. В июне она ждет ребенка. Она сказала — я могу написать об этом Джону Лангу...

Надеюсь, Джон Ланг тоже навестит нас, или если он собирается на Совет, то может встретиться с нами — со мной и с отцом — у Темплина вечером восьмого июня, а дальше поедем вместе: в компании веселей, чем одному. Но если он намерен отправиться с Дорнами или Файнами, пусть не думает — мы не обидимся. Ах, чем все это кончится? Может стать, и у нас, в Доринге, все сильно изменится.

Хуса Наттана»

Через три недели вся знать Островитянии соберется, чтобы решить, принимать или нет Договор лорда Моры. Лорд Файн сообщил мне по секрету, что все, на кого рассчитывает лорд Дорн, соберутся за несколько дней до одиннадцатого июня, то есть до открытия Совета, и что поэтому он сам выезжает первого числа, имея десять дней в запасе. Он старательно внушал мне, что двери его дома все равно остаются открыты для меня, даже в случае войны, в которую может быть вовлечена и моя страна.

Все это было сказано самым спокойным тоном. Война не относилась к числу событий, о которых говорят, а воспринималась скорее абстрактно, однако мало-помалу превращалась в зловещую реальность, и сознание этого больно кольнуло меня, заставив побледнеть.

— Значит, война возможна? — спросил я.

— Если наши сторонники одержат верх, — ответил лорд, — попытки наших противников подчинить нас силой не исключены.

Дни шли за днями, я не прерывал своих занятий, чередуя работу с чтением, вел записи и чувствовал, как снова обретаю уверенность и силу.

Островитяния не понаслышке знала, что такое война, и все же народ ее был самым миролюбивым. Я наткнулся на стихотворение Моры — поэта, жившего в шестнадцатом веке, и, пожалуй, оно выражало это общее отношение к ратному делу.

Я присел на жердину передохнуть. Мысли о предстоящем не оставляли никого из нас равнодушным. Рано или поздно любой разговор обращался к собранию Совета, тому, что должно было случиться меньше чем через две недели. Исла Файн уже отбыл... Мне следовало в ближайшие дни известить Наттану и ее отца, что я готов встретиться с ними у Темплина восьмого июня.

Я как-то сразу, в одночасье вновь обрел и по-новому понял себя. Неистребимая жажда жизни вернулась, и это был добрый знак. Хотя я и не считал себя ничьим должником и был свободен, как ветер, умирать мне не хотелось, как не хотелось и отворачиваться от сияющего вокруг мира. Затаившаяся тоска скрипела крепко стиснутыми волчьими зубами, но я успел изучить ее повадки и привык к ее отчаянным приступам. Дорна забрала с собой половину моего сердца, но кругом было столько прекрасного, столько оставалось еще увидеть и переделать, и мир казался полон друзей.

Проснувшись утром четвертого июня, ровно за неделю до открытия Совета, я немедленно решил, что настала пора что-то предпринять, сняться с места. И вот час спустя, верхом на Фэке, я был уже в пути.

В лучах восходящего солнца снежный купол Островной горы переливался бледно-розовым на темно-голубом небе, где еще горели звезды. Была ли на свете другая страна прекраснее той, чей облик, некогда пугающе чужой, становился все привычнее и родней? Земля внизу проступала, как дно озера, сквозь толщу ночной тьмы. В окнах дома мелькал огонек: то Мара ходила по комнатам с зажженной свечой.

Чуть выше дороги лесистые вершины начали светлеть. Резкий, ломаный контур их протянулся по небу; внизу царили прохлада, тишина, сон. Мы продолжали подъем, пересекли границу тьмы и словно выплыли навстречу разлившемуся по окрестностям яркому солнечному свету.

Почти стемнело и накрапывал дождь, когда я, спешившись, провел Фэка через каменные ворота усадьбы Хисов, снова сел в седло и пустил лошадь рысью, чтобы появиться, как то и подобает, в соответствии с обычаем. Дом неясно темнел впереди, низкий, в окружении флигелей. В центре фасада ярко светились желтыми огнями несколько окон, а слева — только в одном оконце слабо мерцала свеча, возможно, это была мастерская Наттаны. Она, как и никто в доме, не знала о моем прибытии.

Копыта Фэка хлюпали по лужам, и оба мы были с ног до головы забрызганы грязью.

Я выкрикнул свое имя, и Хис Атт появился с фонарем на пороге. Не выказав никакого удивления, за что я внутренне поблагодарил его, он сказал, что позаботится о Фэке, а мне следует поскорее пройти в дом и переодеться. Потом, посветив фонарем, осмотрел пятна грязи на боках лошади.

— Вы ехали ущельем через Темплин? — спросил он. — Ну как там, наверху?

Я рассказал, что в пути меня застиг снегопад.

— Вот и отец боится, что будет трудно проехать, — откликнулся молодой человек.

Он рассмеялся и повел Фэка на конюшню.

Сразу за дверью меня встретила Айрда. Она тоже не очень удивилась и не стала мучить меня расспросами. О чем тут говорить, сказала она, когда на мне нитки сухой нет, — скорее в ванну; и прошло совсем немного времени, как я сидел, наслаждаясь теплом и покоем, в горячей ванне, в комнате, где мне приходилось останавливаться уже дважды.

Внизу, в гостиной, стоя перед окном, меня дождался Исла Хис. Он стоял, широко расставив ноги; рыжие волосы и борода полыхали в отсветах пламени. Несмотря на сердечные, ласковые слова приветствия, я почувствовал, что что-то беспокоит лорда.

— Как погода на перевале? — первым делом спросил он.

Я стал рассказывать, сразу пожалев, что почти не обратил внимание на глубину снега. Лорд посмотрел на меня долгим, изучающим взглядом.

Вошла Айрда.

— Вы собираетесь ехать на Совет, не так ли, Ланг? И хотите отправиться вместе со мной и моей дочерью Наттаной? — спросил лорд Хис.

— Да, если это возможно.

— Буду рад вашему обществу. Но если дождь не прекратится и ночью, снега на перевале скопится слишком много, и чтобы добраться вовремя, нам придется выехать завтра и следовать через ущелье Доан. Не знаю только, успеет ли собраться Наттана.

— Она весь день шила, — быстро вставила Айрда.

— Она знала, что нам, возможно, придется выехать завтра, — сказал Хис, поворачиваясь к жене. Казалось, он взволнован больше обычного. — Если будет нужно, я поеду и без Наттаны. Ежели она останется, вы, Ланг, решайте сами. В любом случае я буду рад взять вас с собой.

Сказав это, лорд кивнул мне и удалился.

Айрда тихо вздохнула.

— Хис должен встретиться со своим старшим сыном, тот сейчас в Верхней усадьбе, и с моим сыном, Хисом Пеком, который в Ривсе, за четыре дня пути. Если ему придется ехать через Доан... — она запнулась, но тут же продолжала: — Наттана изо всех сил старается успеть к завтрашнему дню. Из старших дочерей она сейчас здесь одна. Про Неттеру вы знаете. А Некка с

Эттерой уехали в долину... — Айрда снова смогла. — Наттане будет интересно узнать, как дела на перевале. Ужин еще не готов. Она сейчас у себя, в мастерской... Я буду рада снова увидеть вас, Ланг... Такие настали тревожные дни. По крайней мере для нас.

Итак, мне представлялся шанс, и я тут же сказал, что пойду повидать Наттану и заодно расскажу ей о погоде в горах.

— Только не отвлекайте ее надолго от шитья, — попросила Айрда; любопытно, что именно она имела в виду.

В кладовой, находившейся под мастерской Наттаны, было темно, только слабый отсвет падал на верхние ступени лестницы. Нащупав ногой нижнюю ступеньку, я стал осторожно подниматься.

Наттана шила. В комнате горело три свечи. Когда я вошел, девушка даже не взглянула на меня. Свет падал на нее сзади, и жаркая медь вьющихся волос окружала голову сияющим нимбом. Наттана низко нагнулась над работой, мягко выгнув спину, косы лежали на плечах. Казалось, она стала меньше. Закинув ногу на ногу, она подобрала правую, так что носок почти отвесно упирался в пол. Большой темно-зеленый лоскут лежал на коленях, и белые, с розовым отливом, почти прозрачные пальцы бойко сновали, зажав иглу.

— Джон Ланг, — негромко произнес я, чтобы не испугать девушку.

Наттана подняла голову, но я не видел ее лица.

— Это вы! — сказала она неожиданно звонко.

— Я решил, что лучше самому проделать весь путь, чем ждать вас у Темплина.

Наттана снова склонилась над шитьем.

— Я думала, это брат пришел сказать, что отец зовет меня. Рада видеть вас.

Игла вновь запорхала над шитьем.

— Найдите местечко и присаживайтесь, — сказала Наттана.

На всех стульях и скамьях, где я сиживал несколько месяцев назад, теперь были разложены, развешены законченные и еще не дошитые платья разных цветов, большей частью коричнево-желтых и зеленых. Добавившаяся к обстановке узкая кровать, стоявшая в углу, была завалена сандалиями, платьями, накидками, чулками, лентами, гребнями и щетками, двумя дорожными сумами и книгами — похоже, тут было все имущество Наттаны.

Я примостился на подлокотнике скамьи.

— Как поживаете, Джон Ланг? — спросил девушка.

— Прекрасно, — ответил я, чувствуя, что невольно вкладываю в свой ответ посторонний, скрытый смысл. — А как вы, Наттана?

— Хорошо, только очень занята... Я так рада, что вы приехали.

— Мне следовало прежде написать вам.

— Ничего страшного. Наконец-то вы здесь! Отец хочет выехать завтра, и мне нужно собраться, даже если придется просидеть всю ночь.

Мягкая полоса света очертила юный профиль девушки, теплые блики падали на лоб и подбородок. В ее позе, как всегда, таилось скрытое движение, словно она готова была в любой момент стремительно встать, выйти, исчезнуть.

— Вы не против, если я буду шить? — спросила Наттана. — Конечно, я знаю, вы не против. Я должна успеть к завтрашнему утру, даже если мы не поедем.

В последних словах прозвучала недомолвка, и я заподозрил, что Наттана из-за чего-то поссорилась с отцом, но мне меньше всего хотелось вмешиваться в их конфликты.

— Я не против, но я не хочу мешать вам. Айрда просила меня об этом.

Наттана рассмеялась, поднеся ткань к глазам.

— Как только мы выедем, все уладится... Вы виделись с отцом? Какие у него планы?

Я вкратце передал ей наш разговор.

— Что ж, это забавно, если поездка продлится целых шесть дней вместо трех. — Наттана махнула рукой в южную сторону — игла блеснула в луче света. — Я думаю, послезавтра все будет в порядке. Конечно, может выпасть снег, но пока тепло, и по ту сторону перевала он должен стаять... Как Фэк?

— В прекрасной форме.

— Выдержит шесть дней пути?

— Думаю, да.

— Отец, пожалуй, предложит вам одну из наших лошадей, они быстрее. Вы можете оставить Фэка и забрать его на обратном пути, или я пригоню его к вам... Вы собираетесь вернуться к Файнам?

— Полагаю, да, — ответил я и в нескольких словах рассказал о работе, которой занимаюсь в поместье, после чего разговор перешел на мою отставку и планы, связанные с публикациями в Америке. Вскоре Наттана была осведомлена практически обо всем, что со мной происходило.

— Но ведь у вас остался год, не так ли? — спросила она.

— Год, считая с двадцать второго новена (двенадцатого мая).

— Кажется, долгий срок, а пройдет быстро.

— Об этом-то я и думаю.

Девушка быстро повернула ко мне скрытое тенью лицо и вновь склонилась над шитьем. Свет мягко очертил ее профиль.

— Что ж, как бы там ни было, — сказала Наттана, — вы будете с нами в одни из, быть может, самых тяжелых дней нашей истории. Мне кажется, наши враги раз от разу становятся сильнее и неумолимее. Надеюсь, вы как-нибудь расскажете мне, что думаете вы обо всем этом, о нас и вообще о том, что творится в мире.

— С удовольствием, если сам когда-нибудь в этом разберусь.

— А с кем вы общаетесь у Файнов?

Я начал было рассказывать о своей жизни в усадьбе, но Наттана прервала меня:

— Пора ужинать. Идите, а то они подумают, что это я вас задерживаю.

— А вы не пойдете?

Она обвела рукой комнату и покачала головой.

— Возвращайтесь, может быть, еще удастся поговорить.

Наттана угадала. Вся семья как раз собралась в столовой. Я сказал, что Наттаны не будет, и старый лорд досадливо поморщился.

После ужина он преобразился: передо мной снова был сердечный, радушный человек, каким я запомнил его после первого посещения. Он провел меня в свою комнату и не отпускал больше часа. Разговор зашел о том, что за человек Ламбертсон, с какими предписаниями он прибыл и какую позицию могут занять Соединенные Штаты. К сожалению, я не мог дать определенного ответа. Ламбертсон не удостоил меня доверительной беседы, о чем я и сказал.

И вдруг меня пронзила мысль: почему же Исла Хис не поехал на встречу сторонников лорда Дорна, куда отправился Исла Файн? Ведь Дорна упоминала о Хисе как об одном из самых верных сторонников их рода.

Когда лорд окончательно убедился, что у меня нет к нему никакого конкретного дела, интерес его ко мне несколько поугас. Он осведомился о моих планах, потом сказал, что был рад нашей беседе, и добавил, что, если у нас появится желание превратить поездку в столицу в небольшое приключение, нам следует выехать не завтра, а дожидаться седьмого июня.

Я встал, чтобы идти, но старый лорд задержал меня.

— Когда все хлопоты и тревоги будут позади, — сказал он, — мне хотелось бы

порасспросить вас о вашей родине. Я читал вашу «Историю» и еще кое-что об Америке. Я научился читать по-английски и, когда еезу в Город, останавливаюсь на несколько дней в Ривсе и провожу время в библиотеке. У нас много пробелов по сравнению с вами, но не в смысле торговли, а духовно.

Он произнес слово «духовный» по-английски, и в потоке островитянских слов оно прозвучало странно — у островитян не существовало такого понятия.

— Буду рад, — сказал я, заинтригованный. — Можно, я передам Хисе Наттане, что мы выедем не раньше семнадцатого десена?

— Как вам угодно! — был краткий ответ.

Окно мастерской по-прежнему светилось. Дождь кончился, воздух был влажный, тихий. Девушка сидела в той же позе, в какой я ее оставил, и шила.

Я объяснил, что лорд Хис собирается в путь только послезавтра.

— Да и не было нужды выезжать так задолго, — сказала Наттана. — Что же, теперь мы можем пойти к Неттере... если вы не против.

— Отнюдь... если она хочет видеть меня.

— Ей все равно, — устало сказала Наттана.

— Вы так и не поели?

— Нет.

— Неужели никто ничего не принес вам?

— Нет, когда я пропускаю обед, мне приходится ходить голодной.

— У меня в сумке кое-что припасено для завтрашнего ленча. Хотите?

— Не откажусь!

Я принес свою провизию: мясной рулет и немного шоколада. Наттана принялась за еду, не прекращая шитья.

— Почему бы вам не передохнуть? — спросил я. — Ведь у вас в запасе еще целый день.

— Отец сказал, что вряд ли я успею к завтрашнему дню, но даже если успею, он все равно меня не возьмет, так что я решила подготовиться в любом случае.

— Как давно вы уже шьете?

— С самого утра.

— Вы — герой, Наттана.

— А вы не отвлекайте меня, Джон Ланг.

В голосе девушки послышались слезы.

— Какая разница, если мы все равно не едем завтра.

— Если я не успею, отец будет сердиться, когда бы мы ни выехали. А переживать ему сейчас совсем ни к чему. Конечно, может быть, он недоволен как раз тем, что я хочу успеть, даже если в этом нет нужды! Как я рада, что вы поедете с нами.

Последние слова она произнесла дрогнувшим голосом и внезапно слегка передернула плечами и изменила позу.

— Я тоже рад. Будет весело.

— Завтра, — сказала Наттана, — после такой работы вряд ли мне будет до веселья. Но стоит нам выехать, как — вот увидите — я переменюсь.

— Вам так легко даются перемены.

Наступила небольшая пауза.

— Не могу ли я вам чем-нибудь помочь в ваших приготовлениях?

— Вы можете смазать маслом и натереть мои сандалии, если только вы не против.

Как приятно было взяться за дело. У Наттаны стояли наготове две пары: коричневые и зеленые, и еще пара отороченных овчиной сапожек для холодной погоды. Я постарался

исполнить свое поручение не спеша, на совесть. Больше Наттана не знала, чем меня занять, кроме чтения вслух.

— Что же мы будем читать?

— Вашу «Историю»... там, где про революцию. Книжка тоже поедет со мной.

Наттана указала на лежащий на кровати томик.

Слушательницей она оказалась идеальной. Я прочел ей целиком главу о революции.

— У вас все по-другому, мне даже трудно представить. Вы — единственный американец, какого я когда-либо видела. Было бы интересно встретить в Городе еще кого-нибудь и взглянуть на американскую женщину. Любопытно, что они носят?

Я описал платье миссис Ламбертсон: туго обтягивающее бедра, с широким подолом до земли, собранное у талии, с высоким кружевным воротником и кружевными манжетами, шляпу с широкими полями, прическу в стиле «помпадур» и перчатки.

— А что под всем этим? — спросила Наттана, и я, большую часть припоминая на ходу, с трудом подыскивая примерные островитянские обозначения и немало конфузясь, кое-как ответил на этот рискованный, хотя и забавный вопрос.

— То есть по крайней мере девять всяких штуковин! — воскликнула Наттана. — Мы обходимся проще. Вот посмотрите.

Отложив работу и без малейшего колебания она встала и, подняв юбку, показала мне пару льняных панталончиков. Затем подошла к кровати, где лежала лента, поддерживающая грудь, и тонкое шерстяное белье для очень холодной погоды.

— Вот и все, кроме того, что вам уже приходилось видеть, — сказала Наттана.

Потом она достала уже законченное, готовое для поездки платье.

— Если бы вы не поехали с нами, я бы сейчас все примерила, но, пожалуй, лучше это будет сюрприз, — сказала Наттана.

За завтраком Наттаны не было. Никто, казалось, не заметил ее отсутствия. Часов в девять я поднялся в мастерскую. Там царил идеальный порядок: две упакованные сумы стояли рядышком на скамье, сама Наттана лежала на кровати, скрывшись под темно-зеленым покрывалом. Завитки полыхающих медью волос разметались вокруг головы, черты румяного лица застыли, как у восковой фигуры.

Я пошел на конюшню проведать Фэка и, присев на кипу попон в углу, стал глядеть в приоткрытую дверь. Повсюду от влажной земли поднимался пар, и солнце слабо проблескивало сквозь него. Деревья на вершинах холмов то становились видны, то вновь их скрывала млечная завеса.

Боясь, что Наттана проснется и будет искать меня, я вернулся в дом. Но к Неттере мы отправились только в полдень.

Исла Хис все еще занимался сборами, но я был уже готов, Наттана — тоже. Неожиданный досуг, похоже, благоприятно повлиял на настроение девушки. Воздух очистился, только изредка проплывали легкие пряди тумана. Более высокие склоны припорошил снег. Мы поехали на длинноногих каурых лошадях Хисов.

Я без особого желания ехал на встречу с Неттерой, которая живо стояла у меня перед глазами: ее стройная фигура, легкая поступь, ее отрешенность и то, как она играла на своей дудочке, уносясь вместе со звуками куда-то в неведомые дали.

Большая ферма Энсингов стояла на той же стороне Доринга, что и усадьба Хисов, только в шести милях к западу. Сначала нам пришлось спуститься в овраг, проехав через реку по деревянному мосту, и только потом мы вновь поднялись вровень с пастбищами.

Наттана отпустила поводья, моя лошадь шла следом. В долине Доринга с ее просторами

сами люди и людские постройки казались крошечными. Для того чтобы пейзаж хоть частью изменился, с точки зрения наблюдателя, надо было проехать изрядный кусок местности. Размеры и крайне незамысловатый ландшафт делали долину похожей на сон.

Низкий каменный дом Байнов, обсаженный укрывающими его от ветра густыми соснами, с садом, в котором цветы уже облетели, был исполнен мирного очарования. Спешившись, мы привязали лошадей к крашеной белой изгороди. Наттана пошла вперед, я последовал за ней.

Неттера поднялась нам навстречу с кресла, стоявшего в маленькой, с низким потолком гостиной; слабый огонь робко вспыхивал в очаге. Черты ее лица по-прежнему были тонкими, привлекательными и милыми. Тени под глазами стали еще темнее, но подернутые дымкой глаза горели скрытой болью, мысли витали далеко, и все же лицо выражало скорее довольство. Она выглядела выше, очертания худощавой фигуры сильно изменились. Взглянув на нас, она улыбнулась своей прежней детской улыбкой.

Все расселись. Неожиданно, словно вспомнив о долге хозяйки, Неттера порывисто поднялась, чтобы принести вина и печенья. Она двигалась, как всегда, легко, забывая о том, что беременна, но стоило ей вспомнить о своем положении, как движения девушки становились неловкими.

Мы с Наттаной сидели молча, не глядя друг на друга, пока Неттера не вернулась.

Завязался разговор, то и дело прерываемый долгими паузами. Неттера угощала нас, рассказывала о делах семьи. Неопределенно махнув рукой, сказала, что дядюшка Байн и сам Байн «сейчас уехали туда». Другой Байн, двоюродный брат ее мужа, отправился удить рыбу, а Барта, его тетка, пошла взглянуть, где остальные денерир.

— Тебе часто приходится оставаться одной? — спросила Наттана.

— Все в порядке, — ответила Неттера.

Пожалуй, это был один из немногих вопросов, на которые ей пришлось ответить. Она сидела в своем кресле, словно поникнув, улыбаясь слабой улыбкой, и хотя и прислушивалась к нашему разговору с вежливым вниманием, сама была далеко, и все же, пожалуй, мы по-прежнему были ближе ей, чем те, среди кого сейчас жила. Наттана говорила без умолку: о домашних новостях, о своих новых платьях, о близящемся путешествии, о сумасбродствах отца. Будучи старшей сестрой, казалось, она в чем-то уступает теперь Неттере и сама чувствует, что стала ступенькой ниже. Потом она перевела разговор на мою отставку, жизнь у Файнов, а Неттера все так же глядела на меня с улыбкой мягко светящимися глазами, быть может, и не видя меня. Беременная женщина, готовая рожать, да еще так скоро, явно превращается в какое-то необычное существо. Она казалась отделенной от мужского мира незримой стеной, хотя и не утратила своей привлекательности. Мне хотелось сделать что-то особенное, чтобы вызвать у нее улыбку, чтобы она показала, что узнает меня, и удостоила хоть словом.

Неожиданно Наттана резко объявила, что ни за что не согласилась бы надолго бросить дом и отца. Она не хотела, чтобы сестра провожала нас до ворот, но Неттера тоже не собиралась уступать и все время, пока мы садились верхом на наших лошадей, стояла с застывшей на губах улыбкой, сложив на груди худые руки. Похоже, я только-только начинал понимать, в чем тут дело.

Но вот дом Энсинговых арендаторов — к числу которых принадлежала теперь и Неттера, — скрылся за высоким зеленым холмом, и V-образная долина снова раздалась во всю ширь. Золотистый свет сделал краски приглушеннее, и горы по другую сторону парили, невесомые, легко очерченные, над желтизной скошенных лугов.

— После встречи с Неттерой теперь всегда грустно, — сказала Наттана. — И я даже не вполне понимаю почему. Как вам кажется, Джон Ланг? Я хочу знать, что вы думаете. Ведь вы иностранец, и у вас свои взгляды. Про Неттеру здесь у каждого — свое мнение, мне хотелось бы

знать ваше.

Но разве можно было выразить словами чувства, в которых так глубоко и тесно переплелись печаль, влечение, интерес и радость?..

— Трудно сказать... — начал я.

— Очень даже легко! — воскликнула Наттана.

Какое-то время мы молчали, и был слышен лишь стук копыт.

— Кажется, она смирилась, — сказал я наконец. — И, по-моему, не так уж несчастна.

— Неттера слишком со многим смиряется, — отозвалась Наттана, — и никогда не жалуется.

— Она все еще играет на дудочке?

— О да! И будет играть. Этого у нее не отнимешь!

— А что вы думаете, Наттана?

— Я чувствую себя несчастной, жалкой.

— Кто-нибудь осуждал Неттеру? Может ли случиться, что она пострадает из-за своего выбора? — спросил я.

Наттана недовольно передернула плечами:

— Отец.

— Почему вы не хотите открыться мне, Наттана? Что так тревожит вас?

— Ах! — воскликнула девушка. — Не испытывайте меня!

— Но почему вы молчите? Ведь вы сами сказали, что я был далеко, ничего не знаю, сами хотели услышать мое мнение?

— Будь вы островитянином — что бы вы подумали о Неттере?

Мне оставалось лишь ответить без утайки:

— Если бы я ее не знал... Мне пришлось бы призадуматься. Но я знаю ее.

— Ну и о чем бы вы призадумались?

— Я бы решил, что ее — такую переменчивую, легкую — нельзя судить строго. Но я знаю ее, Наттана.

— И что это меняет?

— Она не похожа на большинство женщин. Я не в силах судить ее.

— И все же вы считаете, она совершила поступок, за который женщину можно осудить?

— Да... а разве нет? Разве в Островитянии не осуждают женщин, поступивших, как она?

— Кое-кто, но не все. Значит, и Байна вы осуждаете тоже?

— Да, осуждаю! Он повел себя нечестно.

— Итак, вы осуждаете их обоих, по крайней мере если бы Неттеру можно было судить, как всех остальных, обычных женщин. Как, скажем, меня. Ведь я обычная, правда?

— По сравнению с Неттерой — да.

— И вы бы осудили меня?

— Вряд ли вы бы повели себя так.

— Да, вряд ли... потому что я достаточно умна, чтобы заводить ребенка!

Она говорила теперь с чувством, почти гневно:

— И я никогда не повела бы себя, как она, потому что она ничего к нему не чувствовала! Ей нравились некоторые мужчины, но только не он. Я никогда не оказалась бы на ее месте! Но что большее всего, так это то, что теперь ее жизнь изменилась, а это несправедливо!

Конечно, — продолжала Наттана, — он долго добивался ее. Для него, я думаю, это было настоящее... настоящая *ания*... Только этим он мог привлечь ее. Но он был недостаточно великодушен, чтобы отпустить Неттеру, зная ее чувства к себе. Когда любит только один, этого недостаточно. Конечно, если кто-то думает, что у него хватит любви на двоих, это большой

соблазн, но так не может быть: нет любви, которая возместила бы любовь другого... Вы говорите, она смирилась. Да, но одного смирения мало!

Она говорила пылко, словно защищаясь от моих обвинений.

— Да, Джон Ланг, она не такая, как многие другие женщины. Быть может, у нее никогда и не возникло бы сильного желания выйти замуж за какого-нибудь определенного мужчину, и ни за кого другого. Она могла оказаться не способной к таким чувствам. Среди женщин это бывает. Мы все привыкли к мысли, что ей следует выйти замуж. Как это было глупо! Первым завел об этом речь отец. Она не подходит для того, чтобы быть женой, рожать детей, поддерживать вместе с мужем семью, принадлежать ему, когда он этого хочет, вести хозяйство. Ей лучше было бы расти, как она росла, жить своей музыкой и влюбляться, да-да, влюбляться, если ей того хотелось. Влюбленности вряд ли стали бы для нее главным. И она могла бы вести такую жизнь, если бы не отец. Тут его главная ошибка, его вина.

Наттана умолкла.

— Ну вот, я все вам и рассказала, — голос ее звучал уже иначе, — почему бы, собственно, и нет?

— Я тоже так думаю.

Она поехала рядом.

— Могу рассказать и насчет отца, — сказала девушка. — Рано или поздно все равно придется. Его одолевают разные мысли, Джон Ланг, которых он где-то набрался. Думаю, это с тех пор, как он стал наезжать в университет. Он не ждал, что ему придется наследовать моему дяде, и перед ним встало сразу так много дел и задач. У него властная натура. Не знаю, специально ли он завел столько детей, но уж командовал он нами вволю! Одна из его идей была в том, что супруги не должны предохраняться от появления Детей. Он внушал это нам, но у нас уже много веков люди придерживаются иного обычая. И думай он так, как все, он не женился бы дважды и был бы воздержаннее со своими женами... Но таков уж отец! Все должно было быть по его.

Голос Наттаны зазвенел.

— Это называется эгоизм, Джон Ланг. Думаю, дело тут в его слабости, в том, что он никогда не мог до конца решиться на то или иное. Сам он от этого не страдает, но страдаем и будем страдать мы! Нас слишком много в усадьбе, и это тоже неправильно.

— У нас принято считать, что ребенку лучше в большой семье, что в ней он растет более подготовленным к жизни, — сказал я.

— Здесь не так. В нашей семье никогда не было счастья и покоя, не то что в других. У нас только два поместья, и даже нет денег купить новую землю. Скоро владение землями придется разделить, тут уж ничего не поделаешь, и скот придется перегонять с пастбища на пастбище. Эк хочет обосноваться в Верхней усадьбе, и Агт, наверное, уедет с ним. Поместья небогатые, и работы там много. Если мы, девушки, выйдем замуж, дело может поправиться, а если нет... даже и не знаю, где мы все будем жить. И отец хотел, чтобы Неттера уехала к мужу, хоть и знал, что она не питает к нему *ании*, потому что одной заботой для него стало бы меньше! Само собой, он бы в этом никогда не признался. Но почему сестра не могла иметь ребенка, и не выходя замуж? Я спорила с ним без конца. Он говорил, что это будет нечестно по отношению к ребенку, я — что к Неттере. Тогда отец сказал, что ее вообще не следует принимать в расчет — она виновата (во всяком случае он это подразумевал). И знаете, что может быть хуже всего из того, что он задумал? Хуже всего может быть то, что он пойдет за Морами, рассчитывая, что в новой жизни, которую нам сулят, найдутся возможности все уладить. Так чего же удивляться, что я так несчастна? Если бы не было меня, если бы семья вообще состояла из трех-четырех человек — ему бы вряд ли пришли в голову подобные мысли. Теперь он уже не с Ислой Дорном

и его друзьями. Он не пойдет за ними! И он наверняка думает, как бы ему выпутаться. Он не говорит об этом прямо, но...

Наттана закрыла лицо руками.

— Ах, Джон Ланг! — горестно простонала она. — Может, все и не так. Не стоило мне вам это рассказывать.

— Нет, стоило! — воскликнул я в отчаянии. Никогда еще Островитяния не являлась мне такой.

— Нет... Я совсем перестала его понимать.

— Вы должны, если хотите помочь ему.

— Как стыдно! Уж лучше вы дали бы мне пощечину, разозлили меня!

Пригнувшись к холке своей лошади, Наттана резко рванула вперед; жеребец подо мной застыл в недоумении, но тут же пустился вдогонку.

Девушка со смехом оглянулась. Она хотела погони, и я вынужден был уступить, надеясь, впрочем, что мне не нагнать ее. Так и случилось. Наттана мелькнула и скрылась за поворотом тропинки, ведущей вниз, к берегу Хиса. Тут скачки были невозможны. Я думал, что девушка подождет меня, однако, когда мы доскакали до конца тропинки, она уже мчалась через мост. Я не отважился положиться на незнакомую лошадь из страха свернуть себе шею. Когда я добрался наконец до противоположного берега, Наттана уже превратилась в едва различимую точку, стремительно удаляющуюся через луг. Она ни разу не обернулась. Это было обидно, но еще больше меня раздосадовало, что, вернувшись, я не нашел ее и на конюшне.

Однако, когда на следующее утро Наттана, лорд Хис и я выехали в Город, девушка вновь выглядела умиротворенной и счастливой, а дружба наша стала еще крепче — ведь теперь мы знали тайные тревоги друг друга.

Проделав путь в три дня, мы прибыли в столицу к вечеру. Я простился с Наттаной, пообещав навестить ее во дворце Верхнего Доринга, потом отправился к Файнам и, зная, что Дорна обязательно должна быть где-то в Городе, искал ее взглядом повсюду.

Своим фасадом дворец провинции Островитяния, принадлежащий Файнам, вместе с четырьмя остальными зданиями, в которых размещаются верховные учреждения страны, обращен на Городскую площадь. Моя комната во втором этаже выходила непосредственно на площадь, и я был в полном смысле слова в гуще событий, пользуясь всеми преимуществами, которыми может пользоваться даже такой самозванный корреспондент, как я.

Файны еще не приехали. Я свободно распоряжался своим временем до самого вечера. Предстоящая работа была распланирована по минутам. Отчет предполагалось закончить к восемнадцатому, когда прибывает «Суллиаба».

Главное теперь было ничего не пропустить. На следующее утро я зашел к Перье, которые просили меня отобедать у них четырнадцатого. Месье Перье явно нервничал. Он понимал, что ситуация слишком серьезная для званных вечеров, но все кругом продолжали развлекаться, как обычно, и он вынужден был вести себя, как все. Сказав это, месье Перье развел руками и попросил меня рассказать о моих делах. Под конец он сказал, что завидует мне, однако жизнь есть жизнь, и он должен хоть как-то обеспечивать себя и семью. Когда я попытался выяснить, чем же, с его точки зрения, все закончится, месье Перье умоляюще взглянул на меня, словно прося пощады: его коллеги не настроены, чтобы партия Дорнов одержала верх, больше пока он ничего сказать не может.

Когда, сидя у себя в комнате, я принимался за свое повествование, мне удавалось сосредоточиться и восстановить связную картину событий, но стоило мне заговорить с кем-нибудь, и снова я чувствовал себя сбитым с толку.

Судя по словам всеведущего месье Перье, сторонники Ислы Дорна должны были прибыть сегодня же, то есть десятого. Мне не сиделось на месте, и к вечеру я направился во дворец провинции Нижний Доринг, просто чтобы засвидетельствовать свое уважение. Участники небольшого собрания уже расходились. В зале я увидел Марринера — лорда провинции Виндер, Сомса и Файна. Был здесь и адмирал Фаррант. Он не принадлежал к числу сторонников Дорна, и его присутствие не могло не заинтересовать меня.

Исла Дорн обратился ко мне. На щеках его пылал румянец, взгляд ярко горящих глаз был усталым. Держался он радушно, но несколько рассеянно.

— Комната для вас готова, Ланг, — сказал он. — Перебирайтесь, если хотите. И не забывайте навещать нас на Острове.

За спиной лорда открылась дверь, и показался Дорн. Он выглядел прекрасно, хотя на щеках полыхал тот же нервный румянец, и по сравнению с ним дядя его невольно казался немощным стариком.

Мы крепко пожали друг другу руки.

— Я зашел, собственно, проведать вас, посмотреть, как вы здесь, — сказал я.

— Превосходно! — воскликнул Дорн. — И ты, ты — тоже! У меня как раз сейчас свободная минутка!

Дорн был взбудоражен, как боевой конь, слышавший зов трубы.

Мы вышли в соседнюю комнату, мой друг прикрыл дверь и сразу спросил, чем я сейчас занимаюсь. Я вкратце рассказал, что делал, где был и как, наконец, добрался до столицы.

— Хис изменил нам, — сказал Дорн. — Пишет, что не уверен, что мы выбрали правильный путь, который может принести пользу. Конечно, это не очень-то понравилось Наттане.

— Еще бы, — сказал я, полагая, что сама Наттана не возражала бы против моего ответа.

— Некке тоже! — со смехом добавил Дорн. Потом в упор взглянул на меня. — Некке тоже, — повторил он, хрустнув пальцами.

Объяснение было неизбежным; я приготовился.

— Она — за нас, — сказал Дорн, — во всяком случае будет за нас, как только в стране станет спокойнее. Конечно, она несколько уязвлена, но так все и должно быть.

Боль на мгновение омрачила его воодушевленное, счастливое лицо.

— Какое-то время, — продолжал Дорн, — мне казалось, что либо я не выдержу, либо она взглянет на вещи по-моему, — и то и другое случилось.

Слова Дорна заставили меня с радостью и облегчением перевести дух, от внезапного чувства одиночества не осталось и следа.

— Очень рад! — сказал я.

— Она не помешает нашим отношениям, — неожиданно заметил Дорн. — Я мечтаю добиться ее, и она мечтает обо мне — этого достаточно. Она сделает все, чтобы я зажил полной жизнью, чего не было раньше. Я стану спокойнее, она же будет чувствовать себя более уверенно. Так и должно быть.

Уж не старался ли Дорн подавить в себе последние сомнения? Во всяком случае он больно задел меня, и хотя я вовсе ему не завидовал, но одиночество и неосуществленные желания снова остро дали о себе знать. Целебный покой жизни в поместье, путешествие и затея с газетными статьями в мгновение ока превратились в пошлые, скучные и бесплодные попытки хоть как-то утешиться.

— Для меня, — говорил между тем Дорн, — Некка была единственной. Другая женщина не могла дать мне... полноты, в Некке — все: вся полнота моей *апиу* и *аниу*. Я совершенно ясно понял, к чему так давно стремился: к жизни с Неккой, такой, какой она может и обещает быть. Она — то, чего не хватало моему сердцу, чувствам, моему дому. Никакая иная женщина не нашла бы там себе места... Да, лет девять-десять назад было несколько женщин, которые могли бы стать мне так же дороги. Конечно, я никогда не терял надежды, хоть мы и были так далеко друг от друга, что порой я впадал в отчаяние. Никто не мог с нею сравниться. В этом я не исключение, и очень хорошо, очень ясно представлял себе картину нашей жизни вместе, какой она могла бы быть. Если у мужчины нет перед глазами такой отчетливой картины, если он не может, вплоть до мелочей, представить себе жизнь с женщиной, если он просто любит ее и хочет обладать ею — тогда, если ему это не удастся, он на время находит утешение в других женщинах, с которыми ему даже проще. Но мне это не удавалось, и, бывало, я едва ли не жалел себя.

Дорн рассмеялся, потянувшись всем своим большим, сильным телом.

— Теперь я себя не жалею, — добавил он.

— Я тоже, и очень рад за тебя.

— Спасибо за такие слова, — ответил Дорн. — Твои чувства мне известны.

— Я и вправду очень-очень рад!

Дорн глубоко вздохнул.

— Мне было не так-то просто сказать тебе все. Как только у меня появится время, я поеду к ней, а это будет зависеть от того, что произойдет за ближайшие шесть дней. Она сейчас в Верхней усадьбе.

Он резко поднялся.

— Что я могу для тебя сделать?

— Теперь — ничего.

— Позже мы снова отправимся в путешествие. А Остров?.. Ты ведь приедешь опять?..

— Конечно!

— Придешь к нам на обед тринадцатого? Сестра тоже будет.

— Нет, если ты не против.

— Никто не обидится. Соберется много народу: Тор, Дорна, Мора, дипломаты. Хисов мы не звали. Мы не делаем тайны из того, что это вечер наших сторонников и друзей. Если будет возможность, объясни Наттане, почему ее отец не приглашен. Вряд ли я сам успею.

Скоро мы расстались... Что ж, пожалуй, тринадцатое — подходящий день, чтобы навестить Наттану. Дорн теперь в некотором смысле отделился от меня, или так только казалось, хотя я изо всех сил старался уверить себя, что это не так.

Удивительно и странно было, как чувство собственного одиночества, несмотря на живейший интерес к происходящему, заставляло воспринимать его как нечто далекое, некое театральное представление, и, зная, что завтра увижу Дорну, я заснул не сразу и проснулся оттого, как нервно и часто билось мое сердце.

Одиннадцатое июня тысяча девятьсот восьмого года! В этот день просто невозможно было думать о сетях, которыми опутала тебя злая судьба, размышлять о собственных потерях и невзгодах; в этот день нельзя было ни на минуту усомниться в том, что все то великое, что должно произойти, произойдет наяву. Скоро должно было свершиться самое великое событие в истории Островитянии, немаловажное и для остального мира, — проверка того, отстоит ли нация свое право на исключительность, на то, чтобы жить по-своему, отказавшись покориться молодой западной цивилизации, основанной на торговле и промышленности, сможет ли народ отстоять свои материальные богатства, которых так жадно домогались другие народы, видя, что иностранные державы угрожают тому, что он полагал несомненным благом. И все же, проведя весь день за письменным столом, я почти утратил ощущение реальности, хотя рассудком понимал, насколько все реально.

Пришло приглашение от Моров: на следующий день они давали большой обед. Я отказался, боясь встретить Дорну, и почти сразу пожалел о своем отказе.

Наконец настало время идти к Ламбертсонам. Вступление было у меня уже готово, остальное я собирался пополнять, подобно летописцу, день за днем. Мы пообедали в гостинице (все были одеты в европейское платье) и отправились во дворец в конных экипажах. Посол с супругой, секретарь, подруга миссис Ламбертсон, двое американцев и я — составили более многочисленную и внушительную группу, чем мы с Джорджем год назад.

Мы приехали к самому началу. Все ложи лордов провинций, кроме одной или двух, были заполнены. При первом взгляде на одежды собравшихся возникло впечатление палитры, на которой некий безумный художник смешал в неистовом порыве все имевшиеся у него под рукой краски. Различить отдельные лица было невозможно. И над всем этим под сводами зала царило ослепительное безмолвие света, золотое сияние которого будоражило не меньше, чем цвета одежд. Лица собравшихся в нашей ложе отливали оранжеватым румянцем, глаза горели.

Ламбертсон попросил меня занять место слева от него, его жена стояла справа, а ее подруга — позади.

Сердце мое бешено колотилось, многоцветное кружево плыло перед глазами. Лица казались миниатюрными портретами.

Наконец дверь, маленькая дверь в ничем не украшенной стене распахнулась, и в проеме ее появился Тор в зеленом одеянии, с высоко поднятой головой. Чуть сзади от него, слева я увидел маленькую хрупкую фигурку, тоже в зеленом. Выждав минуту, они двинулись вперед, выступая с почти механической правильностью — ярко-желтые кудри рассыпались по плечам короля, королева с каштановыми кудрями была ниже ростом, но держала столь же горделиво.

Оба остановились между рядами лож. Лучистые глаза Тора медленно обвели собрание.

Королева стояла на полшага позади. Подбородок ее был приподнят. Лицо выражало ровное довольство, так же как и лицо Тора, словно до того, как выйти к нам, они смеялись чему-то вместе и не успели окончательно придать своим лицам подходящее торжественное выражение.

Так стояли они рядом, и, казалось, время замедлило свое течение.

И вот высоким звонким голосом Тор произнес древние ритуальные слова приветствия: «Король рад видеть у себя представителей народа Островитянии...»

Теперь эти двое знали друг друга так, как могут знать только близкие мужчина и женщина. Я чувствовал слабость в коленях, голова кружилась.

— Совет в сборе! — провозгласил Тор своим, как всегда, спокойным, непринужденным голосом и, отступив немного, повернулся к той, чье имя значилось теперь первым в подлежащем оглашению свитке.

— Дорна!

Эхо подхватило с любовью хотя и чуть-чуть шутливо произнесенное имя королевы. Дорна грациозно и почтительно, но тоже словно бы играя, поклонилась королю. Я пылал, и в то же время ледяной озноб пробирал меня.

— Тора!

Легко, явно не думая о том, сколь великолепно каждое движение его высокой, ладной и крепкой фигуры, Тор обернулся к стоявшей за ним сестре.

Да, вот он, мужчина, полюбивший и отнявший у меня мою Дорну.

Принцесса несколько сухо поклонилась.

— Дорн!

— Мора!

Предустановленный веками порядок.

Наклонившись к мужу, миссис Ламбертсон шепнула:

— А королева очень хорошенькая...

В тот день Дорна действительно была хороша. Волосы ее были убраны с незатейливым изяществом. Она стояла, опершись рукой о бедро, откинув плащ так, что была видна его коричневато-желтая подкладка и плавно изогнутая линия от талии до колена. Она выглядела более стройной, нежной и юной, чем прежде. Даже выражение ее лица было как у хорошенькой, слегка избалованной девочки.

Она походила и не походила на себя. Она стояла передо мной — подружка Тора, его жена, но только не королева. Я помнил ее замкнутой и холодной, ослепительно прекрасной; помнил ее босоногой, с белыми пятнами соли, выступившими на юбке, когда мы вместе катались на лодке; помнил нелепо уложенную на макушке косу; нагое, невинно бесстыдное тело, полускрытое голубой рябью воды, на фоне синего неба и оранжевого песка; помнил, как она подолгу безмолвно сидела перед очагом; все это и многое, многое другое, — но теперь передо мной была иная Дорна — хорошенькая куколка.

Читающий список Тор рядом с ней полностью утратил женственность своего облика, никогда еще он не выглядел столь мужественным и сильным.

Последним прозвучало имя Шейна, лорда Фарранта, преемника старого лорда, которого я когда-то навестил в его замке.

Потом Тор коротко приветствовал дипломатов. На этот раз он не употребил слова «гости», сказав лишь, что Островитяния рада видеть послов и консулов иностранных держав. Ламбертсон попросил меня перевести, что я и сделал — шепотом.

Тор умолк и направился к нам. В прошлом году король начал с другого конца зала. У меня даже не было времени отступить в глубь ложи.

Король сразу подошел к Ламбертсону. Остальные следовали сзади. Своим плечом Тор

наполовину загораживал Дорну. Сначала я услышал его голос, потом — голос Дорны, далекий и все же единственный живой и знакомый в мире, который вдруг стал похож на сон. Она ограничилась приветствием по-французски. Дальше Тор говорил от лица обоих.

Вот он обратился ко мне. Я не отрываясь глядел ему в глаза. Смутное зеленое пятно и следящее за мной оживленное лицо маячили рядом. Обменявшись рукопожатиями с Ламбертсоном и его супругой, Тор пожал руку и мне. После чего он по-островитянки выразил надежду, что я останусь в стране столько, сколько будет возможно, и проследовал дальше.

Я взглянул на Дорну. Она была такой же, как всегда, и уже не казалась изменившейся, однако лицо ее слегка подверглось переменам, чуть заметно повзрослело. Вслед за мужем в знак вежливости она приветствовала иностранцев рукопожатием, подала руку и мне — и вот ее рука, горячая, нервная и такая знакомая, снова на мгновение оказалась в моей — единственное реальное ощущение посреди безумного круговорота.

— Как поживаете, Джон? — спросила она по-английски с акцентом.

— Хорошо, — ответил я. — А вы, Дорна?

— Я счастлива, — старательно выговорила она.

Я взглянул ей в глаза. Что-то в глубине их говорило, что она помнит... Была ли она действительно счастлива?

— На Острове не хватает вас, — сказала она, неожиданно перейдя на родной язык, пальцы ее сжались крепче, потом она выпустила мою руку и тоже прошла дальше.

Мгновение спустя я уже вновь выступал в роли переводчика. Когда Дорна назвала меня «Джон», я почувствовал, как супруги Ламбертсоны с обеих сторон бросили на меня значительные взгляды. Сердце мое захлестнула волна злорадного торжества...

Тора, проходя мимо нас, неуверенно, почти робко улыбнулась мне. Вообще же она была очень хороша собой, держалась довольно надменно, и я с любопытством подумал, о такой ли жене она мечтала для брата и как сложились ее отношения с Дорной.

Подошли Файны. Я объяснил, что это именно та семья, у которой я сейчас живу. Потом перед нами предстали Стеллины, и вновь радушные, спокойные, просветленные лица всех четверых внушили мне чувство уверенности.

Как и год назад, граф фон Биббербах надолго задержал королевскую чету разговором; с нами, в свою очередь, долго беседовали Келвины, однако они неважно знали английский.

После паузы шествие лордов возобновилось. Бодвины, Сомсы, Роббаны и даже сам Исла Бейл прошли мимо.

— Так вы ко мне и не заехали, — сурово бросил старик, проходя мимо.

Появились Исла Дорн и мой друг; для одного я был Джоном Лангом, для другого — просто Джоном. Ламбертсон сиял радушием.

Дакс из Доула, его жена и Торн, его предшественник, были следующими, а потом неожиданно показались рыжие головы Хисов: первым шел Исла Хис, за ним его сын, следом пасынок и Наттана, чьи волосы были более бронзового оттенка, по сравнению с огненными кудрями ее родственников. Ее знакомое лицо возникло как кусочек реальности в окружавшей меня феерии. Я продолжал переводить, одного за другим представляя друг другу и краешком глаза следя за Наттаной.

Хисы двинулись дальше, я взглянул на девушку, и она задержалась. К Ламбертсону между тем подошел Дазель из Вантри и его жена Банвина. Я быстро назвал их имена и повернулся к Наттане:

— Вы будете свободны послезавтра вечером?

Девушке было явно неловко, она то и дело косилась на миссис Ламбертсон.

— А разве вы не идете к Дорнам?

— Нет.

Наттана усмехнулась, словно бы удивленно, но, впрочем, и понимающе.

— Вечером я буду дома.

Дазель и Банвина прошли вперед нее, глаза Наттаны широко раскрылись, как у испуганного и растерянного ребенка.

— Мне нужно догонять своих! — воскликнула она.

— У вас замечательное платье! — крикнул я ей вслед.

Как неловко она держалась, как робела — настоящая деревенская барышня! Оглянувшись, она улыбнулась мне. На ней было сшитое накануне отъезда платье, голубое, с белым жилетом, по которому шла зеленая вышивка, а воротник — оторочен светло-желтой полосой; в косы она тоже заплела зеленые ленты. Волосы полыхали вокруг ее головы золотисто-бронзовым ореолом, обрамляя яркую зелень глаз и нежные алые губы. Она была очень мила — мой верный и такой нужный друг.

Я вернулся на выручку к Ламбертсонам, которые оказались в затруднительном положении наедине с Ислой Шейном из Фарранта.

Прошло еще несколько человек; последними появились лорд Мора и Келвина с обоими сыновьями и дочерьми. Здесь во мне как в переводчике нужды не было, и я смог отвлечься, чтобы поговорить с Мораной и младшим Морой, и даже подруга миссис Ламбертсон смогла присоединиться к нашей беседе.

Морана заговорила о моей книге. В Мильтейне многие ее читали. Приятно было чувствовать уже, казалось, полузабытое, но вновь пробуждающееся дружеское чувство.

— Приходите повидать нас, — сказала Морана, прощаясь. — Не все наши гости — политики, и дом наш — ваш дом, помните это.

Подобных радушных приглашений последовало еще множество. Пусть я потерял Дорну, но страна ее по-прежнему была ко мне добра.

И все же я потерял свою любимую. Теперь, когда я видел ее рядом с мужем, старательно подавляемое и, казалось, позабытое чувство вновь гвоздем впилося в сердце.

В тот вечер, глядя из окна своей комнаты на овальную мостовую Городской площади, я описывал королевскую аудиенцию, стараясь словами передать ее блистательное многоцветье.

Вся Островитяния жила ожиданием завтрашнего дня. Мои мысли тоже были прикованы к нему, и я сознательно старался не сосредоточиваться на личных переживаниях. Поначалу мне это удавалось, но, когда я потушил свечи и лег, перед глазами вновь засияли яркие краски, лица вставали, как живые, лучился янтарный свет, двигалась, приостанавливаясь, разноликая процессия, и то один, то другой образ вдруг выступал детально и явственно. Дорны среди них не было. Она вспоминалась как хорошенькая девушка, юное существо, предназначенное для ублажения мужчины. Больно было вспоминать о ней так, больно — не видеть ее. Но вот снова мелькнули головка Наттаны и смуглое, обветренное, непреклонное и сияющее довольством лицо Дорна.

...Он думал о Некке, которую ему скоро предстояло увидеть. Потом припомнилась неожиданно сочувственная улыбка Торы, впрочем, ей с братом могло быть известно о моем неудачном сватовстве, и лица Стеллинов, мудрые, просветленные, словно лица персонажей Эмерсона. Манера держаться, выражение лиц островитян уже не казались странными. Чувствуя себя наполовину островитянином, я страстно желал, чтобы их ожидало счастливое будущее; но, наполовину чужак, я все же держался особняком, в одиночестве, хоть и освободившись наконец от многих предрассудков. Почему они должны двигаться в одном направлении с остальным миром? Однако мне, Джону Лангу, иноземцу, так горячо мечталось еще глубже проникнуть в их прекрасную, разнообразную жизнь, такую свободную и такую таинственную... Великий день

настал — было уже далеко за полночь.

Атмосфера, царившая в ярко освещенном зале Совета, с его обшитым деревянными панелями потолком и покрытыми резьбой стенами, была до предела наэлектризована. Яблоку некуда было упасть, так что некоторым из помощников даже приходилось стоять за скамьями, отведенными для членов Совета. Все явились в цветах своих родов и провинций. Во втором ряду сразу же за Ислой Дорном я увидел моего друга вместе с двумя неизвестными мне мужчинами, и еще двое стояли за ними. Похожая группа разместилась и на стороне лорда Моры.

Ламбертсон, рядом с которым я сидел, засыпал меня вопросами.

Наконец вошел Тор с сестрой и Дорной. В простом зеленом платье, с гладко зачесанными волосами, она казалась уже не просто хорошенькой девушкой, а умудренной жизнью женщиной, чья юность и красота мешали мужчинам с первого взгляда вполне оценить ее ум. Казалось, она исполняет роль! Сколько дней предстоит мне теперь просидеть в одном зале с нею, глядя на нее издали, томясь и изнывая от желания обладать ею, и, мучаясь от боли, ощутимо сознавать всю ее недоступность — недоступность замужней женщины.

Вместе с Торой они сразу прошли к правому ряду скамей и сели рядом, являя собой поразительный контраст; в том же ряду виднелась белоснежная шапка волос и тонкий профиль Ислы Файна.

Тор занял свое место, и лорд Мора поднялся. Шум переполненного зала мигом стих, он стал похож на усыпанный пестрыми цветами сад в безветренный полдень.

Вначале прозвучал краткий обычный отчет. Далее лорд Мора заявил, что у него скопилось много запросов со стороны иностранных держав, причем все они так или иначе затрагивают один вопрос: какое решение примет Совет относительно договора, который он заключил с германским правительством вот уже три года назад? Наконец день принятия подобного решения настал, и для него, лорда Моры, и для многих других дело представляется вполне ясным.

Он выдержал паузу. Все это была еще только преамбула.

Ламбертсон шипел у меня над ухом, задавая вопрос за вопросом, я старался переводить наиболее важные отрывки речи, но мне хотелось прежде всего внимательно слушать самому, а не выступать в роли переводчика.

Голос лорда Моры лился, мягкий и звучный. Он говорил глубоко прочувствованно и с полным самообладанием.

— Что является естественной единицей общества? Факты доказывают, что это не отдельная личность, не семья, не племя. Нисхождение с Фрайса было бы невысказано, если бы один человек, семья или племя действовали разрозненно, не объединяя усилий. Мы были изгнаны со своей земли, потому что жили узкими, эгоистическими интересами, и только сплотившись в горах Фрайса, стали нацией и смогли отвоевать утраченное.

И так было на протяжении всей нашей истории. Мы объединялись в борьбе во имя общего блага. Мы хотим свободы, хотя и понимаем, что она не может быть абсолютной, и все же мы более свободны, когда подчинены общей цели, а не эгоистическим интересам.

Мы обособлены и очень отличаемся от своих ближайших соседей, и неудивительно, что поэтому привыкли воспринимать нашу нацию — живущий на этой земле народ — как окончательно сложившееся общество. Но так ли это?

Столкнувшись с иноземцами, представителями далеких стран, мы обнаружили, что у нас много общего. Гораздо больше мы отличаемся от наших соседей: горцев и карейнов; но даже и они меняют уклад своей жизни: народы континента проникаются духом, который принесли на наши земли заморские дипломаты, которые как друзья присутствуют сейчас в этом зале.

Затем какое-то время лорд Мора говорил о чертах сходства между островитянами и европейцами. Он приводил примеры истинно братских отношений между ними, свидетелем которых был он сам и которые имели единую нравственную основу — принцип коренного сходства всех людей.

— Отчего мы так боимся расширять общение с иноземцами? Вы можете возразить, что до сих пор общение это сводилось к социальным контактам — контактам в свободном царстве идей, где нет места борьбе и соревнованию, но где оно — то отчуждение, те непреодолимые врожденные различия, в существование которых некоторые верят. И даже если нам суждено столкнуться с какими-либо трудностями и противоречиями, почему нам не разрешить их так, как мы разрешали наши собственные сейчас и в прошлом?

Наступил дневной перерыв, я отправился на ленч с Ламбертсонами и постарался рассказать послу все из того, что не успел перевести во время речи. Мы были едины в мысли, что нам довелось слышать поистине великие слова, так же думали и большинство дипломатов, возвращавшихся вместе с нами в зал. Да, лорд Мора мыслил широко.

После перерыва он обрисовал историю развития западной цивилизации, делая акцент не на национализме, а на пути и росте западных народов как целого. Он указал главные черты, общие для Европы, обеих Америк, Австралии, большей части Азии и Африки, такие как: развитие промышленности, торговли, общедоступность обмена и связей. Все это имело разнообразные последствия: увеличивало зависимость человека от труда других, зачастую неизвестных ему людей, приводило к разделению и специализации труда, стандартизации образа жизни и мышления, а также к тому, что контакты между людьми становились насыщеннее и сложнее. Во многих отношениях жизнь иноземцев была богаче жизни островитян, а разве богатство и разнообразие жизни не ведут к процветанию и свободе?

Затем лорд Мора в общих чертах описал все то безграничное число предметов, окружающих, в отличие от островитянина, среднего западного человека: поезда и автомобили, способные в один день перенести его на сотни миль; продукты из разных стран мира, сохраняемые множеством способов; литература разных стран; панорама музыки и живописи; всевозможные развлечения; удобства бытовой домашней техники; возможность общаться, тратя на это не дни, а часы, а иногда и минуты, — с помощью телефона и телеграфа; западный человек мог больше увидеть, у него было больше пищи для размышлений, он мог общаться с куда большим количеством людей, часто это позволяло ему расширить круг деятельности, удовлетворяя тем самым свои амбиции; и, разумеется, это открывало бесконечные пути для молодежи.

— Эта цивилизация по-прежнему растет и видоизменяется, и для того, кто принимает ее, жизнь становится ярче, насыщеннее, разнообразнее. Она распространяется по земле, населяя пустующие пространства, люди первобытных культур вовлекаются в ее орбиту, другие же цивилизации ощущают на себе ее влияние и стараются усваивать ее уроки. Это великий поток, увлекающий все на своем пути. В сознании своей силы он не видит преград, в сознании своей правоты он относится к прочим цивилизациям как к младшим братьям. Стоит ли Островитянии одной противиться такой мощной силе, к тому же несущей благо всему человечеству? Даже если она решится — под силу ли ей это? Эта цивилизация нуждается во многих ресурсах, а Островитяния обладает огромными неиспользованными богатствами, необходимыми остальным странам.

Это был один из самых коротких дней в году, и скоро стемнело. Слуги ходили по залу, зажигая свечи, и движение и свет словно пробудили меня: так похоже на сон было замороженное внимание, с которым я слушал речь, совсем позабыв про Ламбертсона.

Оглядевшись по сторонам, я увидел, что зал слушает, затаив дыхание. Лорд Дорн сидел чрезвычайно прямо, не сводя глаз с лорда Мора, под глазами у него залегли тени. Мой друг заложил ногу на ногу и, судя по всему, чувствовал себя вполне удобно. Незаметно появившаяся Наттана села рядом с отцом, высоко державшим голову с написанным на лице вдохновенным выражением. Напротив сидела Дорна с горящими щеками. Лорд Файн понуро склонил свою седую голову.

Я чувствовал, словно какая-то внутренняя сила влечет меня, как и почти всех собравшихся в зале. Лорд Мора въяве показал нам движение прогресса. Островитяния была лишь островком, и могучий вал мог захлестнуть ее в любую минуту. Мы сидели, словно околдованные.

— Члены Совета должны воочию представить себе реальность окружающего мира. Именно поэтому я так подробно и долго рассказывал вам о западной цивилизации. Что она такое, чего хочет, насколько сильна — все это надо хорошенько уразуметь.

Потом лорд Мора заговорил о силе Запада: о том, как стремительно развивается промышленность, об успехах здравоохранения, росте населения и, наконец, о мощи современных армий и флотов. Сотни миллионов солдат против трех миллионов вооруженных островитян?

— Чего же она хочет?

Между тем настало время закрывать заседание.

— Такими темпами, — заметил Гордон Уиллс, обращаясь к Ламбертсону, — он может неделю проговорить без передышки, и все же он великолепен. Его идея о нашей цивилизации как о едином целом недурна. Право, удивительно, какие мы все для него одинаковые.

Ламбертсон сонно взглянул на него.

Я отправился к Файнам и, закрывшись у себя в комнате, принялся немедленно записывать все виденное и слышанное. Перо так и летало по бумаге.

На следующее утро Ламбертсон лишь ненадолго заглянул в зал заседаний, и я без помех мог выслушать речь лорда Мора относительно того, чего же хочет западная цивилизация.

Она стремилась к ресурсам: земным, водным, воздушным, и к тому, что кроется в недрах земли. Потребности ее были огромны, прогресс неудержим, и не было таких природных богатств, мимо которых она бы прошла, оставив их нетронутыми, в своем стремлении к росту.

А уж как богата Островитяния!

Мора привел такие цифры, касающиеся, казалось бы, всем известных рудных месторождений в Феррине и Виндере и угольных — в Герне и Нивене, что многие были просто ошеломлены. Не менее значительными представлялись запасы нефти в Доуле. А запасы ценной древесины вблизи судоходных рек могли сравниться разве что с Северо-Западом Америки.

— Возможности нашего сельского хозяйства не менее велики, и, будучи нацией, привыкшей обходиться немногим и самостоятельно, мы сможем приобретать все, что захотим, и обращать наши прибыли в материальные ценности. Мы войдем в царство прогресса не как нищий с протянутой рукой, а как богатая и процветающая нация. Таким образом, наше положение будет неизменно прочным, и мы сможем на равных вести дела с другими странами.

Западная цивилизация — единство, пусть и представленное послами и консулами разных наций, — хочет, нуждается, требует (с моей точки зрения — по праву) и время от времени должна и будет полностью распоряжаться ресурсами Островитянии. Подобным же образом Западу нужно предоставить возможность за счет избытка своей жизненной энергии сделать островитянские ресурсы полезными для всего мира. Многие западные страны перенаселены, и живущие в них полные сил молодые люди отправляются во все уголки света. Вот за счет чего

карейны добились такого огромного развития при германском протекторате.

Потом лорд Мора рассказал о процветающих колониях Северо-Запада и их нужде в новых запасах угля, железа, леса, в домашнем скоте, продовольствии.

Это был ловкий маневр. От общих вопросов Мора незаметно перешел к частностям.

Всю вторую половину дня он описывал последствия, какие может иметь для Островитянии утверждение его Договора. Страна сможет закупать и импортировать все, что пожелает, в то время как иностранцы смогут торговать тем, что найдет сбыт. Некоторые порты будут специально предназначены для захода иностранных торговых судов. Банки будут финансировать торговые операции. Иностранцы должны допускаться в страну на тех же основаниях, как и во всем мире: документ о фрахте судна должен заменить медицинское свидетельство, и все ограничения на срок пребывания должны быть сняты.

Нарисовав перед присутствующими картину будущего Островитянии в случае принятия Договора, лорд добавил, что никто не будет принужден к новой жизни насильно.

Поспешно вернувшись во дворец Файнов и наскоро записав впечатления дня, я поужинал один: лорд Файн с братом были приглашены к Дорнам. Когда по личным мотивам, никак не относящимся к твоим друзьям, приходится отклонять одно приглашение за другим, чувствуешь себя одиноко и досадуешь, непонятно на кого. В таком именно расположении духа, к тому же уставший после двух дней напряженных слушаний и нескольких вечеров, проведенных за письменным столом, я отправился навестить Наттану.

Идти было недалеко, однако вечер был холодный, задувал сырой порывистый ветер. Дворец Верхнего Доринга стоял окруженный облетевшими деревьями сада, погрузившегося в зимний сон. Это было большое каменное здание простых очертаний, двухэтажное, около двухсот футов в длину. Большинство протянувшихся рядами окон были темны, только кое-где пробивался слабый свет. Над небольшой дверью горела свеча под колпаком, и ее дрожащее, мечущееся на ветру пламя, казалось, жмет к фитилю, боясь оторваться от него и погаснуть. Я позвонил — далекий глухой звук отозвался из глубин дома.

Маркан впустил меня и провел в небольшую комнату с темными портьерами на окнах, пылающим очагом и скамьей с высокой спинкой перед ним. Две свечи на низких столах по обе стороны отбрасывали слабый желтый свет.

Было холодно, и еще до появления Наттаны я разворошил огонь в очаге, и он запылал еще ярче, — хотя и знал, что позволить себе такое с чужим очагом можно только после семи лет знакомства. Не было человека в Островитянии, даже считая Дорна, которого я знал бы так давно. Но хотя островитянские мои знакомства завязались большей частью недавно, я не чувствовал никакой неловкости или стесненности, понимая, что это лишь начало. Суждено ли и этой истории стать лишь эпизодом? Так будет, если я вернусь, так будет, если я останусь, и все же иностранцы неизбежно привносили с собой что-то из своей жизни.

Наттана вошла, слегка запыхавшись. На ней была желто-коричневая юбка и такого же цвета жилет, туго подпоясанный, с широкими зелеными лацканами и манжетами, кремового цвета блузка, на ногах — закатанные до колен коричневые чулки и зеленые сандалии. Лицо дышало свежестью, словно после купанья, гладко зачесанные волосы блестели. Она явно готовилась и ждала, и ее нарядный вид не мог не польстить моему самолюбию.

Мы сидели: Наттана на одном краю скамейки, подогнув под себя ногу и покачивая другой, я — с другого края, и, внимательно глядя друг на друга, говорили о погоде. Жарко полыхал камин. Отец и братья, сказала Наттана, отлучились куда-то по делам, и теперь у нас впереди весь вечер. Тон разговора был доверительным. Прошлое окрашивало наши отношения в особые цвета.

Беседа текла неспешно, с легкими запинками, но необычайно приятно. Каждому было интересно, что думает другой о выступлении лорда Моры. Впечатление у нас обоих были самого общего порядка, и поэтому наши речи звучали более чем туманно.

— У меня в голове все перемешалось, — сказала Наттана после паузы. — Ничего не могу сообразить.

Я согласился, тем более что сам пребывал в таком же состоянии. Но одно было ясно: речь Моры — наиболее яркое и любопытное событие последних лет.

— Что с нами происходит? — сказал я.

— А что?

— Но неужели же мы не найдем, что еще сказать о таком важном предмете?

— Зачем? Разве это необходимо?

— Может быть, мы слишком обескуражены и не способны осознать происшедшее во всей полноте?

Зеленые глаза девушки задержались на мне, она рассмеялась, но уже через минуту снова посерьезнела и опустила глаза.

— Причины есть, — сказала она. — Во-первых, мы все долго были в напряжении.

— То есть вы хотите сказать, что мы в некотором замешательстве накануне великого решения?

— Я думала, меня это больше взволнует.

— И это не взволновало вас, Наттана?

— А вас?

Нет, причина была в другом.

Я высказал предположение, что мы оба — фаталисты, однако, не зная, как перевести этот термин на островитянский, стал говорить, что, видимо, мы из тех, кто бессилён повлиять на события, а потому примиряется с нежелательным будущим, продолжая сохранять спокойствие.

— Но я не «сохраняю спокойствие»! — воскликнула Наттана. — И неужели вы сохраняете? И не нравится мне ваш «фатализм».

— Нет, — сказал я. — Я не спокоен.

— Вы должны страдать, Джонланг!

— То есть... видя Дорну?

Девушка кивнула.

— Страдание — еще не вся жизнь, — сказал я.

— Я очень рада, — ответила Наттана с неожиданным чувством.

— Вы переживаете из-за отца? Уж не про то ли «напряжение» вы говорили?

— Да... Я не хочу, чтобы он бросал Дорнов. Теперь он с Эрном, Келвином, моими братьями и Амелем из, Верхнего Доринга, вот почему я принимаю вас в этой маленькой комнате; он каждый день видится с кем-то из людей Моры!

— А почему бы людям честно не поддерживать лорда Моры?

— Ах да, конечно, я понимаю, и если это так, пусть голосует за то, во что верит; но я слишком хорошо изучила его мысли, и если он отдаст голос за Моры, значит, вера его раскололась надвое, а такое не принесет добра ни ему, ни нам. Он все время только и говорит, что нужно больше порядка и больше законов! Просто какая-то мания! Конечно, он имеет право идти по выбранному пути, раз принял такое решение, но это пагубный путь.

— Да, вам есть из-за чего переживать, — сказал я.

Наттана досадливо нахмурилась. Пальцы лежавшей на колене руки разжались, и розовый свет падал теперь на ее крепкую красивую кисть и голое колено, едва прикрытое краем юбки.

— Я не переживаю, и уж тем более не страдаю, это именно напряжение. Когда груз жизни

слишком велик, человек забывает о страдании и страхе.

— И вы не боитесь перемен, Наттана?

— Нет! Не хочу, но и не боюсь.

— Значит — полнота жизни?

Девушка вздрогнула, резко переменив позу.

— Да. Жизнь полна, и так хочется узнавать, видеть, делать, чувствовать.

Теперь она сидела на краешке скамьи, опершись локтями о колени, подперев подбородок руками, и, задумчиво глядя в огонь, глубоко вздохнула.

— Наттана, — начал было я, но что тут было сказать? — Мне кажется, я понимаю...

— Славно, славно! — прервала меня девушка. — Ничего не важно, главное быть молодым и — Хисом!

В голосе Наттаны почудилась скрытая насмешка, и я почувствовал смутную зависть к своей собеседнице.

— Что же плохого — быть Хисом?

Девушка фыркнула.

— Мы — рыжие.

— У рыжего цвета много оттенков — золотистый, бронзовый...

— А мои волосы вам нравятся?

— Да. Они все время такие разные. Но при чем тут рыжие волосы?

— Рыжие волосы — горячее сердце.

— Не то что «бледно-розовые чувства», верно?

— Ах, не вспоминайте, что я говорила так давно!

— Разве это было давно?

— Очень! Столько всего успело случиться.

— Значит, и с вами тоже, Наттана?

— Ну, у меня не совсем так, — сказала она с легкой усмешкой, и все же в сердце мое закралось подозрение, тем более когда я вспомнил слова Наттаны, сказанные после посещения сестры.

— «Рыжие волосы — горячее сердце» — это что, островитянская пословица?

— Так говорят у нас в семье.

— Вы имеете в виду вспыльчивость?

— Не только, Джонланг!

— Вы никогда не были вспыльчивы со мной, хотя, если помните, предупреждали, что у вас тяжелый характер.

— Если бы я когда-нибудь вспыхнула в вашем присутствии, то умерла бы со стыда! — воскликнула Наттана.

— Вот это славно!

— С вами я совсем другая. А вам случалось срывать на ком-нибудь злость?

— Конечно.

— Не верю.

Я подумал, уж не считает ли она кротость свойством того же порядка, что и «бледно-розовые» эмоции?

— А вы меня разозлите.

— Не искушайте меня, Джонланг. Я не хочу, чтобы наша дружба стала чем-то заурядным. Она такая замечательная.

— Разумеется, Наттана.

Довольно долго мы сидели молча, глядя в огонь. Слова о том, что у нее горячее,

беспокойное сердце, намеки на то, что и с ней произошло нечто подобное моим испытаниям, вместе с памятью о ее независимости и откровенности — волновали меня и вызывали настойчивое желание узнать о Наттане побольше...

— Возможно, вам осталось всего одиннадцать месяцев в Островитянии, — сказала девушка.

Что такое одиннадцать месяцев для человеческой жизни?

— Я знаю, — ответил я.

— В «Истории Соединенных Штатов» написано, что ваша страна далеко и путь до нее долгий... Раньше чем лет через десять вам не вернуться.

— А вы не хотели бы повидать Америку?

Наттана пожала плечами, потом отрицательно помотала головой.

— Не знаю... Вряд ли!

Это несколько задело меня.

— Уверен, вам было бы интересно, — сказал я.

— Да разве я могу даже думать об этом! Съездить в Город — и то событие!

— Мы сможем переписываться, — сказал я, сам чувствуя, сколь пустое это утешение.

— Осталось еще одиннадцать месяцев, Джонланг... и вы по-прежнему будете у Файнов?

— Да, — сказал я, — а потом выберусь навестить вас. Помните, вы когда-то сказали, что я должен по-настоящему погостить у вас, и я обещал.

— Не только из вежливости?

— Нет!

— Хочется в это верить... Значит, по-настоящему? Месяц?

— Да, Наттана.

— Могут возникнуть кое-какие сложности... но не надо о них думать.

— Сложности? Какие?

— Папины идеи, — коротко ответила девушка, и мне стало немного не по себе. В комнате было очень тихо, но откуда-то словно доносился слабый звон; мне казалось, что сам я и все вокруг движется плавно и бесшумно, словно во сне, очнувшись от которого, я оказался здесь с Наттаной. Я долго глядел на ее круглый затылок, пока мне снова не захотелось увидеть ее лицо. У девушки была крепкая, сильная спина, но тонкая и гибкая талия.

— Знаете, — сказал она спустя какое-то время, — я наговорила кучу дерзостей отцу — все мой дурацкий характер! — и теперь нам будет трудно жить вместе в Нижней усадьбе. Теперь, то есть если он проголосует за Мору. Так что, может быть, я на несколько лет переберусь в Верхнюю.

— Вам это неприятно?

— Мне будет не хватать долины — там так привольно и такое небо. Наверху все теснее, уже. И видно не так далеко, и верхом не очень-то покатаешься.

Она помолчала.

— Но зато вам будет проще приезжать туда. Вы ведь не против немного помочь по хозяйству, верно?

— Конечно!

— Я тоже буду работать — сотку много-много красивых вещей. Хис Эк и Хис Атт всегда вам рады. Атт просто души в вас не чает. И если бы вы еще нам помогли — ах, как было бы замечательно!

— Решено! — сказал я.

— Конечно, через ущелье Моры добраться верхом будет нелегко. На несколько недель перевал становится непроходимым. Если вы соберетесь этой зимой... — Она задумалась. —

Нет, вам не следует ехать одному, — продолжала она после небольшой паузы, — проторенного пути там нет, и если вы попадете в бурю... Но у Дона есть свои тропы, и он все знает про лавины, про горы. Он совершает переходы по нескольку раз за зиму и может провести вас. Я знаю, он вам поможет. Вы достаточно сильны, Джон?

Она сказала просто «Джон».

— Сильнее, чем был, — ответил я.

— Было бы чудно, если бы вы приехали этой зимой, а то до весны так далеко. Дни идут, и ничего не происходит. Снег падает на дорогу, засыпает колеи, и вот уже их не видно — все бело и ровно.

— Я приеду, Сольвадия, — сказал я, и сердце мое забилось, когда я отважился произнести это имя. Наттана тихо вздохнула, и снова воцарилась тишина.

Немного погодя девушка вышла и принесла ореховое печенье и столовое вино. Почувствовав себя более раскованно, мы заговорили об островитянской и американской кухне, сравнивая блюда и напитки, и неожиданно разговор этот вывел нас на то, о чем говорил лорд Мора. Теперь мысли сами, без труда приходили в голову. Наттана хотела, чтобы я подтвердил — все ли правда в речи Мора. Мы ничего не решали и ни о чем не спорили. Разговор тек — слаженный разговор двух объединенных одним интересом собеседников, по-разному осведомленных, со своими взглядами, которым доставляло истинное удовольствие обмениваться наблюдениями. Время летело быстро. Было уже поздно, когда я расстался с Наттаной, заслышав в коридоре шум шагов: лорд Хис провожал Эрна, Келвина и Амеля.

Оказавшись снова на темной улице, где дул сырой пронизывающий ветер, я мыслями устремился к особняку Файнов на Холме, чувствуя, что привязываюсь к ним все крепче и что они еще крепче чем Наттана, привязывают меня к Островитянии, потому что, как бы дорога она мне ни была, наши отношения больше напоминали хмельные клятвы и признания, на трезвую голову кажущиеся пустой химерой. Она была очаровательна, добра ко мне, как никто, она была истинным другом, но когда я покинул озаренную ее присутствием маленькую залу, то старая тоска окутала меня еще более мрачным, беспросветным облаком, и, признаться, никогда еще я не чувствовал себя таким одиноким. Вновь с поразительным отчаянием ощутил я, что главного добиться мне не удалось — Дорна не принадлежит и никогда не будет принадлежать мне.

Большие пушистые снежинки кружились за окнами зала Собраний, внутри которого горел яркий белый свет. Снова появился Ламбертсон: как ему сообщили, сегодня премьер должен был затронуть особо важные вопросы. Обеды у Мора и Дорнов, по его словам, прошли прекрасно, и хотя в одном любой тут же признал бы премьера, светского человека и государственного мужа, второй же был явный провинциал, но в достоинстве, в достоинстве и благородстве ему тоже нельзя было отказать!.. Не слышал ли я мимоходом, как собирается проголосовать Совет? Повсюду только об этом и говорили. У Файнов и у Хисов мало что можно было узнать. Прогнозы Наттаны были слишком расплывчатыми и «дамскими», чтобы о них стоило упоминать. С прочими своими островитянскими друзьями я тоже не вдавался в разговоры на эти темы. Я ответил Ламбертсону, что не располагаю практически никакой информацией.

— Месье Перье считает, что большинство — за партию Дорнов. Граф фон Биббербах открыто заявляет обратное, — сказал Ламбертсон. — Что до меня, то мне кажется просто невероятным, что такая неразвитая и такая богатая страна может упустить подобную возможность. Вспомните Японию!

— Духовно они не так уж неразвиты, — заметил я.

Появление Тора с сестрой и Дорной прервало нашу беседу.

Не раз бросала она взгляды на дипломатические ряды, кое с кем, кроме лорда Файна и своей сводной сестры, обменивалась улыбками и раз от разу все внимательнее слушала речь Мори. Черты ее постепенно утрачивали беззаботную миловидность, приобретая все более напряженное и жесткое выражение. В целом она выглядела по-прежнему юно, однако тени раздумий легли на лицо.

Я словно увидел ее заново. Она уже не казалась просто хорошенькой молодой женой, призванной ублажать мужа. Передо мной была умная молодая женщина, волевая и целеустремленная. Она была одним из членов Совета и все силы и внимание отдавала происходящему на нем. Я любил ее, что было величайшей дерзостью. Я хотел жениться на ней, но она была слишком островитянкой, наделена слишком кипучей жизненной энергией, слишком сильна, и ей было мало той жизни, что мог предложить я. Она была права, сделав выбор, и, хотя все во мне восставало против этого, рассудком я понимал ее вполне. Я был не чета ей. И не имело никакого значения, в моих ли личных недостатках здесь дело или в моем американском воспитании. Тяжело было сознавать все это. Я глубоко любил ее и желал так, как только мужчина может желать женщину. Потеряв ее, я перестал бояться смерти — эта мысль никогда теперь не покидала меня. Тяжело было видеть Дорну такой прекрасной, могущественной, юной и — чужой, но она была чужой, хотя дружеское расположение еще чуть-чуть теплилось в ней. Между нами разверзлась пропасть, и от сознания, что иначе и быть не могло, меня охватывала дрожь. Сердце мое изнывало от боли — ведь я по-прежнему любил ее.

Мне показалось, что лорд Мора немного нервничает. Как-то нерешительно стал он вновь перечислять блага, которые, как из рога изобилия, посыплются на Островитянию в результате торгового обмена — самой сути западной цивилизации; но мало-помалу голос его креп. Потом он описал «отсталость» островитянской жизни (я перевел, и Ламбертсон, довольный, усмехнулся). Единственными способами передвижения были верховой или пеший; суда приходилось либо тянуть бечевой, либо использовать весла или ветер. Лишь морской флот располагал пароходами. В сельском хозяйстве техника почти не использовалась...

Речь Мори была вдохновенна. Он в ярких красках описал, какова будет экономия времени и как вырастет производительность труда с применением новейших механизмов на фермах, с закупкой пароходов и строительством железных дорог. Последнее он отметил особенно.

— До сих пор, — продолжал лорд Мора, — я проследил лишь последствия развития торговли и отмены ограничительных законов. Но есть и другая сторона, пожалуй, еще более важная. По мере развития западной цивилизации руководство предприятиями все чаще стало переходить от отдельных лиц к многочисленным группам людей.

В германских колониях на западном берегу, по другую сторону гор, существует потребность в угле и железе. Но если мы возьмемся поставлять им сырье, удовольствуются ли они нашими излишками и теми методами и способами транспортировки, которые мы используем в нашей стране? Для них выгоднее разрабатывать рудники по собственным технологиям, более быстрым и продуктивным. Группа германских промышленников готова начать строительство шахт в горах Гернток, провести железную дорогу оттуда до Шорса и соорудить доки в Шорсе для своих пароходов. Есть также люди, заинтересованные в концессиях на залежи железной руды в Феррине.

Затем он сжато, словно спеша, рассказал о других предложениях насчет концессий, о возможном создании большого количества международных и смешанных синдикатов, после чего перешел к характеристике отработанных банковских механизмов и законов, необходимых для функционирования всех этих предприятий, о чем в Островитянии не имели никакого понятия и на что в случае отказа от иностранной помощи и капиталов ушли бы долгие годы.

— Как я говорил вчера, мы можем запретить подобную деятельность в нашей стране и ограничиться лишь приобретением тех или иных товаров. Но в таком случае мы по-прежнему будем стоять в стороне от основного потока мирового прогресса. Я уже упоминал, что ныне общество стало интернациональным. Идеал западной цивилизации — взаимосвязь и тесное сотрудничество людей всей земли. Если мы начнем продавать наши товары, то нам придется делать это в тех формах, которые привычны нашим западным партнерам, а это неизбежно приведет к организации концессий.

Мне скажут, что в случае предоставления концессий наш образ жизни и облик нашей страны изменятся. Да, это так. Некоторые уголки утратят первозданную красоту, часть усадеб и ферм потеряют свою уединенность из-за близкого соседства рудников, доков, железных дорог, которые протянутся через эти земли. Я заранее сожалею о неизбежных потерях и утратах, но за счет них мы дадим мировому сообществу блага, которые стократ превыше ущерба, нанесенного немногим. И хотя кому-то и суждено пасть, плодами победоносной битвы смогут насладиться все; однако нам не следует бояться гибели в прямом смысле слова, а всего лишь мелких, частных неудобств, которые будут щедро компенсированы.

В полдень Ламбертсон попросил предоставить ему полный отчет о сказанном.

— Наконец-то дошло до дела! — воскликнул он. — Конечно, в такой отсталой стране было не обойтись без всех этих прелиминарии. Лорд Мора абсолютно прав. Уверяю вас, мистер Ланг, деловая жизнь преобразит эту страну. Ведь она чрезвычайно богата: один только Феррин с его запасами может дать миллиарды. Если бы островитянские предприятия держались на уровне... но, обратясь к истории, мы видим, что этого никогда не было и вряд ли когда-нибудь будет. Здесь — великолепные возможности для вложения западных капиталов. Конечно, Островитания расположена далеко от других крупнейших центров, но со временем этот отдаленный уголок может стать вторыми Соединенными Штатами!

Мы вновь обратили слух к речи оратора. Лорд Мора говорил о выгоде концессий.

— Я успел сказать, — продолжал он, — пока лишь об одной, самой главной выгоде — о том, что Островитания втянется в процесс мирового развития. Однако этого могло бы показаться недостаточно, но есть другие доводы «за»: каждая концессия неизбежно окупается, давая больше, чем берет.

Мы с лордом Келвином обсуждали условия заключения концессий с иностранцами и внесли свои предложения. Повсюду, где будет производиться добыча полезных ископаемых, за право на нее будет взиматься налог; плата будет взиматься также за использование земли под сооружение фабрик, доков и железных дорог. На это мы можем твердо рассчитывать. В отдельных случаях речь может идти о другого рода прямых выгодах. Если мы предоставим исключительное право на эксплуатацию угольных залежей одному из германских синдикатов, он проложит железную дорогу от месторождений до Сабарры и до столицы, а в дальнейшем продлит эту линию до западных портов — Доринга или бухты Грейз. В итоге сеть железных дорог протянется от Каррана через Мильтейн, Броум и Камию к столице, пройдет по Бости, Лории и Инеррии, через перевал Доан — на запад, к Севину и Вантри; таким образом, вся страна окажется охваченной самым современным средством сообщения, и мы сможем объезжать ее из конца в конец за сутки.

Лорд Мора описал также аналогичные предложения других предпринимателей. Прямые выгоды — тоже не всё, добавил он. Они — лишь малая часть по сравнению с непрямыми доходами.

— Присутствие среди нас иностранцев, их постоянно функционирующих предприятий поднимет наше сознание на мировой уровень, чего нам всегда не хватало и что необходимо для

существования в мире, который все теснее связывают узы общения, в мире, отвергать который может лишь отдельная личность, но никак не нация.

Он помолчал.

— Каждая нация, ставшая на западный путь развития, в результате создала у себя более активные, более мощные, более централизованные правительства, поскольку без них немислимо отвечать запросам современной цивилизации. Это применимо и к Островитянии.

Проблемы, возникающие в связи с организацией концессий, требуют правительственного вмешательства. Островитянские ресурсы принадлежат либо отдельным лицам, либо хорошо знакомой нам группе лиц — людям, располагающим частной собственностью в провинции. Мы не можем держать под спудом наши национальные богатства по прихоти того или иного отдельного собственника или группы таковых. Мы уже согласились с правом правительства использовать земли для нужд армии и флота, а также для строительства дорог, и мы также должны предоставить ему права распоряжаться национальным богатством в более широких, уже упомянутых мною целях; разумеется, возмещая убытки тем, чья собственность будет затронута.

Мы были слишком большими индивидуалистами и слишком мало думали об окружающем нас мире. Имея сильное и централизованное правительство, держащее под контролем экономику страны, мы сможем создать систему образования, которая позволит привить островитянам идеалы, достойные граждан мира.

Нам не следует опрометчиво отвергать необходимость сильной власти, поскольку она якобы ограничит свободу личности. Внутри западной цивилизации контакты между людьми становятся теснее и сложнее, и, чтобы контролировать их, надо подчинить личность обществу. Централизованный контроль над действиями и поступками, над человеческими судьбами несет миру надежду, поскольку вносит в жизнь людей порядок — порядок, необходимый для цивилизации.

Лорд Мора, очевидно, устал. Голос его звучал глуше, темные морщины прочертили лицо. Лорд Дорн ни на мгновение не спускал с него глаз, выражение которых казалось мне мрачным и отнюдь не доброжелательным. Он-то уж точно не был и никогда не будет согласен с тем, что говорил Мора. Вид у лорда Дорна был несколько сонный и скучающий. Лица остальных участников Совета хранили непроницаемое выражение. Они сидели тихо, внимательно слушая оратора, но казалось, скрытое напряжение ощущалось в воздухе.

— Вы можете не согласиться с преимуществами подобной власти, но вы не можете отрицать благотворного влияния международной торговли на нашу страну — если вы предпочитаете ограничиваться только национальными интересами, не думая о страдающем, голодном человечестве. Мы настолько богаты, что, сколько бы ни отдавали, никогда не обеднеем. То доброе, что в нас заложено, выдержит любые испытания. Если же потребуются жертвы, то принесем их во имя своих ближних, будь то наши соотечественники или иностранцы.

Лорд Мора воодушевился, и речь его сейчас звучала, может быть, не так ясно, но более прочувствованно. Он приступил к изложению окончательных выводов.

— Я рассказал вам о западной цивилизации — ее жизнеспособности, сложности, богатстве, о том, что она может предложить Островитянии и что Островитяния может дать взамен. Я объяснил, как это осуществить и как это способно повлиять на нашу нацию, ее образ жизни. На сегодня мы — препятствие на пути мирового прогресса. Мы цепляемся за прошлое, веря в то, что оно единственно приемлемо для нас, потому что ничего иного мы не знали; мы цепляемся за старые понятия, в которых на первое место ставилась личность и семья и полностью игнорировался остальной мир, который между тем давно обогнал нас, поставив перед собой более высокие и более достойные идеалы. И во имя согласия с этим огромным миром, лежащим за пределами наших границ, я прошу Совет проголосовать за заключение Договора.

Он резко умолк. Уже зажгли свечи. Возвращаясь на свое место, лорд Мора слегка пошатывался. Все ли было сказано из того, что могло быть сказано в его пользу? Мне хотелось, чтобы он говорил еще, и я чувствовал, что меня полностью убедили его доводы, и не почему-либо, а ради него самого мне хотелось, чтобы он сделал все, что в человеческих силах.

Лорд Мора сел, но тут же поднялся снова.

— Разумеется, я готов ответить на любые вопросы, — сказал он.

Лорд Дорн медленно встал и поднял голову.

— Я не стану говорить от лица всех, — начал он, — но знаю, что у тех, кто в прежние годы поддерживал меня, нет вопросов. И пусть у кого-то подобные вопросы и возникли, я готов сказать то, что собираюсь сказать, прямо сейчас.

Но Тор, сославшись на поздний час, предложил перенести заседание.

В тот вечер я ужинал у Перье, которые были так добры, что включили меня в число приглашенных, хотя ужин был официальный и маленький дом семьи Перье едва мог вместить всех гостей. Дипломатическая колония была в полном составе, включая Ламбертсонов. Из островитян явились только лорд Мора, Келвин и адмирал Фаррант с женами. Все они откланялись рано, и, едва они ушли, разговор сразу переключился на речь лорда Мора. Общим мнением было, что речь превосходная, замечательная, в высшей степени интересная, может быть, не совсем такая, как речи Бисмарка, Рузвельта и Чемберлена, но, вне сомнения, идеально учитывавшая аудиторию. Лорд Мора — человек дальновидный, мыслящий широко и, безусловно, намного опередивший большинство своих соотечественников, однако именно людям подобного типа — что внушало определенную тревогу — зачастую не хватало той практической сметки, какая присуща людям заурядным, того чутья, которое подсказывает, когда нужно применить политику кнута. «Большой дубинки», — вставил Ламбертсон, назначенный самим Рузвельтом. Если уж говорить о Рузвельте, то как было не вспомнить и Панамский канал, и Соединенные Штаты Колумбии... Мировое сообщество нуждалось в острове Феррин не меньше, чем в Панамском канале.

В воздухе висел голубой дым сигар, которые курильщики забывали за разговором. Быть может, я выпил немного лишнего, а может быть, просто устал, но мне определенно хотелось какой-то более свежей обстановки.

«Политика кнута», «большая дубинка»; человек, просто человек, но умеющий в нужный момент объединить под своей властью большие силы и сосредоточить их в нужном направлении, в единый миг обретая исполинскую мощь; Рузвельт, Бисмарк; политическая сметка, оппортунизм; умение проникнуться чувствами толпы и любовно понять ее — вот образ политического гения. Мора (и это чувствовалось, хотя никто не высказывал этого вслух) в каком-то смысле разочаровал дипломатов. Потому ли, что в его речи было слишком много рассуждений и слишком мало угроз? Потому ли, что он посчитал островитян слишком благоразумными, чтобы соблазнить их красноречием, и слишком упрямыми, чтобы воздействовать на них силовыми доводами? Не могу припомнить, что говорилось дословно, но смысл был такой. Мора оказался слишком человечен для своего окружения и недостаточно силен, хотя и пользовался уважением и поддержкой сидевших сейчас в столовой. А может быть, лучше было сформулировать это так? Или так? Всех не покидало скрытое беспокойство.

Мужчины сидели вокруг большого обеденного стола. Дамы собрались в гостиной. Временами оттуда доносился негромкий смех. В мужской компании было куда шумнее. Лица у всех горели; мы пили и курили не переставая. Из-за дыма в комнате почти ничего не было видно. По углам затаилась тишина. За стенами дома лежал безмолвный, укрытый снегом город, а еще дальше были рассыпаны сотни тысяч ферм со своими обитателями, и надо всем царил

холод зимней ночи.

Беседа наша текла довольно бессвязно, было много сумбура в чувствах, иногда разговор уходил далеко в сторону, но рано или поздно возвращался к основной, всех волнующей и всех касающейся теме. Что-то должно произойти. Теперь жизнь в Островитянии должна измениться. И нам предстояло способствовать этим переменам. Такова была наша задача, наш долг...

Месье Перье, чей голос иногда звучал механически, как фонограф, не давал беседе умолкнуть. Он не употреблял каких-либо особо замысловатых оборотов, но все же французский был для меня языком иностранным, и усилия, затрачиваемые на перевод, скрадывали смысл, кроющийся в отдельных интонациях. С немецким дело обстояло не лучше. Английский, на который неожиданно то и дело переходили Гордон Уиллс и Ламбертсон, вдруг начинал звучать как чужой. Перевести все это разноязычие на островитянский было бы, пожалуй, очень и очень непросто. Многие слова обладали весьма расплывчатым смыслом, и пока я выискивал нужное значение и подбирал ему соответствие в островитянском, я успевал пропустить то, что говорилось далее. Допустим, я стал бы объяснять Наттане, о чем шла речь... К примеру, для обозначения понятия «благо» в островитянском существовало сразу несколько слов, одно из которых употреблялось, когда дело шло о росте злаков на полях и деревьев в лесу, другое обозначало «благо» в отношении алии, третье — «благо» в случае болезни, четвертое «благо» касалось физического и душевного здоровья, и так далее, и в каждом случае выступал какой-то один, особый смысловой оттенок. Ламбертсон сказал Уиллсу, что уж теперь-то островитяне должны понять, каким благом будет для их страны торговля с заграницей. Перевести это было невозможно. Кто-то рассказал довольно соленый анекдот о затруднительном положении, в котором оказалась некая «милая» дама. Как было перевести это «милая» на островитянский? Значило ли оно, что эта дама всегда держала обещанное слово, или она была хорошей хозяйкой, а может быть, хорошей любовницей?

Разговор то стихал, то разгорался с новой силой.

Перье предположил, что Мора надеялся, отвечая на вопросы лорда Дорна, изложить многое из того, что он опустил в своей речи. У каждого нашелся свой ответ. Поведение лорда Дорна расценили как искусный политический трюк. Какой же это трюк, возразил Гордон Уиллс, если ничто не мешало лорду Море продолжить свою речь, когда выяснилось, что вопросов нет. Пусть не трюк, но по крайней мере политический ход. Серьезные вопросы не решают с помощью трюков или ходов. Политический трюк вроде того, что проделал в сороковые годы тогдашний лорд Дорн, давший возможность всем дипломатам высказать свое мнение перед Советом, что имело катастрофические последствия, — больше не повторится. Нет, Дорны явно были искусными и коварными политиками.

Моры никогда не опускались до подобных методов, с этим были согласны все, и никогда не прибегали к неофициальным средствам воздействия на членов Совета. Однако Мора не полностью использовал предоставленный ему шанс. Кое в чем он явно разочаровал. Надо было держаться жестче...

Месье Перье интересовало, произведет ли речь лорда Дорна столь же малое действие.

— Хотелось бы так думать, — сказал граф фон Биббербах, и Ламбертсон поддержал его.

Мы присоединились к дамам. Голова у бывшего консула Джона Ланга гудела, веки были воспалены, глаза закрывались сами собой. Разговор отдавался в ушах, как звук далекого прибора. Дам, разумеется, интересовало буквально все... Мужчины пустились в объяснения. Дамы кивали.

Настало время расходиться. Под шум надеваемых плащей и накидок хозяин дома успел перемолвиться со мной.

— Что вы думаете обо всем этом теперь, когда вы вне игры? — спросил месье Перье, и я

постарался стряхнуть сонливость и собраться с мыслями.

— Я хочу, чтобы Островитяния осталась такой, какой была, — ответил я.

Француз, казалось, собирался что-то заметить, но вместо этого он задал новый вопрос:

— Что зависит от наших желаний? Мы лишь представляем чужие...

Мари посетовала, что я так и не послушал музыки.

— У него появились совершенно деревенские привычки, — сказала Жанна.

В ночном воздухе веяло прохладой, и Город лежал, притихнув, под пухлым покровом только что выпавшего снега. Я пошел с Ламбертсонами, и, поскольку было довольно скользко, миссис Ламбертсон взяла меня и мужа под руки. Высокая, добрая, ласковая, в пушистой накидке, она шла, беспомощно скользя, и от нее веяло крепкими, пряными духами.

Попрощавшись с супругами у гостиницы, я стал подниматься на холм. Тьма, покой городских улиц, свежий ночной ветерок и мирная обстановка моей комнаты — все настраивало на то, чтобы продолжать записи.

На следующий день, пятнадцатого июня, я пришел на заседание пораньше: мне хотелось занять удобное место, поскольку оживление на ужине у Перье заставляло предполагать, что дипломатические ряды будут переполнены, однако публики было мало. Может быть, посланники рассчитывали, что речь затянется и они еще успеют прийти к ее окончанию, либо же своим отсутствием они собирались выразить молчаливое неодобрение. А может статься, причина крылась просто в том, что сегодня прибывали пароходы. Как бы там ни было, почти никто не явился. Зато на скамьях с островитянской стороны не было ни единого свободного места, и некоторые даже заняли скамьи боковых рядов, обычно оставляемые для иностранцев.

Любой член Совета имел право задать вопросы лорду Море касательно вчерашнего выступления, но никто не пожелал этого сделать. Напряженная пауза затягивалась. Тор несколько раз обращался с просьбой задавать вопросы, но ответом ему было молчание. И сторонники Моря, и сторонники Дорна выжидали...

Наконец лорд Дорн поднялся, его приветствовали, и он начал говорить — легко, раскованно, почти небрежно.

— Я удивлен, — сказал лорд Дорн, — что не слышу вопросов, хотя для меня и кое-кого еще недомолвки в речи Моря настолько очевидны, что удивляться бы и не стоило.

Есть, правда, одно исключение. Все мы слышали о предложении сделать остров Феррин межнациональной собственностью. И это не просто предложение металлургических компаний, а недвусмысленные требования иностранных правительств, которым вторит правительство Моря. Они хотят, чтобы Островитяния оставила за собой лишь чисто номинальное право суверенитета, а они на деле контролировали бы жизнь острова, обещая взамен некое количество золота и сравнительно небольшую долю добываемых руд. От нас требуют, чтобы мы по доброй воле уступили за границе полезные ископаемые, запаса которых хватило бы и нам, и бесчисленным поколениям наших потомков. Они ждут, что мы дадим втянуть себя в рискованную игру с остальным миром, станем заботиться лишь о ближайшем будущем, полагаясь на человеческую изобретательность там, где нужно придумать что-то новое взамен уже использованного.

С необычайной отчетливостью припомнились мне подобные рассуждения Дорны на борту «Болотной утки», когда она не была еще замужем за королем, и, взглянув на ее профиль, видневшийся в конце длинного ряда скамей, я заметил, как щеки ее вспыхнули, словно и она узнала свою мысль.

— Мора упомянул о многих предполагаемых концессиях, но только не об этой, почему я и не стал ничего спрашивать, решив, что это не тема для споров, и у Моря даже в мыслях нет уступать Феррин. Но я говорю об этом теперь, потому что это следующий шаг, которого от нас потребуют, причем потребуют в любом случае. Иностранцы, вероятно, посчитают, что предварительное принятие Договора два года и девять месяцев назад дает им основание для подобных притязаний и что, если в конце концов Договор не будет утвержден, они потеряют некоторые из своих прав и смогут потребовать компенсации.

Существуют ли среди них такие настроения? Лорд Мора предпочел об этом умолчать.

Лорд Дорн сделал паузу. Казалось, Мора хочет что-то возразить, но, бросив быстрый взгляд на дипломатические ряды, он промолчал.

— Некогда, — продолжал лорд Дорн, — один человек нанимался работником к некоему тане. Тот, чтобы испытать его, дал ему работу на срок. И исполнил он ее плохо, и тана решил

прогнать его. Но тот человек отказался уходить, сказав: «Вы хотели испытать меня, я же думал только о том, чтобы работать вместе для общего блага. Значит, я вправе остаться». Мораль такова: не испытывайте подобных людей, если же вы свяжетесь с ними, то вина ваша. История ясно показала, что ищущий просторов для своего дела иностранец — как раз такой человек. И если мы окажемся в подобном положении, вина падет на лорда Мору и тех, кто был с ним.

Я вдруг с очевидностью понял, что лорд Дорн строит свое выступление не на догадках и что ценой неприятия Договора для Островитянии может стать передача Феррина в межнациональное владение. Лорд Дорн снова выдержал паузу, потом, сделав небольшой, но решительный шаг вперед, заговорил громким, твердым голосом.

— Вряд ли кому-то удастся привести в порядок свои мысли, когда страсти накалены так, как в этом зале. Принятое в таких условиях решение было бы предательством и в отношении самого себя, и своей семьи, и своей алии. Принимать решения человек должен, основываясь на том, что он чувствует в своей обычной, повседневной жизни. Подобного рода собрания полезны, когда на них люди узнают что-то новое, а не тогда, когда их используют, чтобы подогреть страсти и заставлять людей решать что-либо в чужду этих страстей. Одерживать верх, распалая людей, есть не что иное, как мошенничество.

Общие слова насчет цивилизации, мирового прогресса и великих целей — ложь и обман. Внешний мир — вовсе не то идеальное единство, какое описывал лорд Мора, этот мир — клубок сил, каждая из которых тянет в свою сторону. Самую мощную из них, направленную на Островитянию, представляет некая группа деловых людей. Люди эти умны и знают, как добиваться своих целей за чужой счет. Именно так они используют правительства своих стран, но их правительства весьма отличаются от нашего. Деловые люди на Западе очень богаты и с помощью денег оказывают косвенное, а подчас и прямое влияние на свои правительства, заставляя их служить себе.

Неправда и то, что весь мир заинтересован в Островитянии. Нет, она интересует все тех же людей и стоящие за ними правительства, которые и засылают к нам своих дипломатов. То, что они требуют от Островитянии, они требуют не от имени всего человечества. Голос правительства — это не глас народа, ведь у народов слишком различный образ жизни и цели, чтобы иметь единый голос. За границей «правительство» — всего лишь страшная маска, которой прикрываются в разное время разные люди.

Неужели мы позволим использовать себя и менять нашу жизнь какой-то кучке слишком активных чужеземцев? Не присоединиться к мировому прогрессу приглашают они нас — нет, они хотят прийти к нам ради своекорыстных и далеко идущих целей. Цели эти — вот их благо, и они верят в них, как христиане верили в своего бога и в праведность своей жизни. Все, что противостоит им, — зло и должно быть уничтожено. Их не интересует жизнь островитян, они будут даже не «использовать», а брать силой. В общем, иностранцы видятся мне такими же, как и прежние враги Островитянии, это убийцы, грабители, чума и бич для всего нашего народа, какими бы сладкими речами ни прикрывали свои истинные цели люди, чья религия — деньги.

Быть может, не столь уж и важно, проголосуем мы «за» или «против», — Островитяния достаточно сильна, чтобы противостоять коммерческой заразе, и уничтожит болезнь в зародыше, как уничтожает ее организм любого здорового человека, но сознательно подвергать себя возможности заражения — безрассудно и рискованно.

Если большинство готово подвергнуться такому риску — что ж, но имеет ли большинство право подвергать этому риску меньшинство — вопрос, который, я думаю, не следует решать сейчас. Заявляю это по следующей причине: большинство населения Островитянии желает, чтобы все в стране оставалось, как было до появления проекта Договора.

Голос лорда Дорна прозвучал так уверенно, что лорд Мора взглянул на своего оппонента с

удивлением. Что это было: ораторский прием? Мне показалось (при этой мысли у меня даже закружилась голова), что, если лорду Дорну удастся подтвердить свое заявление, победа за ним.

— Если Совет проголосует за Договор Моря, — продолжал лорд Дорн, — это станет самым вопиющим примером узурпации власти за всю историю Островитянии. В других странах подобные вопросы решают законодательные ассамблеи, но чтобы Совет принимал решение, ставящее на карту судьбу страны, это полностью противоречит нашим традициям. Единственно подлинная форма власти — это Национальная ассамблея, где каждый островитянин может выразить свою волю.

Доводы лорда Моря подразумевали, что Совет — нечто вроде такой ассамблеи и имеет право действовать соответственно. Мора скажет вам, что члены Совета — это специально подобранные, сведущие люди, представители всего народа и что здесь мы узнаем о фактах и обмениваемся мнениями, неизвестными среднему человеку либо недоступными его разумению. Верно, мы нуждаемся в правительственном органе, чтобы сберечь время простого человека. Но мы не нуждаемся в третейских судьях, чтобы разрешать конфликты между разнородными, сложно устроенными цивилизациями. Вопрос же, стоящий перед нами, прост и доступен в целом любому человеку. Здесь не нужно никаких головоломных рассуждений и никаких «сведущих» людей. Мы должны решить: жить по-старому или поменять образ жизни на новый, полный опасностей, и если мы хотим жить по-старому, то готовы ли мы бороться за прежнюю жизнь?

Если Островитяния выдворит всех иностранцев, возникнет реальная угроза насильственных мер против нее, возможно, войны, а лорд Мора полагает, что только Совет может оценить возможность и размеры опасности. Так в подобных случаях и рассуждают за границей. Мора думает, что либо страна окажется в выигрыше, либо — в худшем случае — окажется между двух огней, и для него разрыв отношений с иностранными державами страшнее, чем вооруженное вторжение. Для него Совет, собственно, и правомочен лишь выбирать между этими двумя возможностями. Но простые люди будут сражаться и гибнуть, и если человек хочет рискнуть жизнью во имя сохранения того, что считает благом, он вправе сделать это, и никто у него этого права не отнимет.

Вот чего хочет большинство островитянского народа.

Знал ли лорд Дорн, раздумывал я, нечто такое о положении в стране, чего не знал лорд Мора, или если знал, то скрывал? Не просчитались ли мои бывшие коллеги-дипломаты, решив пропустить заседание, которое могло стать решающим? Напряжение в зале росло с каждой минутой.

— Будет преступлением утвердить Договор, не посоветовавшись с Национальной ассамблеей. Преступно уже то, что судьбу столь жизненно важного документа предоставлено решать одному Совету...

Внезапно воцарилась пугающая тишина.

Лорд Мора поднялся — не вскочил в порыве гнева, а поднялся, степенно и неторопливо, и под сводами зала раздался его красивый, звучный голос:

— Вы обвиняете меня в совершении преступления, лорд Дорн.

— Да, но без всякого злого умысла! — прозвучал ответ.

Оба стояли, лицом к лицу, точно так же, как год назад, когда между ними произошла подобная схватка. Но выражения враждебности во взглядах не было.

— Разве можно совершить преступление без злого умысла? — спросил лорд Мора.

— В отношении другого человека, вероятно, и нет, но в отношении народа, нации — да.

Лорд Мора медленно опустил на свое место; лорд Дорн долго молчал.

— Если я ошибаюсь, — продолжил он наконец, — говоря, что только отдельные личности,

но не народ в целом поддерживают Договор, Мора может доказать обратное, когда настанет его черед задавать вопросы.

Позже я представлю на рассмотрение Совета некоторые факты, пока же хочу заявить о том, что должно быть очевидно всем.

Позиция Мора такова, что одни его доводы противоречат другим. Насколько он уверен, что его предложение само по себе — благо? Насколько твердо в нем убеждение, что высшая мудрость в том, чтобы покорствоваться судьбе? Может ли человек убежденно заявлять о чем-то, что это — благо, если он чувствует, что на самом деле все равно — благо это или нет, поскольку в любом случае это надо принять? Почему он так мало говорил о возможности вторжения? Потому что упоминать о неприятном — недипломатично? Может быть, таким образом он предлагал мне объявить о реальной угрозе?

Но разве дело в том, насколько велика угроза? Во всяком случае для меня и еще для некоторых из здесь присутствующих это не важно. Допуская мысль о том, что нам придется вступить в борьбу, мы предпочтем бороться и умереть, нежели принять сомнительный и чуждый нам образ жизни. Степень опасности нас не пугает.

Мора говорил о естественных составляющих общества. Каждый из нас согласится с тем, что и отдельная личность, и семья должны поступиться чем-то из своих интересов. Но насколько? Ответ прост: сколь возможно мало. У Мора, однако, свой ответ: всё — для государства! Всё — для человечества! Может быть, в других странах так и считают, но в Островитянии государство поставлено на службу семье и ее запросам.

Когда настало время дневного перерыва, я отправился к Ламбертсону в гостиницу, где застал его в делах — обложенного кипой свежей корреспонденции, в окружении нескольких вновь прибывших. Он не сразу спросил, как дела там, на Холме. Я сообщил о том, что говорил лорд Дорн, но, похоже, это не очень-то его заинтересовало.

Собственную почту я успел просмотреть только мельком, после ленча. Самым важным известием была каблограмма, в которой мой нью-йоркский приятель сообщал, что газета взяла мои заметки и просит еще. Из возможного я, таким образом, превратился в действительного иностранного корреспондента, и это было приятно. Пришло также письмо от Глэдис Хантер — ответ на мое послание, в котором я писал о важном событии, намеченном на июнь.

С удвоенным интересом вернувшись в зал Совета, я увидел, что публики в дипломатических рядах прибавилось, но по большей части это были незнакомые мне лица приехавших сегодня утром и пришедших взглянуть на экзотическое представление. Все время, пока лорд Дорн произносил заключительную часть своей речи, они громко перешептывались со своими сопровождающими из различных миссий, прося указать то короля, то Дорну, то лорда Мору, то кого-нибудь еще из важных персон.

Было прохладно и пасмурно, полумрак зала приглушал краски, и, словно подчиняясь общему настрою, лорд Дорн говорил более спокойно, и в голосе его уже почти не слышалось гневных ноток, как будто он смирился с выпавшей ему ролью.

— Естественной основой островитянского общества является семья, все прочее подчинено ее интересам. За границей дело обстоит иначе. Там часто заявляют, что семья — основа государства, однако под семьей подразумевают живущую вместе небольшую группу людей: мужа, жену и их отпрысков, а вовсе не цепь поколений, веками обитающих на одной земле; когда же говорят про семью — основу государства, то имеют в виду, что если мужья и жены верны друг другу и у них много детей, то это способствует процветанию государства. Для них семья — благо, поскольку служит основой чего-то более значительного.

Потом он обстоятельно рассмотрел последствия иностранного вмешательства в жизнь Островитянии. Если брать исключительно торговлю, то, полагал лорд Дорн, особых изменений не предвидится, поскольку вряд ли островитяне с готовностью превратятся в активно торгующую нацию. «Но! — воскликнул он, — иностранцы будут жить среди нас, распространяя свои болезни и пороки на нас самих и на все, что нас окружает». И он ярко живописал картину последующего нравственного и физического упадка страны. Предприятия не могут обойтись без рекламы, а она изменит внешний облик Островитянии. Однако бояться следовало не столько торговли, сколько концессий, и всю вторую половину дня лорд Дорн подробно, детально описывал, что произойдет, если иностранным предпринимателям будет предоставлено право заключать концессии: постепенная замена производительных богатств — земли, кораблей, скота — денежными; развитие непрямой собственности на эти богатства за счет распространения ценных бумаг; введение банков и кредитной системы; и как следствие всего этого — постепенный отрыв больших масс людей от земли и разрушение островитянской семьи, хранительницы чувства алии. Потом он рассказал, как будут выглядеть районы, где концессии развернутся во всю мощь: железные дороги, заводы и фабрики, судоверфи, и все это, чадающее и грохочущее, огражденное правом частной собственности. Наконец он коснулся того, как изменится правительство, как возрастет число законов и ограничений, тяжб и кляуз и как увеличится вмешательство властей в повседневную жизнь.

Одним словом, картина «новой» Островитянии, представленная лордом Дорном, вряд ли могла польстить патриотически настроенным иностранцам.

За обедом у Ламбертсонов, который они давали в гостинице и который, хотя и состоял большей частью из блюд островитянской кухни, оказался чрезвычайно тяжелым, так как подавались они в несколько смен, — речь лорда Дорна не обсуждали, как речь лорда Мора на ужине у Перье, поскольку сам лорд Мора присутствовал за столом. Вид у него был усталый, озабоченный, и невольно перехватывало горло от его вежливости и равного ко всем дружелюбия, причем не потому, что они давались ему с трудом, а потому, что было видно, что он не может иначе.

Я выступал на обеде в качестве переводчика, и моей обязанностью было заботливо поддерживать то и дело запинаящиеся беседы между островитянами и дипломатами, подсказывать недостающие слова, будучи начеку, как официант, ожидающий момента подлить вина в пустые бокалы. Возникавшее при этом чувство, что я вне игры, давало мне преимущество в объективности. Здесь собрались разные люди, часто не понимавшие друг друга и одновременно располагающие большой властью. Простая случайность могла повлиять на решение вопросов, жизненно важных для будущего миллионов людей.

Речь лорда Мора растянулась на три дня, лорд Дорн уложился в один. На следующее утро он заявил, что собирается закончить выступление сегодня же, и, хотя ему еще есть что сказать, все это касается одной темы.

— Шестьдесят лет назад Островитяния оказалась в подобной же ситуации. Мой дед, Дорн XXV, не поверил фактам, которые представило правительство, и сам взялся изучить мнение народа. Сегодня Мора отказался созвать Национальную ассамблею, а посему я посчитал необходимым выяснить, что думают люди, иным путем. И это было сделано.

Для меня наступил самый драматичный момент, однако большинство занимавших дипломатические ряды откровенно скучали. Островитяне, напротив, напряженно прислушивались к речи оратора.

— Был проведен опрос по двум пунктам, — продолжал между тем лорд Дорн. — Первый: поддерживаете ли вы Договор лорда Мора? Второй: как изменится ваше мнение, если Договор

не будет принят и вследствие этого Островитянина окажется втянутой в неравную войну?

Словно сознательно испытывая терпение аудитории, лорд Дорн мучительно долго, не упустив ни единой подробности, описал способы, обеспечившие справедливый подсчет всех голосов.

Так неожиданно объяснилась долгая отлучка Дорна. Он-то и собирал голоса.

— Опрос дал следующие результаты, — произнес лорд Дорн. — В западных провинциях на первый вопрос ответило «нет» девяносто восемь процентов опрошенных, и девяносто процентов ответило «нет» на второй; в центральных провинциях: восемьдесят девять процентов — «нет» по первому вопросу и семьдесят пять — «нет» по второму; в восточных: семьдесят пять — «нет» по первому и шестьдесят — «нет» по второму.

Даже в Мильтейне на первый вопрос ответило «нет» шестьдесят пять процентов жителей. И только в Мильтейне большинство дало положительный ответ по второму вопросу. Сорок восемь процентов сказала — «нет»... Мора, вы запугали людей вашей провинции. А в столичной провинции, Келвин, вашей провинции, наиболее беззащитной и населенной людьми, надеющимися на выгоды от концессий, цифры составили восемьдесят и шестьдесят пять процентов.

Дорн вышел вперед с кипой бумаг и передал их секретарю. В бумагах были детально зафиксированы результаты, полученные им в течение двух лет. Всего было опрошено 145 000 человек. Вопросы всегда задавались в одной и той же форме и представляли обе точки зрения. Опрашиваемые не высказывали своего мнения, и ответы собирались так, чтобы люди могли не бояться, что кто-либо узнает, как они проголосовали.

Лорд Дорн заявил, что сам он и его внучатый племянник готовы дать исчерпывающие ответы на любой вопрос. Старый лорд умолк, но не спешил садиться. Зал притих в ожидании. Дорна, опершись локтем о колено и положив подбородок на ладонь, пристально следила за дедом.

— Сейчас я устал, — сказал лорд Дорн. — После перерыва я готов ответить на все ваши вопросы. Мне осталось добавить совсем немного. Я повторю слова наших предков: «Мы, островитяне, можем дышать свободно только воздухом нашей страны». Бывало в истории, что пыльные бури налетали на нас извне, губя и душа все живое, но мы изгоняли их и снова дышали полной грудью. Не раз бури эти были столь сильны, что казалось: всякий уцелевший до конца дней своих будет жить в душной мгле, но успех всегда сопутствовал нам. Четыре столетия назад прозвучали слова: «Будем сами собою на своей земле». Среди нас есть люди, никогда не отступавшие от этого принципа, и мы провозглашаем его слова. Мы сохранили древний уклад жизни, а за границей жизнь полностью изменила облик за последние несколько сот лет и меняется день ото дня все быстрее. Кто возьмет на себя смелость утверждать, что все это новое, не устоявшееся будет для нас благом? Там, у них, отец и сын принадлежат разным цивилизациям, там они — чужие. Они движутся чересчур быстро и видят лишь пеструю поверхность жизни, непостоянную, а потому обманчивую. Новое обрушивается на них лавиной, не давая увидеть глубинного смысла в старине, прежде чем она исчезнет. Стремительный бег жизни они называют прогрессом, хотя им не под силу угнаться за ним. Человек остается прежним, и вот, недоумевающий и растерянный, он тонет в океане нового, постоянно меняющегося мира, даже не успевая познать его. Люди живут по-разному, и это разнообразие там называют «широтой выбора», даже не удосужившись проверить, такое ли уж благо эта широта. Выбор путей в жизни у нас уже, большинство же всегда знало лишь один. Но зато сколько такой путь дает и сколько еще сможет дать.

Мы — древний народ и, подобно всем древним народам, живем собственной внутренней жизнью, непостижимой для тех, чьи пути меняются, обновляясь, но обновляясь лишь

поверхностно.

Их нельзя винить за то, что они не видят в нас того хорошего, что собираются разрушить. Наши блага и наши богатства им непонятны, они попросту не замечают их.

Мы просим не больше, чем имели всегда. Мы не хотим ничего чужого. Мы желаем только, чтобы нас оставили в покое. Земля наша невелика. Неужели мы просим слишком многого? Лорд Мора считает — да. Я так не считаю. А теперь Совету решать, кто из нас прав!

Он резко умолк и сел. Похоже было, что он устал от слов; какая-то обреченность проскользнула в выражении его лица.

Совет расходился в жутковатом молчании. Дорна вышла вместе с Тором, понуря голову. И тут я на мгновение задохнулся от страха: а хватит ли у лорда Дорна и тех, кто хочет бороться рядом с ним, сил, чтобы противостоять тому, что угрожает Островитянии?

Когда за ленчем я рассказал Ламбертсону о происшедшем, он рассмеялся:

— Балаган! Всем все и так ясно. И какая от этого разница?.. Когда голосует Совет? Я хочу присутствовать.

Было от чего впасть в уныние. Что-то зловещее носилось в воздухе. Люди собрались вместе, но что было у них в душе, какой вес имели их решения? Силы, им не подвластные, повиновались воле, изначально заложенной в этих силах. Доводы лорда Мора и лорда Дорна избежали столкновения, если это вообще были доводы, а не выплеск давно копившихся мыслей и эмоций.

После перерыва прозвучали первые вопросы. Выяснялись всё новые подробности операции по сбору голосов, произведенной молодым Дорном, и значение ее с каждой минутой становилось все нагляднее. Высказываемые предположения, что люди относились к негласному опросу более легкомысленно, чем если бы они голосовали официально, или что голосовали только те, кто был согласен с мнением производивших опрос, лишь помогали обнаружить новые факты, делавшие результаты более вескими. Оказывалось, что люди выражали свои мнения так же ясно и четко, как если бы опрос производился с разрешения правительства. Тот факт, что опрашивавшие принадлежали к оппозиции, не давал существенной почвы для возражений. Не учитывать опрос лишь потому, что он проходил без ведома властей, значило скрывать правду за чисто техническими манипуляциями.

Лорд Мора и не пытался этого делать. С искренней озабоченностью он старался выявить любые факторы, которые могли каким-либо образом повлиять на итоги опроса. Передо мной был не следователь — мастер перекрестных допросов, умело придающий нужную окраску ответам свидетелей, а человек, честно стремящийся установить истину. Различие мнений, враждебность партий были забыты. Всех троих: лорда Мору, лорда Дорна и моего друга, успевшего ответить на многие вопросы, теперь объединяло общее желание совместно определить истинное положение дел.

Искренность и прямоту лорда Мора воссияли, как никогда. Начинало казаться, что, какими бы ни были расхождения между ним и лордом Дорном, в них было гораздо больше сходства. Он охотно соглашался со всем, что объективно увеличивало значение опроса, а лорда Дорн с не меньшей готовностью принимал все, что могло это значение приуменьшить.

Те из публики, кто рассчитывал увидеть схватку двух чудо-богатырей от политики, явно скучали.

И все же лорд Мора скорее выиграл, чем проиграл. Занимаемая им позиция становилась все яснее и яснее. Совет стоял на страже интересов нации, и правительство полностью вверялось ему. Итоги опроса показали, сколько неравнодушен народ к судьбе родины и сколь велико его

мужество, однако опрос проводился среди людей несведущих, воспитанных провинциальной косностью и не представляющих себе современный мир, его мощь и силу. Совет должен действовать осмотрительно и мудро. Пожелания опрошенных будут учтены, хотя и не обладают юридической силой. Иногда долг родителей или опекунов в том, чтобы пресекать неразумные желания ребенка. Мысли членов Совета несколько лет были сосредоточены практически на одном, в то время как народ Островитянии, с головой ушедший в ежедневные, требующие постоянного внимания и заботы дела, в лучшем случае дал первый пришедший на ум, незрелый ответ, и, как бы — официально или неофициально — ни проводился опрос, это не подлежало сомнению.

Официального, по всей форме ответа, он так и не дал. Заседание вообще носило столь неофициальный характер, что по крайней мере некоторым из нас, привыкшим к хорошо отрететированным политическим баталиям у себя дома, не верилось в важность решения, которое предстояло принять. К вечеру, когда Совет стал расходиться, чтобы на следующий день встретиться и выслушать тех, кто еще хотел высказаться или задать вопросы, противоположные позиции Мора и Дорна, казалось, выяснились окончательно; и все же, поскольку лорд Мора и лорд Дорн настолько по-разному представляли себе ситуацию и равно искренне уверяли в совершенно разных вещах, будь я членом Совета, думаю, я попросил бы дополнительных сведений, прежде чем принять решение. Причем сведений, не касающихся возможных попыток воздействовать на Островитянию силой — мысль о войне с ее опасностями казалась сейчас неуместной: разумеется, если высылка иностранцев была предпочтительней для островитян, за нее стоило драться. Я хотел разъяснений другого характера. Что представляла на самом деле душа Островитянии? О какой внутренней жизни говорил лорд Дорн? Стоит ли во имя ее отвергать образ жизни, принятый большинством человечества? Неужели она была тем самым благом, которое перевешивало ущерб, связанный с полной изоляцией: возможный застой, недоверие и зависть?

Наступило шестнадцатое, пароход отбывал послезавтра. Мне надо было успеть закончить отчет о событиях этих дней. Потратив два вечера на визиты, я вынужден был спешить. Запершись в своей комнате, я писал допоздна, стараясь дать обобщенное, но краткое и насыщенное изложение, хотя ум раздирали сомнения и противоречия и в душе царили уныние и беспокойство. Мора произвел на меня глубокое впечатление. Это был единственный человек, которому могла довериться страна, вступая на новый путь. Гражданин мира во всем своем величии. Но мои друзья и остальные островитяне, те, кто жил счастливо и хотел, чтобы его оставили в покое? Думая о них, я уже не чувствовал себя просто иностранцем, убежденным в справедливости их требований и в неоспоримости их образа жизни.

Утром семнадцатого числа дипломатические ряды были переполнены не меньше островитянских. Больше зал Совета вместить не мог. Островитяне явились в костюмах соответственно цветам своих должностей; те из нас, кто имел служебные мундиры, пришли в них. Зал растревоженно гудел. Граф фон Биббербах, занимавший место в центре, проявлял неутомимую активность; придя раньше остальных, он успел переговорить с представителями всех миссий. С островитянами никто из нас не общался; они были по одну сторону, мы — по другую. Через разделявший нас, как пропасть, проход я видел своих друзей, и с трудом верилось, что мы так хорошо и близко знакомы. После долгих часов работы голова моя слегка кружилась, я чувствовал себя слабым и чужим, частичкой целого, представлявшего самостоятельную силу. Я был одним из тех, кому должны были сказать «да» или «нет», одним из тех, кто в последнем случае мог предъявлять требования и употребить силу.

Поднялся лорд Келвин, и собравшиеся приветствовали его. Речь лорда была краткой, он напомнил Совету, что шестьдесят лет назад, когда сложилась примерно такая же ситуация, залив был полон военных судов и обстрел Города казался неминуемым. Сегодня прямой угрозы не существовало. Келвин рассказал о том, какие вооружения могут быть пущены в ход, о германских и английских морских и сухопутных силах на севере. По его мнению, то, что западные державы стремились избежать даже намека на возможные боевые действия, лишь увеличивало доверие к ним.

После Келвина выступили еще несколько человек. Ничего нового они не сказали, а напряжение между тем продолжало расти. Дипломаты заметно нервничали. Желание перейти от слов к действиям, к конкретным решениям владело всеми. По лицам островитян трудно было догадаться, что творится у них в душе, однако некоторые побледнели, и среди них — лорд Хис. Наттана стояла, прислонясь к стене, и выглядела совершенно изможденной. Лорд Мора сидел очень прямо, наблюдая за выступающими. Лорд Дорн сгорбился, опустил голову, и казалось, мысли его витали далеко.

Настало время голосовать. Выступления закончились. Тор пробежал взглядом по рядам, удостоверившись, что больше желающих высказаться нет.

Я взглянул на Дорну. Как же, должно быть, волновалась она, если я, иностранец, буквально задышался от волнения! Она сидела, подавшись вперед и полуобернувшись, внимательно следила за Тором, линия ее скулы и шеи дышала молодостью и красотой. Пальцы нетерпеливо сжимались и разжимались.

Наконец взгляд ее обратился на дальний край скамьи, на которой она сидела. Лорд Файн шепнул ей что-то, и она вздрогнула. Тор посмотрел на Дорну. Та с поклоном поднялась.

Лицо короля не изменилось. Он ответил на поклон, и Дорна со скрытой яростью шагнула вперед.

— Однажды здесь уже была королева, — крикнула она ломким детским голосом, — и вы против воли выслушивали ее. Ради нее прошу вас несколько минут послушать меня, вашу новую королеву.

Яркий румянец полыхал на ее щеках. По залу словно пронесся вздох, потом наступила полная тишина. Голос Дорны зазвучал глуше и уверенней.

— Мы живем своей собственной жизнью. Средоточие нашей жизни — это наши семьи, бывшие и те, которые еще появятся, и каждая из них живет на своей земле. Мы, женщины, те, кто любит свою землю, но рано или поздно должны полюбить другую, знаем это лучше мужчин, и поэтому я прошу прислушаться к моим словам.

За границей такой привязанности нет, жизнь там скитальческая. Правда, и там у людей есть место, где они живут, дом, семья. Иногда они срастаются в единое целое, но даже тогда место это лишь временное, а срок жизни семьи — одно поколение.

Вся наша жизнь опирается на единство семьи и места. Корни нашего бытия уходят в почву нашей алии. Отношения в семье и отношения семьи с местом, где она живет веками, переплелись и сформировали эту почву. Наши корни глубоки. Имея почву под ногами, мы защищены от тоски и разочарования, которым подвержены западные люди.

Мне жаль их!

И здесь, и там сила, влекущая женщину к мужчине и мужчину к женщине, — одна из величайших сил. Никто здесь не говорил об этом, но не стоит об этом забывать.

Во всех иностранных языках существует только одно слово для этой силы. В английском это «любовь», во французском «l'amour». Мы понимаем эту силу иначе.

У нас есть алия, — голос Дорны зазвенел, — но у нас есть и ания, любовь, которая

пронизывает все существо любящих, делает их жизнь единым целым и указывает на места, где обосноваться, где семья и земля ее тоже едины.

Ания никогда не бесцельна, между тем как и английская «любовь», и французская «l'amour» кажутся нам бесцельными и пустыми.

Человеку в жизни нужна цель; когда ее нет, он слабеет, теряет согласие с окружающим и доходит до того, что начинает завидовать животным, не сознающим своих целей. Но в том-то и проклятие, и славный жребий человека, что он сознательно и страстно стремится к своей цели — своей заветной мечте или, если она недостижима, ищет новую.

У них, иностранцев, тоже есть свои цели, их много больше, чем у нас: амбиции, карьера, жажда жертвенности, самоотречения, страсть к богатству, власти, к завоеванию, но цели их — за гранью человеческих возможностей... О, мне жаль их! Наши цели — земные, они сродни целям всего произрастающего на земле. Они — приземленные, для западного человека это слово обидное, для нас — в нем отрада и радость. Они жаждут бытия за гранью земного и мечтают о царстве небесном в пустых небесах. Они хотят рая на земле. Они всегда хотят чего-то, что им недоступно! Мы же постигаем глубины — глубины нашего естества, наших мечтаний, чувств, нашего роста и роста всего, что растет вокруг нас: людей и животных, деревьев и трав.

И для них, и для нас жизнь — чудо, но человека западного лишь отчасти волнуют чудеса земные. Куда больше он увлечен чудесами того бесплодного, нереального мира, что создан его умом, извращенным в своей погоне за недостижимым. Они исследуют свои ложные чудеса, они сомневаются в реальности мира, если он до конца реален. Нам не знакомы такие порывы, мы принимаем чудеса, какими они нам даны, и растворяемся в них. Но они — западные люди — каждый на свой лад выдумывают царства небесные и населяют их богами, а если боги их не устраивают, они заменяют их другими. Либо начинают поклоняться божеству с отнюдь не божественным именем «наука» и разрушают небесные царства, которые сами же выдумали, полагая, что в своем новом боге обрели нечто универсальное, что называют «истиной». Они восстают против тенет, которыми сами окружили себя в своих бесцельных метаниях, и жаждут избавления от страданий в достижении некоего «абсолюта», в то время как сами страдают не от сложности, а от надуманных трудностей.

О, их следует пожалеть! Они обречены всегда искать, а найдя, подыскивать имя цели, которая рано или поздно истощит все бродящие в них силы. Все их попытки и усилия не дают плодов, потому что корням их нет доброй почвы. Наша же почва столь естественна, а корни так глубоки, что, довольные обретенной целью, мы предпочитаем не лишать чудо чудесного покрова его тайны.

Люди за границей оторваны от природного мира: ветра, солнца, дождя, от растущих на земле деревьев, кустов и трав, от прочих животных и друг от друга. Когда они хотят сблизиться, то их образ жизни, их теории по поводу общества и государства, по поводу обязанностей мужчин в отношении женщин и наоборот и стремление к спокойному миропорядку, подчиненному универсальным законам и непреложным истинам, — приводят их к краху. Никто из них не способен понять другого. Жизнь их хаотична.

Зло, которое они нам причинят, в том, что, если дать им возможность жить среди нас так, как они хотят, если они будут использовать нашу землю со всем, что в ней есть, возводя на ней фабрики и заводы, прокладывая железные дороги, — облик окружающей нас природы, которую мы любим всей душой, исказится до неузнаваемости. Если мы начнем заключать с ними сделки, общаться, покупать их машины и игрушки, продавая им то, что они хотят, они насильно навяжут нам свой образ жизни. Ибо они будут жить среди нас по своим обычаям и никогда — по нашим. Два уклада жизни в такой маленькой стране не могут существовать рядом. В любом

случае иностранное влияние будет ущемлять нас. Но может быть и хуже: наш уклад полностью подчинится чужому, ведь, чтобы жить с иностранцами в мире, нам придется перенять их манеры и их образ мыслей, поскольку у них нет никакого желания перенимать что-либо у нас. Как бы ни обернулось дело, мы уже не сможем свободно жить той жизнью, какой жили и живем до сих пор. Мы могли бы оказаться для них полезными как пример для изучения и, возможно, подражания, но мы не интересуем их, они хотят, чтобы мы изменились, отказавшись от внешней простоты нашей жизни, которая позволяет нам быть внутренне свободными и проникать вглубь. Если мы подчинимся их воле, место, где мы обитаем, станет лишь временным пристанищем, а срок жизни семьи сократится до одного поколения. Утратив алию, мы перестанем различать анию и апию. В домах наших, быть может, появится больше украшений, но воздух в них станет нечист, и опоры утратят прочность. На чужаков мало надежды. Явятся ли они, чтобы подражать нам или повелевать нами, но они явятся как враги. Мы всегда боролись с тем, что угрожает устоям нашего бытия. Лучше погибнуть, чем подвергать опасности то, из-за чего — и все мы это знаем — стоило и стоит жить.

Дорна умолкла и, выждав мгновение, обернулась, взглянув в глаза мужу, словно ища его поддержки и одобрения, и, пожалуй, она добилась того, чего могла пожелать больше всего на свете. Лицо Тора выражало изумление. Он встал и едва ли не растерянно поклонился Дорне. Она же с неожиданным проворством вновь пробралась на свое место.

— Королева против Договора, не так ли? — шепнул мне Ламбертсон.

— Да.

— Она имеет право выступать?

— Она — член Совета, хотя и не участвует в голосовании.

— Хитрецы эти ваши друзья Дорны. Заставить королеву, да еще такую хорошенькую, выступить в свою защиту. Это было действительно захватывающе. Что она сказала? Что-нибудь новенькое?

— Нет, — ответил я. — Исключительно женский подход!

Ламбертсон рассмеялся и оставил меня в покое.

Зал застыл. Пауза длилась долго. Все островитяне сидели неподвижно, молча. Ропот, прошедший по дипломатическим рядам, стал громче. Склонившись друг к другу, в ложах обсуждали неожиданное выступление Дорны.

Тор продолжал стоя оглядывать своих соотечественников. Спокойствие, похожее, возвращалось к нему.

— Вы готовы голосовать, Мора? — спросил он.

— Да, — едва слышно ответил Мора. — За или против.

— Я оглашаю список! — воскликнул Тор.

Все затаили дыхание.

Король обернулся к лорду Файну и произнес название его провинции, старейшей в стране.

— Островная провинция — лорд Файн?

— Против, — без колебания отвечал Файн, подняв седую голову.

— Камия — Стеллин?

— Против.

До сегодняшнего дня Стеллин считался сторонником Мора.

— Столичная провинция — Келвин?

— За.

— Бостия — Бодвин?

— Против.

И Бодвин ранее принадлежал к партии Мору.

Список был составлен так, что, давая ответ, члены Совета вставали со своих мест поочередно по разные стороны разделившего зал прохода.

— Лория — Сомс?

— Против.

— Альбан — Роббан?

— За.

Лорд Роббан был истым приверженцем Договора.

— Инеррия — Бейл?

— Против.

В ложах островитян произошло движение: лорд Бейл всегда поддерживал Мору. Выходило, что позиция Мору сильно поколеблена.

— Нижний Доринг — Дорн?

— Против.

— Доул — Дакс?

— За.

Будучи с Запада, лорд Дакс тем не менее принадлежал к бывшим сторонникам Мору, так что его ответ никого не удивил, хотя и вселил некое беспокойство.

— Верхний Доринг — Хис?

— За.

Один из некогда самых верных союзников лорда Дорна нанес ему неожиданный удар. Я взглянул — Наттана низко опустила голову.

Нагнувшись ко мне, Ламбертсон спросил шепотом:

— Как идут дела?

Я делал пометки карандашом:

— Шесть против, четыре — за.

— Хм-м, — протянул Ламбертсон.

— Вантри — Дазель?

— За.

Дорна рассчитывала, что он проголосует иначе.

— Фаррант — Шейн?

— Против.

Мнение преемника старого лорда Фарранта для всех было загадкой. Урон, понесенный партией Дорна, был восполнен.

— Нивен — Тоул?

— Против.

Еще один сторонник Мору перешел в ряды его противников. Не потому ли, что лорд Мора угрожал передать угольные рудники Нивена в ведение государства?

— Броум — Бордерни?

— Против.

Новая потеря в стране Мору.

— Дин — Дрелин?

— Против.

Насчет него Дорна не ошиблась!

— Десять против пяти отклонили Договор, — шепнул я Ламбертсону.

— Скверно, — ответил тот, впрочем, кажется, не особо озабоченный.

— Герн — Фарнт?

— Против.

И снова лорд провинции, богатой углем, изменил решение.

— Карран — Бенн?

— За.

Лорд Каррана и прежде голосовал так.

— Мильтейн — Мора?

— За!

— Сторн — Айрд?

— Против.

Этого ответа от него ждали.

— Виндер — Марринер?

— Против.

Лорд Марринер был тверд в своем решении.

Все лорды проголосовали; тринадцать высказались против, семь — за Договор. Не считая короля, еще четырех голосов не хватало для его окончательного отклонения, и трое из начальников флота твердо держали сторону Дорнов. Я начал было объяснять ситуацию Ламбертсону, но Тор прервал чтение списка.

— На протяжении многих лет, — сказал он, — глава государства приобретал право голоса лишь в случае равенства голосов либо когда он считал то или иное решение явным благом для страны; но никто не может отрицать его права голосовать как рядового члена Совета. И пусть мой голос признают недействительным, сегодня я намерен отдать его одной из сторон.

— Что он сказал? — шепотом поинтересовался Ламбертсон.

Я объяснил.

— Это не парламентские методы, — ответил посол, подавив смехок.

— Против!

— Значит, «нет»? — спросил Ламбертсон.

— «Нет», — подтвердил я. — Теперь Договору точно не пройти.

— Вы уверены?

— Да.

— Что ж, мы этого ждали.

Итак, похоже, все этого и вправду ждали, кроме Джона Ланга, которому дипломаты не доверяли, поскольку он уже не принадлежал к их числу, а островитяне — потому что он был для них иностранцем?

Это открытие немало меня изумило.

— Маршал Бодвин?

— Против.

— Верховный судья Белтон?

— Против.

— Адмирал Фаррант?

— Против.

Большинство, необходимое для отклонения Договора, было набрано. Некий звук, вроде вздоха, пронесся по залу, сначала по рядам, где сидели островитяне, затем — среди дипломатов. Лица моих самых дорогих друзей — Дорна, Дорны и лорда Файна — сияли. Наттана вновь сидела с высоко поднятой головой, лорд Хис понуро сгорбился на своем месте и был бледен как

полотно.

Перед глазами у меня стоял туман, я чувствовал огромное облегчение, хотя именно оно, как ни странно, не давало расслабиться окончательно. И все же я довел свой список результатов до конца.

Двадцать три голоса — против, одиннадцать — за.

Бывает, что человек, проснувшись, думает, что ночь еще глубока, а ему не уснуть, но свет зари уже брезжит сквозь ставни. Так случилось со мной. Я и не подозревал, что принимаю происходящее так близко к сердцу и что буду или могу быть так доволен.

Дорн о чем-то говорил своему деду. Внешне они держались спокойно, но лица их светились. Наттана стояла за креслом отца, свет упал ей в глаза, и они вспыхнули. Наверное, то были слезы. Дорна выглядела усталой, исстрадавшейся, под глазами легли тени.

— Итак, Договор не принят? — шепотом осведомился Ламбертсон.

— Да, две трети проголосовали против.

— Какая глупость! Впрочем, ничего удивительного.

Тор оглашал окончательные результаты голосования. При этом он не сводил глаз с графа фон Биббербаха, чье лицо и лысина побагровели.

— Лишние хлопоты для нас, — заметил Ламбертсон, как бы обращаясь сам к себе, а затем, повернувшись ко мне, спросил: — А что там насчет того, чтобы поставить вопрос на всенародное голосование?

— Шансов никаких, вы все равно проиграете.

— Но мы выиграем время.

— Для чего?

Посол значительно взглянул на меня и ответил не сразу.

— Полагаю, ваших друзей Дорнов можно поздравить, — сказал он наконец. — Они повели себя умно. Откуда им известны такие подробности о жизни за границей?

— Молодой Дорн четыре года проучился в Гарварде.

Посол вскинул брови; я понял его намек, но не придал ему значения. Если я и рассказывал Дорнам все, что знаю и думаю о жизни за пределами Островитянии, — кого я этим предал? Но общество Ламбертсона стало мне неприятно.

— Каковы ваши пожелания, Мора? — спросил Тор.

Лорд Мора поднялся.

— Если того желает Совет — я оставлю свой пост.

— Вы хотите голосования?

Лорд Мора взглянул на своих сторонников.

— Видимо, в этом нет необходимости.

— Может быть, этот пост займет Дорн?

Дорн кивнул, не вставая.

— Кто-нибудь настаивает на голосовании?

Зал безмолвствовал.

— Правительство пало, — шепнул я Ламбертсону. — Премьером назначен лорд Дорн.

— Прытко! Море следовало остаться еще на какой-то срок. Мы должны порвать отношения с вашим другом.

— Это вы тоже предвидели?

— Да, но по крайней мере некоторое время спустя...

— Каковы ваши пожелания, Дорн? — спросил Тор.

— Договор отвергнут, — сказал лорд Дорн, вставая. — Все старые законы остаются в силе. Пребывающие в Островитянии лица, кроме тех, кто подпадает под действие Сотого закона, не имеют права дольше оставаться у нас, поскольку после отклонения Договора они не смогут осуществлять в нашей стране намеченное ими. Но они здесь — с нашего согласия. Я стою за политику, по которой иностранцам должно предоставляться не более того, что предоставлялось ранее. На что бы они ни надеялись, надежды их были всего лишь надеждами, а не обещаниями, следовательно, и никаких претензий к нам с их стороны быть не может. Тем не менее мы предоставим всем иностранцам время закончить свои дела и отбыть без спешки.

Выражение невыносимой боли мелькнуло на лице лорда Мора.

Далее лорд Дорн предложил продлить пребывание в стране до трех месяцев представителям дипломатического корпуса и их семьям, а также лицам, имеющим паспорта, с учетом привилегий, предоставляемых им международным правом. Предложение было принято без оглашения списка.

Затем он заявил, что отныне Островитяния не связана никакими договорами ни с одной из иностранных держав.

— Мы полагаемся сами на себя, — сказал он.

После чего Совет разошелся до утра следующего дня.

Мгновенно в зале поднялся шум, и все пришло в движение. Граф фон Биббербах выступил вперед с намерением обратиться к лорду Море или лорду Дорну, но передумал.

Ламбертсон спрашивал, что именно сказал Дорн, и мне пришлось едва ли не кричать, чтобы он мог меня услышать.

Посол пробормотал что-то насчет того, что это оскорбительно.

Граф фон Биббербах, собиравший вокруг себя коллег, окликнул Ламбертсона.

— Я вам больше не нужен? — спросил я посла.

— Думаю, нет.

— Тогда до свидания.

Я пожал ему руку, надеясь, что вряд ли мы еще встретимся, и мы расстались.

Лорд Дорн, лорд Мора и мой друг стояли вместе и разговаривали. Тор с Дорной направились к двери за тронем, через которую они вошли. Лицо Дорны было обращено к королю. Прежде чем выйти из зала, она оглянулась, и я, встав на цыпочки, помахал ей рукой, чтобы выразить свою радость и восхищение, хотя был не уверен, что она заметила меня в толпе.

Я чувствовал, что должен поделиться хоть с кем-то переполнявшей меня радостью — с Ислой Файном, Дорном или Наттаной. Большинство островитян стояли в проходах между рядами скамей и разговаривали так взволнованно и возбужденно, как мне еще не приходилось видеть. Исла Стеллин говорил с Келвином, Дорн беседовал с судьей Чессингом. Образовавшиеся по всему залу группы не имели никакого отношения к тому, кто и за что голосовал. Вряд ли было удобно вмешиваться и отвлекать кого-то только для того, чтобы сообщить о своих эмоциях. Дорн присоединился к деду и лорду Море, вид у него был деловой, озабоченный, и мне не захотелось нарушать их беседу. Лорда Файна не было видно — все покинули свои места и смешались, но Наттана стоял одна, прислонясь к стене. Я решил подойти, что бы ни подумали иностранцы, если бы и заметили меня. Островитяне вряд ли обратят внимание.

Секретари, жены и гости дипломатов толпились в дверях, и двое или трое заговорили со мной, когда между рядами скамей я пробирался через нашу, иностранную половину на островитянскую. Наконец я подошел к Наттане. Веснушки выделялись на ее бледном лице ярче обычного. Она взглянула на меня: кончики влажных ресниц слиплись, слезы оставили потеки на

матовой коже щек.

— Я хотел вам сказать... — начал я, но вдруг вспомнил об отступничестве лорда Хиса. Его не было видно. — Наттана! — воскликнул я, но было уже поздно.

— Говорите, Джонланг.

— Я хотел сказать кому-нибудь, как я рад, что голосование закончилось, и... Но я забыл...

— Я тоже рада! — воскликнула девушка. — Почему вы не хотели мне говорить?

— Я хотел сказать. Только сейчас я понял, как я рад!

— Не больше моего! Взгляните на них!

Она жестом указала на группу послов и консулов, окруживших графа фон Биббербаха.

— Да, вид у них... растерянный, — сказал я. Наши глаза встретились, и мы рассмеялись. И в то же время я почувствовал холодок у корней волос. Сбрасывать этих людей со счета было рано... Если начнется война, смогу ли я вступить в островитянскую армию? И, если останусь в живых, разрешат ли мне не покидать Островитянию?

Вглядываясь в лицо Наттаны, я не мог найти ответа.

— Ах, как я рад!

Я схватил руку Наттаны и стиснул ее в своей. Но кому было до этого дело?..

— Я и забыл, Наттана, что у вас не приняты рукопожатия.

Ладонь девушки была мягкой, безвольной.

— Иногда и мы так делаем, — сказала она, и пожатие ее стало чуть крепче.

— Ах, Наттана, не могу выразить, как я рад, что ваша страна решилась на это!

Девушка мягко, словно извиняясь, отняла руку.

— Что вы собираетесь сейчас делать, Джонланг?

— Придется работать до вечера, чтобы закончить статью. А завтра или послезавтра возвращаюсь к Файнам, если, конечно, не случится ничего непредвиденного.

— Я еду в Верхнюю усадьбу, — девушка потупилась. — Не знаю, надолго ли. Отец говорит, что лучше мне уехать.

— Жаль!

— Мне тоже. Не люблю, когда меня наказывают.

Она подняла голову.

Мы с Эком выезжаем послезавтра. Нам с вами по пути.

— Мы могли бы поехать вместе, — сказал я, не раздумывая.

— Вы правда хотите, Джонланг?

— Ах, с огромным удовольствием!

— Дайте знать, если что-то случится. А если нет, мы заедем за вами на рассвете. Сейчас мне надо домой.

Одна половина моего существа была поглощена работой, другая же, охваченная радостью, волнением и отчасти страхом, то и дело угрожала нарушить равновесие и дать смятению чувств одержать верх. Повсюду и островитяне, и иностранцы, без сомнения, с головой ушли в свои заботы — одни, раздумывая над тем, какой обходной маневр предпринять, чтобы избежать высылки и сбросить новое правительство, другие — укрепляя свою оборону. Как простой наблюдатель я был равно чужд обеим сторонам. Белая от снега Городская площадь, через которую протянулись цепочки следов, лежала в бледном свете зимнего дня. Меня все время тянуло взглянуть на людей, входивших и выходящих из Домашней резиденции, где должен был находиться сейчас лорд Дорн. Трудно было избавиться от чувства, что даже отношение друзей ко мне изменится и я вряд ли буду столь же желанным гостем, как прежде. И Город как будто выглядел по-иному, став холоднее и отчужденнее, идя своим путем и живя своей,

отдельной от моей жизнью. Но в мыслях моих царил порядок, слова одно за другим легко ложились на бумагу, время быстро подвигалось к вечеру.

Зашел попрощаться Даунс. Он отплывал завтра и был очень этим доволен.

— Я прекрасно наладил дело с «Выставкой», — сказал он, — хотя теперь это, верно, ни к чему. Может быть, пошлете мне письмо до востребования? Не стоит нам терять друг друга.

Я пообещал написать, Даунс в ответ предложил выступить в роли курьера, взяв мою статью, и отослать каблограмму из Мобоно: она вполне могла оказаться первым в мире известием о событиях в Островитянии.

— Думаю, что уезжаю вовремя, — продолжал Даунс. — Вам бы тоже лучше уехать, мистер Ланг. Нам, американцам, теперь здесь нет места и, наверное, не скоро будет.

Он ушел. Итак, «Плавучая выставка» и все с ней связанное осталось в прошлом. А результат? Ведь это была моя самая серьезная и чистосердечная попытка хоть как-то изменить Островитянию.

Тьма сгустилась над площадью. Американцы, находящиеся сейчас в стране, собрались вокруг Ламбертсона, с которым я, надеюсь, распрощался навсегда... Впереди меня ожидала поездка в обществе Наттаны, безусловно радушный прием у Файнов и еще одиннадцать месяцев — чего?.. Починки изгородей? праздности? сочинения статей? путешествий с Дорном, когда первые месяцы после его свадьбы останутся позади, конечно, если он не слишком погрузится в общественную жизнь, на что было похоже? Визит на Остров, или к Морам, или, что еще вероятнее, к Хисам?

Что бы подумали мои родственники и друзья в Америке о такой жизни? Но я не собирался ее менять, куда это было в моих силах.

Правда, поначалу, прежде чем строить планы, следовало удостовериться, что меня по-прежнему хотят здесь видеть. Если Дорны желали моего отъезда, не лучше ли было отправиться завтра же с Даунсом или на ближайшем пароходе в начале июля? При подобных мыслях мне вдруг стало неуютно. Я хотел услышать мнение Дорна, и немедленно. Оставаться у себя и продолжать работу я больше не мог.

В Домашней резиденции мне сообщили, что мой Друг вместе с лордом Дорном незадолго до того отправился в свой Городской дворец. Безусловно, наша Дружба была достаточно давней и крепкой, чтобы я мог рассчитывать на короткий разговор даже в такой день. Потом я вспомнил о своем праве на танридун и, уже не столь мучимый сомнениями, почти бегом бросился вниз по Верхней улице, спустился к набережной, миновал агентство и здание Военно-морского министерства и дальше — по мосту через канал. Уже стемнело, но я хорошо знал дорогу. Фонари на пристани не горели, но ветер совсем стих, и было почти светло: огни кораблей бросали на воду дрожащие, длинные и острые, как стрелы, блики.

Окружавший Дворец сад выглядел так же, как в тот вечер, когда я провожал Дорну после концерта. В воздухе пахло морем.

Едва я подошел к двери, как она тут же распахнулась, словно меня ожидали. По крайней мере появление иностранца не вызвало удивления у слуги. Он сказал, что Исла Дорн и его внучатый племянник — в приемной. Никакого специального совещания, просто — встреча друзей. Я поднялся по тем же каменным ступеням и, свернув налево, прошел через длинный коридор в зал, где все напоминало о Дорне.

Вокруг очага стояло много народу. Большинство было мне знакомо: Исла Файн, Фаррант, Марринер, командор Дорн, судья Дорн, сам старый лорд, мой друг. Некоторые пришли с женами. Увидел я и Дорну: в зеленом платье, стоя ко мне спиной, она разговаривала с женой Фарранта, Андарой, и молодым Стеллином. Островитяне были деловиты и озабочены, и все же я решительно направился прямо к Дорну, который, увидев меня, тут же подошел, взял за руку и

подвел к оживленно беседовавшему обществу. Вопрос, приведший меня сюда, теперь казался неуместным.

— Рад вашей победе, — сказал я. — Мне не приходилось задумываться над этим раньше, но когда это произошло, я понял, что хотел именно этого. Однако, Дорн, оставаться мне или нет?

Мой друг изумленно взглянул на меня.

— Остаться или нет? Что за вопрос, конечно — да! Неужто ты хотел уехать?

— Вы не хотите иметь дела с иностранцами.

— С тобой мы хотим иметь дело, и по многим причинам. Ты можешь оставаться столько, сколько сочтешь нужным. Ведь ты не хуже меня знаешь, чего мы не хотим.

— Тогда вопрос решен, — ответил я расслабленным голосом, так велико было чувство облегчения. — Я остаюсь на столько, на сколько это позволяет закон.

— Мы хотели бы иногда продлевать его действие, но делать исключения... именно за это мы критиковали Мору. Не очень-то приятно, когда тебя вынуждают быть чрезмерно последовательным, верно?

Все окружили меня. Я не сомневался, что Дорна знает о моем присутствии, хоть и не успел еще встретиться с ней взглядом. На лице лорда Дорна глубже обозначались морщины, и в облике его проступила властная озабоченность. Как приятно было слышать мне слова его приветствия!

— Я сообщил Джону, что он может оставаться в нашей стране, сколько захочет, — сказал мой друг.

Ясные светло-карие глаза взглянули на меня и сразу прочли все мои сомнения.

— Мы рады, что вы здесь, Джонланг. Вы не из тех, против кого мы боролись.

Слышала ли Дорна его слова?

Когда я только вошел, разговор кое-где затих, но потом возобновился снова. Мы подошли к столу у стены, на котором стояло несколько бутылок с вином и блюдо печенья. Появившийся лорд Файн сказал, что, как он думает, Совет будет заседать еще день-два, не больше, и поэтому он сам рассчитывает отбыть в имение на четвертый день.

— Мы отправимся вместе или вы хотите выехать раньше, а может быть, позже?

Вопрос был задан не столько ради того, чтобы получить ответ, сколько для того, чтобы дать мне понять, не слишком навязчиво, что дом лорда по-прежнему и мой дом. Я рассказал о своем намерении поехать вместе с Хисом Эком и Наттаной послезавтра.

— Передайте обоим, что наш дом к их услугам, если они захотят остановиться у нас на ночь или больше.

Сказав это, он отошел. Было очевидно, что общий разговор еще далеко не закончен.

— Не беспокойся обо мне, — сказал я Дорну. — Я узнал то, что хотел.

— Ты совершенно напрасно подумал...

— Я не подумал... мне просто надо было удостовериться.

Дорн поинтересовался моими планами, я рассказал ему о них, добавив, что хотел бы задержаться в столице, если предвидятся какие-либо еще важные политические события. Было нелегко говорить и внимательно слушать собеседника, зная, что Дорна так близко.

— Никаких важных дел в Совете больше не намечено. Теперь я могу открыть тебе кое-какие из наших секретов. Мы ожидаем, что требования о передаче Феррина в международное владение будут возобновлены, но, похоже, иностранные представители вряд ли договорятся между собой раньше чем через несколько дней. Поэтому, если мы распустим Совет завтра, к их предложениям можно будет вернуться только еще через полгода. А мы тем временем успеем устранить некоторые последствия деятельности Мору и подготовимся дать отпор.

— Стало быть, ты будешь так же занят, как и раньше?

— Через несколько дней станет яснее, но по крайней мере у меня будет время повидаться с Неккой. — Глаза его просветлели. — Возможно, я через неделю буду проезжать мимо Файнов и заеду навестить тебя. Но если у меня и появится больше свободного времени, расходы нам придется сократить. Дорны внесли много средств на то, чтобы провести опрос, и теперь мы почти бедны. Однако с тобой мы скоро сможем видеться чаще, я уверен.

— Думаешь, я не пропущу ничего интересного для газетчика, если уеду послезавтра?

— Нет, а если что-то наметится, извещу тебя завтра. Теперь общаться стало намного легче, это замечательно... Кстати, не хочешь ли поговорить с Дорной? Сама она не подойдет, пока ты не дашь понять, что хочешь ее видеть.

Итак, достаточно было жеста... Но стоило ли?.. Действительно ли я хотел говорить с ней? Острый клинок снова приближался к едва затянувшейся ране.

Я нерешительно взглянул на Дорна, боясь и того, что могу почувствовать, если отважусь на разговор, и не меньше — мучительных угрызений, если возможность будет упущена. Дорн внимательно наблюдал за мной.

— Поговори с ней, — сказал он. — Мне кажется, так будет лучше. Держись свободней. Она тебе поможет.

Он громко позвал сестру, и она, мгновенно отделяясь от тех, с кем говорила, подошла к нам и остановилась у стола. Дорн потихоньку отошел. Я смотрел на спину Дорны, боясь встретиться с ней взглядом, не готовый к этой неожиданной встрече лицом к лицу.

— Вы очень хорошо говорили сегодня утром, Дорна.

— Правда? Не знаю. Просто сказала, что чувствовала... — И вновь — ее ни с чем не сравнимый голос, который невозможно было запомнить, но который тут же вспоминался, стоило его услышать. Хотелось смеяться, настолько это было замечательно.

— Нужно было немалое мужество.

— Да, всё до последнего. И потом — говорить после лорда Моры и моего дедушки? Но он не все сказал.

— И мне так показалось.

— Вы поняли?

— Да, хотя, наверное, не так глубоко, как мог бы островитянин.

Последовало молчание, пугающее молчание.

— Не уверена, — медленно проговорила Дорна. — Я тоже вспомнила о вас и даже запнулась на мгновение. По отношению к вам это было слишком сурово.

— Ах нет!

— Да, Джон.

В том, что она не хотела соглашаться со мной, было что-то лестное и вместе опасное, впрочем, я не понял, что именно.

— Дорна... — начал было я, но потерял мысль. Видеть, как она ждет, было мучительно.

— По-вашему, я не права?

— Совершенно правы...

И снова мы замолчали, мгновение — взгляды наши пересеклись, и было уже не отвести глаз. Дорна была живой, ощутимой, как никогда, и никакая броня не устояла бы против безупречного совершенства ее голоса, да и все в ней было совершенным и желанным, как ничто иное.

Слабая улыбка скользнула по ее губам, она отвела взгляд, потом снова прямо поглядела на меня.

— Похоже, разговор у нас не клеится, — сказала она.

— Да... Мне тяжело говорить.

— Мне тоже. Ужасно не люблю, когда у нас с вами так выходит.

— И я, Дорна... Но ваша речь...

— Моя жалкая речь?

— Жалкая?! Прекрасная, блестящая речь!

— Рада, что вам так кажется. Дедушка и брат боялись, что я только испорчу дело, они всё еще не пришли в себя!

— А остальным — понравилось?

— О да, — проговорила Дорна, быстро взглянув на меня, и замолчала.

Итак, о речи Дорны все было сказано, а больше говорить, казалось, не о чем.

— Хотите печенья, Дорна, или еще чего-нибудь?

— Нет... Впрочем, хочу.

Я подал ей блюдо с печеньем.

— Я остаюсь в Островитянии еще на одиннадцать месяцев.

— Надеюсь, вы будете счастливы.

— Думаю, да. Надеюсь, вы тоже счастливы.

Она тихо рассмеялась.

— Я счастлива, — сказала она легко, не задумываясь. — Только скучаю по своей лодке и по болотам, но я еще вернусь к ним.

Говорить мы могли только о мелочах, хотя самое главное и самое больное во мне в любой момент готово было сорваться с языка.

— Что ж, до свидания, Джон.

— До свидания.

В дверях меня остановил Дорн.

— Ты придешь на Совет завтра?

— Пожалуй, ненадолго.

— Если нет, увидимся у Файнов через неделю.

Да, ведь он едет к Некке!

— Буду рад, если заглянешь, — сказал я, тут же усомнившись в искренности своих слов.

— Мне так хочется повидать тебя, хотя ты уже не так нуждаешься в этом.

Было время, когда я и вправду нуждался в нем, сам того не подозревая, но с тех пор прошло четыре месяца.

— На этот раз — нет.

Это была правда, хотя неудачный разговор с Дорной следовало как можно скорее забыть. Одно неловкое движение — и память о нем впивалась в меня, как бритва.

Работы со статьей оставалось немного. Небольшая правка — и ее можно было отсылать, но время тянулось медленно. Пожалуй, лучше всего было употребить его, вознаградив мою преданную корреспондентку Глэдис Хантер за ее интересные письма. Быть может, ей будет приятно узнать о событиях в Островитянии раньше, чем о них узнают повсюду. Я написал ей длинное письмо и несколько более коротких — своим и дядюшке Джозефу, извещая их о главных новостях и о своих планах на будущее.

На следующий день, проводив Даунса и передав с ним почту, я на минутку зашел в зал Совета. Дипломатические ряды пустовали. Обсуждались меры по легализации присутствия иностранцев и обеспечению их отправки. Лорд Мора указал на то, что по многим пунктам его Договор устоял. По существу Совет лишь отменил испытательные сроки и ограничил иностранное представительство в Островитянии. Подписанное с Германией в 1905 году

соглашение — на условиях признания целостности Островитянии и права немцев на земли по другую сторону Большого хребта, а также патрулирования ими степей Собо — оставалось в силе. Это было уступкой лорда Дорна. Вопрос об островитянских гарнизонах на перевалах Большого хребта не обсуждался, но зато горячие споры разгорелись вокруг лица, которое могло бы быть посредником в отношениях немцев с островитянами. Лорд Дорн считал, что одного иностранного представителя в Островитянии будет достаточно, как и до 1905 года. Кандидатура месье Перье казалась приемлемой. Однако лорд Мора продолжал утверждать, что Германия будет настаивать на своем человеке.

Лорд Мора и лорд Дорн держались между собой дружелюбно. Первый отнесся к краху своих надежд спокойно и не искал случая возобновить споры. Выступал он скорее как советчик, чем как оппозиция. Очевидно было, что никаких действий он предпринимать не собирается.

Я встал, чтобы идти. Зачем я приходил? Чтобы в последний раз увидеть Дорну? Она сидела там, где и надлежало королеве, внимательно вслушиваясь в речи говорящих и не обращая внимания на тех, кто занимал дипломатические ряды в другом конце зала. Всеобъемлющий женский интерес к общественной жизни стал теперь ее почетным правом, но про себя я подсадовал — так юна и так хороша собою она была.

Итак, я на цыпочках пробирался к выходу, как вдруг голос лорда Мора заставил меня застыть на месте.

— Дорн, — сказал он, — прежде чем мы покончим с этими вопросами, разрешите мне предложить вам мои услуги. Если хотите, я задержусь в столице. Я знаю людей, которые покидают Островитянию. Возможно, я помогу им облегчить отъезд, а вас огражу от излишних хлопот. Эти люди — мои друзья.

Наттана сказала, что они с братом приедут на рассвете, однако солнце поднялось уже довольно высоко, бросая свои лучи на снежный покров площади, хотя темно-синие тени домов и скрывали еще большую ее часть. Внизу, под окном, стоял на привязи Фэк. Время от времени он приподнимал заднюю ногу, словно раздумывая, ударить ли копытом по мостовой, мотал головой и наконец тихонько опускал ногу. Мышцы его играли, и по всему было видно, как не терпится ему покинуть город, где никто почти не обращал на него внимания.

Заседание Совета было отложено. Дорн прислал записку, в которой писал, что вряд ли следует скоро ждать интересных событий, обо всех же новостях он расскажет, когда мы через неделю встретимся у Файнов. Снегу в усадьбе уже скорее всего выпало много, и починку изгородей придется надолго отложить. Я хотел бы подыскать себе новое занятие на свежем воздухе и какую-нибудь физическую работу в доме. Все время заниматься писаньем, отвлекаясь только на пешие или конные прогулки, пожалуй, скоро надоест. Файн обещал...

Но вот я завидел двух рыжекудрых всадников верхом на каурых длинноногих лошадях, сзади следовала вьючная лошадь, нагруженная дорожной кладью. Едва они выехали из-за угла, как яркий солнечный свет брызнул на них.

Как хорошо было наконец-то покинуть Город! С часто бьющимся сердцем я сбежал по лестнице, чтобы не заставлять своих спутников ждать.

Наттана уже сидела верхом на Фэке, наблюдая, как я к этому отнесусь. Эк с довольной улыбкой держал под уздцы ее лошадь. Я как ни в чем не бывало проворно вскочил на нее. Никто не обмолвился ни словом. В конце концов нам, мужчинам, скорее пристало потакать женщине, чем наоборот, к тому же Наттана была легче меня, а Фэк — меньше ее лошади.

Вьючная лошадь впереди, за ней Эк, потом Наттана и последним Джон Ланг — в таком порядке спускались мы с Городского холма, оставляя позади каменные тупики городских улиц и глухие каменные фасады, — навстречу свежему ветру и снежному простору, сквозь который, однако, кое-где все еще пробивалась бурая жухлая трава.

Уже сгущались сумерки, когда мы подъехали к V-образному ущелью недалеко от Ривса. На другой стороне вереница желтых огоньков протянулась вдоль края скалы, обрывистый спуск уходил вниз, теряясь в синей мгле. Густые тени синели в скалистых выемках, мост и буксирные лодки были едва различимы в синем разливе сумерек, а воды реки местами слабо отливали серебром. Мы стали спускаться по крутой тропке, темнота обступала все плотнее, и только ярко-рыжая головка Наттаны светилась впереди чуть потускневшим пятном.

Где лучше остановиться? Мы решили обсудить этот вопрос. Эк не был выпускником университета. Гилморы, как сказала Наттана, могли бы принять меня, в лучшем случае двоих из нас, но никак не троих. Был еще дом, где она останавливалась одиннадцать дней назад, но для троих, на взгляд Эка, он был маловат. И брат, и сестра и слышать не хотели о постоялом дворе, возможно, из-за высокой цены. В нескольких милях располагалась усадьба Келвинов, к тому же они сами предлагали мне навестить их, но в ту пору я еще был консулом. Такой вариант устраивал Хисов, но я отнесся к нему прохладно. Разделяться же мы не хотели. В этом были согласны все.

Остановившись в центре городка и так и не приняв никакого решения, мы чувствовали себя несколько неуютно и заброшенно. Потом Эк, которому, похоже, такое положение начало надоест, сказал, что отправляется на поиски ночлега, и уехал.

Наттана легко вскочила в седло своей лошади. Со всех сторон нас окружали темные дома и улицы. Тени редких прохожих скользили по черным стенам домов, по белому утопанному снегу.

— Устали, Наттана?

— Спать хочется.

Мы ждали. Было довольно холодно.

— И есть тоже, — добавила девушка. — Впрочем, ничего, — завтра нам всем троим найдется ночлег. Зря Эк так поспешил уехать. Холодно — плохая погода для лошадей.

Она накинула капюшон.

— Мне жаль, что вы подумали, будто я не хочу ехать к Келвинам, — сказал я.

— Я тоже не хотела, правда; трудно объяснить, но он и отец...

— Вашему отцу я сочувствую. Значит, вы действительно переберетесь теперь в Верхнюю усадьбу?

— Он сказал, что я должна, хотя мне...

Она резко замолчала.

— Хотя что, Наттана? — спросил я, подождав. — Вы не хотите говорить?

— Хотя я обещала. И вообще я слишком часто с ним соглашалась. Да я ведь вам все это уже рассказывала.

— Мне жаль, что на вас обрушилось столько неприятностей.

— Да, я переживаю, и больше, чем вам кажется. Отчасти из-за Эка. К тому же и мой станок, и все материалы — в Нижней усадьбе.

— А без обещаний было никак не обойтись?

— Я кругом запуталась. Мне не хочется больше слов. Я не могу...

Она снова замолчала.

— Я не подумал о вашей мастерской. Нелегко, должно быть, с ней расставаться.

— Ах, давайте больше не будем об этом! В Верхней тоже есть станок, поменьше. Эк обещал перевезти мои вещи, те, что сможет. Он очень добрый и заботливый. Но большой станок!.. Ах, конечно, дело не только в нем! Работа найдется, а весной, когда вскрыется озеро!.. Дон будет брать меня с собой в горы. Так что есть хорошие стороны. Больше всего мне жаль, Джонланг, не то, что мы не ужились с отцом, а то, что он теперь так переменялся. Он верит в определенные правила, а я — нет, и он меня наказывает, потому что я говорила ему об этом и не слушалась его.

— Наверное, вы спорили с ним не только потому, что он решил так голосовать, но и из-за Неттеры?

— Да, конечно. Это не все, но очень важно. Главная беда в том, что он уверен, будто он может распоряжаться всеми в доме, как хочет, а стоит только кому-нибудь послушаться, сказать или сделать что-нибудь поперек — это уже преступление. В Верхней усадьбе мне будет лучше. И все равно, по правде, ехать не очень хочется.

Разговор был прерван появлением Эка. Он заезжал во Дворец — резиденцию лорда провинции Файна. В здании находился один лишь дворецкий, так что обслуживать себя нам придется самим и нечего рассчитывать на роскошную трапезу, все же необходимое будет нам предоставлено.

— И Зеленоглазку возьмем с собой, — добавил он.

Когда на следующее утро мы выехали из Дворца, нам не надо было думать ни о расписании поездов, ни о билетах, ни о носильщиках и чаевых. Я рассказал Наттане о множестве вещей, которые необходимо проделать путешественнику в Америке, однако еще не раз до конца дня

нам невольно приходилось вспоминать и многочисленные удобства, предоставляемые американской системой путешествий. Так, поезд без всяких усилий с нашей стороны довез бы нас до Тиндала за час, теперь же нам предстояло преодолеть немало трудностей. Небо было сплошь затянуто тучами. Сначала подмораживало, потом температура несколько поднялась. Дождь шел вперемешку с мокрым снегом. Дорогу развезло, она стала скользкой и грязной. Мы медленно одолевали милю за милей, усталые, вымокшие, с ног до головы забрызганные грязью. И все же никто не жаловался, хотя иногда казалось, что нам никогда не добраться до конечной цели нашего пути.

Наттана устала и приумолкла, но не унывала: лицо ее не хмурилось и в любой момент готово было озариться улыбкой, хотя скользкая дорога, каждый шаг по которой давался с трудом и грозил падением, могла вывести из терпения любого.

К ночи мы добрались до Тиндала, но хотя человек на постоялом дворе, где мы перекусили и напоили лошадей, предупредил, что дорога скверная, мы решили идти дальше.

У въезда в ущелье, по которому протекал Ривс, мы спешили и еще долгих десять миль шли пешком, чтобы дать отдохнуть лошадям и не подвергаться риску упасть, равно опасному и для нас, и для животных. Лунный свет не мог пробиться сквозь плотную завесу облаков, и мы шли, не видя, куда ступаем, со всех сторон окруженные тьмой, зная, как не близок еще путь по этой скользкой, предательски неровной тропе. Эк с фонарем возглавлял шествие. Лошади растянулись в цепочку, мордами касаясь хвостов идущих впереди, так их здесь приучали. Последним шел Фэк, и его круп, слабым белесым пятном маячивший впереди, служил ориентиром для нас с Наттаной. Нашей задачей было не дать лошадям слишком растянуться. Казалось, с тех пор, как мы выехали из Ривса, прошло уже больше полусуток.

Фонарь Эка слабо раскачивался в ночной мгле. Начался подъем. Наттана накинула капюшон и совсем превратилась в невидимку, слившись с темнотой; я мог угадывать, где она, лишь по изредка долетавшему прерывистому дыханию, по звуку ее башмаков на глине или камнях или когда кто-нибудь из нас терял равновесие и мы задевали друг друга рукавами. Я шел рядом с девушкой, встревоженный, и мне так хотелось хоть как-то подбодрить ее, помочь ей, что это постоянно причиняло мне сладкую боль. Я стал рассказывать о том, как мы живем, о своих домашних. Речь моя, достаточно бессвязная, не была рассчитана на успех или даже на то, чтобы ее просто слушали. Но мне удалось позабыть об усталости, о словно налитых свинцом ногах. Потом я поинтересовался, о чем думает Наттана.

— Вам интересно? Хотите, чтобы я продолжал?

— Да.

Голос ее прозвучал из темноты совсем не оттуда, откуда я ждал. Итак, я продолжил рассказ, поведал о своем детстве, сравнивая его с детскими годами Наттаны, припомнил конфликты с родителями, правила, в которых меня воспитывали, детские обиды, все темные и светлые минуты.

Когда дорога свернула вправо, мы отчетливо увидели чуть впереди желтый фонарь Эка, который по-прежнему, слегка раскачиваясь, медленно, но безостановочно продвигался вперед. Потом дорога пошла ровнее, фонарь часто превращался в слабое мерцающее пятно. Налево крутые выступы скал временами скрывали от нас путеводный свет, мы оставались в беспросветной тьме. Если фонарь слишком удалялся, я прерывал рассказ, чтобы издать трудноописуемое островитянское восклицание, примерно равнозначное нашему: «но!», «пошла!». Все четыре лошади дружно реагировали на команду, и скоро белый круп Фэка начинал удаляться. Если реакции не следовало, я оставлял Наттану и шел вперед, по звуку и на ощупь определяя, кто отстал, шлепком подбадривал уставшую лошадь. Потом останавливался, пропуская кавалькаду вперед.

— Где вы, Наттана?

— Здесь.

И снова я шел рядом с ней. В эти минуты я словно жил двойной жизнью: все чувства были обращены к нашей дороге в ночи, к Наттане, к лошадям, а в душе разгоралось яркое пламя воспоминаний, так что, казалось, вокруг даже становилось светлее. Я говорил откровеннее, чем когда-либо, даже наедине с собой. Я просто не мог не быть честным, громко обращаясь к своему невидимому слушателю. Я рассказал о своих юношеских влюбленностях, о некоторых болезненных переживаниях молодого человека, описал неудачное сватовство к Мэри Джефферсон.

Наттана почти все время молчала, но по коротким вопросам, которыми она иногда прерывала меня, видно было, что слушает она внимательно. Порою я спрашивал себя, уж не раскаюсь ли я позже в своих откровениях, но молчаливая фигура шедшего рядом слушателя каждый раз заставляла уверяться в обратном.

Так текли часы. Дорога не казалась мне скучной, я не знал, как долго мы идем и где мы сейчас, но понимал, что конец уже близок. Все преходящее осталось позади. С Дорной было иначе. Там, тогда я разговаривал с ней. Здесь ответом мне была тишина.

Тьма сгустилась, но я почувствовал близость невидимой земли. Дорога шла на одном уровне. Должно быть, мы проходили по одному из полей, расположенных ниже усадьбы Файнов, — слишком напоминало оно большинство земель этого имения. Немного выше, слева, светилось яркое желтое пятно, наверное, на приличном расстоянии, потому что мы все шли, а оно не приближалось и не удалялось. Будь я действительно островитянином, я бы догадался, где нахожусь.

— Что это за свет, Наттана?

— Не знаю, мне эти места незнакомы.

Выходило, что даже островитянка потеряла ощущение пространства.

— Я слишком увлеклась, — добавила она вялым, потускневшим от усталости голосом.

Запнувшись, она оперлась на меня, и, как уже несколько раз до того, я поддержал ее за локоть.

— Даже говорить не могу, — призналась девушка.

— И не надо. Почему бы вам не поехать верхом? Дорога ровная.

— Тогда я не смогу опять идти.

Я надеялся, что мы наконец подъезжаем к Файнам, запас моих тем был почти полностью исчерпан. О чем еще я мог рассказать: об университетской жизни, о литературе, о заветных стихах или о...

— Вот что я хочу сказать вам, — неожиданно произнесла Наттана. — Вы не обладали еще ни одной женщиной. Ко мне тоже еще не прикасался ни один мужчина, но мне кажется, Джонланг, что кое в чем я пошла дальше вас.

— В моей стране, — ответил я, — и в моем возрасте это считается несколько странным для мужчины.

— Здесь не так. Большинство наших мужчин находят, что лучше дожидаться, пока ты не почувствуешь *анию*.

Я вспомнил Дорна.

— Нет, просто нет больше сил говорить.

— И не надо, Наттана.

Дорога пошла вверх. Я услышал учащенное дыхание Наттаны, и мне показалось, что я различил слабый вздох.

Я брел, с трудом волоча ноги. Университетская жизнь и американская литература казались

сейчас не самой подходящей темой для беседы.

Белое пятнышко — Фэк — стало неразличимо. Я долго смотрел по сторонам, пока не разглядел далеко впереди свет фонаря. Мы шли рядом с Наттаной, но двигались очень медленно. Я попытался ускорить шаг, но моя спутница, похоже, совсем выбилась из сил.

— Попробуем идти чуть быстрее, — сказал я.

— Не могу.

— Я кликну Эка, он слишком обогнал нас. Вам нужно сесть на лошадь.

— Нет, не надо!

Что мне было делать?

— Давайте руку.

— Вы хотите мне помочь?..

Нащупав в темноте руку Наттаны, я взял ее под локоть. Роста мы были почти одинакового, мне не составляло труда выдержать вес Наттаны, и я постарался помочь ей двигаться быстрее. Прошло немало времени, пока белая спина Фэка вновь не замаячила впереди.

Наттана всей тяжестью повисла на моей руке.

— Вы можете сесть на лошадь, — снова предложил я.

— Нет, я и так дойду.

Ее крепкая, нежная рука так доверчиво обхватила мою...

— Должно быть, мы уже близко, — сказала она.

— Спрошу Эка.

— Нет, не надо.

Наши пальцы переплелись, и Наттана мягко, но внятно ответила на мое пожатие. Сердце мое воспряло, почувствовав прилив новых сил, источник которых заключался в нас обоих.

Нам с трудом верилось, что мы наконец прибыли, хотя позади было столько часов пути. Эк подозвал нас, сказав, что, поскольку лошади могут разбрестись, нам лучше сесть на них. Рука Наттаны выскользнула из моей. Я посадил Наттану на Фэка, потом нашел свою лошадь. Сильно пахло сосновой хвоей.

Около полуночи мы добрались до дома. Света в окнах не было. Мы оставили Наттану у дверей, чтобы в случае чего она предупредила Мару и та не слишком хлопотала, а сами повели лошадей на конюшню. И все-таки, когда мы вернулись, Мара была уже на ногах и тут же принялась поить нас теплым молоком. Наттана, успевшая подкрепиться до нас, уже отправилась спать. Десять минут спустя я тоже уже был в своей комнате и вскорости заснул.

На следующее утро значительно потеплело, туман поднимался повсюду от влажной земли и тающего снежного месива. Усадьба Файнов выглядела по-новому, хотя все кругом было знакомым, словно старый друг переоделся в новое платье. Я позавтракал с Марой и Эком. Наттана провела в постели почти весь день. Мара сообщила, что девушка слишком утомилась.

— Она шла из последних сил, — подтвердил Эк, — только вот шаг у нее мелкий.

Потом он рассказал о том, какой неутомимый ходок была Некка, да и Неттеру он был бы не прочь взять с собой. Она никогда не обращала внимания, что устала. А сколько мелодий успела бы она сыграть!

Эк собирался остаться еще на день — дать лошадям передохнуть. Наттана, насколько я знал, должна была задержаться дней на пять, до приезда Дорна, или еще дольше, если снег не стает на перевалах. Было ясно, что Файны пригласили ее погостить, а Эк мог ехать и без нее. Я порадовался, что смогу еще пять дней провести в ее обществе.

Поддавшись на уговоры хозяйки, я провел утро в полной праздности, хотя мысль об изгородях не покидала меня, и мне хотелось хотя бы взглянуть на них. Правда, земля промерзла и было очень грязно — не лучшее время ставить опоры, но я мог бы поработать над каменными изгородями или выполнить какое-нибудь новое, загадочное и многозначительное поручение Ислы Файна. Маре не терпелось узнать все о заседании Совета. Она шила, сидя у окна, а я рассказывал, стараясь не упустить ни единой подробности. Небо просветлело, в просветах туч показалась лазурь. Погода скорее походила на весну или осень, чем на зиму. Ноги все еще гудели, в движениях и мыслях ощущалась скованность, но я с наслаждением сознавал, что вернулся к Файнам.

Настало время ленча. Наттана по-прежнему не выходила из своей комнаты. У нее были книги, к тому же Мара дала ей кое-что из шитья. Она велела мне передать, что чувствует себя прекрасно, просто немного устала.

День шел своим чередом. Меня так и подмывало выбраться на свежий воздух. Эку тоже не сиделось на месте, и мы решили вместе пройтись по большаку, а заодно взглянуть на изгороди. По дороге Эк дал мне немало дельных советов. Став хозяином Верхней усадьбы, он постоянно чувствовал эту ответственность. Беседа наша вращалась вокруг трех тем: его усадьбы, усадьбы Файнов и моего будущего. Изгороди окончательно перестали занимать нас, однако иногда мы обращали внимание и на них, причем Эк непрестанно следил за погодой и состоянием почвы.

В Верхней перед Эком стояли серьезные трудности. Пока усадьбу можно было использовать совместно с Нижней, но это была уже не летняя вотчина, а самостоятельная и постоянная резиденция, поскольку недалек был день, когда хозяйство придется разделить. В Верхней должно быть свое устройство, ни от чего не зависящее. Себя, Агта и Эттеру он считал основателями, которым предстоит работать вместе, закладывая основы. Наттане в его планах пока не находилось места. Он или Атт могут жениться, но все должно будет оставаться по-прежнему.

Их планы и их трудности? Овощи, фрукты и злаки им придется выращивать самим, взять их неоткуда, а климат наверху — суровый. Житницы Файнов, которые служили подспорьем в неурожайные годы в тех местах, где климат отличался резкими перепадами, очень интересовали его. Мы осмотрели их, бродя по сумрачным, прохладным и сухим закромам, оглядывая их устройство хозяйским глазом. Фермерам, не разводящим скот, по мнению Эка, жилось легче. Им не приходилось заботиться о купле-продаже и о рынке, и все-таки это была куда более скучная жизнь.

— Нам или нашим детям думать об отдыхе раньше чем лет через сорок нечего, — сказал он, впрочем, улыбнувшись. — К этому времени все заботы будут позади. Хорошо бы дожить, взглянуть.

Положение, причиной которого стал отец, прояснилось для меня. Будь семья, обитавшая в Нижней усадьбе, поменьше, жизнь там была бы другой — более легкой, приятной и не такой стесненной, по крайней мере для тех из Хисов, кому было назначено появиться на свет.

Пастбище на склоне холма вело вверх. То и дело Эк задавал вопросы, преимущественно насчет моего будущего: как долго я собираюсь еще оставаться в Островитянии? чем хочу заняться до отъезда? где буду жить?

Мы стояли, облокотившись на изгородь. Помнится, я часто стоял здесь же, когда чинил изгороди осенью: отсюда были видны обе усадьбы, оба поместья, похожие друг на друга, растянувшиеся у подножия холмов. Эк глубоко задумался, черты его лица посуровели.

— Я видел вашу книгу об истории Америки, — сказал он, — но так и не успел прочитать. Наттана говорит, что у вас есть работы и на английском, и здесь, в поместье, вы продолжаете писать. Что ж, неплохая жизнь, верно?

— Мне нравится...

— Да, если ум человека требует такой работы. Я устроен по-другому. Меня не занимает — выражать свои мысли, если они не связаны прямо с тем, что я делаю. Большинство у нас такие, хотя у Неттеры есть музыка, а у отца, теперь...

Он снова замолчал и задумался.

— У него появились мысли о том, как людям следует жить, и он хочет заявить их вслух. Это по сути то же, только он не писатель... Но ему это нужно.

На лице его появилось подобие улыбки.

— Если вы выражаете себя в слове или красках, музыке или камне — материал, которым вы пользуетесь, бесчувствен. Но когда вашим материалом становятся другие люди, это меняет дело. Конечно, обстановка у нас в семье была сложная, со своими трудностями, и это отчасти извиняет отца, но он опять-таки занят самовыражением, только материалом ему служим мы. Теперь я ясно это вижу, и Атт тоже. Уж лучше бы отцу написать свод правил — как себя вести человеку, чем испытывать свои правила на нас... Мы все хотим жить по-старому. Атт и я на него не похожи, хотя Эттера и переняла кое-что из его идей. Мы чувствуем, что старый порядок самый лучший; совершенно ясно, чем следует заниматься человеку, пока он жив, а когда тебя одолевают сомнения — всегда найдутся древние обычаи, на них можно положиться. В новых правилах нужды нет.

Эк тяжело вздохнул.

— Я подумал, что вам было бы интересно узнать это, прежде чем навестить нас. Порядки в Верхней не те, что внизу... Так вы приедете? Место у нас тихое, особенно зимой, когда на перевалах много снега. Для нас, кто постарше и кто живет там для дела, это не страшно, а вот Наттана еще слишком молода. У нее есть свое дело — она неплохо ткет, — но, чтобы совершенствоваться в мастерстве, ей нужны другие люди. Я знаю, ей кажется, что Нижняя — место уединенное, но в Верхней — совсем не то; внизу круглый год наезжают люди, по делу и погостить, там больше ферм по соседству и Город близко. У нас ей будет скучнее, и спроса на ее работу может не оказаться. Ей наверняка захочется чего-нибудь еще. Так что мы с Аттом будем рады, если вы заедете погостить. Вы для нас не иностранец, Ланг. И Атт вас очень любит. Там вы всегда найдете такую же работу, как здесь: везде есть дело для мужчины. Мы собираемся строить новую конюшню, и если из-за морозов нельзя будет работать на улице, то можно обтесывать камни в доме или заготавливать брус для стропил или доски. Конечно, скота у нас немного, но занятие для всех найдется, обещаю — скучать не будете... Да, я и забыл, вы же еще пишете!..

Эк несомненно увлекал меня работой; интересно: стали бы так уговаривать гостя в Америке? Я ответил, что обязательно приеду.

Мы прошли к дому через центр усадьбы, обогнув фруктовый сад: голые сучья и ветки острыми углами прорезали туман. И снова, как и в каждый мой первый приезд в любое островитянское имение, мы осмотрели хозяйство. В прежние дни это казалось ритуалом, и я держался молчаливо и смиренно, как то и подобает гостю; теперь, когда я стал своим, осмотр превратился в непринужденную прогулку, так что я даже не заметил, что мы «осматриваем хозяйство».

Наконец появилась и Наттана. Легкие тени залегли у нее под глазами, отчего она стала чуть похожа на Неттеру. Девушка была в том же платье, в каком когда-то принимала меня во Дворце Верхнего Доринга. Хоть я и успел сдружиться с Эком, ее я все же знал дольше и лучше всех. Я тоже еще не до конца оправился от тягот пути: чувство приятной расслабленности не проходило, ничего не хотелось делать... Самое лучшее, пожалуй, провести этот вечер на скамье

перед очагом и поболтать с Наттаной о разных пустяках.

Однако после ужина нагрянула чуть не половина обитателей двух ферм: Кетлин с женой и двумя дочерьми, Толли с сестрой, Бард и его жена — Кипинг, Анор с женой, Бодвин и Ларнелы всем семейством. Все они приехали послушать о Совете и буквально засыпали вопросами Эка, Наттану и меня.

Дочь Ларнелов выступила в роли соперницы Наттаны. Она тоже ткала, и Наттана согласилась навестить ее на следующее утро, пообещав Маре, что будет шить с ней вечером. Я, по правде говоря, рассчитывал, что мы все время будем вместе, однако выходило не совсем так.

Наутро крупные снежинки закружились в воздухе, они падали медленно и редко, но сосны тут же укрылись пышными шапками снега. Тем не менее Эк, поднявшийся раньше всех, не считая Мары, уже ушел. Снова все было бело кругом — погода, не подходящая даже для починки каменных изгородей. Вместо этого я решил поработать на мельнице: какая-то физическая разрядка была необходима. К тому же и у Наттаны нашлись свои дела.

После завтрака мы вышли вместе: Наттана — к Ларнелам, я — на мельницу. Крупные кружевные снежинки усыпали плащ и капюшон девушки и медленно таяли на ткани. Я поинтересовался ее самочувствием, и она сказала, что пока не совсем пришла в себя, слишком устала и когда-нибудь она еще покажет мне, какой она ходок... Мысли ее были с братом, который верхом пробирался сейчас сквозь метель к ущелью Моров.

— Я не чувствую здешней погоды, — сказала она, — и плохо представляю, что творится сейчас там, наверху, на открытых местах. У нас таких ущелий нет. Теперь я все время буду за него беспокойна.

Идти до большака было недалеко, здесь наши пути расходились.

— Я увижу вас за ленчем? — спросил я.

— Ларнелы, наверно, попросят меня остаться. Я предупредила Мару. Этого не стоило делать?

— Что вы, что вы, я не против.

Наттана прислонилась к створке ворот.

— Если вы против... — начала она медленно, глядя на меня в упор зелеными глазами.

— Ваше время, Наттана, принадлежит вам.

— Если вам хочется, чтобы я уделяла часть его и вам, почему вы не сказали об этом?

— Да, мне хочется.

— Так можете пользоваться им.

— На сегодня вы уже со столькими договорились.

— А вам не хотелось?

— Я же сказал, что нет!

Кажется, мы начинали ссориться...

— Это правда, Джонланг? Отвечайте! Только честно!

— Наттана, — сказал я, помолчав, — вам хочется жить вместе с Марой. Вы хотите повидаться со своей приятельницей, которая тоже ткёт. Единственное, чего я хочу, — это вашего внимания.

— Значит, немного внимания?

— Именно! Скажем, завтра...

— Думаю только, что буду еще слабой.

— Тогда уделите мне вторую половину дня.

— Хорошо.

— Не знаю, право, чем нам заняться.

— Поглядим, какая будет погода. А чем заниматься — все равно.

Итак — мир.

— Может, хотите взглянуть на мельницу?

— Я загляну на обратном пути.

— Утром?

— Нет, после ленча.

— Буду ждать.

Девушка свернула на тропинку к дому Ларнелов. Ее одежда, волосы были такими яркими, что рядом с ними окружающее казалось почти мрачным.

— Вы очень красивая, Наттана! — крикнул я ей вслед.

Она оглянулась, глаза ее блеснули.

— Иногда.

— Всегда!

— Ах нет! — Она рассмеялась, махнула мне рукой и пошла вдоль большака, закутавшись в плащ и оставляя на свежеевыпавшем снегу цепочку темных следов.

Уровень воды в запруде почти достигал верхнего края насыпи, с которой три месяца назад с шумным плеском ныряли купальщики. По контрасту со снежинками в белесом воздухе и белыми пространствами вокруг вода казалась совсем черной. Одолевая плотину под мостом, вода всплескивала зеленой стеклянной волной и, падая, рассыпалась каскадом пены и брызг. Глухой шум этого рукотворного водопада будет постоянным музыкальным сопровождением моей утренней работы.

Я задержался на мосту. Воды прибыло, и я мог не особенно экономить ее энергию. Для начала я решил распилить и обтесать дюжину или больше жердей и столбов, которые можно будет установить при хорошей погоде, потом — посмотреть те, что я заготовил в последний раз, предварительно проверив, нет ли где трещин, — жерди оказались несколько длиннее, чем следовало.

Внутри мельницы воздух был влажный, но теплый, поэтому не было нужды разводить огонь из коры и щепок в большом очаге, находившемся в дальнем углу.

Осмотрев пилу, я нашел, что она немного заржавела. Итак, первым делом мне предстояло почистить ее. Рабочее состояние (этому я научился еще у Анора) предполагало обдуманность и тщательность всех действий, пока все твое существо не сосредоточивалось исключительно на выполняемой работе. Время шло, в помещении стало светлее: свет шел от мокрого снега, залепившего снаружи окна.

Сама мельница ничего особенного собой не представляла. Черпаковое колесо вращало главный, вытесанный из дуба вал, передававший водную энергию через деревянные шестерни, поворачивавший находящийся внутри малый вал. Внутри помещался также и маховик с разными радиусами. Вращаясь одновременно с мельничным колесом, он подсоединялся ремнями из воловьей кожи, в зависимости от выбранного радиуса, либо к механизму пилы, либо к жерновам. Само мельничное колесо приводилось в движение большим, тоже дубовым рычагом, поднимавшим заслонку, после чего водная струя попадала на колесо. Островитянские механизмы копировали своих создателей, работая так же просто, надежно и продуманно.

Перетащив внутрь бревна, я осмотрел их, обтесал и разметил на распилку. Это была нелегкая работа. Время шло к полудню, когда практически все было готово к тому, чтобы начать пилить; посчитав, что сделано довольно, я пошел домой — посидеть, поболтать полчаса с Марой перед ленчем.

Вернувшись на мельницу вскоре после ленча, я надел на маховик шкив, через холостое

колесо заставлявший вращаться механизм пилы. Потом, усевшись на подымавший заслонку рычаг, я потянул его книзу. Медленно, словно нехотя, рычаг поддался, и я не без волнения и даже с некоторым страхом услышал глухой шум пущенной воды. Прошло несколько секунд, маховик повернулся — нерешительно, словно выверяя малейший свой оборот. Вращение маховика было медленным, шкив вращался быстрее, и бешено вертелось холостое колесо. Мельница наполнилась глухим деревянным стуком. Момент был волнующий. Я нажал на рычаг холостого колеса, и пила совершила такое же движение, какое делает человек, проводящий ножовкой по намеченной линии распила. Надо было следить, чтобы линия эта выдерживалась ровно по всей длине. Остановив пилу, я винтами закрепил первое бревно на салазках, двигавшихся по желобу вдоль пилы. И снова нажал на рычаг. Потом какое-то время, не спуская глаз с бревна, медленно подвигал его вперед руками — иного направляющего механизма предусмотрено не было. Если пила отклонялась от разметки, приходилось выключать ее и подправлять лежащее на салазках бревно; этого не происходило, если бревно было положено правильно и разметка совпадала с «ведущими» салазком.

Первый распил был самым трудным: потом одна из сторон бревна представляла уже плоскую поверхность. Работа оказалась приятной: истинным наслаждением было получать из прямого, покрытого корой ствола квадратный брус, пахнущий лесом, даже если «побочным продуктом» этого процесса бывали синяки и ссадины. И все же пока ни один брус у меня не получился правильного квадратного сечения. Это еще было мне не по силам.

Время мчалось стремительно и легко, как хороший бегун. Ни разу пила не успевала дойти до конца, чтобы я не вспомнил о Дорне, чтобы не мелькнула хотя бы тень воспоминания о ней, но я уже настолько привык к ней, что не испытывал ни боли, ни беспокойства, и мысли мои текли по-прежнему ровно и спокойно.

Пи́ла то взвизгивала, то натужно гудела, протяжно вздыхая в паузах. Пахло свежими опилками, они клубами носились в воздухе. С одной стороны станка росла куча брусьев и досок, с другой — горбыля и коры. Постоянным же фоном к арии пилы и стуку шестерен служил непрерывный отдаленный грохот воды за плотиной и — поближе — быстрое, свистящее журчание водного тока под полом.

Я уже закончил работу и поднял рычаг, когда позади раздался голос:

— Наттана.

Она стояла на пороге, а за дверью кружился белый мир снегопада. Подходя, я увидел, что и темный плащ Наттаны, от капюшона до нижнего края юбки, плотно облеплен снегом. Снежинки таяли на ее бровях, щеках, ресницах и на золотисто-рыжем локоне, выбившемся из-под капюшона и свисавшем со лба. Наттана откинула капюшон и принялась отряхиваться, хлопая полами плаща, как крыльями. Снег белыми гетрами налип и на ее желтые чулки — до голых коленок. Вся она была взмокшая, разгоряченная и счастливая.

— Я встретила человека! — воскликнула она. — Только что, рядом с Анорами. Он сказал, что внизу сейчас погода хуже, чем здесь. Он видел Эка и сказал, что у него все в порядке и что он доедет без труда... А потом, когда шла сюда, так растянулась. Смотрите... Все потому, что торопилась. Думала, уж не вырвусь от них... Снег такой густой и мокрый!.. Вы не против, что я так поздно? Но раньше никак было не выбраться.

Она сняла плащ и оглянулась, добавив:

— Никогда раньше здесь не была.

Когда я сказал Наттане, что она всегда красивая, это была неправда, но она часто была красивой, и особенно сейчас, с разрозовевшимся лицом, горящими зелеными глазами и золотистыми кудрями и локонами, влажными, прилипшими к ее скулам и лбу.

— Здесь не жарко, — сказала она.

— Я разведу огонь — согреетесь.

— Мешать не стану, — рассмеялась она. — К тому же мне надо высушиться.

Скоро горбыль ярко запылал в очаге. Развесив плащ на козлах, Наттана встала поближе к огню и стала сушиться, поворачиваясь то одним боком, то другим, приподнимая юбку, становясь то так, то эдак, — зрелище, от которого трудно было оторваться.

— Я рада за Эка, — сказала она.

— Я тоже.

— Он такой добрый.

— Да, он кажется добрым... очень добрым. Он предложил мне не раздумывая приезжать к вам в Верхнюю...

Наттана кивнула, потом спросила:

— Вы приедете?

— О да!

— Когда? Через месяц?

— Хотелось бы, но это зависит от погоды...

— И от Дона. — Она пожала плечами и вздохнула. — Я увижу его, как только вернусь. Можно я скажу ему, что вы хотите пойти с ним через месяц?

— Конечно, будьте так любезны.

— Интересно, чем все обернется, — сказала Наттана, помолчав.

— Вы имеете в виду Договор?

— Нет, я про Верхнюю усадьбу... Вам может там все показаться другим, и я — тоже.

— Я не боюсь перемен.

Обернувшись ко мне, девушка улыбнулась:

— Такой шум...

Подойдя к рычагу, я поднял его. Маховик неохотно замедлил свое вращение и остановился, но шум воды на плотине стал слышнее.

— Эк ничего не говорил об... отце?

Я повторил рассуждения Эка, стараясь быть как можно точнее.

— Но, — заключил я, — он говорит, что в Верхней усадьбе все будет иначе, потому что им с Аттом старый порядок кажется самым лучшим.

— Он так и сказал? — спросила Наттана, снова глядя в огонь.

— Да, и еще — что мне, пожалуй, будет интересно это знать.

— Мм, — тихо протянула девушка, словно что-то отмечая про себя.

— Я не совсем понял, что он хотел сказать, — продолжал я.

Наттана протянула руки к огню:

— Ах, я думаю, он имел в виду новые правила, которые завел отец. Сами видите, они сильно отличаются от того, что было...

— Но что же все-таки значит эта «старая жизнь»?

— Ну разные обычаи...

— Эк сказал, что они могут послужить опорой.

— Да, но обычай не должен превращаться в правило.

— В чем же разница, объясните, Наттана.

— Обычаю вы следуете сами, когда считаете это нужным или когда сомневаетесь в чем-то.

Обычай — это то, что большинство людей в большинстве случаев полагает лучшим, но вы можете не следовать обычаям, если у вас есть на то основания. А вот правилам вы обязаны подчиняться всегда, есть к тому основания или нет. Те, кто верит в правила, как отец, считают, что каждого нужно заставлять следовать им... Вряд ли я смогу объяснить лучше...

Объяснения Наттаны показались мне весьма разумными.

— Скажите, — обратился я к девушке, — а чего касаются эти обычаи?

— Того, как человек живет.

— Интересно, почему Эк решил поговорить со мной на эту тему.

Какое-то время Наттана не отвечала, потом сказала уже совсем другим голосом:

— Я обещала Маре, что буду шить с нею.

— Ах, только не уходите так скоро!

— Еще немножко я могу побыть. Тут хорошее место для работы.

— Как ваше платье? Высыхает понемногу?

— Ах, я сейчас загорюсь! Мои ноги!

Девушка взглянула на меня с притворным испугом, улыбнулась и сделала шаг вперед.

— Знаете, я уже много лет не была в местах, совершенно для меня новых. Правда, я ночевала здесь, но мы приехали запоздно, а уехали очень рано. Так здорово! Думаю, что, раз Верхняя усадьба близко, я, пожалуй, приеду сюда весной.

— Вам здесь нравится?

— Долго я бы здесь не могла оставаться. Здесь все такое тесное. Но место тихое и приятное, верно? Скажите, вам бы хотелось иметь такую усадьбу? — Она обернулась ко мне.

— Почему бы и нет, разумеется.

— Мне все никак не привыкнуть, что у вас нет поместья! Иногда я представляю себе, что оно у вас есть, и начинаю фантазировать — какое же оно, словно это и впрямь правда! Я даже видела его раз во сне. И во сне оно было именно такое, а не тока и амбары, как у вас дома. Кругом рос густой лес. Я приехала к вам в гости, и мы обошли каждый уголок. Но одно было странно в том сне — там не было ни одного дома. Где же вы спите, Джонланг?.. Может, сон — еще одна причина, по которой мне хочется, чтобы у вас было свое место. Странно, когда человек не чувствует *алию*! — Она резко отвернулась, на скулах заиграли желваки.

— Что случилось, Наттана?

— Дело не во сне. Я вспомнила свой дом, и мне захотелось плакать. Нет наказания более жестокого, чем выгнать человека из дому! Конечно, братьям и Эттере хорошо в Верхней усадьбе: они будут строить свою жизнь там, и их *алия* будет с ними, но моя-то останется там, внизу, куда мне уже не вернуться... по крайней мере несколько лет! Нет, вам этого не понять...

— Я понимаю, Наттана!

— Не знаю... это невозможно!

— Я умею жалеть, и мне очень жаль вас.

— Да, это верно, и это мне помогает.

Сердце мое забилось, я взял ее руку. В первое мгновение она попыталась отнять ее, но потом уступила, и пальцы наши сплелись. Неожиданно стало очень тихо; мысли застыли, как и слова, готовые сорваться с языка.

Наттана еле слышно вздохнула:

— Не думайте, что я это все подстроила.

— Но ведь вы не против, Наттана?

— Не знаю и не хочу знать.

Перед тем как уйти, мы затушили все еще тлеющие в очаге дрова. Пламя угасло, стало совсем темно. Взяв кочергу, Наттана засыпала последние угольки золой. Они гасли один за другим, и фигура девушки таяла во тьме. За окнами просвечивала бледная, выцветшая синева.

Я подал Наттане плащ, она надела его, расправила складки. Я тоже надел плащ и взял ее за руку.

— Разрешите, я поддержу вас, — сказал я. — Тут кругом много всего набросано, вы можете оступиться.

Маленькая, пухлая, но крепкая ладонь лежала в моей, почти не противясь.

В воздухе еще мерцал рассеянный свет. Редкие снежинки кружились в воздухе. Наттана темной фигурой застыла на пороге, пока я закрывал тяжелую дверь.

Послышался слабый вздох.

— Вы не прочь прогуляться немного? — предложил я.

— Да, — раздался тонкий голосок.

Мы пошли к мосту. Вода глянцевице поблескивала, переливаясь через край плотины, но темнота скрадывала движение потока, и только гулкий плеск доносился до нас, и брызги влажно оседали на щеках.

Наттана шла медленно — темное пятно в белом мерцании снегопада; мягкий и холодный снег доходил до лодыжек. Мы шли по дороге, которая вилась между обступавшими ее черной стеной деревьями. Снежинки то и дело мягко обжигали лицо, тут же тая. Небо вверху было мутно, однако сквозь млечную его белизну мелькали то здесь, то там черные тени пролетающих птиц. Все вокруг застыло в тишине, нарушаемой лишь далеким, ровным урчанием воды...

И все же было как-то невесело, и мы повернули к дому.

Исла Файн с братом уже вернулись, когда мы с Наттаной вошли, оставив за дверью сырую, вьюжную ночь. Они выехали из Города вчера рано утром и за день успели миновать Ривс по дороге в Тиндалу с тем, чтобы сегодня, 22 июня, прибыть в усадьбу с наступлением темноты.

Тем же вечером в гостиной они рассказывали о последних политических событиях. Наттана сидела, как всегда, в непринужденной позе, легко перекинув ногу на ногу и упершись носком в пол. Она шила в свете стоявшей рядом лампы. Свет заставлял вспыхивать волосы на ее слегка склоненной голове то рыжиной, то золотом. Юное, здоровое существо с девичьими косами и голыми, не прикрытыми чулками коленками. Удивительно, но столько мыслей, знаний и сообразительности крылось в этой маленькой головке. Эк сказал, что ей еще далеко до взрослой женщины. Ей исполнилось двадцать два, а мне через три дня стукнет двадцать восемь. Пожалуй, никогда еще Наттана не вызывала во мне столь нежных чувств.

Исла Файн с братом сидели на развернутых к огню скамейках с высокими спинками, Мара — ближе к мужу, я — рядом с лордом Файном. Часто случалось нам сживать так. Наттана, блестя любопытными глазами, расположилась чуть поодаль.

Лицо Ислы Файна раз от раза казалось мне все темнее, а шапка седых волос все гуще и белоснежней. По сравнению с лордом его брат выглядел обманчивым зеркальным отражением.

На следующий день после того, как мы покинули столицу, Совет был окончательно распущен. Собрание, самое важное за последние шестьдесят лет, оказалось коротким. Исла Файн сказал, что, сколь ни ответственны были принимаемые решения, он не верил в способность любой ассамблеи достаточно мудро решить вопрос. Он сожалел, что малой горстке людей дана возможность определять будущее масс. Назначение Совета, как и в старину, должно было сводиться к попыткам улаживать серьезные противоречия между небольшими группами и отдельными гражданами. При идеальном устройстве общества национального вопроса не будет вообще.

Но, продолжал он, с другой стороны, следовало признать, хотим мы того или нет, что Совету не удалось на этот раз разрешить конфликт. Голоса отдельных людей и целых родов впервые прозвучали весомо, во многом благодаря опросу, устроенному Дорнами. Вольно или невольно члены Совета отразили мнение каждого отдельного человека. Чувства и желания людей, как вода в половодье, захлестнули, смяли абстрактные интересы нации, которые лорд

Мора хотел поставить превыше всего. Дорны оказались ближе к истине. Что до последствий, возможно, лорд Мора и был более мудр, но, по мнению лорда Файна, сколь бы великой и дальновидной личностью ни был Мора, в душе он отличался от большинства своих соотечественников. Многие поколения семьи Моров жили согласно своей особой традиции. Причем если на Западе традиция эта обычно доминировала, то в Островитянии ей удалось возобладать лишь ненадолго. «Но одно и вправду мы выяснили, — продолжал лорд, — а именно то, что мы не хотим быть нацией. Страх превратиться в малую частицу большого целого воздействовал на многие умы. Наверное, мы не похожи на остальных. Чувство стадности в нас слабее, чем чувство индивидуального, как если бы мы произошли от животных, ведущих одинокий образ жизни, а не стремящихся сбиться в стадо».

Меня охватило изумление: ведь островитяне мыслили едва ли не в терминах Дарвина, открывшего свою теорию эволюции совсем недавно. Просочились ли слухи о ней в их страну или же островитяне дошли до нее свободным размышлением, которому не ставили препон разноречивые религиозные и иные догмы?

Но Мора мог оказаться и прав, продолжал Исла Файн. С его точки зрения, Островитянии угрожала реальная опасность. Самым важным событием, помимо голосования, был представленный графом Биббербахом документ о том, что восстановление приграничных гарнизонов его страна воспримет как недружественный акт. Пожалуй, это будет самой серьезной проблемой, с которой придется столкнуться правительству Дорнов. Положение усугубляется тем, что теперь немцы не были заинтересованы исполнять свои обязательства, иными словами — патрулировать островитянские границы. Не менее трудноразрешимым представлялся вопрос о передаче Феррина в международное пользование, вопрос, к которому дипломаты неминуемо вернутся.

— Скажите, Файн, — неожиданно проговорила Наттана, — что, чернокожие снова начнут совершать набеги?

— Тут все сплошные загадки, Хиса, — подумав, отвечал лорд, — но в целом, думаю, риск увеличился.

— А какая усадьба безопаснее — Верхняя или Нижняя?

— Верхняя ближе к ущелью Лор, Хиса.

Наттана еле заметно вздрогнула, и я вздрогнул — ее страхи с новой силой сообщились мне.

На следующее утро Наттана уселась за шитье, а я пошел на мельницу закончить свои дела там. С наступлением дня становилось холоднее, от мороза воздух стал суше, и все же температура не опустилась до той отметки, когда механизм мельницы останавливается, что, как мне говорили, бывает. Работалось легко и приятно, ведь я знал, что в полдень придет Наттана. Робость и нетерпение заставляли сердце биться чаще обычного.

Чуть позже подошел Файн-младший, и какое-то время мы орудовали с досками, брусьями и горбылями вместе. Потом поговорили о будущей работе. Починка изгородей зимой вряд ли могла стать постоянным занятием. Быть может, я хочу поучиться кровельному делу или мастерству каменщика? На его памяти крыши амбаров не перекрывали, и кое-где черепица дала течь. В такой же починке нуждались мастерские и мельница. Частью работа эта была на свежем воздухе, частью — в помещении; главное, чтобы не было сильных морозов, когда замерзнет раствор. С облегчением я понял, что дело мне уже почти подыскали.

Наконец настал полдень. За ленчем никто не расспрашивал о наших планах, и не было нужды рассказывать хозяевам, что мы сговорились с Наттаной выдумать себе какое-нибудь досужее занятие.

Наттана играла роль, в чем-то схожую с той, что выпала Дорне у Ронанов, — молодой

гостью, горящей желанием помочь пожилой хозяйке. Бодвина, тетя Бодвина, была единственной служанкой в доме и, хотя Мара часто готовила сама, постоянно прислуживала за столом и мыла посуду, Наттана решила, что ей следует делать то же. Я вышел подождать ее в гостиную, вспоминая Дорну в доме у Ронанов. Чудесное свечение скрылось за темной горой. Я успел повзрослеть, стал не таким восторженным, и сердце мое билось ровнее. Жизнь у Файнов была обычной повседневной жизнью, такой знакомой и родной теперь.

И вот вошла Наттана и села на одну из скамей, откинув голову на высокую спинку, словно устала. Черты ее в профиль были очаровательны — гармоничные, точеные, в фас лицо у нее было более заурядное. За профилем крылось как бы нечто неуловимое и уникальное; обращенное к вам, лицо ее было таким же, как и у любой другой девушки.

— Ну, так чем же мы займемся? — резко спросила она, словно молчание стало ее раздражать.

— Что-нибудь придумаем, — ответил я. — Торопиться некуда.

— Вовсе некуда.

Так было приятно это ничегонеделание.

— Как бы вы вели себя в Америке, если бы нам пришлось гостить в разных домах? — спросила девушка.

Моя фантазия неожиданно пробудилась. Здесь было о чем поговорить. 23 июня 1908 года. Я припомнил, что сегодня четверг и, значит, утренних спектаклей, куда я мог бы пригласить Наттану, не было, но оставался Музей Искусств, какой-нибудь концерт, или же мы могли отправиться к кому-нибудь на чай. Это если дело происходило бы в Бостоне, ну а в Нью-Йорке представления даются и по четвергам.

Все свои соображения я изложил Наттане вслух.

Итак, мы находились в доме моего брата Филиппа на южной стороне Бикон-стрит.

— Как я буду одета? — любопытствовала Наттана.

Я описал ее наряд: длинная юбка — в ней Наттана будет казаться ниже, к тому же она подчеркнет ее талию, серая меховая шубка — дело происходило зимой, перчатки, а на голову — шляпка из беличьего меха, на французский манер, без полей, модно это или не модно — все равно. На ногах — теплые, непромокаемые ботинки поверх бальных туфель на высоком каблуке! Я приложил немало времени и усилий, чтобы Наттана наглядно представила себе детали своего туалета...

Я видел ее лицо на фоне фасадов Бикон-стрит: вот мы выходим из дома и отправляемся на чай к Турен. По дороге я купил бы ей букетик фиалок...

— Готов поспорить, вы бы обязательно сказали: «Какой шум!»

— Почему?

Наттана легла, вытянувшись во всю длину скамьи, и, опершись подбородком на ладони, внимательно глядела на меня. Косы свешивались с плеч, щеки разрозовелись.

Чтобы ответить на ее вопрос, пришлось описать бостонскую улицу. Подробно обо всем рассказывая, я провел Наттану по Бикон-стрит до Городского сада, а через сад мы вышли на Коммон и как бы невзначай оказались у Турен. По мере того как я говорил, притихшая гостиня и огонь в очаге блекли, таяли, а заснеженные поля за окном и поросшие лесом горы казались выдумкой, сном; передо мной было только лицо Наттаны, ее красивые руки, обхватившие пылающие румяные щеки, короткая юбка, маленькое округлое тело. Иногда она сгибала обутую в сандалию ногу и болтала ею в воздухе, и одновременно, почти так же живо, виделась мне Наттана-американка и те сцены, что рисовались моему воображению...

— Вам не скучно?

— Ах нет, нет! Продолжайте! А как выглядит дом вашего брата?

Я подробно описал все три этажа, планировку и назначение комнат, освещение и отопление, мебель, вид из окон, слуг.

— А как выглядит ваш брат?

Я описал Филиппа и Мэри, их детей.

— Чем он занимается?

Я рассказал о юридической практике брата, что она идет успешно, о том, сколько времени проводит он в конторе, сколько дома, сколько уделяет досугу.

— И у вас будет такой же дом, когда вы вернетесь в Америку?

Я ответил, что нет, по крайней мере в ближайшее время, да и то только если дела мои пойдут успешно, если я женюсь; если же я не поеду в Нью-Йорк, то, пожалуй, буду жить дома. После чего пришлось описать наш дом в Медфорде, отца, маму, Алису и их занятия.

— Значит, в Америке одни города?

Я объяснил, что города, окруженные предместьями, и вправду разбросаны по всей стране, но, конечно, есть и сельская местность, горожане ездят туда летом. Наттана быстро разобралась, что к чему, напомнив мне о том, что и в своей «Истории» я уделяю немало места рассказам о деревенской жизни.

— Вы все рассказывали о городе, — сказала она наконец. — Почему бы вам лучше не стать фермером?

Я постарался как можно яснее изложить свои соображения. Во-первых, я слишком плохо разбираюсь в сельском хозяйстве, во-вторых, в Новой Англии этим вряд ли можно было заработать. По традиции члены нашей семьи приобретали какую-нибудь специальность и шли в бизнес.

Наттана кивнула:

— Значит, вы будете кем-то вроде агента?

— Да, Наттана.

— Ну а предположим, что вы женились, но не сделали такой успешной карьеры, как ваш брат?

Взяв за образец дом брата в одном из предместий Винчестера, где они с Мэри жили до переезда в Бостон, я описал кое-какие их тогдашние трудности и радости. Потом рассказал о самом переезде.

— Вы все так часто переезжаете! — сказала Наттана. — Только я успеваю представить себе место, где вы живете, а вы уже далеко.

Чтобы внести окончательную ясность, я сказал, что если поеду работать в Нью-Йорк, то, возможно, буду жить в пансионе. «Пансион» тоже нуждался в объяснении.

— А если женитесь — тоже будете жить в пансионе? — спросила Наттана, приподняв голову, когда я, закончил.

— Возможно.

— Я представляла себе вас женатым. Как вы будете жить тогда?

— В квартире, — ответил я, — в городе или в пригороде.

Пришлось добавить, что особой разницы нет, разве что, живи я в пригороде, мне пришлось бы тратить больше времени. Далее я пустился в описание жизни в нью-йоркской квартире, стараясь воссоздать ее как можно тщательнее и достовернее.

Наттана склонила голову набок. Вопросы стали раздаваться все реже.

— Если я женюсь, — сказал я, — меня ожидает нечто подобное.

И добавил, что, пожалуй, предел моих возможностей — контора дядюшки Джозефа.

Голос девушки зазвучал приглушенной:

— Значит, вы целый день будете сидеть и делать что-то одно, а она весь день будет сидеть в

квартире и заниматься чем-то совершенно другим?

— Именно. Жена ведет хозяйство. Муж зарабатывает деньги. Разумеется, жена не все время сидит дома. От хозяйства у нее остается достаточно свободного времени.

— И куда она может пойти?

Я перечислил обычные увлечения американских женщин. Потом мне пришло в голову, что у моей воображаемой жены могут быть дети. А они требуют такого ухода!

— И где они будут жить сначала?

— В той же квартире.

— А не в деревне? — воскликнула Наттана в крайнем удивлении.

— Только во время каникул.

— И жене некуда будет увезти их из города, чтобы начать их воспитание? — спросила девушка, поднимая ко мне свое круглое лицо.

— Нет.

— Значит, деревня...

— Только во время каникул.

— А если дети не будут отнимать у нее все время, сможет ли она делать что-нибудь для себя: вырезать по камню или ткать?

— Сможет, но большинство замужних женщин не занимаются этим, к тому же есть ткацкие фабрики.

Она снова уронила голову на руки и задала еще несколько вопросов, на которые я ответил вкратце. Потом они прекратились.

— Теперь все совершенно ясно, — сказала Наттана отсутствующим голосом.

Я привел еще несколько вспомнившихся мне примеров. Девушка молчала... О чем она думала? Она лежала тихо, расслабленно, словно спала или дремала. Я не видел ее глаз — только краешек щеки, круглую голову, заплетенные косы.

— О чем вы думаете, Наттана? Может быть, хотите спросить что-нибудь еще?

— Нет! И так понятно, — отвечала она низким, грудным голосом.

Настроения ее были непредсказуемы. Казалось, она в растерянности и грустит. Вдруг она резко села. Она отлежала щеку, и теперь на ней горело красное пятно.

— Что думаю об этом я — женщина другой страны, воспитанная по-иному? Я думаю, что это ужасно — жить так скученно, в постоянных тревогах, не имея места, где можно просто побыть одному, всего в нескольких комнатах, принадлежащих кому-то еще! И потом — *алия*... Не понимаю, как можно жить так да еще просить женщину разделить с вами такую жизнь?!

— Для многих людей нет иного выхода, да и этот не так уж плох. У нас много интересного. И кругом столько жизни!

Предубежденность Наттаны обезоруживала, я был задет.

— Что же до предложения разделить такую жизнь, — продолжал я, — то, если женщина любит вас, она с радостью согласится. Это будет уже не только ваша, но и ее жизнь.

— Не понимаю, как она может согласиться.

— Вы — островитянка.

— Я не понимаю, как *вы* можете, Джонланг!

— Я — американец, — сказал я, тем не менее с болью чувствуя, что и мне непонятна моя былая жизнь.

Наттана посмотрела на меня, в ее зеленых глазах сверкнул гнев. Ссора казалась неминуемой, но внезапно взгляд девушки изменился. Уголки глаз набухли блестящей влагой.

Что-то в моих словах ранило ее. Я сделал шаг к скамье, желая сказать то, что мог сказать в свое оправдание. Я увидел руку Наттаны, и мне захотелось взять ее в свою.

Но стоило мне приблизиться, девушка поднялась и подошла к очагу. Раскаяние и сочувствие к боли, которую я причинил ей, вылилось в пылкое желание завладеть ее рукой. Я взял безвольно повисшую вдоль тела руку, она напряглась, стремясь вырваться. Отдернув руку, Наттана загородилась от меня плечом.

Потом, сдвинувшись немного к краю, она повернулась ко мне.

— Я очень сожалею, Джонланг! — прозвучал ее высокий звонкий голос. — Ах, Джонланг, вы разрываете мне сердце! Давайте больше не будем говорить об этом.

— Пойдем на улицу.

— Да, скорее!

Мы разошлись по своим комнатам, чтобы облачиться в плащи и непромокаемые сапоги. Это дало нам время успокоиться.

Лицо Наттаны посвежело, будто она только что умылась, глаза горели.

— У меня идея! — сообщила она. — У Файнов наверняка найдутся сани, можно покататься с горы.

Мы разыскали Мару, которая сказала, что сани в амбаре, и посоветовала, какой склон лучше выбрать.

— Уже довольно поздно, — добавила она. — Почему бы вам не взять с собой ужин? А когда вернетесь, напою вас горячим шоколадом.

Еду быстро уложили, и мы не мешкая отправились за санями, чтобы найти гору еще до темноты. Солнце уже почти село, и сумерки спустились в долину, но свет все еще падал на вершины холмов, окружавших ферму Кетленов. Воздух был морозный и прозрачный, синее небо — чисто. Тени дрожали и переливались.

— Мы могли уже давно выйти! — сказала Наттана оборачиваясь, она шла впереди по хрустящему насту. Покрытый сверху сверкающей корочкой, снег под ней был рассыпчатым и легким, как пыльца.

Чистый морозный воздух пощипывал щеки и бодрил. От лихорадочного состояния, вызванного нашим долгим разговором дома, не осталось и следа, кроме желания взять руку Наттаны в свою.

Сани, которые мы нашли, были в полном смысле слова сани, с двумя широкими плоскими полозьями и сиденьем, сплетенным из воловьих ремней, шедших крест-накрест, наподобие лыжных креплений. Очень легкие, сани тем не менее были и достаточно длинными, чтобы на них могли усестись двое. Мы направились к склону, указанному Марой, и, широко распахнув калитку изгороди, отделявшей сад от луга, стали подниматься вверх по безусловно гладкой снежной поверхности; каждый тянул сани со своей стороны за ремень. Они скользили по насту, не проваливаясь. Когда мы достигли верха, перед нами открылся спуск: он тянулся сотни на две ярдов, теряясь между стволами садовых деревьев, воткнутых в снег, словно метелки из тонких прутьев. Склон лежал совершенно нетронутый.

Оба мы были без шапок, но нам было жарко после подъема. Мы сняли плащи, и я развернул сани.

— Я буду править, — сказал я.

— А вы умеете?

— Я уже катался.

Наттана уселась верхом на сани и согнула ноги, поставив их на полозья. Я встал на колени позади нее, держа одну ногу на весу.

Выглядели мы несколько неустойчиво.

— Готовы?

— Готова, — прозвучал высокий взволнованный голос Наттаны. Я оттолкнулся...

Сани набирали скорость. Мягкий ветер овеивал наши лица. Сад внизу мчался нам навстречу. Сани подбросило — еще немного, и нам удалось бы удержаться, но сани все же перевернулись, и я, закрыв лицо руками, полетел вперед, мягкая снежная пыль забила в нос, рот, запорошила глаза.

Я поднялся. Пустые сани катились вниз. Неподалеку отряхивалась от снега Наттана. Она не ушиблась и хохотала, белая с ног до головы, с седыми, как у Деда Мороза бровями и волосами.

Поймав сани, мы снова поднялись на вершину холма, согласившись, что нам не хватило ловкости. Я принес извинения, в чем, впрочем, не было нужды. Снег попал Наттане за шиворот, и она то и дело встряхивалась и похохатывала.

— Можно, я снова буду править?

— Конечно! Я вполне вам доверяю.

Наттана легла на сани, заняв всю их длину, так что мне едва удалось примоститься сзади. Снова я оттолкнулся, сани, клюнув носом, заскользили вниз. Бьющий в лицо воздух едва давал дышать, но теперь я рулил более умело — достаточно было слегка нажимать на полоз. Волнующий момент настал, когда мы достигли места, где перевернулись в первый раз; сани подбросило, но все же они выпрямились и спуск продолжался. У границы сада земля ушла из-под нас. Мы пролетели по воздуху, приземлились, ощутив упругий толчок, заскользили между деревьями и постепенно замедлили ход.

Оба слегка запыхались. По низу холма в снегу шли две параллельные колеи, и мы оказались почти у дороги, шедшей через центр усадьбы. И снова, не сговариваясь, мы решили, что было бы неплохо перейти через дорогу и забраться в сад с другой стороны.

Темы, которую Наттана предлагала оставить, оказалось все же не избежать, и мы снова заспорили.

Всякий раз, когда мы заново поднимались на холм, становилось чуть темнее и в небе загорались новые звезды. И было словно два мира: подъемы, во время которых наши мысли напряженно обращались к другой жизни, полностью отрывалась от того, что происходит сейчас; спуски — мгновения стремительной тьмы, когда первый мир забывался и мы переносились в другой, где я, полуобняв Наттану, прижимался к ее крепким, напрягшимся бедрам, несколько мгновений это ощущение было полным, и я чувствовал ее; и снова — наверх, и она начинала: «Нет, я не понимаю, как могут люди жениться, когда их брак так ненадежен!», — а я отвечал что-нибудь вроде: «Когда у меня дома люди хотят жениться, Наттана, они полагаются на будущее и на свое чувство».

— Я не понимаю, как люди отваживаются заводить детей, — не успокаивалась она, — раз будущее их столь неопределенно и все так быстро меняется — уж лучше тогда и вовсе не думать о детях!

— Люди в Америке, как и везде, хотят иметь детей.

— Но это отвратительно — просто хотеть иметь Детей! — восклицала Наттана. — Иметь их ради собственного удовольствия и того хуже! Слепо желать ребенка — ужасно! А вам когда-нибудь по-настоящему хотелось ребенка, Джонланг?

На мгновение я вспомнил о Дорне.

— Беру свой вопрос назад, — буркнула Наттана. — А вот мне никогда не хотелось ребенка, хотя когда-то, давно-давно, у меня было похожее желание!

Вряд ли я смог бы ответить.

— Извините... Я больше не буду вас мучить. Может быть, в вашей стране и вправду много интересного, но нам с вами никогда не договориться, что хорошо и что плохо. Не стоит и пробовать.

— И все-таки я надеюсь.

— На что? — требовательно спросила Наттана.

— Что вы поймете мою точку зрения.

— Я понимаю, что она есть и что она естественна для вас, поскольку вы американец.

Уже настала ночь, и звезд было так много, что они растеклись по небу мерцающими полями. Здесь, в южном полушарии, Млечный Путь сменил привычное место, и вообще узоры созвездий выглядели так странно, что казались искусственными, но и здесь черная бездна зияла над нами.

Наттана предложила поужинать. Мы решили, что внизу, в саду, пожалуй, теплее; кроме того, там были сложены сухие ветки, из которых при желании можно было соорудить костер. Завернувшись в плащи и поставив корзину с едой вперед, мы оттолкнулись — и вот уже, тесно сплетясь, мчались сквозь недолговечную тьму, полозья издавали свистящий звук, а ледяной ветер, обжигал щеки.

Разыскав хворост, мы стряхнули с него снег. Неподвижным темным пятном продолжая сидеть на санях, Наттана молча следила за моими попытками разжечь огонь и явно не спешила мне на помощь. Наконец пламя занялось, быстрыми язычками побежало по веткам, и ночь мгновенно обступила нас непроницаемой черной стеной. Я присел рядом с Наттаной, которая на ощупь пыталась разобраться в содержимом корзины. Растущее пламя осветило наши лица, от костра ощутимо потянуло теплом. Оба мы были голодны, мышцы ног слегка ныли, тепло костра навевало истому.

Но можно ли нам сжечь весь хворост? Задумавшись над этим, мы впервые почувствовали себя в гостях.

— Мой дом недалеко, но меня из него выгнали, а ваш и вовсе на другом краю света, — философски заметила Наттана.

Мы быстро покончили с ужином. Наттана сказала, что не прочь выпить чего-нибудь горячего...

Костер догорал. Наттана протянула к огню руки. Капюшон наполовину сполз назад, и милый профиль девушки казался еще милее в желтовато-оранжевых отсветах.

Почти никто из островитян не носил варежек или перчаток. Я спросил Наттану, не боится ли она обморозить руки. Она ответила, что у нее есть специальное растирание, которым она воспользуется, как только вернется. Да, иногда кожа трескается, но перчатки...

— Они все еще холодные? — спросил я с замиранием сердца.

Наттана поглядела на меня, причем лицо ее тут же скрыла тень, и кивнула.

— А у меня теплые, — сказал я и взял ее ладони в свои. Наттана полуобернулась ко мне, я укрыл обе ее руки полкой своего плаща и, положив их к себе на колени, с обеих сторон накрыл своими, ощущая сладкую прохладу.

Мир и покой воцарились в душе.

— Значит, вот они к чему — разговоры о перчатках? — спросила Наттана.

— Мне хотелось подержать ваши руки в своих, — ответил я, — вот и выдумал предлог.

— Похоже, вам нравятся мои руки, — сказала девушка.

— Очень.

Слова бродили в уме, готовые сорваться с губ. Но время шло, и чувство покоя становилось все глубже и глубже.

— Прошлой ночью мне снова снилось, что вы живете здесь, — сказала Наттана. — Наверное, потому что мы об этом говорили... Хотелось бы вам быть *тана*?. Только правду.

На самом деле мои мысли были только о том, что за три оставшихся дня я хоть раз да поцелую Наттану.

— Ах, Наттана, это совершенно немыслимо, и я не позволяю себе даже думать об этом. Не знаю, право, не знаю.

Я объяснил суть закона, действующего в отношении иностранцев, и пересказал слова Дорна по поводу исключений.

— К тому же, — добавил я, — я вовсе не уверен, что захочу оставить родину.

— Что же вы тогда хотите? Ведь вы можете найти свое место! Вы даже не представляете, каким кажетесь нам, Джонланг... странным, заблудшим существом, попавшим сюда из иного мира!

Она крепко сжала мои руки.

— Я желаю вам только хорошего! — воскликнула она. — Самого лучшего из того, что я привыкла считать лучшим. Вы совсем как один из нас, Джонланг... Я не вижу сейчас вашего лица, но оно так ясно представляется мне. И это — лицо знакомого. Это доброе лицо. Я хочу взглянуть на вас. У вас такой чистый, открытый взгляд!

Пожатие ее ослабло, и дрожащие руки выскользнули из моих.

— Руки согрелись! — сказала она, вставая. Я тоже поднялся. Наттана шарила в темноте, ища ремень от саней.

— Наттана! — воскликнул я. — Какая ты милая, что сказала мне это.

— Но так оно и есть... Пойдемте, скатимся еще раз!

Она пошла вперед, я за ней, подобрав второй конец ремня, хотя Наттана везла сани сама.

Молча поднимались мы по склону холма. Слова Наттаны по-прежнему радостно звучали в душе... И снова мы летели сквозь тьму, и сани, словно окрыленные, прокатились дальше.

Наттана схватила конец ремня.

— А в следующий раз получится еще дальше! — крикнула она и громко рассмеялась.

Стал задувать ветер, похолодало. Как хорошо было кутаться в теплые плащи! Мы шли, подняв головы, и звезды над нами ярко мерцали.

Поднявшись, мы остановились отдышаться. Нужды в словах больше не было.

Наттана заняла свое место на санях, я тоже устроился. Сани устремились вниз; снег подмерз, стал жестче. Я обнял Наттану, она не могла не почувствовать этого. Она лежала не шевелясь. Ветер резал лицо, не давал вздохнуть, но я все так же крепко держал Наттану и вряд ли когда-нибудь раньше мог представить, сколько боли и чуда заключает в себе женское тело. Глаза слезились, я почти ничего не видел и боялся, что смогу не различить калитки и деревьев. Ни разу мы еще не мчались так быстро.

Сани пронеслись через верхний сад, перескочили через дорогу, замелькали деревья нижнего сада, и мы выехали на простор кукурузного поля. Подняв облако снежной пыли, сани остановились.

Наттана не спеша поднялась и, медленно нагнувшись, взяла конец ремня.

— Рекорд, Наттана! — воскликнул я. О чем она думала, эта девушка, похожая на тень в своем темном плаще, девушка, которую я только что так крепко прижимал к себе, ощущая каждую ее частицу.

— Нам его не побить, — сказала она наконец.

— Попробуем!

— Ладно, — ответила она, — но только потом поставим сани и пойдем домой.

Мы долго поднимались наверх. Наттана была права — настало время возвращаться, мы слишком устали и перевозбудились. Наттана шла молча, тяжело переставляя ноги и то убыстряя шаг, то оступаясь и скользя назад. Вот и изгородь. Темный лес за нами шумел, раскачивая ветви деревьев.

— Хочу, чтобы ветер растрепал мне волосы, — сказала Наттана.

Она долго возилась с косами, я был весь в волнении. Подойдя к саням, она, как мне показалось, неохотно легла на них, но при этом не сказала ни слова, и я, чувствуя комок в горле, снова обнял ее.

Волосы девушки закрывали мне лицо, но сани уже сами мчались по проторенной колее. Я закрыл глаза и — будь что будет — зарылся лицом в ее волосы, тесно прижимая ее к себе. Сквозь ночь, сквозь ветер неслись мы. Но до поля на этот раз мы не доехали.

Что можно было сказать? Мы медленно шли к темному амбару, в тягостном молчании, чувствуя себя бесконечно усталыми... Наттана оказалась права: рекорда мы не побили. По дороге к дому девушка быстро взяла меня за руку. Мы в нерешительности остановились на пороге, не разнимая рук. Файны уже, наверное, заждались нас.

— Сегодня мы будем крепко спать, правда, Джонланг? — спросила Наттана.

— Вам хочется спать?

— Засыпаю на ходу...

Она отняла руку и открыла дверь.

Мара принесла нам горячего шоколада с молоком. Волосы Наттаны ниспадали мягкими прядями вокруг лица. Сонный взгляд ее был устремлен в пространство. Допив, она поставила чашку, быстро пожелала всем спокойной ночи и скрылась в своей комнате.

Сильный ветер дул всю ночь, и к утру похолодало. Окна во всех комнатах нижнего этажа были затянуты морозными узорами. Все уже позавтракали, но Наттана не появлялась. Я немного боялся встречи с ней и потому вышел, так и не дождавшись ее. Разыскав Анора, большого специалиста по разного рода ремонту, я отправился вместе с ним осмотреть амбары, мастерскую, мельницу и в конце концов зашел к нему на ленч. Холодное и ветреное утро тянулось бесконечно. Поначалу я чуть ли не радовался, что не встретился с Наттаной, теперь мне снова хотелось ее видеть. Завтра приезжает Дорн, а послезавтра Наттана уедет с ним. Оставалось менее двух суток. Я не стал засиживаться у Аноров и поскорее вернулся к Файнам. Следы от полозьев наших саней тянулись по нетронутому снегу.

Вконец продрогший, сгорая от желания увидеть Наттану, я вошел в дом, рассчитывая первым делом увидеть ее. Но девушки не было ни в гостиной, ни в пустой кухне, ни на конюшне. Я постучал в дверь ее комнаты — никакого ответа.

Раздосадованный и разочарованный, без всякого основания кляня Наттану, я вернулся к себе, развел огонь и прилег с томиком Годдинговых «Притч», который она когда-то дала мне. Однако глаза скользили по строчкам, не в силах уловить смысл. Накануне своего двадцативосьмилетия, уже не раз переживший влюбленность, я вел себя как юнец, робко пожимающий руку милой и мечтающий о поцелуе. Нет, нельзя было давать повода Наттане втайне смеяться надо мной.

В дверь постучали, и вошла Наттана. Я моментально вскочил и попросил ее присесть. Щеки девушки горели свежим румянцем, волосы были тщательно расчесаны, и, пока я ворошил дрова в очаге, она рассказала, где была.

По ее словам, она все утро шила. Дочери Кетлинов зашли навестить ее, а потом она пошла к ним домой на ленч. Они ей нравятся, очень хорошенькие. Часто ли я их видел? Я ответил, что не очень. На обратном же пути она, думая, что я могу быть либо в амбарах, либо на мельнице, либо в мастерской, обошла все эти места, но безрезультатно. Не найдя меня, она вернулась домой. В свою очередь я рассказал ей, чем занимался и как искал ее.

— Давайте не будем сегодня выходить, — сказала Наттана. — Почитаем, поговорим.

Заметив темно-зеленый томик Годдинга, лежащий на коричневом покрывале, девушка рассмеялась:

— Наконец-то? Ну и что вы сейчас читаете?

Я не знал, что ответить.

— Не успел я раскрыть книгу, как вы пришли.

— Давайте и почитаем из нее. А я пока буду шить, — сказала Наттана, вскакивая.

Я услышал, как, обращаясь к сидевшей в гостиной Маре, она сказала, что Джонланг будет читать вслух, и еще — нет ли у нее, Мары, какого-нибудь шитья? В голосе ее звучали взволнованные нотки.

Она быстро вернулась.

— Вам лучше пересесть в кресло, верно? — обратилась она ко мне, сама быстро и ловко устроилась на кровати, подложив под спину подушку, скрестив ноги, раскинув на коленях шитье, и застыла с выжидательным выражением на лице.

— Откуда начинать?

— Ах, раскройте наугад.

Я прочел притчу о женщине, которая отвергла влюбленного в нее мужчину, поскольку тот

был женат, но сохранила глубокую привязанность к нему. Потом она вышла замуж за другого, и у них родилось много детей. Прошло несколько лет, и из жалости к первому воздыхателю, по-прежнему страстно желавшему ее, она отдалась ему. Обоих ждали крах и разочарование. На жалости, которую испытывала женщина, нельзя было построить благополучный союз. Ее дар оказался злом; мужчине — жаждущему — вместо глотка воды предложили краюху хлеба.

— Все совершенно ясно, — сказала Наттана, которую откровенность притчи, похоже, смутила гораздо меньше, чем меня, но я держался того мнения, что мужчина может настолько сильно желать женщину, что причина ее уступки вообще окажется не важна.

— Что до нее, согласен, — сказал я, — но представьте, что он просто желал ее.

— «Ее»? То есть вы хотите сказать, лишь ее тело? Он хотел большего!

— Но то, что он получил, лучше, чем ничего.

— Нет, оно было отравлено. Жалость — всегда яд для человека, чье чувство достаточно глубоко, жалость, снисходительность, самопожертвование — все равно.

— Но если ваше чувство не так глубоко... — начал было я.

— Если вы уверены, что у вас обоих оно не так глубоко! Но беда в том, что двое людей бывают в равной степени... ах, ну, скажем, искателями наслаждений.

С любопытством слушал я ее, думая, откуда набралась она этих мыслей: слова ее звучали так уверенно и определенно, словно основывались на некоей строгой моральной системе.

— Откуда вам это известно, Наттана? — спросил я.

— Эти знания составляют часть моего воспитания, — ответила она чопорно.

— Вы хотите сказать, — не отставал я, — что обычно один из двоих испытывает *анию*...

— Нет, я вовсе не это имела в виду. Я подразумевала двух людей, любых людей, испытывающих друг к другу любые чувства. И даже, если это *ания*, оба не обязательно должны искать только наслаждения.

— Но разве *ания* — это не только наслаждение?

— Нет, она может значить гораздо больше.

Я растерялся. Получалось, что *ания* и *ания* не совпадали с теми разновидностями любви, которые я знал: чисто плотским влечением и влечением душевным, духовным, переходящим в плотскую любовь.

— *Ания* может сводиться только к плотскому наслаждению, — говорила между тем Наттана, — но *ания* может быть и влечением, которому не хватает лишь одного — желания жить совместной жизнью... На самом деле все это очень просто.

— Для вас — может быть, — сказал я.

— Проста идея, но не явление, — ответила девушка. — Прочтите мне еще притчу, если вы не против.

Я понял намек и перелистнул несколько страниц. В следующей притче рассказывалось о женщине, любившей мужчину, многоопытного в общении с другими женщинами. Она стгорала от любопытства, но уважала сдержанность и скромность своего возлюбленного. Узнав о ее мучениях, мужчина изъявил готовность рассказать ей все, что та захочет. Любопытство женщины как рукой сняло. С нее хватило и того, что она может узнать все, если пожелает.

— Мне всегда нравилась эта притча, — сказала Наттана.

Я признал, что она мне тоже понравилась, хотя мне и казалось, что большая любовь вряд ли страдает любопытством.

— А про меня вам хотелось знать? — спросила Наттана.

— Хотелось, но, правду сказать, я узнал меньше, чем хотел.

— Я поняла — когда вы так много рассказывали мне про себя по дороге из Тиндала.

— А вы интересовались мной, Наттана?

— Очень, хотя совсем не удивлялась тому, что узнавала... Хотите, я еще расскажу вам о себе?

— А вам самой этого хочется?

— Да, хочется, — ответила она, растягивая слова.

Я выжидательно умолк.

— Вы похожи на человека, который — ах, простите! — ни разу в жизни никого не поцеловал.

— Да, только один раз, очень давно. И ни разу я так долго не держал женскую руку в своей, как вашу.

Про объятие я решил не упоминать.

— А я целовалась, и даже несколько раз. Но только однажды — серьезно. Это случилось два года назад. Я вдруг почувствовала себя взрослой, и мне захотелось, чтобы этот мужчина обладал мною. Но он не хотел жениться на мне, да и я не хотела выйти за него, наверное. С ним я поняла, что это значит — принадлежать другому. Мы не только целовались, Джонланг. Мы говорили о том, стоит ли мне отдаться ему, и решили, что нет. Мы оба так решили, и мне не пришлось особенно страдать. Он по-прежнему очень нравится мне, но между нами все кончено. С моей и с его стороны.

— Но все же вы страдали, Наттана?

— Я повзрослела. Может быть, в этом и состояло страдание. Он был прав только в том, что научил меня желать чего-то, что было мне не нужно. В этом одном он ошибся. Я простила его... Мы могли бы написать об этом притчу, правда? Главное тут в том, что человеку не следует делать что-либо наполовину.

Мне неожиданно стало стыдно. Быть может, Наттана косвенно хотела упрекнуть меня? Или она предлагала пойти дальше?

— Наттана, — сказал я, — вы отчасти имели в виду нас?

— Не знаю! — выкрикнула она. — Да, отчасти... Вы собирались навестить меня в Верхней усадьбе, даже если теперь вы вдруг передумали. Мы можем далеко зайти. По крайней мере мне так кажется.

Она умолкла.

— Мне тоже, Наттана, — быстро сказал я.

— И это не так, как с другими, когда все ясно и можно выбирать: жениться или нет. Ах, нам так далеко до этого, я знаю, но разве мы не можем честно признаться себе?..

— Да, Наттана, и мы сделаем так, — ответил я, хотя при мысли о женитьбе на Наттане я почувствовал неуверенность, слабость, словно я неожиданно очутился в ловушке.

— Я скажу вам, что я думаю, если вы будете со мной откровенны. Я не смогла бы поехать в Америку, Джонланг, не смогла бы жить там. И я не мечтаю выйти за вас. И все-таки я стала совсем другая — даже сама не понимаю как, — это невероятно.

Теперь я уже не чувствовал себя затравленным и пойманным, напротив, меня избегали, мне отказывали, я почувствовал прилив гнева.

— Предположим, что невозможное свершилось, что тогда? — вскричал я.

— Тогда у нас все будет как у всех!

Мы глядели друг на друга в запальчивости, с любовью и почти ненавистью одновременно.

— Так, значит, мы можем честно признаться себе? — настаивала девушка.

— В чем?

— В своих чувствах.

— Да, Наттана.

— А вы что чувствуете, Джонланг? — И она сделала жест руками, ясно говоривший: «Вот

чего вам хочется».

Сердце мое забилося, я взглянул на ее нежные пухлые губы. Но как мог сказать я это на островитянском языке, в котором было так мало уклончивых слов?

— По крайней мере я чувствую *апиату*, — сказал я. Кровь бросилась мне в лицо, словно я сказал нечто чудовищно непристойное. Румянец залил и щеки Наттаны.

— Я тоже! — заявила девушка, как бы принимая мой вызов.

Последовало молчание, наконец мы оба слабо улыбнулись.

— Итак! — продолжала Наттана. — Слово произнесено! Но *апиата* либо быстро проходит, либо превращается в нечто иное, учтите, Джонланг.

Она резко отвела взгляд, выпрямилась и глубоко, как после перенесенного усилия, вздохнула и вновь взялась за шитье.

— Почитайте мне еще, ладно? — сказала она. Я раскрыл книгу и подождал, пока утихнет дрожь в голосе.

В притче рассказывалась история о мужчине, который хотел жениться, но его избранница, увлеченная неким третьим персонажем, не могла принадлежать ему. Мужчина рассказывал о своих печалях одной из своих подруг, и эта женщина посочувствовала ему. Кроме того, она постаралась объяснить своему другу природу чувства, которое испытывала к нему та, в которую он был влюблен. Она даже приоткрыла кое-какие подробности своей жизни, дабы пояснить женский взгляд на подобные положения. Став умудренней, герой притчи понял, что утрата его не столь ужасна...

Следя, чтобы голос мой нигде не дрогнул, и тщательно выговаривая каждый звук, я в то же время думал о поездке на Верхнюю через месяц, вспоминая слова Наттаны, о том, что я мог изменить решение. Неужели она хотела сказать, что, если чувства мои стали сильнее, мне лучше было бы передумать? Смысл притчи поэтому я воспринимал с трудом.

Так, продолжал Годдинг, эта женщина оказала мужчине великую услугу, которую тот в полной мере оценил. Он часто выражал подруге свою благодарность. «Вы, — говорил он, — совершили нечто крайне полезное для меня. Надеюсь, и я смогу быть полезен вам». Она же отвечала, что ей доставляет необычайное удовольствие видеть его... И вот он стал все чаще навещать ее и рассказывать ей о своей любви, в которой хотел до конца разобраться. При этом он нередко, и в самых поэтических выражениях, описывал красоту своей возлюбленной.

«Иногда, — гласила далее притча, — нам случается увидеть на своем пути фигуру человека. Наши мысли витают далеко, и человек кажется нам незнакомым. Мы приближаемся и внезапно замечаем, что незнакомец — близкое и дорогое существо. Словно яркий свет вспыхивает там, где мы ожидали найти лишь тьму».

Я перевернул страницу, но на этом месте притча кончилась. В чем же была суть? Я вопросительно посмотрел на Наттану.

Она сидела неподвижно, положив руки на колени, и в упор глядела на меня. Ее зеленые глаза горели, а лицо, залитое пунцовым румянцем, было виноватое и встревоженное. Я в изумлении воззрился на нее, не понимая, что происходит.

Взгляд ее блуждал, она потупилась, потом снова взглянула на меня, сердце мое сжалось, и я ощутил его медленное, болезненное биение. И все же, смущенный происходящим с Наттаной, я задал вопрос, который собирался задать:

— В чем же суть притчи, Наттана?

Неожиданное облегчение выразилось в ее взгляде.

— Довольно туманная, не правда ли? — сказала она.

— Значит, вы тоже не поняли?

— Думаю, он нашел друга.

— А вам не кажется, что он нашел нечто большее?

Вдруг у меня мелькнула догадка. Несколько месяцев назад, у Андалов, из книги выпал листок, который мог быть закладкой. А незадолго до того я рассказал Наттане про Дорну... Но неужели она могла решиться подсказать мне, какую именно притчу прочесть? Неужели я показался ей похожим на мужчину, который открыл свои чувства другой женщине?

Наттана никогда не должна узнать, что я все понял.

— Решительно не вижу никакого смысла, — сказал я.

— Я тоже! — воскликнула девушка.

— Почитать вам еще?

— Да, да, пожалуйста!

Я стал читать дальше, Наттана вновь принялась за шитье. Больше мы не пытались выяснить суть историй, а просто говорили, нравятся они нам или нет. Стемнело, и я зажег свечи — две для Наттаны и две для себя.

Девушка отложила работу и встала.

— Еще есть время постирать и переодеться, — пояснила она, — и спасибо вам большое, что почитали мне.

И только когда она ушла, я понял, что наш вместе проведенный день кончился. Пока я читал жалостливую притчу о мужчине, поверявшем сердечные тайны своей подруге, все шло гладко. Потом этот предательский румянец... Но почему она так внезапно ушла? Счастливые, мы отдавались ровно текущему потоку, но вот воды его взволновались, и все, что было пережито, казалось, просто пригрезилось.

Наступил день, когда Толли принимали гостей, и за ужином Мара спросила, не хочет ли кто из нас навестить их вечером. Пойти вызвался муж Мары, к нему присоединилась Наттана, бросив на меня через стол быстрый взгляд, но, как мне показалось, не ожидая ответа. У меня не было особого желания проводить вечер в переполненной комнате за докучными разговорами, и я сказал, что, пожалуй, лучше останусь дома, пожалев об этом, когда увидел, как Наттана весело отбыла в сопровождении своего престарелого спутника.

Некий темный и злобный инстинкт подтолкнул меня наказать Наттану, но еще более наказанным оказался я сам, проведя вечер в тревоге, рассеянно отвечая на вопросы Мары и дожидаясь возвращения Наттаны. Она вернулась поздно, глаза ее блестели, щеки разрозовелись. От нее и от Файна исходил слабый запах сладкого вина. Когда она стояла, греясь у очага, вид у нее был самый нераскаявшийся, и держалась она несколько вызывающе. Вечер, как она заявила, она провела прекрасно. Ей очень понравились дочери Кетлинов и дочь Ларнела, с которой она договорилась повидаться еще. И еще они долго говорили с молодым Ларнелом. Он тоже такой славный!

Она едва достаивала меня взглядом.

— Пойду-ка я ложиться, — сказала она. — В доме было так тепло, и вино, а потом прогулка по морозу — я совсем засыпаю... Мара, завтра я буду шить для вас!

Когда она проходила мимо скамьи, на которой я сидел, юбка ее задела мои колени, а кончики пальцев едва не дотронулись до них. Было ли это намеренно или она нетвердо держалась на ногах?

— Хиса, — сухо промолвила Мара, — ты и так уже сшила все, что мне было нужно.

Лицо Наттаны, когда она выходила из комнаты, показалось мне недовольным... Или все-таки она была под хмельком?

Двадцать пятого мне исполнилось двадцать восемь лет. Ветер стих, немного потеплело, но

небо по-прежнему было ясным. Наттана не появилась к началу завтрака, не вышла она и когда я уже поел. Что было мне делать: отпрапляться, как обычно, по своим делам или слоняться по дому, ожидая, пока она не соизволит явиться? Сегодня был мой последний шанс.

Пока я обдумывал, какое решение принять, сверху раздался голос Наттаны:

— Джонланг, Джонланг!

Я вышел в гостиную и взглянул на верх каменной лестницы.

— Не уходите, я хочу, чтобы вы на меня посмотрели. — В голосе ее слышался легкий упрек.

— Я не уйду, Наттана! — воскликнул я и остался ждать ее внизу. Сначала она спускалась медленно, но под конец уже неслась по ступеням, оживленная, яркая и, как всегда, еще более милая и любимая, чем была в мыслях.

Косы она расплела, и волосы ее были уложены необычным образом — такого мне еще не доводилось видеть, — что делало ее старше. Она пристально посмотрела на меня и улыбнулась.

Она спускалась навстречу мне — неузнаваемая, прекрасная, впервые обнажив свою оказавшуюся на удивление стройной шею с горделивой, изящно посаженной головой. И вдруг я понял, что, если не отступлю в сторону, ей придется либо остановиться, потому что я стоял прямо у нее на пути, либо подойти и поцеловать меня. Но Наттана, не замедляя шага и не выказывая намерения остановиться, все так же шла вперед. У меня перехватило дыхание. Она шла поднимая голову, понимая, что сейчас должно произойти.

Из столовой раздался голос Мары, звавший Наттану. Я инстинктивно сделал шаг в сторону; из жара меня бросило в озноб. Наттана пробежала мимо, на щеках горел румянец, а глаза блестели, и мне показалось, что я прочел в них: «Ах, какое невезение!» Я перевел дыхание и последовал за ней.

Они громко спорили с Марой, которая мягко выговаривала ей за то, что она заставляет себя ждать. Было очевидно, что несостоявшийся поцелуй совершенно не смутил ее, однако я тут же вспомнил, что поцелуй для нее, в отличие от меня, дело не новое. Да и, похоже, она вообще не придавала этому такого значения, как я. Обескураженный, я присел на скамью, а Наттана, опережая Мару, которая собиралась принести ей завтрак, сама побежала на кухню... А может быть, она была так беспечна, потому что не догадалась, что я хочу ее поцеловать? Но я все равно собирался поцеловать ее — или хотя бы попытаться, прежде чем она уедет! Приняв решение, я успокоился: теперь у меня была цель.

Наттана вернулась.

— Можно, я посижу с вами, пока вы завтракаете? — спросил я.

— Я ждала, что вы это предложите.

Все в ней было внове для меня: и округлая белизна шеи, и непривычно открытые уши.

— Вам, наверное, любопытно, почему у меня так уложены волосы, Джонланг?

— Да.

— Вам нравится?

— Нравится, но я пока еще не привык.

— Я хотела прогулять свою лошадь, а косы мешают.

Но ведь она ехала в город, а оттуда к Файнам, не расплетая кос.

— Возьмите Фэка тоже, — сказала Наттана.

— Поедем вместе?

— Мне бы хотелось. А вы не против?

— Отнюдь не против, Наттана... А когда же вы поедите к Ларнелле?

— Ах, когда-нибудь...

Скоро лошади наши были оседланы. Снег под лучами солнца переливался розовым и голубым, небо было ярким, морозно-синим. Клубы пара вырывались из лошадиных ноздрей. Жадно вдыхая студёный воздух, упиваясь им, как вином, мы выехали через сосняк на тропу, которая вилась вверх по склону холма в юго-западном направлении от дома; потом, проехав через ворота, поскакали навстречу холмам по усыпанной снегом просеке между двух рядов деревьев с темными, пронизанными бледными, холодными лучами кронами, оставляя позади фермерские поля. Копыта лошадей с хрустом крошили блестящий наст, снег под которым, впрочем, был рассыпчатым и мягким, земля нигде не была скованна опасной ледяной коростой.

Как по-иному выглядела эта же тропа, когда меньше месяца назад я, повинувшись непреодолимому влечению, скакал по ней, чтобы встретить Наттану! Как все изменилось! Я сказал своей спутнице, что ездил встречать ее именно по этой тропе.

— Вы хотели бы проделать этот путь еще раз?

— Один? — спросил я. — Или вместе с вами?

— Почему бы не отправиться прямо сейчас?

— Я не против!

— Очень может быть, что ущелье Темплин занесено снегом.

— Это обошлось бы нам в лишних восемь или десять дней пути!

— Все это было бы возможно, не поссорься я с отцом.

— Так, значит, вместе?

— Почему бы и нет.

— Что подумал бы ваш отец?

— Отец?.. — Наттана пожала плечами.

— Не обязательно ваш — любой? Привычки заразительны.

— Ну, кто-то осудит, а кто-то одобрит, зависит от того, как они относятся к вам... или ко мне. Обычаев и привычек в подобных делах не существует. Но обычно такие путешествия не слишком затягиваются.

— По нашим обычаям, — сказал я, — любое такое путешествие с ночевкой выглядело бы предосудительно.

— Мне этого не понять! — рассмеялась Наттана. — Но сегодня такая чудесная погода, что не стоит снова разводить философию.

— Согласен!

Воздух был кристально чист, и замечательно было снова скакать по знакомой тропе. И так — перемирие.

Перемирие, передышка позволяли хотя бы на время стать счастливыми рядом, да и было на что полюбоваться вокруг. Мы решили не забираться далеко: лошадь Наттаны утомилась после тяжелой двухдневной дороги, и лишь поднялись до того места на склоне, откуда, глядя на север, мы могли разглядеть проделанный ею путь. Исполинский купол Островной горы был великолепен, но не он один привлек наше внимание. На нижних отрогах снежного покрова не было заметно. Очевидно, снегопад прошел только над долинами.

Мы говорили о предстоящей Наттане поездке, уже совсем скорой. Слухов о том, что ущелье Мора сейчас опасно, не доходило, и, глядя в ту сторону, мы сами могли воочию убедиться в том, что рассказывали проезжие путники.

Повернув, мы стали спускаться вниз по тропе. Снова вспомнили об уговоре с Ларнеллой.

— Я уже жалею, что обещала, но в тот вечер... — Наттана коротко рассмеялась.

— Но вы дали слово?

— Дала.

— Мне кажется, вам следует съездить.

— Она наверняка захочет, чтобы я осталась к ленчу, — предположила Наттана.

— Оставайтесь, а потом я найду и заберу вас.

— Отлично!

— Но ведь это действительно отлично, Наттана.

— Раз вам так кажется, значит, так оно и есть.

Мы условились, что вместе найдем к Ларнелам, а потом я заберу обеих лошадей и вернусь за Наттаной пешком вскоре после ленча. Так, не обмолвившись ни словом, мы договорились, что вторую половину дня проведем вместе. Мы подъехали к дому Ларнелов, Наттана проворно соскочила на землю, и мы попрощались.

По пути к Ларнелам, вскоре после полудня, я завернул на мельницу проверить, достаточно ли там дров. В сухом морозном воздухе царило полное безветрие. Блестящая темная гладь замерзшего пруда гасила шум моих шагов. Лед был гладкий, без единой царапины или бугорка, твердый, почти черный — идеальный каток. Мне пришла мысль смастерить пару коньков и обучить островитян искусству катания, доселе им совершенно не знакомому.

Сердце у меня сильно билось, когда я подходил к дому Ларнелов. Дверь открыла Ларнелла. Щеки ее горели румянцем, она улыбалась.

— Почему вы тоже не приехали к ленчу? — спросила девушка, впуская меня в дом. — Мы так чудесно провели время с Хисой!

Одновременно я увидел и саму Хису, восседавшую перед очагом рядом с молодым Ларнелом. Ее щеки были розовыми, как и открытые уши, к которым я никак не мог привыкнуть. На мгновение подняв голову, она взглянула на меня с отсутствующей — «ах, это вы» — улыбкой, а Ларнел, увидев меня, резко умолк. Я не мог поручиться, что перед этим он не сидел близко склонясь к Наттане и отодвинулся, лишь увидев, как я вхожу. Ни на чем не основанная подозрительность и ревность вдруг овладели мной.

Мне предложили сесть, чему я неохотно повиновался, боясь, что теперь нас не отпустят так скоро. Ларнелла предложила мне стакан вина, но в эту минуту Ларнел что-то сказал Наттане, и, прислушиваясь к разговору, я не сразу понял вопрос девушки. Когда до меня дошел смысл ее слов, я вежливо отказался. Похоже, ей хотелось завязать беседу, и мне стоило немалых сил поддерживать ее. Ларнел увлеченно рассказывал что-то Наттане, которая смотрела на свои сложенные на коленях руки и тихо улыбалась. Минуты казались вечностью...

Наконец она поднялась. Занятый разговором с Ларнеллой, я оказался застигнутым врасплох, но, увидев, что Наттана встала, вскочил на ноги, прервав фразу на полуслове. Ларнел подал Наттане плащ, успев шепнуть что-то, что заставило ее рассмеяться, — и вот наконец-то мы были одни.

Наттана шла рядом, но я не мог выговорить ни слова. На сердце было беспокойно; я старался уверить себя, что все в порядке, но чувство досады и унижения не покидало меня.

— Нет, умно придумано! — рассмеялась она.

— Не знаю.

Смех оборвался; мы дошли до большака молча.

— В чем дело? — холодно, как разговаривают с капризным ребенком, спросила Наттана.

Я хотел было сказать, что ревную, что попытаюсь справиться с собой, но слова «ревность» в островитянском языке не было.

— Я не имею никакого права... — начал я.

— О каком праве вы говорите, Джонланг?

— ...права возражать, но все равно скажу. Сам не знаю, что со мной происходит, Наттана.

Мне не понравилось, что я вошел и увидел, как вы... Не знаю, трудно объяснить.

— Вам нечего беспокоиться, — сказала Наттана. — Если же вам что-то не нравится, что ж поделать. Почему вы думаете, что имеете какие-то права?

— Но я и сказал, что не имею...

— Отчего же, конечно имеете! Но вам следовало бы чуть получше знать меня! — В ее голосе прозвучал упрек. — На самом деле вам хочется знать, какие у меня отношения с Ларнелом — Ларнелом, которого я видела всего три раза!

— Мне хотелось знать, что «умно придумано».

— Да то, как повела себя его сестра, конечно. Она хотела дать ему возможность поговорить со мной и поэтому взялась развлекать вас. Это было так очевидно!

Мне стало спокойнее.

— Наттана, — сказал я, — не утруждайте себя излишними объяснениями.

— Мне это вовсе не трудно. И я ни в чем не виню вас... А теперь — о Ларнеле. Если бы он побольше узнал меня, думаю, он мог бы по-настоящему увлечься. Но все произошло так быстро и на мгновение вскружило мне голову! Мне редко приходится видеть мужчин, Джонланг, не забываете этого, а когда попадается такой прыткий... Но послушайте, что я действительно чувствую. Вчера вечером Ларнел попросил меня зачесать волосы наверх. Я сделала это, хотя мне и не хотелось. А за ленчем мне стало скучно и не терпелось, чтобы вы поскорее пришли, а когда я вас увидела, то поняла, что спасена, и мне захотелось остаться еще немного, чтобы он сказал все, что хотел сказать.

Мне очень хотелось бы знать, что собирался сказать Наттане Ларнел, но я сдержался.

— Я не говорила ему, что наш дом — его дом, — продолжала Наттана, — потому что не захотела.

— Можете не говорить мне, что он вам сказал.

Девушка рассмеялась:

— Да, пожалуй, не стоит выдавать его.

— Не надо.

— Зато теперь я скажу кое-что вам. Есть некоторые мужчины и женщины, которые могут чувствовать и *анию*, и *апию*, и *апиату* одновременно к двум разным людям, но я не такая! Думаю, вы могли бы, хотя точно не знаю. Да и какая теперь разница? Если же это вдруг окажется важным, вы ведь скажете мне, правда?

Неужели она имела в виду Дорну?

— Обязательно скажу...

Однако она все-таки сделала такую прическу, как просил Ларнел, а утром солгала мне. Ложь Наттаны больно кольнула меня, впрочем, негодование мое длилось недолго — ведь теперь это действительно не имело значения. Она была по-прежнему привлекательна, желанна.

— Куда мы идем? — спросила Наттана. — Так мчимся, как будто куда-то спешим.

— На мельницу. Растопим очаг, надо поговорить.

— Дорн должен приехать в полдень, — уверенно сказала Наттана. — Мы оба хорошо его знаем! Вряд ли он станет перебираться через Тиндал в темноте.

— Раз он будет здесь, то вечером нам следует поговорить с ним.

— Он тоже захочет поговорить с вами... Что ж, идемте на мельницу.

Мы поняли друг друга, и было приятно, что нам обоим хочется избежать разговора с Дорном.

— А завтра рано утром, — продолжала девушка, — вы попрощаетесь с Хисой Наттаной.

Скрытая боль, прозвучавшая в ее голосе, отозвалась в моей груди.

— Я не хочу, чтобы вы уезжали!

— Я и сама не понимаю, хочется мне ехать или нет... Но ехать надо. И давайте не придавать слишком много значения нашим чувствам.

— Пойдемте к пруду, — предложил я, — посмотрим, крепкий ли лед.

— Если вы хотите пригласить меня покататься, то ничего не выйдет — мои башмаки на веревочной подметке.

— Я и не думал кататься. Мы просто перейдем пруд.

— Если лед выдержит.

Мы прошли мимо плотины, через край которой свешивался частокол белых и бурых сосулук — по ним стекала вода. Дойдя до края запруды, я спустился на гладкую черную поверхность, постучал по льду каблуком и решил, что он достаточно прочен. Наттана, стоя на берегу, наблюдала за мной.

— Вы уверены, что он выдержит нас, Джонланг?

— Совершенно. Спускайтесь, ведь я тяжелее вас.

— Что-то я потяжелела!

Девушка стала спускаться, ступая осторожно, словно по яичным скорлупкам. Меня это настолько позабавило, что я рассмеялся.

— Но я не привыкла ходить по льду! — воскликнула Наттана.

— Он очень прочный.

Взяв Наттану под полный локоть, я отважно вывел ее на середину запруды. Окруженные ровной черной гладью, мы почувствовали, будто мир вокруг нас стал шире. Наттана ступала уверенно, и все же по легкой Дрожи руки я ощущал в ней некоторую робость.

— А вы никогда не обуваетесь в такие ботинки, острые и с полозьями, чтобы кататься по льду? Мы называем их коньками.

— Нет, но у нас есть «ботинки-салазки», у них кромки тупые.

— Как же вы ездите?

— Кто-нибудь подталкивает — и ты скользишь; а еще есть такие палки с острыми концами. Но я в этом не особо разбираюсь. Поблизости от Нижней усадьбы ни запруд, ни стоячей воды нет.

Озеро на Верхней, вероятно, будет прекрасным катком. Надо все-таки сделать коньки, взять их туда и научить Наттану кататься.

Все берега казались теперь равноудаленными; белизна их оттеняла темную, очень темную поверхность льда, который, однако, поблескивал то тут, то там.

— Ну как, Наттана, нравится вам очутиться на середине абсолютно ровной плоскости?

Отпустив ее руку, я сделал несколько шагов назад, чтобы она могла испытать это чувство в полной мере.

Девушка застыла, боясь пошевелиться.

— Мне страшно, я боюсь, что лед треснет! — закричала она. — Боюсь касаться его.

И, следуя своим словам, она сначала приподняла одну ногу, потом другую, но потеряла равновесие, поскользнулась и упала. Прежде чем я успел помочь ей, она уже сидела на льду.

— Вечно падаю, — сказала она сердито. — Джонланг, мне не нравится лед.

Поймав ее руки, я помог ей встать.

— Возвращаемся на мельницу, — сказал я, не выпуская одну из холодных ладошек. — Вы не ушиблись?

— Ушиблась? Вот еще! Я поняла, что вы имели в виду, — продолжала она, осторожно и медленно идя рядом со мной. — Мне нравится ровное пространство, о котором вы говорили. Для меня это — долина.

Кончики ее пальцев, словно лица маленьких существ, выглядывали из-за края моей ладони,

будто из-за высокого воротника. Рука ее расслабилась, потом снова сжалась.

Но стоило нам подойти поближе к берегу, как она вырвала руку, стремглав добежала до него и вскарабкалась наверх, где могла чувствовать себя спокойно.

— Наконец-то! — воскликнула она.

— Но это совершенно безопасно.

— Да, конечно, мудрый Джонланг, но мне никак не справиться со своими чувствами.

— Вы не сердитесь на меня, Наттана?

— Отчего мне сердиться на вас? Просто не надо было идти.

Она повернулась и, на ходу передергивая плечами и смеясь, пошла вдоль дороги к мельнице.

Внутри прохладно пахло опилками и свежераспиленным деревом. Все было точно так же, как три дня назад, только жерди для изгороди, сложенные высоким штабелем, лежали аккуратнее, плотнее, чем я сложил их.

— Сыро! — сказала Наттана, зябко поеживаясь и плотнее запахиваясь в плащ.

— Потерпите немного, Наттана.

Я положил в очаг дров и, встав на колени, насыпал стружек поверх холодного мягкого пепла, а на них уложил горбыль.

Высеченная кремнем искра коснулась фитиля моей зажигалки, и желтый язычок пламени возник на нем словно из ниоткуда. Я поднес его в волокнистой стружке.

— Никак не могу представить, что Некка выйдет замуж и уедет в другие края, — послышался сзади голос Наттаны.

— Вы будете по ней скучать?

— Ах, я все время буду чувствовать, что ее нет рядом. Останемся только мы с Эттерой. Некка старше и всегда держала свои мысли при себе, поэтому мы не были очень близки, но скучать я все равно буду.

Пламя понемногу охватывало стружки.

— Скажите, Наттана, ваша сестра действительно хочет выйти замуж за Дорна? Пожалуй, загорится, — добавил я, видя, что девушка медлит с ответом. Разгорающийся огонь привораживал взгляд.

Подойдя ближе — сейчас она, естественно, была выше меня, — Наттана сказала:

— Некке пора замуж. Она сама этого хочет. Она понимает замужнюю жизнь... Женщины могут, Джонланг... И она видит, что лучшего спутника, чем ваш друг Дорн, ей не найти. Но этого мало.

Пламя лизало концы горбыля.

— Что делать женщине на месте Некки? — задумчиво сказала Наттана. — Она знает, что создана для замужней жизни — для семейных забот, для того, чтобы рожать детей. И вот появляется мужчина, который страстно желает ее. Неужели она должна сказать ему «нет», потому что душа ее ранена?

— Я не знал этого.

— Она очень хотела другого, Джонланг. Ей хотелось быть женой Тора, королевой. И она часто печалится, думая, что сделала что-то не так, что все могло обернуться иначе.

— Но разве она не хочет замуж за Дорна?

— Конечно хочет, но чувства ее так перепутались, что она не может выбрать что-то одно, не пожалев о другом.

— Вам кажется, она ведет себя нечестно?

— Он все знает. Она никогда его не обманывала.

Огонь все больше охватывал горбыли; темно-бурый дым вился над корою, и в воздухе пронзительно и сладко, как елеем, запахло горящей смолой.

По-прежнему стоя на коленях перед очагом, я взглянул на Наттану. Она стояла скинув капюшон, расстегнув плащ и опершись руками о бедра. Взгляд ее на мгновение задержался на мне, губы тронула улыбка, вызванная уже не мыслями о Дорне и Некке, — дружелюбная, робкая, доверительная.

Жар от огня стал нестерпимым. Я встал и, отступив, глядел на широкие зубцы полосой протянувшегося ярко-красного пламени...

— Когда у них назначена свадьба? — спросил я.

— Думаю, Некка будет готова, как только он ее позовет. Мы с Дорном будем на Верхней послезавтра. Возможно, они объявят о своих намерениях в тот же вечер и уйдут спать вместе, как муж и жена, а наутро уедут вниз, в долину.

— А кто будет сочетать их браком?

— Кто? Они сами... Я не понимаю.

— У меня дома люди, которые хотят пожениться, отправляются к некоему третьему лицу, облеченному властью закона, и этот человек объявляет их мужем и женой. Пока они не сделают этого, они не могут считаться супругами.

— Но при чем же здесь закон?

— Без него, — отвечал я, — брак кажется мне чем-то очень несерьезным. И если у вас государство остается в стороне, как может человек подтвердить, что он действительно женат или замужем?

— Обычно они объявляют о своем намерении перед другими. Так же поступят Дорн с Неккой. Человек действительно хочет, чтобы другие знали. А потом она вступит в его жизнь, разделив с ним его *алию*, это и будет подтверждением.

— Ну а допустим, мужчина приведет в дом еще одну женщину.

— После того, как он уже женился? Он все равно останется мужем первой.

Наттана тяжело вздохнула:

— Вы называете такие странные случаи! Попробую вспомнить, что вы мне рассказывали о жизни у вас. Настоящего дома у вас нет, значит, я думаю, он может поселить одну женщину в одном месте, а другую — в другом. Но у нас это невозможно, неужели вам не ясно? Женщина всегда знает, кто живет в доме мужа. Если там уже есть женщина, она бы поняла, что не может выйти за него замуж. У вас в стране все так запутанно и сложно. — Она приложила ладони к щекам. — И все такое другое, ах, такое другое.

Отчаяние Наттаны придавало разговору неожиданную напряженность.

— Вы имеете в виду различия между нами или между нашими странами?

— И то и другое... Вы называете наши браки несерьезными. А ваши, по-моему, и того хуже. У вас нет для них прочной основы, вот вы и придумываете законы и всякую всячину, чтобы только сделать их такими, какими они быть у вас не могут.

Вы, иностранцы, вроде моего отца, который вбил себе в голову, будто привязанность к одному человеку есть главное в браке. И вам не обойтись без подобной идеи, ведь лишь она придает хоть какую-то ценность вашим бракам, особенно в самом начале. Но у нас есть и другие люди, которые, в отличие моего отца, знают, что не способны на такую привязанность и самоограничение, которые понимают нужды своей половины, и они не станут упрекать своего супруга или супругу в том, что не угрожает разрушить соединяющее их чувство *алии*.

— У нас брачные узы — прочные узы...

— У нас тоже! — крикнула Наттана. — Мужчина и женщина у нас трудятся над одним хозяйством. У вас они работают порознь либо работает только мужчина. Наши браки дают нам

ощутить всю полноту жизни. Для нас это самая совершенная, самая интересная жизнь. И каждый знает это с детства. Мы видим примеры тому повсюду. Наши браки — не случайные связи. Это не *ания*, которой хотят придать вид *ании* с помощью правил и законов. Наши браки одевают супругов двумя самыми сильными чувствами — *анией* и *алией*, дают им возможность трудиться вместе.

Она резко поднялась, подошла к огню и встала у него, отвернувшись от меня. Я был поражен ее страстным монологом, восхищен ее умом и красноречием.

— Вот так всегда, — сказала Наттана, — я говорю, а вы молчите. Согласны вы со мной или нет?

— Вы чересчур строги к моей стране. Но своими обстоятельствами вы распорядились отлично.

— Я строга только к вашему образу жизни, Джонланг.

— Мне трудно так сразу ответить вам на все.

Подняв руку, Наттана облокотилась на каменную плиту над очагом, склонила голову. Зачесанные наверх волосы молодили ее, она выглядела девчонкой, которой вообще еще рано думать о прическах, но ничего детского не было в сочных, налитых формах ее тела.

Я медленно поднялся, чувствуя, как меня охватывает ощущение, будто я вне времени и вне пространства, — следствие сильного внутреннего волнения.

— Стоит нам заговорить о вашей стране, и между нами словно разверзается бурное бескрайнее море. Я не против вашей страны, но мне противна эта преграда. Я не могу ненавидеть страну, откуда вы родом. Но на словах получается, что ненавижу.

— Давайте, возненавидьте еще сильнее, — сказал я, не отдавая себе в полной мере отчета, что говорю, потому что мысль об этой белой шее, о кокетливо зачесанных волосах, о том, что все это — для другого, не отпускала меня.

— Но я не хочу...

— Наттана, — сказал я, — прошу вас, заплетите косы.

— А так вам не нравится? — Она медленно обернулась.

— Нравится, но косы — лучше.

Она бросила на меня быстрый, недоуменный взгляд, но тут же подняла руки к высоко зачесанным волосам. Я внимательно следил за ней, но она избегала моего взгляда, а лицо сохраняло невозмутимо-чинное выражение. Тяжелыми рыже-золотыми волнами волосы ее упали на плечи; руки девушки на фоне их казались белее, тоньше.

Подойдя к скамье, она положила на нее заколки. Ее кроткая покорность кружила мне голову, я весь обмяк и покрылся испариной.

— У меня не получится хорошо расчесать без гребня.

— Постарайтесь.

— Слушаюсь, мой повелитель... И мне нечем завязать концы.

Она быстро взглянула на меня, тряся переливающейся гривой огненно-рыжих волос.

— У вас красивые волосы, — сказал я.

Она рассмеялась и стала расчесывать волосы руками, запрокинув голову и медленно поворачиваясь, пока не оказалась ко мне спиной.

— Пробор ровный?

Несколько прядей легли не на ту сторону.

— Не совсем.

— Может быть, вы...

Она подошла вплотную, и я поправил своевольные локоны, кончиками пальцев ощущая тонкий шелк волос, круглый, упрямый затылок...

Наттана по очереди заплела косы, перекинула их за спину и обернулась, выжидательно на меня глядя.

— Ну вот! — сказала она, выпрямившись и спрятав руки за спину. — Как я вам теперь нравлюсь?

— Очень!

Я двинулся к ней, она чуть откачнулась назад. Ее слегка опущенное лицо посерьезнело, но глаза пристально следили за мной. Я крепко взял ее за локти:

— Я должен поцеловать вас, Наттана.

Выражение ее лица не изменилось.

Кровь оглушительно стучала в висках, румянец все ярче разгорался на щеках Наттаны. Я не мог отвести глаз от ее пылающих щек, от губ, чуть подрагивающих, дразнящих. Касаясь их своими губами, я и помыслить не мог, какими блестящими и глубокими окажутся ее вдруг такие близкие глаза, что я смогу наконец уловить ее нежное теплое дыхание, что губы у нее — такие упругие и шелковистые и что на какой-то миг все головокругительно прекрасное существо Наттаны станет моим. Я поцеловал ее, но вдруг ее губы сами крепко прижалась к моим, и ее поцелуй, более умелый, более проникновенный, чем мой, оставил частицу ее на моих губах.

Мы смотрели друг на друга, ресницы Наттаны на мгновение опустились, потом опять взметнулись вверх. Глаза ее были широко, как от боли, раскрыты, в глубине их мне почудился упрек. Она снова потупилась, и губы ее, которые я только что целовал, медленно разжались. Выражение муки мелькнуло на лице. Вся дрожь, она отвернулась. Я не стал удерживать ее. Быстро подойдя к скамье, она села, уронив голову, положив руки на колени.

Видя, как она мучается, я позабыл о дивном переживании. Я подошел, сел рядом; мелкая дрожь била ее. Я взял безвольную руку и накрыл сверху другой ладонью, ощущая ее тепло.

— Я не думал, что вы будете против, — сказал я, и собственный голос прозвучал непривычно. — Я испугал вас. Но я не хотел причинять вам боль.

— Ах, Джонланг! — Она закусил губу и отвернулась.

Знакомая обстановка мельницы неожиданно поразила меня: сложенные штабелем жерди, окна в инее, за которыми лежал заснеженный мир.

— Наттана, я не думал... — начал было я. Но слова и мысли равно ускользали от меня.

— Я тоже! — сказала девушка, и я почувствовал, как дрожит ее рука.

Только слова родного языка могли сейчас выразить мои чувства, но она не поняла бы их.

— Я не могу объяснить, Наттана.

— И не нужно! Давайте помолчим.

Мне хотелось, чтобы она снова взглянула на меня. Ее рука по-прежнему покоилась в моей ладони. Я закрыл глаза и крепко сжал ее. Едва возникнув, мысли путались, обрывались одна за другой.

— Вы так дороги мне, Наттана. Пожалуй, мне не выразиться иначе на островитянском.

— Я поняла, — прозвучал голос девушки.

Открыв глаза, я увидел плавный изгиб ее скулы. Рука ее, податливая, мягкая, все еще то и дело начинала дрожать, выдавая волнение.

— Удивительно, — сказал я.

Она обернулась ко мне:

— Вам тоже тяжело?

Я не задумывался над этим, но, пожалуй, она была права.

— Да, Наттана.

— Бедный Джонланг!

Она протянула мне вторую руку. Теперь каждый держал руки другого в своих.

— И бедная Наттана.

— Почему мы так мучаемся?

У меня перехватило горло от волнения и страха.

— Можно еще поцеловать вас, Наттана?

Она подставила мне губы, и на этот раз я обнял ее и долго не отпускал. Я понял, что Наттана разбирается в поцелуях лучше меня. Было сладостно пользоваться ее уроками, но горько — сознавать, что учителем ее был другой.

— Джон, дорогой Джон!

Лицо ее было очень близко, и колени наши соприкасались.

— Почему мы так мучаемся?

— Мучения могут быть сладостными...

— Неужели потому, что вы — чужой?

Это было чересчур. Я не выдержал, и слезы хлынули из моих глаз. Наттана подняла голову, губы ее искривились, стали некрасивыми, в глазах стояли слезы. Ее искаженное плачем лицо надрывало мне сердце, я покрывал поцелуями влажные, соленые от слез ее губы, щеки.

Страдания Наттаны, большие, чем мои, грозили тем, что я могу потерять ее в любую минуту. Я крепко прижал ее к себе, не переставая осыпать ее поцелуями.

— Мучения могут быть сладостными, Наттана... Могут, поверьте!

— Нам надо подумать, — сказала девушка.

— Да, но я не могу.

— Но мы должны.

— Да, конечно.

— Нет смысла думать о наших чувствах, лучше подумаем о том, что нам делать.

И снова меня охватили отчаяние и страх, которые я заглушал объятиями и поцелуями.

Наконец мы оба обессилели...

— Наттана, уже совсем стемнело.

— Я видела, что окна стали странно голубыми.

— Как необычно, что мы здесь, Наттана.

— На мельнице?

— В Островитянии... Впрочем, я не знаю, где я.

— О, мой Джонланг! — Она обняла меня.

— Наттана, дорогая, но как же наш огонь? Угли уже дотлевают.

— Мы можем развести его снова.

Я не раздумывая встал. Все кругом закружилось, но это чувство быстро прошло. Я снова был Джоном Лангом, со своими сомнениями и проблемами.

Ощупью набрав еще опилок и горбыля, я осторожно положил их на тлеющую золу. Фигура сидевшей на скамье Наттаны была едва различима. Нет, мы не просто целовались, теперь я это понимал. Мы были ближе, чем просто целующаяся парочка. Я не помышлял о близости, однако мои руки ласкали ее бедра, а мои пальцы, даже не дотрагиваясь до ее груди, чувствовали их округлую упругость.

Я подул на угли... Стружка занялась.

— Сколько времени до ужина, Наттана?

— Я сама все соображаю.

Мы рассмеялись.

— Полагаюсь на ваше чувство времени, Наттана.

— Оно в порядке, Джон. Еще рано.

— Интересно, приехал ли Дорн.

— Да, он уже, должно быть, дома.

Образ Дорна на мгновение живо встал передо мной. Он был так близко, что почти мог окликнуть нас.

Пламя в очаге разгоралось.

Я встал и взглянул на Наттану. Блики огня скользили по ее лицу, так что я не мог понять его выражения. Вдруг она показалась совершенно незнакомой, потом, так же неожиданно, такой желанной, что мне захотелось схватить ее, прижаться к ней, добраться до ее тела. Но словно незримая, непонятно откуда появившаяся преграда встала между нами.

— Итак, вы едете завтра, Наттана?

— Да, — ответила она, понурясь.

— О, моя дорогая!

Я сел рядом, обнял и поцеловал ее. Движения мои были ласковы и осторожны, именно потому, что слишком велико было мое желание, она же хоть и не противилась, но не стала подставлять губы для поцелуя, и мне пришлось самому искать их.

— Нам пора, — неожиданно сказала она. — Лучше прийти чуть пораньше, до ужина.

Наш день подходил к концу, и на сердце камнем легла мертвящая тоска. Мы загасили тлеющие головни, и на мельнице стало темно и холодно. На мгновение мы остановились. Я крепко-крепко обнял Наттану и поцеловал ее. Упоительно было ощущать ее прижимавшееся ко мне тело, в этом таилась сладостная новизна. Надев плащи, мы вышли в ночь.

Дорога смутно белела в темноте. Когда мы проходили мимо запруды, было слышно звонкое потрескивание льда. Наттана, как мне показалось, с некоторой неохотой протянула мне руку, но я крепко взял и не выпускал ее.

Мы шли среди сосен, недалеко от дома, легкий ветер шумел в невидимых ветвях, небо было беззвездным.

Наттана отняла руку и остановилась:

— Кажется, пошел снег.

— Я не хочу, чтобы вы завтра уезжали! — воскликнул я, но она ничего не ответила... даже не сказала, что ей тоже жаль.

— Щеки горят, — произнесла она. — Это-то нас и выдаст.

— Что вы делаете?

Темная, закутанная в плащ фигура вдруг исчезла. Голос Наттаны раздался откуда-то снизу:

— Хочу остудить лицо в снегу. Вы так жарко меня целовали!

В голосе девушки послышался упрек. Я нагнулся, погладил ее руки, обнял за плечи, но она вырвалась и поднялась с колен со сдавленным смешком.

Я быстро пошел за ней.

— Наттана, прежде чем войти, позвольте...

— Что?

— Позвольте поцеловать вас!

— Прошу вас, не надо!

Дневное состояние гармонии, когда мы понимали друг друга с полуслова, прошло. Казалось, оно будет длиться вечно, а растаяло как дым.

Наттана крикнула сидевшим в гостиной, что пойдет переодеться, и, никем не замеченная, взбежала по лестнице, пряча свои предательски горящие щеки. Я вошел и первое, что увидел, была крупная, оживленная фигура Дорна, но я не мог справиться с еще обуревавшими меня чувствами и до конца осознать реальность его появления. Все Файны были в сборе.

По нашему обычаю, мы обменялись рукопожатием. Дорн выглядел похudevшим, но счастливым.

— Ну как съездил? — спросил я.

Дорн рассказал о своей поездке. Наша с Наттаной догадка подтвердилась — Дорн приехал к вечеру... Задумался ли он над тем, почему я не встречаю его?

Файны заговорили все вместе, стало шумно.

— Дорна велела передать, что хочет как-нибудь серьезно поговорить с тобой, — быстро, вполголоса сказал Дорн.

Но мне этого не хотелось. Я все еще боялся ее и знал, что по-прежнему ее люблю.

За ужином Наттана была в своем лучшем платье — том, которое надевала в день королевской аудиенции. Любопытно, виделась ли она мне сейчас такой же, как и прочим сидящим за столом. Казалось, я вижу на ее лице следы своих поцелуев, а на своем по-прежнему ощущаю поцелуи Наттаны. Трудно было поверить, что такая живая и теплая память о наших объятиях и ласках незаметна постороннему взгляду, и, хоть мы и были сейчас разобщены и никто ни о чем не догадывался, я переживал глубокое чувство горделивого удовлетворения.

Проницательный взгляд Дорна часто останавливался на Наттане, она же в свою очередь то и дело быстро взглядывала на меня, так что вряд ли кто-либо мог это заметить.

Им предстояло провести вместе два дня. Оба были так красивы! Втайне я негодовал, когда Дорн сделал Наттане комплимент, сказав, что она очень хороша сегодня и что, он полагает, ее визит пошел ей на пользу.

— Я была здесь очень счастлива, — сказала девушка. Сердце мое предательски екнуло, но, разумеется, слова эти вполне можно было отнести и на счет хозяев дома.

После ужина мы перешли в гостиную. Я хотел остаться наедине с Наттаной, придумывая планы, как бы это осуществить, но сама Наттана и положила конец моим мечтам, заявив, что хочет выспаться перед поездкой, и ушла к себе.

Таким образом, в комнате остались только мы с Дорном. Передо мной сидел мой лучший, мой самый дорогой друг, которому через два дня предстояло жениться. И досадно было мне, что я не могу забыть о Наттане и уделить ему все мое внимание.

Дорн рассказал о своих планах. Они с Неккой решили отправиться вниз по долине — к Острову, поездка должна была занять предположительно пять дней. В поместье накопилось много работы, и Дорн рассчитывал пробыть там около месяца, если только он не понадобится деду в Городе. Если мне захочется навестить его, я могу приезжать без колебаний. А весной мы вдвоем, может быть в компании Некки, отправимся в путешествие. Ничто не должно вмешиваться в наши планы. И все же слова друга едва доходили до меня.

Потом он спросил, что намереваюсь делать я, и я ответил, что рассчитываю пробыть у Файнов до отъезда из Островитянии, буду работать для них, писать, время от времени выбираясь к кому-нибудь погостить — конечно же, на остров к Дорнам и, может быть, к Хисам.

Дорн внимательно посмотрел на меня, так что я невольно отвел взгляд. Может, мне следовало обратиться к своему беспристрастному и прекрасно, едва ли не как я сам, понимающему меня другу за советом — как мне дальше вести себя с Наттаной... Но, по всей видимости, все уже было кончено. Быть может, позволив мне — в минуту слабости — чересчур приблизиться к себе, она уже раскаивалась в этом.

Но имя Наттаны так и не прозвучало. После паузы Дорн сказал:

— Несколько раз я думал пригласить тебя поехать со мной, чтобы ты был там, когда мы с Неккой будем объявлять о своем решении. У тебя дома так бы и случилось. Ты был бы моим шафером. И мне этого хотелось, но, я думаю, у Некки другое мнение, а мне не хотелось бы пользоваться случаем. Понимаешь?

— О да, конечно!

Мы снова помолчали, потом я сказал, что очень рад его женитьбе.

— Я тоже, — ответил Дорн, — и я спокоен.

Он быстро взглянул на меня, и, хотя его мысль осталась невысказанной, я понял, что мой друг вовсе не хочет что-либо утаивать, сознательно держа меня в неведении.

— Жизнь моя отныне будет такой, какую я всегда хотел, — медленно произнес он.

Наша дружба оставалась прочной, как и прежде, и каждый из нас мог всегда положиться на другого.

В комнате моей было холодно так, что пар шел изо рта. Я положил в очаг дрова на утро и быстро разделся, впрочем скоро согревшись под простынями.

Мне снился какой-то бесконечный сон: темные переходы, нескончаемые разговоры, один и тот же назойливо повторяемый вопрос, я то просыпался, чтобы убедиться, что кругом по-прежнему ночная тьма, то снова засыпал, и мне опять снилось, что я — перед какой-то вот-вот готовой решиться проблемой, решение которой тем не менее постоянно откладывалось, снилась то удалявшаяся, то приближавшаяся Наттана — то в виде темной фигуры в плаще, то отчетливо близкая, живая, осязаемая, и сладкая боль... стук в дверь... темный квадрат, лишь чуть более светлый, чем тьма ночи, квадрат, бывший окном моей комнаты в комнате Файнов, уже реальном, уже не из сна...

Стук в дверь тоже обрел реальность, стал фактом, на который надо было как-то отреагировать. С трудом стряхнув остатки сна, я привстал. За окном было так темно, что, должно быть, еще стояла глубокая ночь.

— Кто там? — спросил я, вспоминая, в каком направлении дверь, и глазами стараясь отыскать ее в темноте. Полоса яркого желтого света протянулась вдоль края открывающейся двери. Вот высветилось лицо, темные тени падали на него сверху.

— Наттана! — прошептал я.

— Да, это я, Наттана, — прозвучал в ответ ровный, спокойный голос.

Девушка прошла в комнату, на ее державшую свечу руку ложились розовые блики. Свет частями выхватывал из темноты ее фигуру; она была уже совсем одета. Должно быть, скоро рассвет — пора вставать.

— Мара уже поднялась, Дорн тоже встает. Я давно оделась. Сказала Маре, что разбужу вас... Может, развести огонь? Утро холодное.

Голос ее, ласковый, звучал как бы издалека. Мне никак не удавалось отделаться от чувства, что я все еще сплю.

— Сделайте одолжение, — сказал я.

Плавающий в потемках язычок пламени проследовал к столу. Волосы Наттаны вспыхивали рыже-золотистыми искрами.

— Кремень на полке, — сказал я и, облокотившись, следил за тем, как темная фигура девушки согнулась над очагом.

— Вы так добры ко мне, Наттана, даже разжигаете мне очаг.

— Всякий сделал бы то же.

— Все равно вы добрая.

— Я боялась, что вы с Дорном можете проспать.

— Еще рано?

— Пора одеваться, завтракать, а нам надо будет выехать с первыми лучами зари.

— Мне тоже пора вставать?

— Нет, вы оставайтесь в постели, пока комната еще не прогреется. Время еще есть.

Пламя в очаге поднялось, озаряя фигуру девушки, согревая ее, делая живее и ярче. Отблески огня падали на повернутое ко мне в профиль умиротворенное, сохранившее дремотное выражение лицо.

— Что разбудило вас, Наттана?

Губы ее шевельнулись, она протянула руки к полыхавшему огню:

— Я уже давно не сплю.

Я ждал, теряясь в догадках. Неужели она пришла с плохими новостями относительно моей поездки в Верхнююю?

— Снег идет, — сказала девушка.

— Так вы едете? — воскликнул я, внезапно испугавшись.

— Дорн говорит — да. Он не боится, да и мне с ним не страшно. Я поеду на его лошади, а он на моей.

Внезапная, но вполне определенная мысль мелькнула у меня.

— Ваши лошади ведь не привыкли к снегу? — спросил я.

— Да, не очень.

— Может быть, возьмете Фэка?

Прежде чем ответить, Наттана долго молчала.

— Я не могу. Вы на целую зиму останетесь без лошади. А такой снегопад может завалить все ущелья.

— Но зато я буду знать, что Фэк у вас. И он может пригодиться на Верхней ферме. А я приеду и заберу его, когда погода наладится.

— Хорошо бы, снег перестал, — сказала Наттана. — Видите ли, Дорн сказал, что неплохо бы нам обоим иметь лошадей, привыкших к горам, но особого разговора об этом не было. Теперь вы завели речь про то же. Что вы будете делать без Фэка?

— Вы можете оставить мне свою. Этой зимой лошадь мне не слишком понадобится. — Я перевел дыхание. — Через месяц я, пожалуй, приду навестить вас пешком.

— Я думала о вашем посещении.

— Оно никак не связано с тем, возьмете вы Фэка или нет.

Девушка поднялась и встала перед огнем.

— Я много-много думала...

— Я приеду, Наттана, — воскликнул я, — я обязательно приеду!

Девушка молчала. Вся ее изящная, но крепкая фигура была сейчас освещена огнем очага. Она уже успела надеть высокие, до середины икры, теплые ботинки. Тугие икры были обтянуты шерстяными чулками.

— Не забудьте поговорить с Доном, — сказал я.

Ответа не последовало. Свечное пламя ярко освещало голову девушки сзади.

— Обещайте, что поговорите с ним, Наттана!

— Снег выпал рано, — сказала она. — Наверное, Дон еще не скоро соберется.

— Не опасно ли вам ехать сегодня?

— Дорн считает, что опасности нет. Чтобы ущелье стало непроходимым, снег должен идти несколько дней подряд. Ну и конечно, мы всегда можем вернуться. Но это не главное...

— Так вы возьмете Фэка?

Наттана вздохнула:

— Если вы доверяете его мне... Ах нет, Джонланг!

— Но вам будет спокойнее. А если не вам, то мне. Возьмите его, чтобы мне было спокойнее, Наттана.

— Вы и вправду хотите, чтобы я его взяла?

— Да! Это единственное, чего я хочу.

— Тогда я не могу отказаться. Хотя мне следовало бы...

— Вы не станете отказываться. Вы просто возьмете Фэка.

— Я буду очень о нем заботиться, — сказала девушка. — А весной верну хозяину.

— Наттана, я все равно приду навестить вас.

Легкая дрожь пробежала по телу Наттаны. Она закрыла лицо руками, потом резко отняла их.

— Мне еще надо кое-что сделать, — сказала она, — а вам пора вставать. Я пошла. Только зажгу ваши свечи.

Она поднесла пламя свечи к фитилям двух свечек, стоявших на столе; в льющемся снизу свете ее подбородок и шея были прелестны.

Потом она пошла к дверям.

— Спасибо, Наттана.

Девушка остановилась на пороге:

— Путь через горы — дело не легкое. Вам следует потренироваться ходить в снегоступах и на лыжах.

Сказав это, она быстро вышла, тихонько прикрыв за собой дверь.

Дорн рвался в дорогу. Завтрак получился суевликий; кто-нибудь поминутно вскакивал из-за стола, вспомнив, что что-то еще недоделано, не собрано. Разумеется, говорили и о погоде; поездка Дорна и Наттаны была вызовом снегопаду. Я беспокоился, что девушка может стать невольной жертвой нетерпеливого желания Дорна увидеть ее сестру, и переживал как всякий влюбленный; и все же я был счастлив при мысли о предстоящем переходе с Доном. Итак, нас с Наттаной ждали приключения.

Файны, Мара и я вышли на двор проводить гостей. Погода стояла тихая, еще не совсем рассвело. В дымчато-голубом воздухе медленно кружились снежинки. Их было мало, но казалось, они застилают темный горизонт. Меня охватил страх за двух моих самых дорогих друзей, отправляющихся в опасный путь, в такие глухие сумерки.

Мара и оба брата остались под навесом на террасе, я же подошел к Фэку, чтобы попрощаться с ним, прижав к груди его голову, пока Дорн приторачивал суму Наттаны к луке.

— С этими лошадами нам тревожиться нечего, — сказал он. — Теперь мы наверняка пробьемся. То, что ты предложил Фэка, — услуга Некке и мне, да и Наттане тоже.

Наконец показалась и сама Наттана, в плаще с поднятым капюшоном и сапожках. Попрощавшись с хозяевами, она подошла ко мне.

— Мара дала мне варежки, — сказала она, улыбнувшись. — Так что теперь можете не беспокоиться, что у меня будут мерзнуть руки.

Мы посмотрели друг на друга. Тень затаенной боли и невысказанных чувств мелькнула в глазах девушки.

— Спасибо за Фэка!

Она повернулась и ласково провела рукой по лошадиной морде.

— Я просто счастлив, что вы его взяли.

— Я люблю его, — заметила Наттана, причем Фэк кивнул и выпустил струю пара из

ноздрей. Наттана вздохнула и потянулась всем телом, как от усталости.

— Что ж... — вопросительно протянула она. — Почему бы и нет?

Дорн и Файны, я уверен, видели нас, но словно и не обратили никакого внимания. Я поцеловал Наттану в ее упругие, шелковистые губы. От них, от ее дыхания исходило тепло, но щеки были холодными. Девушка ответила на мой поцелуй, на мгновение крепко прижавшись ко мне всем телом, потом быстро повернулась и, бросив на ходу быстрый взгляд на Файнов и Мару, подошла к Фэку и со смехом вскочила в седло. Усевшись покрепче, она еще раз напоследок поблагодарила хозяев и улыбнулась мне.

Дорн уже ждал сидя в седле.

И вот темные фигуры, верхом на каурых в серых подпалинах лошадях, стали медленно удаляться в синюю дымку, пока не превратились в два расплывчатых пятна. Голова в остроконечном капюшоне была обращена к Дорну.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ



Островитянские снегоступы легче и менее прочны, чем у американских индейцев; они имеют удлиненную форму, причем ступня опирается на небольшую цельную площадку в центре, по краям оплетенную тонким, не впитывающим влагу ротанговым волокном. Островитянские лыжи тоже достаточно своеобразны. Они короче, шире, и непосредственно за и перед креплением в них вырезаны прямоугольные пазы, в каждый из которых входит незакрепленный деревянный брусок восемь дюймов длиной и дюйм шириной, сточенный на конце. Бруски могут плотно вставляться в пазы, так что нижняя поверхность лыжи становится ровной, либо же задний упор смещают, и тогда брусок, поднимаясь, входит в паз при движении лыжи вперед или же, наоборот, выходит из паза, погружаясь в снег и препятствуя обратному скольжению. За счет этого приспособления на островитянских лыжах можно преодолевать самые крутые подъемы. Неудобство же, которое я обнаружил, заключалось в том, что при определенном состоянии снега бруски заклинивало.

Когда в день отъезда Наттаны я завел речь о лыжах и снегоступах, недостатка в информации не было. Каждый знал о них, у каждого они были, и каждый хоть раз да пользовался ими. Толли с фермы Кетлинов считался лучшим знатоком в этом деле, и было решено, что он вскорости обучит меня всем премудростям. Через несколько дней пара новеньких лыж и снегоступов ожидала меня, и с тех пор, куда бы я ни направлялся, обязательно надевал то или другое, чтобы попрактиковаться.

Выяснилось, что я не напрасно одолжил Фэка Наттане. На следующий день после того, как она уехала, в усадьбе появились двое мужчин из Доула. Вид у них был измученный. Хозяева предложили им переночевать, и те рассказали, что видели Дорна с Наттаной на постоялом дворе, в хорошем расположении духа и вполне бодрыми, несмотря на целый день тяжелого пути; и все же с другой стороны седловины спуск представлялся рискованным, почти невозможным, разве что на привычных к горам лошадях. Вероятно, пока мы говорили с путниками, там, в Верхней усадьбе, Дорн и Некка объявили собравшимся свою волю — стать мужем и женой. Три дня спустя моя догадка подтвердилась, о чем сообщили новые гости, нашедшие приют у Файнов. Они были последними, пришедшими с перевала. Первого июля он был закрыт.

Зимы, когда перевал становился непроходимым, случались каждые шесть-семь лет. Если не происходило раннего таяния снегов, по дороге в Тиндал и ущелье Мора проехать верхом было нельзя. И если люди хотели попасть туда или выбраться оттуда, им приходилось отправляться пешком, а еще лучше на лыжах или снегоступах, то взбираясь вверх, то скользя вниз по горным склонам.

Работа у меня шла на лад. Починку изгородей на открытом воздухе пришлось отложить, но штабеля опор и жердей на мельнице росли. Я использовал любую возможность, когда лед оттаивал настолько, чтобы дать возможность воде течь. В другое время, дыша ароматным, бодрящим запахом смолы, я подготавливал распиленный материал, просмаливая его, чтобы держался дольше, или выполняя разного рода каменщицкую работу в амбаре, мастерской и на мельнице. Я старался заниматься физической работой не менее четырех часов в день, примерно столько же, сколько тратили на это люди с двух соседних ферм — не слишком долго, чтобы это мне надоедало, но и не слишком мало, чтобы чувствовать себя бесполезным нахлебником в доме моих хозяев. Дополняли физический труд ежедневные два-три часа сочинения статей для журнала, в которых я описывал свой опыт островитянской жизни. В результате у меня сложился

вполне устойчивый рабочий график. Были и другие случайные работы, которые я выполнял с удовольствием, то помогая в качестве секретаря Исле Файну, то исполняя домашние поручения Мары, то работая с Анором в кузнице, тоже помещавшейся в мастерской, а временами давая уроки истории в школе, устроенной Толлией, помогая ее брату делать лыжи, и многое другое. Нередко приходилось мне и развлекать моих хозяев и их гостей. По вечерам, когда все собирались вместе, публика с неподдельным интересом слушала описания американской жизни и все, что я мог вспомнить из Эзопа, рассказов дядюшки Римуса или мифов. Всякий раз, отправляясь в гости, я заранее готовил несколько подобных историй.

Такой образ жизни, чтобы быть вполне гармоничным, нуждался в качестве дополнения в ежедневной, длившейся час или два деятельности на свежем воздухе, что скорее можно было считать отдыхом, нежели работой. Необходимость поддерживать крепость мышц и желание стать опытным в передвижении на лыжах и снегоступах — совпадали. Я не хотел быть обузой Дону во время нашего будущего перехода да и потерять форму, как то случилось год назад. Найти компаньона оказалось несложно; я был преисполнен энергии, и мне вовсе не хотелось проводить время в одиночестве. Довольно скоро все окрестные молодые люди, вместе или поодиночке, стали присоединяться к моим полуденным лыжным прогулкам по холмам. Когда мы взбирались вверх по склону, бруски-«тормоза» производили характерный звук, мягкое клацание, которое мало-помалу прочно связалось в моем представлении с самими лыжными вылазками. Погода по большей части стояла замечательная, и с наших холмов открывался величественный вид на Островную гору — парящий в небе белоснежный купол, чье основание было столь же безупречно белым, как и его идеально округлая вершина. Такие прогулки, на час-два, до наступления темноты или при лунном свете почти превратились в привычку. Приятно было каждый раз встречать кого-то из знакомых, и нередко потом мы отправлялись к кому-нибудь ужинать.

Неизменным охотником до совместных прогулок стал Ларнел, и в результате с ним я виделся чаще, чем с кем-либо, поскольку он появлялся в назначенный час, если работа позволяла ему, а иногда, я думаю, и если не позволяла. Объединяла нас увлеченность Наттаной. То и дело подвергаясь нападкам его любопытства, я скоро установил для себя пределы откровенности. Я рассказал ему о наших встречах, и все, что мог припомнить, об окружении, в котором она жила, но за эту черту я уже не переступал, да и Ларнел никогда не пытался добиться от меня интимных признаний. Его особенно интересовала история женитьбы Неттеры и Байна, как пример того, что дочь лорда провинции — Ислата — может выйти замуж за простого человека; возможно, это было для него свидетельством, что в семье Хисов такие браки — явление обычное. Я легко читал его мысли: он явно прочил себе такую же завидную партию.

В смысле сдержанности я, безусловно, превзошел молодого Ларнела. Разговаривая со мной, человеком близко знавшим Наттану, он, не таясь, лелеял мысль о том, что следующий его шаг — попытаться сблизиться с нею самой. Он виделся и беседовал с ней всего четыре раза, но этого оказалось достаточно для молодого человека, ведущего столь уединенный образ жизни. Было несомненно, что он постоянно думает о ней, мучимый страстным желанием. Ее кокетство, когда она, уступив прихоти Ларнела, сделала себе прическу, было жестоким — ведь юноша строил на этом происшествии едва ли не все свои надежды. Он словно и не замечал, что обнаруживает передо мною свои самые сокровенные желания. Страсть, столь сильно проявлявшаяся в этом обаятельном и крепком молодом человеке, скорее ровеснике Наттаны, чем моем, разбередила и мои чувства.

Время шло, и я подолгу не возвращался к мыслям о Дорне; память о ней пробуждалась при виде полосы заката, могла больно кольнуть искрой отраженного снегом света. Но желание обладать ею остыло. Мысли наши были о разном, вместе нам не о чем было говорить, мы

находились как бы в разных плоскостях бытия, однако ее непреложная, абсолютная правда сохраняла надо мной свою власть.

И все же я был счастлив, если не считать завладевшего мной духа неусидчивости! Жизнь исправно, как бесперебойный механизм, удовлетворяла мои желания, каждый день даря часы и мгновения, которым можно было радоваться, как новой книге, или забавляться ими, как новой игрушкой. Тревога, что я попусту трачу время, не оставляла меня, но всего в тридцати пяти милях по прямой к северо-западу, за горами, за высоким белым куполом, была Наттана, одно имя которой жгло как огонь.

Дни складывались в недели, недели — в месяцы, однако я не терял веры в появление Дона. Ему понадобится неделя умеренной — не слишком холодной, но и не слишком теплой — погоды. Такие недели чаще выпадали в августе, чем в июле. Пока же меня окружала полная приятных забот жизнь.

Работа для Файнов, сочинение статей и, наконец, пожалуй, самое лучшее, самое интересное — простое, повседневное общение с окружающими. Обычно по вечерам мне не сиделось у очага в гостиной. В долине жило восемь семей, и у каждой был один «званный день» в месяц, который я никогда не пропускал. Помимо таких специальных дней, я сам навещал наших соседей, стараясь не выказывать предпочтения какой-либо одной семье или кому-нибудь из ее членов, да и в самом деле все они были мне равно симпатичны. Я заходил без предупреждения и завязывал беседу с тем, кого встречал в доме: с молодым Бардом, который немного занимался бегом и даже участвовал в соревнованиях, можно было поговорить о спорте, с Кетлином — о политике, с Толли о поэзии, с Анором об устройстве различных механизмов, с Толлией об образовании, с молодым Ларнелом о Наттане, а об искусстве — с Кетлиной Аттаной.

В июле и начале августа устраивались лыжные катания по вечерам, при луне, и два раза, у Кетлинов, собирались на танцы, похожие на те, что танцевали у Хисов, но я уже не пытался кого-нибудь научить танцевать бостон. Потом мы дважды компанией отправлялись на «званные дни» к окрестным хозяевам, выезжая днем и возвращаясь поздно вечером, при луне, в одно из этих посещений навестив ферму Грейтлингов — самую дальнюю, последнюю по дороге к ущелью Мора. Всего нас было девять: Кетлин и трое его старших детей, молодой Ларнел, Толли, младший брат Барда, его жена Анора и я. Кетлин и его семья были землевладельцами, или *танар*, остальные — арендаторами, то есть *денерир*, я же вообще не относился ни к какому разряду, однако эти различия не ощущались никем. Правда, чувствовалось, что Исла Файн принадлежит к иной категории людей, но лишь в силу его собственных, личностных качеств, а также мудрости и власти, которой по семейной традиции обладало его политическое положение.

О, эти черные и белые краски ночи, когда мы спускались домой в нашу долину! Я шел рядом с Кетлиной Аттаной, моей любимицей; ей только-только исполнилось двадцать, и она говорила со мной, мужчиной, человеком старше ее годами, на равных, словно этот лишь недавно освоенный ею «взрослый» язык все еще был ей в новинку, и нам всегда было с ней о чем поговорить. Ее очень увлекала резьба, и в девушке уже чувствовалась индивидуальность юного скульптора. Я видел ее работы, они нравились мне, привлекали по-детски чистым, обостренным видением. Это были барельефы, изображавшие то растительный орнамент, то собаку, то вставшего на колени обнаженного мальчика, то портрет сестры, где Аттане удалось передать все ее обаяние, то шаржированный, но очень похожий портрет отца. Лучшие из ее работ предназначались для украшения стен их дома. Она надеялась, что людям будет нужно ее искусство. Жажда работы одолевала ее. Она сказала, что собирается вырезать и мой портрет, ведь мое появление в долине было событием незаурядным! Небольшой квадратный барельеф, им можно украсить мельницу, где я так часто и подолгу работал... Я не против? Она была

очаровательна, в своих шаркающих по снегу снегоступах, вся поглощенная собственными мыслями, уверенная в себе, но готовая смутиться от любой мелочи, такая похожая на моих милых соотечественниц, но в глубине души иная, островитянская девушка — робкая, сдержанная, но с увлечением купающаяся обнаженной вместе с мужчинами, невинная и обворожительная.

Мы продолжали разговор, но мысли мои вернулись к Наттане. Со дня ее отъезда минуло шесть недель. Она сказала: «в следующем месяце», но следующий месяц, июль, уже начался.

Прошла еще неделя. Настало полнолуние, и ночное светило пошло на ущерб. Я уговорил Анора, чтобы он помог мне сделать коньки. Наконец коньки были готовы — целиком сработанные Анором.

Тринадцатого августа, в ясный студень день, около пяти часов, когда солнце только село, Ларнел с сестрой и я, возвращаясь после лыжной прогулки, перебирались через изгородь с западной стороны амбара.

— Глядите-ка! — сказал Ларнел тоном, заставившим меня и Ларнеллу обернуться.

Мужчина с большим тюком за спиной спускался по склону, проворно скользя между деревьями, и когда казалось, что он вот-вот врежется в изгородь, круто развернулся, подняв облако снежной пыли. В мгновение ока лыжи были переброшены через изгородь, на нашу сторону, сам незнакомец лихо перепрыгнул через нее и, снова встав на лыжи, двинулся к нам. Он был без головного убора, черные как смоль волосы разделены посередине безупречным пробором.

— Но это же Дон, — сказала Ларнелла. — Интересно, что его сюда привело?

Сидя за обеденным столом Файнов, Дон, казалось, один занимал целую его сторону. Он приехал за мной. Позавчера он вышел со своей фермы и добрался до сторожки в долине Доринга; переночевав там, он прошел через Островной перевал, дойдя до скотоводческой фермы одного из Танаров, сегодня он был уже у Файнов. Погода стояла хорошая. Быть может, я не против выехать прямо утром?

Рядом с этим незаурядным человеком прочие казались незначительными. Крупный, крепко сбитый и почти уродливый, он поражал своей мужественностью, а потому казался почти красивым. Его довольно низкий лоб отличался благородными, уверенными очертаниями, волосы вздымались над ним, как два мощных черных Крыла. Густые черные ломаные брови нависали над глазами. Верхние веки у краев образовали складку, а маленькие глаза были широко расставлены. Светло-зеленые, они порою вспыхивали, как огненный желтый бриллиант. Короткий нос с широкими ноздрями можно было назвать точеным. Остальную часть лица скрывала черная борода.

Каждый невольно чувствовал угрозу, исходящую от его мощной, гориллоподобной фигуры. У него были крупные руки, но длинные, тонкие, с тщательно ухоженными ногтями пальцы. Говорил он обычно ровным, высоким голосом, почти тенором, никак не вязавшимся с его обликом. Он выглядел как джентльмен, едва ли не денди, одновременно напоминая могучего пещерного человека. Обворожительная улыбка освещала все его в общем-то угрюмое лицо, напомилавшее море перед бурей.

Он был немногословен и тем не менее всегда умел расположить к себе. На любой вопрос вы получали дельный, доброжелательный, пусть и весьма краткий ответ. Казалось, любой может идеально ужиться с ним, однако постичь его представлялось равно невозможным.

Хотя приезд Дона и не был неожиданностью, я оказался не вполне готов к нему, как и к тому, что скоро, может быть, увижу Наттану, но мысль о том, что мне предстоит в разгар зимы пробираться через снежные заносы по высокогорному перевалу, не оставляла слишком много времени, чтобы думать о посещении Верхней. Неведомые опасности — вот с чем мне предстояло столкнуться в первую очередь.

— Первый день будет легким, — сказал Дон, и, пожалуй, это был единственный комментарий. Но лучшего проводника вряд ли можно было сыскать. Когда дела шли у меня на лад, он не вмешивался, когда же требовалась помощь, он оказывался тут как тут и делал все, что было необходимо.

Из всех знакомых я попрощался только с Файнами и Марой. Поклажа моя состояла из одной смены белья, туалетных принадлежностей, коньков и пачки писчей бумаги. Когда я вернусь? Трудно сказать. Может быть, недели через две, а может быть, и больше. Я чувствовал, что ввязываюсь в самую отчаянную авантюру в моей жизни. Все было необычным. Все постоянно балансировало на грани невероятного сна.

Мы выступили на лыжах без особой спешки, наши снегоступы были привязаны к дорожным мешкам. Я чувствовал себя в хорошей форме, хотя вылазки на соседние фермы отняли больше сил, чем я предполагал, а ведь впереди меня ожидала отнюдь не увеселительная прогулка. Однако мы прошли всего восемнадцать миль, поднявшись в общей сложности на тысячу футов, — нагрузка по силам, и до Танаров я добрался даже более свежим, чем когда мы выходили или ночью, проведенной почти без сна.

Танар — одно из распространенных имен в Островитянии, его носят около двадцати пяти семейств. Единственными обитателями дома, где мы остановились, были женщина тридцати с небольшим лет — дочь покойного судьи Танара — и ее муж, Орлан, немногим старше. О них обоих у меня осталось самое смутное воспоминание, поскольку следующие два дня оказались полны столькими и такими волнующими событиями, которые оттеснили образ Танаров куда-то далеко в прошлое.

Мы вышли на рассвете; пройти предстояло всего десять миль по прямой, затем следовал подъем в четыре тысячи футов, и поначалу это снова показалось легко. Наш путь лежал через леса к западу от Фрайса и должен был вывести нас к границе леса на высоте семь тысяч футов, точно в том самом месте, где Дон поставил свою «южную сторожку». В ней мы собирались заночевать, а назавтра, пройдя перевал, спуститься к сторожке в долине Доринга или, если успеем, проделать весь путь до Хисов.

Накатанная тропа скоро кончилась, и подниматься стало все труднее и труднее. Лес пошел густой, снег здесь лежал глубокий, рыхлый, и местами лыжи проваливались. Как Дон определял нужное направление — сказать не берусь. Я чувствовал лишь, что мы забираемся все выше. На деревьях не было зарубок, на местности — каких-либо отметок, а служивший некоторое время Ривс мы пересекли, и река скрылась из глаз. К тому же и шли мы иным маршрутом, не тем, которым пользовался Дон на пути к Файнам, потому что он всегда поднимался одной дорогой, а спускался — другой. Подъем почти сплошь превратился в выкарабкивание из снежных ям, куда я проваливался, или возни со снегоступами, когда приходилось снимать лыжи, укрепляя их за спиной. Тем не менее мы упорно продвигались вперед, примерно по миле в час. Уверен, что в одиночку Дон мог бы идти куда быстрее. И все же по большей части он предоставлял мне выпутываться самому, из чего я заключил, что держусь не так уж плохо. И вообще идти с ним было замечательно, настолько он был поглощен тем, что видел и слышал кругом, — жизнью заснеженного леса, следами животных и птиц. Несколькими словами, а иногда улыбкой и жестом или попросту движением бровей он обращал мое внимание на то, что видел и слышал сам, так что восхождение наше было больше чем просто восхождение.

В час, после семи часов пути и привала, мы достигли лесной громады, и тут-то перед нами впервые открылся действительно великолепный вид. На востоке вздымалась Малая Островная с высокой округлой вершиной, заснеженная и уступистая. И хотя сама Островная видна не была, у наших ног простирались равнины Островитянии; ниже широкой полосы лесов расстилались склоны горных пастбищ, а за ними тянулись уже и сами равнины, уходящие в темную синюю даль, ограниченную почти черной, как грозное море, чертой горизонта.

Над нами нависали ледяные выступы и снежные поля, выше была только бездонная синева небес, однако мы по-прежнему не снимали снегоступов, к которым Дон приспособил еще и острые металлические шипы, после чего, взяв веревку, мы обвязали свободный конец каждый вокруг себя. Путь, выбранный Доном, был извилист и крут, но вернее других вел к цели. Лишь в нескольких местах передвигаться удавалось с трудом, и только пару раз наши снегоступы давали сбой. Часам к шести мы были у сторожки.

Она стояла в пугающе пустынном месте, наполовину занесенная снегом, с запада и востока укрытием ей служили отроги горы, а передом она была обращена к открытой южной стороне. Сложенная из тяжелых камней, сторожка занимала площадь около восьми квадратных футов. Каждый дюйм внутреннего пространства был строжайше и продуманно использован; единственное маленькое оконце глядело на крутой горный склон. Сидеть можно было только на двух расположенных вдоль стен койках. Впрочем, удобнее было даже не сидеть, а лежать. Дон развел огонь в небольшом очаге. Я чувствовал себя усталым, но силы еще оставались. Когда наше изумительное, волнующее, дивное путешествие подойдет к концу — какой упоительно радостной будет встреча с Наттаной!

С этой мыслью я уснул.

Такого холода, как в ту ночь, я никогда не мог себе и представить. Камни горы трещали и скрежетали на морозе. Казалось, неведомое черное чудовище подстережет нас снаружи в ужасающей тишине. Дон мирно спал. Не знаю, тепло ли ему было, но мне было отнюдь не жарко. Пришлось, собрав всю свою волю в кулак, встать и снова разжечь огонь. Пальцы на руках и ногах так ныли, что я решил было, что обморозил их; глаза слезились, но не от боли, а исключительно от холода... Какое блаженство испытал я, когда наконец согрелся и смог снова думать о Наттане, что никак не удавалось, пока мне было холодно.

— Сегодня пройдем перевал, — сказал Дон, когда мы проснулись. Было еще рано. Позавтракав густым, горячим супом, приятно обжигавшим внутренности, Дон связал обе пары лыж и снегоступов и закинул их за спину. Прежде чем выйти, мы, по его настоянию, согрели нашу одежду, развесив ее перед очагом.

Снаружи едва рассвело, и каждый вдох ранил легкие, как острое лезвие, и боль эта не отпускала ни на минуту.

Трижды я думал, что не смогу сделать дальше и шагу. Вслух я об этом, естественно, не говорил, но несколько раз мой спутник как бы невзначай сам замечал, что для него такое восхождение — дело привычное, а вот я, похоже, еще не совсем освоился.

— Теперь я знаю ваши силы, — сказал он помимо прочего. — Они еще далеко не на исходе.

Он даже пытался рассмешить меня, но смеяться не хватало воздуха. Да и жаловаться на невыносимый, дьявольский холод тоже было мало проку.

«О Наттана, — думал я, — в хорошенькую же прогулку по преисподней вы меня втянули! Вы мне еще за это ответите!»

Хотя бы ради этого стоило дойти...

— Не думал, что будет так холодно, — раздался где-то рядом голос, и я понял, что уснул на

ходу. Более ужасное место для пробуждения вряд ли можно было подыскать! Кругом были одни лишь голые скалы, ледяные и снежные заторы, ослепительно синее небо над головой и веревка, безжалостно тянувшая меня вперед.

И все же, когда мы достигли наконец вершины перевала и я понял, где нахожусь, я был так горд, будто проделал восхождение в одиночку.

Длина Островного ущелья чуть меньше одиннадцати тысяч футов. Дороги здесь нет. Некоторые пользуются им летом, срезая таким образом путь из Островной провинции в Верхний Доринг, но ни одна лошадь здесь не пройдет. Только Дон пользуется перевалом зимой, предпочитая этот маршрут остальным. Для него, знающего Островной перевал как никто, путь этот имел одно значительное преимущество. Мастерство скалолаза здесь не столь необходимо; ветры в ущелье были, как правило, столь сильны, что препятствовали замерзанию снега и образованию коварного наста; к тому же дистанция распадалась на множество мелких отрезков, и, хотя склон был достаточно крутым, знающий человек мог всегда найти дорогу. Дону, я думаю, подъем напомнил длинную череду ступеней, он знал, что никто не способен повторить его маршрут, но знание это было беспристрастным и объективным, как медицинский диагноз. Ни к кому не будучи привязан особенно, он всегда был готов прийти на помощь, если чувствовал, что в ней нуждаются.

Он понимал: теперь, когда напряжение, вызванное подъемом, ослабло, а легким моим не придется вдыхать разреженный, студёный воздух, я могу утратить бдительность и оступиться при спуске. Вначале мне трудно было понять, почему мы идем так медленно, ведь вот она там, внизу, долина Доринга, всего в пяти тысячах футов под нами, а по прямой и того меньше. Раскинувшееся белым пятном озеро, почти сплошь окруженное темным кольцом лесов, казалось не больше чем в часе езды. Верхняя усадьба, со всеми своими строениями, лежала перед нами как на ладони, и там была Наттана. Я нисколько не сомневался, что увижу ее к концу дня. Очутиться рядом с Наттаной, в тепле и покое, казалось верхом блаженства.

Неожиданно мы вышли к «северной» сторожке Дона; как и «южная», она была поставлена на границе леса. Обе походили друг на друга как близнецы, с той лишь разницей, что «северная» глядела на север.

— Привал, — сказал Дон.

— Но еще рано, — возразил я, удивленный тем, что мой язык еще в состоянии произносить какие-то слова.

Дон махнул рукой в сторону запада. Солнце спускалось за край ровной, как море, долины!

Итак, наше прибытие в Верхнюю откладывалось. Разочарование обессилило меня. Не дававший покоя мальчишеский соблазн лишь подтверждал, что Дон прав и что силы мои на исходе.

Все тело ныло от усталости, и возможность расслабиться, вытянувшись на теплой койке, была как нельзя более кстати. Неужели мы и вправду одолели перевал и уже на другой стороне? Усталость пройдет. Дон сказал, что мы ступим на землю долины к завтрашнему полудню. И я увижу тебя, Наттана!

Сознание преодоленных трудностей и сладостное чувство покоя переполняли меня в эту последнюю ночь нашего путешествия с Доном. Лежа на койках, мы болтали, и сегодня Дон был разговорчивее, чем когда-либо. Он задал мне несколько любопытных вопросов насчет жизни в Америке. Не влияют ли поезда, быстроходные корабли и автомобили на восприятие человеком размеров страны? Не отнимает ли цивилизация интереса к вещам природным, естественным?.. Выслушав ответ, он мысленно взвешивал его, чтобы затем задать новый, словно доставая

карточку из некоего хранящегося у него в голове каталога, где все эти вопросы упорядочение ждали своей очереди.

И хоть я и не просил его, он сам завел разговор о том, что физически я теперь достаточно окреп для подобных вылазок в горы, в отличие от того, каким был при нашей встрече в ущелье Лор. Требовалось лишь немного поднакопить опыта. Затем, как учитель, разбирающий сочинение, он подробно прокомментировал мое умение и навыки, одновременно давая советы.

Беседа наша то и дело прерывалась долгими паузами. Я уже засыпал, когда он вновь нарушил молчание.

— У вас нет семьи, — сказал он.

Я ответил, что у меня есть родители и брат с сестрой.

— Я имел в виду — нет дома, — поправился мой спутник.

— Пока нет, — ответил я, предчувствуя, что мне придется выдержать еще одну дискуссию по поводу *алии*.

— Вы знаете немецкий? — спросил Дон.

Я сказал, что понимаю немецкую речь и могу объясняться в бытовой ситуации.

— А может немец по ошибке принять вас за немца?

— Конечно нет!

Дон погрузился в длительное раздумье.

— Хотите поучаствовать в настоящем приключении, постоять за правое дело? — спросил он наконец.

— Не часто приходилось.

— А случалось вам быть на краю гибели?

— Ни разу.

И снова Дон надолго умолк.

— Так все же, вы не против такого приключения?

— С риском для жизни?

— Да.

— Я уже давно решил для себя, что, если на вашу страну нападут, если это только не будут мои соотечественники, я буду сражаться за нее.

— Ждите известий от меня, — сказал Дон.

Что он имел в виду? Некое опасное предприятие, в котором могло пригодиться знание немецкого? Или речь шла о чем-то вроде разведки к северу от гор?

Они высились по ту сторону долины. Верхняя усадьба Хисов располагалась почти у острогов великана Дорингклорна. За ним начинались земли горских племен — бантов. Сейчас была зима, и снег мешал им, но весной? Гарнизонов не осталось, а немцы и уж тем более не особенно стремились охранять островитянскую границу.

Похоже, Дон намекал на поджидающую нас западню. По натуре я вряд ли мог бы назвать себя искателем приключений, но слова Дона вызвали во мне странное, пугающее волнение. Найти смерть в опасном приключении — неплохое завершение жизни, когда человек счастлив сегодняшним днем, но лишен будущего. А Дон, безусловно, был личностью, следовать за которой было великим счастьем и взирать на которую нельзя было без преданного обожания.

Обрывки нашего короткого разговора то и дело звучали у меня в ушах всю ночь и на следующее утро. Ко мне могут обратиться, и я, хорошенько подумав, должен буду дать ответ, решив, достоин ли я предложения. Интересно, приходилось ли будущим авантюристам волноваться так, как волновался я? Страхи и сомнения легко могли отравить пьянящее удовольствие авантюры. Но одно то, что Дон считал меня человеком, с которым можно вместе

пойти на риск, переполнило меня гордостью и — неослабевающим удивлением.

На завтрак снова была густая горячая похлебка, но на этот раз мы не спешили. Мне не терпелось уяснить смысл загадочных речей Дона, однако, надо признать, вызвать его на беседу было нелегко.

— Вчера вечером, — начал я, — вы сказали, что я могу получить от вас некое известие. Я не совсем понимаю, что именно подразумевалось, но у меня есть кое-какие догадки относительно «правого дела», которое вы имели в виду. Надеюсь, если понадобится вам, вы действительно обратитесь ко мне.

Итак, я уже отчасти связал себя словом. Это было жутковато и волнующе.

— Обращусь, — отвечал Дон. — Только не слишком увлекайтесь догадками. В любом случае прежде, чем уедете от Хисов, загляните ко мне. Мой дом — ваш дом.

Я поклонился, решив впредь быть столь же сдержанным и немногословным.

Каким легкомыслием могло все это показаться! И вместе с тем — какие серьезные последствия могло иметь! Так или иначе, я скоро увижусь с Наттаной. Какое странное стечение обстоятельств!

Расстояние до леса внизу было больше, чем могло показаться, гора сужалась по мере спуска, но долина не становилась ближе. Тем не менее после долгих часов карабка по крутым склонам, когда нередко приходилось прибегать к помощи веревки и ледоруба, мы наконец вышли к большому снежному полю. Здесь мы надели лыжи, и несколько минут стремительного, захватывающего дыхание полускольжения, полуполета — и вот оно уже позади, — белая кромка, пересекающая небосвод. Немного спустя мы оказались среди сосен, которые так хорошо прижились в долине Доринга. Крутой склон представлял некоторую опасность, но путь по нему был короче. Снег здесь лежал не такой глубокий, как по ту сторону хребта.

Выехав из леса к полудню, мы неожиданно оказались всего в ярдах ста от фермы Дона. Долина отсюда — рукой подать, а до Хисов оставалось не больше двух миль. И снова просторным коридором меж горных цепей лежала передо мной долина Доринга, у-образная при взгляде сверху.

Дальше Дону идти было незачем. Чем я мог отблагодарить его? Он посвятил мне целую неделю, и конечно, я был перед ним в долгу. Заплатить? Немыслимо. Нужных же слов признательности я не мог найти.

— Что ж, и для меня не вредно, — сказал Дон. — Проверил сторожки.

— Мы пользовались вашими дровами и вашими припасами.

— Зато я получше узнал Ланга.

Дон улыбнулся, и, глядя на его улыбку, я мигом перестал чувствовать себя должником.

Забросив за плечо суму и снегоступы, с лыжными палками под мышкой, я взял свои лыжи, прислоненные к стене дома. С трудом верилось, что я почти у цели и встреча с Наттаной произойдет буквально с минуты на минуту, но вид окружающего подавлял даже эту мысль. Файны далеко, я же словно отрезан от всей своей прошлой островитянской жизни, да и не только островитянской. Дон заразил меня жаждой приключений, Наттана была одним из них.

Через несколько секунд склон, на котором стоял дом Дона, остался позади; я скатился в долину. С каким облегчением, прислушиваясь к шороху своих лыж по снегу, бежал я вдоль ровно стелющейся дороги, окидывая взглядом на мили и мили раскинувшуюся к западу равнину. Славно было вновь спуститься на землю.

Верхняя усадьба, не видная от Дона из-за череды холмов, вдруг открылась передо мной не более чем в миле.

Подбежав к воротам, я быстро миновал их, не желая сбиваться с ритма. Я устал, клонило в сон, мечтал об отдыхе, потому что холодные ночи в сторожках не давали по-настоящему расслабиться, однако ноги мои двигались легко, и я мог бы пройти еще не одну милю.

На дороге показались следы лошадиных копыт. Я опять очутился в мире, где можно легко перемещаться с места на место, хотя к востоку за озером дорогу наверняка занесло снегом. Само озеро тоже представляло собой большое снежное поле, и, пожалуй, вряд ли подходило для катания на коньках.

Дорога спускалась к глубокому руслу Доринга. Река не замерзла, но валуны вдоль берегов были покрыты коркой льда. Берега блестели на солнце снежной белизной. На тонком слое снега, которым был устлан мост, отпечатались следы лыж и снегоступов.

Дальше дорога снова поднималась. Сворачивая влево, она вела на сотни миль вглубь долины к горам Хис, Мэнсон, Доринг и Марш. Это был запад, и я чувствовал себя почти дома.

Главная постройка усадьбы представляла собой низкое, вытянутое по фасаду двухэтажное здание. Оно одиноко стояло на обрывистом берегу озера, ничем не защищенное от ветра; поблизости не было ни деревца, если не считать нескольких высоких сосен, росших у дальнего крыла. Тесно сгрудившиеся конюшни, амбары и дома семьи Эккли прятались за рощицей вечнозеленых деревьев у одного из отрогов, круто подымавшихся вверх, к массиву Дорингклорн.

Вот и ворота. В остроконечной башенке я заметил окно, откуда Наттана, может быть, следила сейчас за мной. От ворот до дома протянулся гладкий участок почти нетронутого снега. Ступив на лыжню, я заскользил вперед.

Галопом подскать к дверям дома, на ходу выкрикая свое имя, было бы эффектно, но лошади у меня на сей раз не было, не было сил и кричать; сердце тяжело билось в груди. Сбросив лыжи на мощеном полу террасы, я постучал.

Дверь открыла Эттера, так похожая на сестру, но только подурневшую, что мне вдруг почудилось, будто передо мной — таинственно преобразившаяся Наттана.

— Ланг! — воскликнула она и, словно удивленная интонация могла сойти за нелюбезность, быстро добавила: — Мы вас как раз ждали.

Пристальный, чуть подозрительный, но вместе с тем приветливый взор был устремлен на меня. Я вспомнил, что, по словам Наттаны, она была одной из тех, кто разделял взгляды отца.

— Хотите сразу пройти в вашу комнату? — продолжала Эттера. — Я знаю — вам пришлось проделать нелегкий путь.

Узкая лестница вела из квадратной формы залы наверх и, упершись в площадку, разделялась на два коротких пролета: один вел налево, другой, огибая угол, направо. По нему-то мы и поднялись в комнату, тоже квадратную, на втором этаже. Она была невелика, дверь в противоположном конце стояла приоткрытой, и оттуда доносилось знакомое ритмичное постукивание ткацкого станка.

— Наттана, — громко произнесла Эттера, — Ланг приехал.

— Ах!.. Я мигом! — раздался, заглушая шум станка, такой знакомый звонкий, юный голос, в котором я уловил по меньшей мере радость сбывшегося ожидания.

Эттера открыла вторую, левую дверь, она вела в отведенную мне комнату.

— Прислуги в доме нет, — поясняла между тем Эттера, — так что все приходится делать, самим. В Нижней усадьбе удобств побольше.

— Меня это не пугает, и, пока я ваш гость, позвольте помогать вам, чем смогу.

— Разумеется, мы позволим, — она рассмеялась слегка язвительно. — Извините, комната небольшая, но она — единственная свободная в доме. Поскольку Наттана здесь, пришлось

выделить ей одну для работы... Хотите помыться? Если да, то уж, пожалуйста, принесите горячей воды сами.

— Конечно, Эттера.

Места в комнате едва хватало для кровати, платяного шкафа, стола с выдвижным ящиком, умывальника с медными умывальными принадлежностями и кресла. Сдвинув хотя бы что-то одно, вы лишали себя доступа к остальному. Но из единственного, выходящего на северо-запад окна открывался широкий вид: на западе, в тридцати милях, вздымалась снежная вершина Брондера; на севере, в обрамлении темной хвои крон, вплотную к крутым заснеженным отрогам, на расстоянии примерно сотни ярдов виднелись строения конюшни и амбаров. Справа высокие сосны как часовые охраняли северо-восточное крыло дома.

Освободившись от тяжести висевшей за плечами сумы, я положил ее на пол, после чего места в комнате осталось ровно столько, чтобы мы с Эттерой могли стоять.

— Пойду налью вам кувшин, — сказала она. — Внизу, слева от лестницы, — кухня, там вы почти всегда можете меня найти...

Невольнo прервав сестру, в дверях показалась Наттана, смахивая со лба золотисто-рыжую прядь. Вид у нее был домашний, деловитый, а мысли все еще, казалось, сосредоточены на отложенной работе. Выходя, Эттера прошла мимо сестры, а та в свою очередь подошла и молча улыбаясь встала передо мной.

— Наконец-то вы приехали! — сказала она, такая милая, такая дорогая, что меня невольнo потянуло к ней, но в то же мгновенье девушка отодвинулась неуволнмым движением, которое нельзя было посчитать обидным, но которое вполне недвусмысленно удерживало меня на месте.

— Наконец-то, Наттана!

Мы молча поглядели друг на друга...

— В прошлую и позапрошлую ночь было страшно холодно. Я все думала, как-то вы там с Доном в его сторожках — не обморозились?

— Отнюдь нет.

— Значит, все в порядке?

— Да... только устал немного.

— Здесь и отдохнете. Жизнь у нас тут тихая, неспешная. Я так рада, что вы благополучно добрались!

— А чему больше — что благополучно или что добрался? — спросил я шутливо.

— Ах, и тому и другому! — со смехом отвечала девушка, но тут же добавила: — Конечно, я вас ждала. И я очень надеюсь, что вам будет тут хорошо. Живем мы, конечно, бедно, но голодать и мерзнуть вам не придется. А если захочется чего-нибудь более изысканного, поезжайте к Эккли. Сейчас они куда богаче. Братья решили вести хозяйство сами, не успев даже запастись продуктами. Нет, еды достаточно, но самой простой.

— Мне все равно, — сказал я.

— Я так и думала, только хотела предупредить.

Она окинула меня мгновенным бесстрастным взглядом:

— Не хотите ли принять ванну, Джонланг! Я принесу вам горячей воды.

— Я принесу сам. Эттера сказала, где можно взять.

— Хорошо, тогда я хотя бы найду вам ванну.

Быстро повернувшись, она вышла.

Когда я вернулся в комнату, ванна действительно уже стояла там, а из комнаты Наттаны долетало довольное постукивание станка.

Переодевшись в свою единственную смену, я подошел к дверям ее мастерской. Весело

крикнув, чтобы я входил, Наттана кивнула мне и продолжала работать. Мастерская была разве чуть просторнее моей комнаты. Станок был намного меньше, чем в Нижней усадьбе, и стоял вплотную к окну, выходящему на юго-восток, на заснеженное озеро и темный лес на другом его берегу, над лесом поднимались горные отроги, а надо всем парил похожий на огромный воздушный шар белый купол Островной.

Если бы Наттана оторвалась от работы и взглянула в окно, ей предстал бы вид не менее величественный и прекрасный, чем пейзажи Йосемитского национального парка, да еще украшенный фантастическим белым шаром, повисшим в воздухе: вдали, в северной стороне, застыли гигантским порталом отвесные скалы, между которых тек Доринг, спускаясь с альпийских высот к подножию гор недалеко от ущелий Лор и Мора.

Я стал наблюдать за Наттаной. Глаза ее были устремлены на лежащую перед ней темно-коричневую ткань, красивые руки двигались с машинальной ритмичностью, нога нажимала на педаль, и над чулком, сбоку, обозначался тянущийся вдоль выпуклой икры желобок. Как всегда, она сидела в легкой, непринужденной позе. Несмотря на машинальную отработанность движений, в каждом из них поминутно проглядывало что-то ребяческое — маленькая девочка за работой, то и дело откидывающая с выпуклого лба упрямый локон, не давая себе труда найти заколку.

— Хочу закончить это, — проговорила она в паузе между щелканьем педали, и я присел на низкую скамеечку у противоположной стены. Комната была заставлена так же тесно, как моя; тут кроме самого станка помещались прялка, чесальная машина, котелок, где она красила ткань, сложенные в кипы лоскуты материи, мотки пряжи, стол для раскройки и прочие принадлежности. Через приоткрытую дверь, ведущую в заднюю комнату, было видно кресло с разложенным на нем платьем.

На самой девушке было легкое темно-зеленое платье, которого я еще не видел. Только лицо и растрепанные волосы имели домашний вид. В целом же Наттана держалась подтянуто и одета была аккуратно и строго.

Наконец станок остановился, и она повернулась ко мне:

— Надо было закончить.

— Этот глубокий коричневый цвет очень красив, Наттана.

— Да? Вам нравится? — Ее голос даже зазвенел от удовольствия.

— И цвет вашего платья тоже. Он идет к вашим волосам.

— У меня очень долго не получался такой оттенок.

— Вы и ткете и красите здесь?

— Да, конечно! Но тут совсем не так, как в моей прежней мастерской. Здесь не особенно развернешься. А мне хочется работать, Джонланг! — Она рассмеялась, но при этом отвела взгляд.

— Вы замечательно выглядите, Наттана.

Девушка отвернулась к окну, и меня вновь поразили соразмерный и безупречный рисунок ее профиля.

— Я знаю, но мне хотелось бы, чтобы ущелье Лор было подальше.

Вспомнив о племенах горцев, я задумался, говорить ли Наттане о предложении Дона.

— Зимой можно не бояться, — сказал я.

— Но ведь зима не круглый год. Наш дом первый на их пути... Но давайте лучше не будем об этом.

— Да, да, конечно... Знаете, Наттана, вы сейчас красивее, чем я когда-либо мог представить.

Взгляды наши встретились. В зеленых глазах Наттаны промелькнул вопрос. Она

рассмеялась:

— Давайте и об этом лучше не будем. Расскажите, как вы добрались. Как Файны и... Ларнел? И про себя тоже, Джонланг.

— А как Фэк, Эк и Атт? Как поживает Наттана?

Я не упомянул одного лишь имени, но Наттана сделала это за меня:

— У Неттеры родился ребенок вскоре после моего отъезда от Файнов. Девочка.

— Как она?

— У нее были небольшие неприятности. Но дней десять назад, кажется, все уладилось. Новости доходят до нас нечасто. Мне хотелось бы повидать ее... Так как же вы добрались?

Но только я начал рассказывать, как девушка встала, сказав, что пора накрывать стол к ленчу.

Из моей комнаты донесся звук воды, выливаемой из ванны. Я хотел было сам попросить об этом Наттану.

Еда действительно оказалась самая простая: мясо с горохом, хлеб, а на десерт — яблоки и шоколад, причем последний подавался специально в честь моего приезда, как сказала Эттера. Эка и Атта не было: они строили новую конюшню и взяли еду с собой.

— Они почти всегда делают, — сказала Эттера. — Меньше хлопот.

— И меньше уходит провизии, — добавила Наттана, — но вы не беспокойтесь. Гороха у нас хватит на целую армию, и урожай яблок в этом году был отличный.

Перекусив с хозяйками, я отправился поприветствовать хозяев. Теперь я понял, что имела в виду Наттана, когда говорила о том, что в Верхней усадьбе «тесно». Массивы Островной горы, Брондера и Дорингклорна, во всем своем величии, нависали тяжелыми острыми пиками, сияющими в небесной синеве и казавшимися очень близкими из-за разреженного воздуха. В запертой со всех концов долине не было видно горизонта.

Амбар представлял собой просторное помещение, однако запыленный сеновал был наполовину пуст, и многие из протянувшихся несколькими рядами стойл тоже пустовали. В дальнем конце стояли лошади Хисов и несколько коров с бычками. Среди лошадей я увидел и Фэка, укрытого попоной и вполне ухоженного. Часть длинного хлева была отгорожена под мастерскую. Поверх обычной одежды на Эке с братом были робы из грубого холста, запорошенные известкой. За окнами виднелись новые конюшни, под прямым углом к амбару. Сегодня стоял слишком сильный мороз, чтобы работать на улице, и поэтому братья обтесывали камни, большая куча которых, привезенная на телеге из соседнего карьера, лежала у дверей.

Меня снабдили «комбинезоном», и я принялся за работу вместе с братьями. Наши деревянные молотки и холодная сталь зубил, позвякивавших о камень, звучали то разнобоем, то в унисон, складываясь в своеобразную мелодию. Временами мы прерывались — перекинуться парой слов. Эк и Атт, полные планов и довольные судьбой, глядели веселей и раскованней, чем в Нижней. Я чувствовал себя с ними как дома — что могло быть лучше?

Вскоре после наступления темноты, проверив лошадей и скот, мы пошли домой. Дышать было тяжело, студень неподвижный воздух мерцал. Мы прошли через сарай, где были сложены дрова, потом через кухню. Эттера, покрасневшая и мрачная, собирала ужин, вихрем носясь по комнате. Наттана входила и выходила неторопливой походкой, накрывая на стол небрежно и рассеянно — непривычная к подобным хлопотам хозяйка в отсутствие прислуги? Я задержался в столовой — рассказать ей, как провел день.

— Только не думайте, что вы должны участвовать в нашей жизни в ущерб своим привычкам, — ответила Наттана, обходя вокруг стола. — Боюсь, я слишком часто упоминала

про нашу бедность. Мы хотим, чтобы вы были счастливы с нами.

— Я буду счастливейшим из смертных, если смогу войти в вашу жизнь, Наттана.

— Разумеется сможете, — рассеянно сказала она. — Скоро все будет готово.

Я понял намек и удалился.

Вечер прошел быстро. Всем хотелось спать. Когда посуда была убрана и вымыта, мы еще посидели в гостиной, лишь изредка кто-нибудь нарушал тишину, и даже вечно любопытный Атт молчал. Я чувствовал, что и он, и Эк, и обе девушки снова отдаляются от меня.

Наутро меня никто не разбудил, и, открыв глаза, я понял по яркому свету в комнате, что день уже давно наступил. Я скорее угадал, чем услышал шум станка, это значило, что все уже позавтракали и Наттана принялась за работу. На умывальнике стоял высокий медный сосуд с горячей водой, укутанный полотенцем, чтобы вода не остывала. Должно быть, Эттера или Наттана принесли и оставили его, потихоньку, чтобы не разбудить меня... Надо вести себя так, подумалось мне, чтобы не стать для них обузой. Решено, впредь буду вставать вместе со всеми.

В доме царил тишина, нарушаемая лишь ритмичным перестуком станка. Страстное и нежное чувство переполняло меня.

Побрившись и одевшись, я вышел в зал. Дверь мастерской была закрыта.

Я легко постучал в нее, Наттана отозвалась, и я вошел. Девушка сидела перед тяжелой деревянной рамой с вертикально натянутыми нитями, как арфистка за своим инструментом. Она подняла на меня глаза и улыбнулась. Два раза челнок пробежал сквозь основу, рамы щелкнули, задрезжали; руки девушки двигались с привычным проворством и изяществом. Остановив станок, она повернулась ко мне:

— Не стесняйтесь заходить и когда я работаю. Да проходите же!

Зажав руки между коленей, она глядела вверх.

— Как спалось на новом месте, Джонланг?

— Чудесно, Наттана.

Я сделал шаг вперед. Наттана видела это, однако не пошевелилась. Одних слов приветствия мне было явно недостаточно.

— А как вы спали? — спросил я.

— О, очень хорошо. Я всегда хорошо сплю.

Я подошел совсем близко. Девушка сидела не шелохнувшись. Я поймал ее взгляд; слова, теории, мысли — миготом исчезли куда-то, и оба мы снова оказались лицом к лицу с нашей запутанной ситуацией.

Я наклонился к Наттане, обнял ее за плечи. Она чуть повернула голову, подставила мне горячую шелковистую щеку, прижавшись ею к моим губам... Потом еле заметно, но решительно отодвинулась, как бы давая понять, что намерена ограничиться этим дружеским поцелуем.

— Вы же не завтракали, — сказала она. — Эттера пошла к Эккли. Я принесу вам завтрак.

Она поднялась, кусая губы. Сердце отчаянно заколотилось у меня в груди при виде ее стиснутых рук и боли во взгляде.

— Наттана!

— Пожалуйста, не надо! — быстро проговорила она и, избегая моих объятий, шагнула к двери. Я последовал за быстрым звуком ее шагов вниз по лестнице. Внезапно происходящее представилось мне в новом свете: мое присутствие доставляло Наттане боль, я же думал лишь о собственном удовольствии; если бы я действительно дорожил ее душевным покоем, мне не стоило приезжать.

Но, войдя в кухню, она обернула ко мне столь безмятежно улыбающееся лицо, что я

задумался, а вправду ли я причинил ей боль.

— Простите, что постоянно причиняю вам беспокойство, — сказал я.

— Не стоит. Я ему рада.

Она поставила передо мной кружку с подогретым молоком, положила несколько намазанных медом ломтей хлеба и яблоко.

— Сегодня днем можно сходить посмотреть окрестности, — предложила девушка, — конечно, если вам хочется, или еще что-нибудь придумать вместе.

Я сказал, что с удовольствием принимаю предложение, а пока, наверное, пойду поработаю с Эком и Аттом. Бросив на меня взгляд через плечо, Наттана ушла обратно в мастерскую.

Да, вести хозяйство здесь было нелегко, и я должен был помочь своим друзьям. Поэтому, перед тем как выйти, я вымыл за собой посуду.

Поднявшись наверх за плащом, я увидел, что постель моя уже убрана.

Деловито постукивал станок. Я заглянул к Наттане сказать «до свидания», она кивнула, не прерывая работы.

Длинные перистые облака скользили над равниной со стороны Островной, холодный свет солнца сеялся сквозь их белые пряди.

Эк и Атт вернулись к ленчу, они собирались съездить на ферму Самера, расположенную в нижней части долины; у Самера была кузница, и, узнав, что мы с Наттаной тоже хотим проехаться верхом, братья предложили составить им компанию. Эттера в свою очередь предложила заодно отвезти хозяевам котел, который она одалживала у жены Дона, Эльвины, а если платье, которое шьет для нее Наттана, готово — а оно должно быть готово, — мы можем прихватить и его. На все эти предложения Наттана отвечала уклончиво: ни да, ни нет. У меня не было никаких особенных соображений, кроме того, что мне хотелось быть с нею, и, по возможности, наедине. Я вскользь упомянул о коньках, лыжах, о верховой или пешей прогулке, следя за реакцией Наттаны. Словом, разговоров было много, но, когда все встали, из-за стола, ничего так и не было решено.

Братья отправились к амбару, Эттера удалилась на кухню. Наттана принялась вытирать стол.

— Если мы решим поехать с ними, Наттана, — сказал я, — надо их предупредить.

— А вам хочется? — спросила она, выходя на кухню со стопкой тарелок в руках.

— Хочется, если этого хочется вам, — таков был мой ответ, когда она вернулась.

— А мне хочется, как вам.

И снова она ушла на кухню с тарелками.

— Я хочу того же, что и вы, — сказал я, когда Наттана явилась вновь.

— И я тоже...

— Я с удовольствием поеду с ними, если вы этого хотите.

Что я еще мог сказать? Время между тем шло.

— Если вы так ничего и не ответите, Наттана, скоро будет поздно.

— Я уже ответила: если вы хотите — едем.

— Но вам и вправду хочется?

Наттана вышла, прихватив последние тарелки.

— Если вам с Эттерой нужна моя помощь — буду рад помочь, — сказал я ей вслед.

— Ах нет, в другой раз, — ответила она с порога.

Наш зашедший в тупик разговор заразил меня неприятным предчувствием надвигающейся ссоры. Больше в столовой оставаться не имело смысла, и я прошел в гостиную, где в очаге дотлевали угли.

В окно я увидел удаляющиеся фигуры Эка и Атта.

Прошло довольно много времени, пока наконец не вошла Наттана.

— А я все гадала, поехали вы или нет, — сказала она.

Это уж граничило с оскорблением. Завидев ее, я встал. Наттана прошла мимо, не глядя на меня, носком подтолкнула полено и остановилась, устремив взгляд на вновь занявшиеся языки пламени.

— Они уже уехали, — сказал я.

— Правда?

— Можно спуститься к озеру, — предложил я. — Под снегом лед должен быть прочным, мы могли бы попробовать прокатиться на коньках. Вдруг вам понравится.

— Если вы этого хотите.

— Хочу, если вам нравится моя мысль.

— А вам?

— Конечно, лишь бы она нравилась вам, Наттана.

Девушка ничего не ответила.

Потом я предложил прокатиться на лыжах, потом — проехаться верхом, и все — с одинаковым результатом: не признаваясь, чего хочет сама, девушка упрямо отвечала, что сделает все, чего захочу я.

Казалось уже, что мы так ни к чему и не придем, и я почувствовал, как во мне закипает гнев. К тому же она ни разу даже не взглянула на меня.

— Вы так и не сказали, чего вы хотите, — промолвила Наттана. — Скажите, и я сделаю это.

— Это должно быть что-то, чего вам тоже хочется.

— Так и будет, если этого хочется вам.

— Но я хочу, чтобы вам хотелось этого же, а не ради собственного удовольствия.

— Скажите, чего вам действительно хочется. — Голос Наттаны угрожающе задрожал.

Я желал только одного. Даже гнев не мог погасить мое желание. Можно было уладить дело и другим путем, без помощи слов. Сев рядом, я обнял Наттану за плечи и взял ее руку в свою:

— Вы хотите знать, чего мне действительно хочется... Так вот, мне хочется этого.

— А мне нет! — крикнула девушка и, вырвавшись, подошла к очагу и обернулась ко мне с затравленным видом, глубоко дыша и выставив перед собой руки.

— Лучше я пойду в мастерскую, — сказала она (глубокая морщина прорезала ее лоб), — нужно закончить тот коричневый холст.

— Простите меня! — воскликнул я, одновременно рассерженный и удивленный столь резким отпором.

— В чем вы просите прощения?

— Простите, что я позволил так вести себя.

— Ах, вы не понимаете!

Она вдруг отвернулась, и вид у нее стал жалкий: понуренная голова, по-детски круглый затылок и косы.

— Простите, — повторил я как можно ласковее.

— Если вы будете и дальше извиняться, я не знаю, что я сделаю! — сказала она с яростью.

— Хорошо, я не стану извиняться, но... мне жаль, что я повел себя неправильно.

Наттана резко повернулась, сердито глядя на меня:

— Чего вы от меня хотите, Джонланг? Я не понимаю. Вы никогда ничего не объясняете.

— Я не хочу делать вам больно.

Глаза ее широко раскрылись, взгляд смягчился, но голос по-прежнему звучал сердито.

— Вот только что... ведь вы хотели меня поцеловать, правда?

— Да, Наттана.

— Как тогда на мельнице у Файнов?

— Я был тогда счастлив, Наттана.

— Я тоже! Но... ах, Джонланг! И... я говорю уже о другом: вы хотели того, чего хотелось мне, поехать ли с Эком и Аттом, или к Донам, или пойти на озеро, но все — только если мне этого хочется, то есть чтобы сделать мне приятное!

— Да, именно.

— А я хотела сделать приятное вам. Наши желания *разминулись*. И вы все больше и больше сердились. Я поняла это по голосу. И тогда я тоже рассердилась.

— Что вы имеете в виду под *Разминувшимися Желаниями*?

Девушка взглянула на меня с удивлением:

— Но... если я хочу чего-то потому, что этого хочется вам, а вы хотите того же, если этого хочется мне, и каждый из нас готов поступить так-то или так-то только затем, чтобы сделать другому приятное, — значит, наши желания не совпадают. И если мы оба настроены так, мы наверняка не решимся ни на что! Вы ведь не говорили, что хотите сделать что-то просто потому, что вам этого хочется.

— Вы тоже.

— Однако я думала, что в одном мы с вами согласны. Думала... пока не рассердилась.

— Мне хотелось пойти куда-нибудь вместе с вами, Наттана, все равно куда.

— Мне тоже! Я полагала, что смогу решить, что мы будем делать, и, наверное, мне и следовало решать, ведь вы мой гость... Но, Джонланг, вы просто не представляете, что творилось у меня в голове!

— Что же, Наттана? — спросил я, поднимаясь и подходя к ней.

— Ах, все то же.

Она отступила, воскликнув:

— Если вы поцелуете меня, я закричу, но вовсе не потому, что мне этого не хочется.

Я воспользовался первым, что пришло в голову, чтобы хоть как-то разрядить обстановку.

— Давайте все же на что-то решимся. Я хочу пойти к озеру, попробовать коньки. Пойдете со мной?

— С удовольствием.

— Но рано или поздно я поцелую вас, Наттана.

Она отшатнулась, прижавшись к полке над очагом, словно я собирался ударить ее.

— Чего вы от меня хотите? — воскликнула она. — Скажите наконец! Ах, я не могу... Вы хотели приехать, вы настаивали, я знаю. И вы хотите поцеловать меня. Значит, именно этого вы хотите на самом деле?

— Я хочу этого... — начал я, запинаясь.

— Давайте выясним все до конца. Когда-нибудь так или иначе придется. Это все, чего вы хотите?

Как было вымолвить? Все цвета в комнате словно потускнели.

— Я хочу вас, и уже давно.

Девушка нахмурилась, закусив губу:

— И я хочу вас.

Снежный наст за окном холодно белел в бледных лучах солнца.

— Что же нам делать, Джонланг? Теперь вы понимаете, почему не должны целовать меня? Для меня это невыносимо. По-моему, либо все, либо ничего. Но если даже ничего, я все равно надеюсь остаться вашим другом. Но что думаете вы? Достаточно ли вам будет, если когда-нибудь вы поцелуете меня?

Неужели моя страсть была не так сильна, как ее?

— Если большее невозможно, я хочу хотя бы поцеловать вас.

Она хотела было что-то сказать, но побледнела и промолчала. Потом повернулась и пошла к дверям.

— Куда вы, Наттана?

— Мы идем на озеро.

Похоже, после бури мы наконец оказались в тихих водах, измотанные, несколько растерянные и все же счастливые. Перья облаков стали плотнее, гуще, и бледный свет едва сочился сквозь них. По прогнозам Наттаны, должен был пойти снег — тогда потеплеет. Она надела гетры, бриджи и накидку из плотной ткани, напоминавшую куртку лесоруба, но с капюшоном, который она изредка поднимала. Словом, экипировка у нее была больше по погоде, чем моя.

Спускающийся к озеру обрыв был буквально в двух шагах. Ровная белоснежная поверхность простиралась на пять миль к востоку — туда, где высился скальный портал, отмечавший начало обитаемой части долины. Скалы эти никогда не терялись из виду, черные, неизменные, огромные даже на расстоянии в десять миль.

Спустившись к эллингу, мы ступили на лед озера. К югу, востоку и северу тянулись великолепные, густые леса.

Я вспомнил, как, катаясь летом по озеру, подумал, что это место могло бы превратиться в замечательный летний курорт, однако сейчас не решился повторить свои соображения вслух, чтобы не напоминать Наттане о чем бы то ни было, связанном с Америкой. И все же наши бесконечные мучения — мучения, уже наполовину не столь болезненные, ибо мы знали теперь, что хотим одного и того же, — могли разрешиться только в одном случае: если бы Наттана изменила свое отношение к американской жизни и стала моей женой. Но мне не хотелось говорить об этом сейчас, потому что нам было так хорошо вместе. Мы любили, и любовь наша была взаимной.

Прочный наст скрывал скованную льдом поверхность озера, мы шли, на каждом шагу проваливаясь в снег дюймов на пять, но даже если бы лед и удалось расчистить, для катания на коньках он явно не годился. Но Наттана не сдавалась: лед мог временами оттаивать, сказала она, а потом вновь замерзает у более теплого южного берега, хотя остальная часть и находилась под снежным покровом всю зиму. К этому-то берегу, находившемуся в двух милях, мы и направились. Снег хрустел и проваливался под ногами, сохраняя, однако, определенную упругость, отчего идти было легко. Казалось, мы плывем по морю в штиль.

Лицо Наттаны снова обрело безмятежное выражение, и, хотя ее щеки и нос покраснели от мороза, я любил ее не меньше. Это была истинная любовь, ведь глубже всего она проявлялась в самых простых вещах.

Путь был неблизкий, но Наттана оказалась мужественным спутником, и, когда мы наконец достигли крутого берега, поросшего деревьями, ветви которых свешивались к самой воде, мы нашли то, что искали. Верным ли было предположение Наттаны, или сильные восточные ветры сдували снежный покров, но вдоль скалистой кромки берега протянулась полоса чистого темного льда, достаточно прочного и гладкого, чтобы служить катком.

Пока я надевал коньки, Наттана наблюдала за мной, по-турецки сидя на снегу. Коньки были не совсем точно подогнаны, но после первых неуклюжих шагов я вскоре освоился, услышал знакомый звон металла об лед, ощутил, как врезаются в него острые кромки, поймал ритм и, раскатившись, продемонстрировал, собрав все свое умение, несколько фигур: восьмерку, двойную дорожку и кораблик, больше всего развеселивший Наттану. Потом я подкатил к ней и сам надел ей коньки, крепко держа ее за лодыжки.

Такая ловкая и сноровистая во всем, Наттана, едва выехав на лед, превратилась в

неуклюжую, то и дело готовую свалиться куклу, ноги у нее то и дело разъезжались... Я подталкивал ее, показывал, как держать равновесие. Она снова и снова падала и тянула меня за собой.

Тем не менее приоровилась она быстро, и вряд ли можно было представить себе более очаровательную ученицу... Она была упрямой, не жаловалась на синяки, не теряла веселого расположения духа, а энергии у нее хватило бы на троих. Я же всегда любил кататься на коньках.

Тени стали длиннее, и снег, окаймлявший наш маленький каток, поглубел, но прежде, чем настало время возвращаться, Наттана уже уверенно стояла на коньках, училась разворотам, мечтая наконец исполнить восьмерку, понравившуюся ей больше других фигур, а когда мы катили вместе, держа руки крест-накрест, ей удавалось порой даже поймать ритм.

Врожденное чувство времени не подвело ее. В какой-то момент она сказала, что пора возвращаться. Я помог ей снять коньки.

Наттана сообщила, что «ходить ногами» гораздо легче, чем кататься на коньках, и что она наставила себе синяков, но, добавила она: «Я уверена, что полюблю это занятие и потом буду всю жизнь вас благодарить».

Мы пошли к дому. Далекий берег, на котором стояла усадьба, быстро скрывался во мгле, снег на озере бледно мерцал. Огонек мелькнул вверху, над берегом.

— Должно быть, Эттера поставила на окно лампу, чтобы мы не заблудились, — сказала Наттана.

— Вы устали?

— Чуть-чуть.

Я взял ее под руку, она не противилась, и теперь рука ее лежала опираясь на мою, легкая, но уверенная... Мы шли молча. Я был полон каким-то новым, радостным чувством. Больно ранящее сознание нашего положения уступало радости оттого, что теперь я знал про чувства Наттаны.

Неожиданно до нас донесся слабый, похожий на барабанную дробь звук; мы одновременно остановились, сердце мое замерло. Наттана теснее прижалась ко мне. Звук затих, потом послышался снова, уже громче.

— Похоже, кто-то скачет, — сказал я.

— Да, но кто?

— Скачут по озеру, к нам...

— Я их вижу! — пронзительно воскликнула Наттана, схватившись за меня обеими руками.

Несколько фигур, как тени, отделившись от темного берега, двигались в нашу сторону.

Дыхание у меня перехватило.

— Пересечь ущелье верхом в это время года невозможно, — сказал я.

— Они могли взять наших лошадей.

Я обнял девушку за плечи, и она еще теснее прижалась ко мне.

— Конечно, это могут быть Эк и Агт, они могли поехать встречать нас, но мне страшно, Джон.

— Они, наверное, видят нас.

Я понимал, что если это набег, то спастись нам не удастся, что я не вооружен, что за себя я бы вообще не беспокоился, будь Наттана в безопасности, и что, наконец, все эти страхи скорей всего ребяческие и пустые.

Мы стояли не шевелясь; прошло несколько томительно долгих мгновений...

— Пойдемте, — сказала Наттана. — Если это Эк и Агт, они удивятся, отчего мы стоим обнявшись.

Мы двинулись навстречу незнакомцам. Теперь было ясно видно, что это верховые... Наттана держалась мужественно.

— Я вижу Фэка! — громко крикнула она. — Да, это он — он другой масти. Его ведут в поводу. — Она неожиданно звонко рассмеялась: — Ну и глупые же мы, Джонланг!

Но я думал сейчас о предложении Дона, о том, что мне придется очутиться под его руководством и что в свое время я обязательно расскажу об этом Наттане. Ее страхи придавали рассуждениям Дона еще больший вес.

Всадниками оказались Эк и Атт. Эттера видела, как мы с Наттаной направились к другому берегу. Испугавшись, что сестра, катаясь на коньках, может расшибиться, она попросила братьев по дороге от Самеров захватить лошадей и подвезти нас.

Как приятно было видеть их теперь, когда все страхи остались позади, хотя в первые минуты они, такие знакомые, выглядели чужими, почти как враги. Наттана радостно уселась в седло Фэка.

Все вчетвером мы подъехали к конюшням и, как обычно, через кухню вошли в дом; Наттана на ходу рассказывала Эку, что за прелесть коньки.

Эттера ждала нас.

— Все в порядке, Наттана? — первым делом спросила она.

— Абсолютно... всего пару раз упала.

Эттера издала звук, в котором слились сестринская ласка, неодобрение и злорадство при мысли о том, что Наттана все же ушиблась — и поделом.

Поскольку мы с Наттаной все-таки оставались друзьями, долг дружбы повелевал нам блюсти осторожность, следить за каждым своим словом и не слишком засматриваться друг на друга.

Дни шли за днями. Жизнь Верхней усадьбы отличалась от той, что я вел у Файнов. Там все было благоустроено, жили не спеша, ценили удобства и досуг. Умственные и физические усилия многих поколений направлялись на создание такого уклада жизни, при котором для каждого нашлось бы дело, но никто не ощущал бы принуждения и имел вдоволь свободного времени. Объем посадок, количество леса, подлежащего рубке, часы труда, необходимого на то или иное, были точно рассчитаны. Не существовало внешнего рынка с его постоянно меняющимися запросами, который нарушал бы установившееся в хозяйстве равновесие. Устойчивость жизни, при которой ни одно обусловленное обстоятельствами усилие не пропадало даром, давала человеку свободу самому добывать свое счастье. Во всем, что касалось крова и пропитания, обитатели усадьбы не ведали тревог. Творческие порывы, жажда любви, стремление видеть мир не сталкивались с препятствиями, столь многочисленными в более сложно устроенном обществе. Они открывали для себя новизну, по которой так томится всякая душа человеческая, в изучении жизни окружающей их природы, в своих дружеских и любовных отношениях, в увековечивании института семьи, в том, наконец, что умели сделать любой труд, будь то починка изгороди или резьба по камню, здоровым и прекрасным.

По-иному выглядела жизнь Хисов, хотя конечная цель ее оставалась той же. Эк и Атт трудились, чтобы достичь — если не для себя, то для своих детей и внуков — того, что Файны уже имели и что они имели бы тоже, не заставь их напряженные отношения внутри семьи перебраться на другое место. Они были первопроходцами, однако в отличие от многих первопроходцев так ясно представляли себе, чего хотят, что суетливость и беспокойство были им неведомы. Они трудились, не изнуряя себя, не растрачивая силы попусту в мятежном порыве — зачастую в результате бесцельной жажды активности. Трудившаяся рядом с ними Эттера, однако, не была столь же довольна своей участью, поскольку плоды ее труда были менее осязаемы. Эк и Атт воочию видели, как ложатся ряд за рядом камни и стена нового амбара становится все выше, она же каждый день видела лишь очаг и пустые после еды миски. Но представься Эттере выбор — делать то, что она делала, работать вне дома или не работать вообще, — она все равно предпочла бы свое нынешнее занятие. Чувство *алии* в ней было так же глубоко. Эти трое и составляли ядро новой общности, вполне в островитянском духе.

Несколько особняком, как существо более редкой породы, держалась Наттана. Она ткала холсты, кроила и шила одежду, и потому ей требовалось более широкое поле деятельности, не ограничивающееся лишь собственным поместьем. В Островитянии жило немало таких людей, удовлетворявших нужды своих соседей. Наттана вполне могла обшивать всю семью, но ей, так или иначе, требовался совет со стороны, чужой опыт, чтобы шить одежду на продажу. Выручаемые деньги принадлежали бы ей самой, но тратить их на себя было особенно негде, и, конечно, она вносила бы эти деньги в семью, где на них можно было бы приобрести то, в чем нуждалось хозяйство. Ее заинтересованность, ее причастность *алии*, таким образом, носила более косвенный характер, чем у тех, кто непосредственно трудился над обустройством поместья.

Все это и было бы так, останься Наттана в Нижней усадьбе. Тамошний ткач, человек преклонных лет, подумывал об отдыхе, и кому-то надо было его заменить. Наттана же обладала

к ткаческому ремеслу склонностью и талантом, если не сказать более. Соседи по Нижней усадьбе знали это, и их было достаточно много, чтобы Наттане не пришлось сидеть без дела. Рядом с Верхней усадьбой, в десяти милях вниз по долине, уже давно жил местный ткач, чьим делам Наттана не хотела мешать. В дальнейшем, если ее пребывание в Верхней усадьбе затянется, кто-нибудь сможет занять ее место, а вернувшись, Наттана не захочет вторгаться в чужие интересы и разрушать чье-то благополучие. Итак, она не вкладывала денег в хозяйство Верхней усадьбы, не работала на него, как Эттера, и не получала в полной мере удовольствия от своих трудов, потому что нахождение ее здесь было лишь временным. Тем не менее она накрывала на стол, помогала мыть посуду и, кроме того, прибиралась в комнате сестры, в своей и приглядывала за порядком в моей. Но ей хотелось ткать, и, забросив она свой станок, свою работу, приносящую творческое удовлетворение ее глазу, уму и рукам, она превратилась бы в несчастнейшее существо. И Наттана не оставляла своего дела, стараясь ограничивать количество производимого, употребляя большую часть времени на всевозможное совершенствование и разнообразие своей продукции.

Похоже, здесь вошло в привычку каждый второй день делать «сокращенным». Иногда «выходная половина» таких дней просто посвящалась какой-либо иной работе. Так поступал Эк, Атт же седлал лошадь и уезжал кататься до вечера. Эттера уходила гулять одна, всегда возвращаясь в добром расположении духа. Мы с Наттаной катались на коньках, и стоило нам покинуть дом, как ощущение жизни менялось. Внимание мое было полностью поглощено моей спутницей, которая день ото дня становилась все желаннее. Иногда желание оказывалось настолько сильным, что мешало моему счастью, а иногда счастье заставляло забыть о желании. Однако мы ревностно сохраняли видимость дружеских отношений и частенько без слов так хорошо понимали друг друга, что не могли не смеяться над своим притворством.

Прошло немногим более недели, и за перистыми облаками — предвестниками ненастья, — тянувшимися со стороны Островной, и в самом деле последовала сильная метель, прорвавшаяся через горный заслон. Наутро мы проснулись от неистовых завываний восточного ветра, кружившего вокруг дома, от гулявших по комнатам ледяных сквозняков; снег валил такой плотной пеленой, что ничего не было видно, кроме мутно-белой завесы. Для меня утро выдалось хлопотное: приходилось постоянно следить за огнем в очаге, то и дело совершая вылазки в сарай за дровами — путь недолгий, но ветер все время норовил свалить с ног, и снежные вихри вились кругом, залепляя глаза и обжигая щеки.

Сегодня как раз «сокращенный» день был у нас с Наттаной. О коньках нечего было и думать, даже выходить из дому было небезопасно. За ленчем Наттана сказала, чтобы я ждал, когда она позовет меня в свою мастерскую: ей хотелось чем-то удивить меня.

Я устроился у гостиной, но чтение не шло, и я гадал, что же такое задумала Наттана. Из комнаты ее слышались звуки станка, потом они смолкли, но прежде, чем голос девушки позвал меня, еще долго стояла тишина.

Я одним духом очутился наверху. Наттана ждала стоя на пороге; глаза ярко горели, но во взгляде сквозило сомнение.

— Долго же вы заставляете себя ждать, Наттана.

— Мне хотелось закончить так, чтобы никто не мешал... Не знаю, понравится ли вам то, что у меня вышло.

Она подошла к столу, где обычно держала работу; на станке ничего не было, от затопленного очага исходило тепло. Сотканый холст она то растягивала на руках, как портниха, то накидывала на плечи, драпируясь в него так, что оставался виден только открытый зеленый ворот. Потом она повернулась, и изменчивый свет пробежал по мягким тепло-коричневым складкам. Круглый нимб рыже-золотых волос ярко горел на фоне залепленного

снегом окна.

— Когда вы сказали, что вам понравилась эта ткань, я так обрадовалась! Я ткала ее для вас, правда сомневалась насчет цвета, потому что решила заранее не спрашивать. Я чувствовала, что выбрала правильный оттенок, но у вас, может быть, и другой вкус. А то вы все носите одно темно-синее, словно вам лень подбирать себе еще какие-нибудь цвета, те, что вам больше к лицу. Если я ошиблась и вам не нравится, вы ни в коем случае не должны это брать.

— Наттана, это именно то, что я хотел, и как раз то, что мне нужно!

— Да, вам нужно новое платье... Разрешите, Джонланг?

Подойдя ближе, она набросила ткань мне на плечи, потом, отступив, окинула мою фигуру придирчивым взглядом:

— Жаль, что вы не можете посмотреть. Мне вы очень нравитесь...

Небольшая пауза.

— Можно я теперь что-нибудь из этого сошью?

— Конечно, разумеется, Наттана!

— Так, значит, можно мне шить для вас?

— Наттана, — не выдержал я, — вы такая добрая! Я просто слов не нахожу...

Я схватил и сжал ее руку. Любовь и благодарность переполняли меня.

— Вы замечательная, и все, что вы делаете, так похоже на вас. Вы — чудо...

Краска бросилась ей в лицо, она стояла с видом пристыженного ребенка, чуть отступив и напряженно сжав губы, но глаза ее горели ярко, как никогда.

— Тогда начнем! — Она мягко высвободила руку.

Ткани вполне могло хватить на бриджи, короткие брюки, пиджак, длиннополую куртку и плащ — и то и другое с капюшоном. Мерку она не снимала, пользуясь как образцом моим костюмом. Действовала она расторопно, не колеблясь, и вот уже материал был разложен на столе, и ножницы Наттаны уверенно порхали над ним.

В мои обязанности входило, сидя на скамье, развлекать девушку разговорами. Впрочем, она с головой ушла в работу. Движения ее были быстрыми и экономными. Она была само очарование — склоненная над столом, пристально следящая за поворотами ножниц; работала каждая мышца ее тела, а подол юбки вздрагивал и колыхался в такт движениям ее рук.

Пожалуй, единственная тема, на которую она сейчас могла говорить, тут же наглядно ее иллюстрируя, было портняжное искусство.

Она рассказала, что материал был соткан из особой длинноволокнистой шерстяной нити с добавлением льняной, для прочности. Работу она начала вскоре после моего приезда. Много сложностей возникло, когда она красила пряжу, стараясь получить желаемый цвет, но красок не хватало, так что Атту пришлось специально съездить на тележке в Нижнюю усадьбу.

Почти целых шесть недель Наттана отдала исключительно этой работе. Я был изумлен как масштабами ее труда, так и тем, насколько он захватывал ее.

И мне снова захотелось сказать, как я ей благодарен. Я сказал, что она — настоящий друг, способный прийти на помощь в нужде, на что она отвечала, что я и вправду нуждаюсь в помощи, а когда я возразил, что не заслуживаю подобной доброты, ответила, что должен же кто-то наконец позаботиться о моем гардеробе. Ловко парируя мои благодарственные излияния, она все же казалась польщенной, повторив несколько раз: «Я очень рада! А как приятно было работать... А уж оттого, что и вам нравится, я рада вдвойне».

Наблюдая девушку за работой и думая о том, что она делает ее для меня, да еще с таким самозабвением, я увидел в этом верный залог того, что мы могли бы быть счастливы вместе, будь мое чувство к ней равносильно и самозабвенно. И мне все больше казалось, что я способен на подобное. Кмыслям моим примешивалось желание обладать Наттаной, — желание столь

жгучее и безотлагательное, что мне окончательно стало ясно ее состояние и ее слова, сказанные неделю назад: все или ничего. Ограничиться поцелуями значило остановиться на полпути.

Разговор сошел на нет. Чтобы хоть как-то оправдать свое присутствие, я подбрасывал в очаг дрова и придерживал материю, пока Наттана кроила. Кипа деталей будущего костюма росла, на полу повсюду валялись ненужные лоскутки и обрезки.

Наттана сказала, что проголодалась, а когда я вышел на кухню налить ей стакан молока, то, к своему удивлению, увидел Эттеру, сидящую за столом подперев лицо руками. При моем неожиданном появлении она вздрогнула и вскочила. Чтобы избежать обоюдного замешательства оттого, что я невольно застал Эттеру врасплох, я объяснил, зачем пришел и чем мы занимаемся с Наттаной.

Эттера встала, налила молока. Потом, обернувшись, посмотрела мне прямо в глаза:

— Я не хотела говорить, Ланг... но я беспокоюсь за вас и за Наттану. Обещайте мне...

Кровь бросилась мне в лицо, и первым моим побуждением было заверить Эттеру, что я не собираюсь, что у меня и в мыслях нет совершать что-либо... предосудительное.

— Что вы хотите, чтобы я пообещал?

— Вы сами знаете, Ланг!

Я почувствовал себя превратно понятым, оскорбленным.

— Эттера, — начал было я, но тут же вспомнил о Наттане. Я готов был на любые клятвы и заверения, если только речь шла о ней.

— А у самой Наттаны вы не просили дать вам слово?

— Я говорила с ней, — потупилась Эттера.

Наттана отказалась связывать себя обещаниями. И я потрачу время зря, пытаясь в чем-то уверить Эттеру.

— Мне не хотелось бы огорчать вас, — сказал я. — Пока мы с Наттаной просто друзья. Мы договорились вместе решать, как сложатся дальше наши отношения. И я ничего не могу обещать вам, не нарушив обещания, данного ей.

Эттера отвернулась, закусив губу.

— Да, — неожиданно ответила она, — теперь я вижу, что не можете. Ах, Ланг, одного прошу: вам обоим следует быть очень осторожными! У вас еще все впереди.

— Я хочу, чтобы она стала моей женой, — сказал я.

— Мне жаль вас обоих, — только и ответила Эттера.

Я вернулся к Наттане. Ей я пока не спешил открыться. Она все равно скоро все узнает.

Девушка взяла кружку с молоком. Пальцы ее коснулись моих. Меня била дрожь; она же казалась спокойной, безмятежной: волосы слегка откинута назад, взгляд зеленых глаз задумчив и отрешен. Не спеша выпив молоко, она сразу же вновь погрузилась в работу.

Я присел на скамейку.

Наттана проворно вдела нитку в иглу. Выдвинув свой высокий табурет, она уселась на него, скрестив ноги, и принялась за первый шов.

— Самое скучное в этом деле — шитье, — заявила она. — Хотя мне даже оно нравится.

На мгновение оторвав глаза от работы, она улыбнулась. По всему было видно, что она и не подозревает о моих мыслях, и мне стало неловко. Положение Наттаны, занятой делом, было более выигрышным.

— Вам нужно обзавестись швейной машинкой.

— А что это такое?

Я объяснил, добавив:

— Вот если бы вы посетили мою «Плавучую выставку», то увидели бы сами.

— Отец ходил, когда она стояла в Баннаре, но из нас, молодых, взял только Айрду...
Расскажите, как шьют одежду у вас.

Последние слова она произнесла ласковым тоном, как бы извиняясь за прежнее раздражение в разговорах на эту тему. Я постарался нарисовать ей как можно более подробную картину изготовления и торговли платьем, особенно подчеркивая то, что было ясно и знакомо любому американцу, но неведомо островитянам: разницу между дешевым и дорогим товаром, между одеждой, сшитой на заказ, и готовым платьем, между «модным» и «немодным».

— Ответьте мне только на один вопрос, — сказала Наттана, когда я развернул перед ней свое полотно во всю ширь. — Вы видели мою работу и знаете, на что я способна. А что было бы со мной, окажись я в вашей стране?

— Если бы вышли замуж?

— Положим... или если отправилась бы работать.

— Больше всего вас интересует ткачество, — ответил я не сразу. — Учитывая особенности вашего производства, не думаю, что вы нашли бы себе применение как ткачиха, разве что какое-то время спустя и при определенном везении вы могли, но все же под чьим-то руководством, заняться моделированием одежды, чтобы воплотить свои идеи, но ткать самой вам в любом случае не придется. Вы всегда нашли бы работу, потому что вы хорошая швея. Это видно по тому, как уверенно и быстро вы работаете. Но вам придется вести ограниченную, замкнутую городскую жизнь, даже, может быть, бедную, если заниматься только рукоделием. О сокращенных днях придется забыть, так же как и о постоянных прогулках, путешествиях верхом, о том, чтобы свободно выбирать, как и над чем работать. Сердце разрывается, как представлю себе вас, Наттана, в маленькой комнате, из окон которой видны одни глухие стены, снаружи доносится назойливый шум, какого здесь вы даже не можете себе представить, а вы, вы сидите за работой, полностью повинувшись чужим приказаниям и капризам!

Девушка выслушала мой до избитости правдивый рассказ, не проронив ни слова.

— Но если вы выйдете замуж, — продолжал я, — картина может измениться. Вы сможете ткать для вашей семьи, и шить одежду тоже. Вы научитесь понимать капризы моды и постигнете их смысл. Это может оказаться любопытным для вас. Вы сможете стать реформатором в области моды.

— И конечно, — сказала Наттана, — рядом будет мужчина, которого я сама выберу в мужья, и тогда дела пойдут еще лучше. Может, я и смогла бы отказаться от своей работы, своего станка...

Сердце бешено забилося у меня в груди от счастья.

— Послушайте, Наттана...

Но она знаком прервала меня и продолжала:

— Мне нравится ваша откровенность, Джонланг. Но если я брошу свое дело, мне понадобится какая-то замена. Я все думала и думала об этом. Одного лишь дела в жизни — мало.

Неожиданно она в нерешительности умолкла. Руки ее, скрещенные на коричневом лоскуте, лежавшем на коленях, дрожали. Ветер стих, и в комнате тоже стало очень тихо.

— А если бы вы нашли своего избранника, Наттана, что тогда?

— Вы хотите сказать, если бы я вышла замуж за кого-нибудь вроде вас?

— Да, Наттана, за кого-нибудь, кто вам по душе.

— То есть за вас!.. Я уже сама не знаю, что говорю. Вы вынуждаете меня... Ах, Джонланг, отпустите мои руки. Мне нужно хорошенько подумать!

Я стоял перед ней, плохо понимая, где нахожусь. Она взглянула на меня снизу вверх, все лицо ее мелко подрагивало.

— Еще рано! — сказала она наконец. — Прошу вас, выслушайте меня. Я столько раз уже думала об этом — о том, как мы поженимся и уедем к вам, в вашу страну. Случись это так, вам, я знаю, было бы хорошо, ведь для вас все знакомо и нет ничего странного в той жизни, которую бы мы вели. Неужели вы не понимаете, сколь велик соблазн для меня! Но как сложится наша жизнь — зависит и от того, что мне придется стать такой, какой я стать не могу. Такая ноша мне не по силам! Ваша жизнь заставит меня изменить моим ценностям и не позволит быть собою. Возможно, я трушу, но из-за меня наш брак может принести несчастье нам обоим, Джонланг...

Она протянула ко мне руки, но тут же отдернула их и, крепко сжав, снова положила на колени.

— Я не боюсь, Наттана. Я хочу вас, хочу, чтобы вы стали моей женой. Если и вы хотите того же, как вы можете сомневаться?

Девушка выпрямилась:

— Ответьте мне, Джонланг: вы хотите, чтобы я родила вам ребенка?

— Да, Наттана! — сказал я после паузы.

— Вы ответили не сразу! — Она заломила руки. — Впрочем, я и сама точно не знаю.

— О, как бы мне хотелось быть островитянином!

— Какая разница? Это могло что-то значить раньше, но не сейчас.

— Выходит, я не гожусь для вас!

Наттана резко встала, схватила меня за плечи:

— Не смейте так говорить! Не смейте даже думать.

Она разрыдалась, я все крепче прижимал к себе ее безвольное, обмякшее тело.

— Да! — сказала она. — Что-то не так, но это не моя и не ваша вина. Мы ничего не скрываем друг от друга, но ни вы, ни я не чувствуем *ании*. И в нас не может появиться это чувство при наших различиях!

Она уронила голову мне на плечо. Волосы ее терлись о мою щеку; она гладила мои руки, мои плечи, я же изо всех сил прижимал к себе ее вконец сломленное, но упругое, крепкое тело.

— Вы — самый странный из всех, кого я знаю, — прошептала она слабым, оттаявшим голосом.

Кто-то, казалось, очень издалека звал меня по имени: «Ланг! Эй, Ланг!» — и эти звуки резко вторглись в объявший нас сладостный сон мечты.

Наттана подняла голову.

— Эттера зовет вас, — сказала она удивленно.

Крик доносился с площадки:

— Вы здесь, Ланг? Дон приехал. Он хочет видеть вас.

Услышав это имя, Наттана снова схватила меня маленькими сильными руками.

— Что ему от вас нужно? — воскликнула она.

— Я сам точно знаю.

— Но вы хотите уехать, да? Да?!

— Нет, Наттана.

— Ступайте к нему, — вдруг сказала она другим тоном, слегка отталкивая меня. — Поговорите с ним, но прежде, чем решиться на что-то, подумайте. Обещайте же мне это!

— Обещаю, Наттана.

— Он не имеет права... впрочем, ступайте. Он ждет.

Стоя в центре комнаты, она глядела на меня широко раскрытыми глазами. Шитье беспорядочной кучей коричневых лоскутов валялось на полу.

Приезд Дона отрезвил меня. Он ждал в гостиной в сопровождении еще двоих мужчин и, несмотря на их внушительные размеры, был выше и мощнее, хотя по-прежнему выглядел стройным в своей тесно облегающей, длиннополой куртке.

Незнакомцы представились: Гронан, брат, и Самер, племянник.

Дон объяснил причину их появления. Метель улеглась, выпавший снег сделал возможным передвижение на лыжах там, где раньше была голая земля; еще несколько дней погода должна простоять хорошая. Не желаю ли я подняться вместе с ними на перевал и немного покататься с гор?

— Скажите, зачем я нужен вам? — спросил я. — Прежде чем отправиться, я хотел бы знать.

Ответ был краток. После того как островитяне сняли свои заставы на границе, Дон с друзьями патрулировали северные ущелья. Требовались еще люди, поскольку, похоже, немецкие дозоры не проявляли особой бдительности и весной вполне можно было ожидать набегов горских племен. Признаки подготовки к ним заметны были повсюду. Для своего отряда Дон отбирал мужчин, которых мало что удерживало дома, в чьем труде не особо нуждались. Пока опасность была невелика, но в дальнейшем могло разразиться большое несчастье. Цель данной вылазки — обучить Гронана, Самера и Ланга, если тот, конечно, согласится, навыкам скалолазания и познакомить с рельефом. Мы выступим, как только я буду готов, и за несколько часов доберемся до сторожки, где заночуем, чтобы завтра ранним утром отправиться в путь. На все вместе, полагал Дон, уйдет трое суток.

— Итак, вы согласны? — спросил он. — Три дня в горах вместе с нами?

— Согласен, — отвечал я.

— Мы выступаем, как только вы будете готовы.

Эттера внесла свечи — начинало темнеть.

— Ланг идет с нами, — сказал Дон своим высоким голосом. Эттера нахмурилась.

Я бегом поднялся наверх переодеться, сложить вещи и попрощаться с Наттаной.

Она тоже зажгла свечи, и коричневые лоскуты вновь лежали у нее на коленях. Входя, я заметил, что девушка встrepенулась и быстро сделала стежок, словно боясь, что я застаю ее без дела.

— Что он хотел? — спросила она, не поднимая головы. Я повторил ей слова Дона; пальцы ее проворно сновали над шитьем, как будто новости были из разряда самых что ни на есть обыденных.

— И что вы ему ответили?

— Я сказал, что согласен.

— Вы подумали прежде, чем согласиться?

— Да, Наттана.

— А о том, что я могу отказать вам?

— Это не имеет значения. Я люблю вашу страну... Есть и еще одна причина. Это вы. Никогда не забуду, как вы рассказывали мне о набеггах, когда я гостил в Нижней усадьбе и мы ехали по долине... Да и сам Дон — человек незаурядный. Я хочу пойти с ним... Все равно — какая от меня польза, будь то здесь или у меня дома? В Америке я никто. И я не островитянин. Это шанс...

Наттана решительно воткнула иголку в шитье, и я невольно умолк; потом положила работу на стол. Поднявшись, она медленно подошла ко мне и остановилась, держа руки за спиной.

Она глядела на меня в упор, грудь ее вздымалась и опадала.

— Не говорите так! — воскликнула она высоким, незнакомым голосом. — Не смейте

говорить, что от вас нет пользы!

Я обнял ее, притянул к себе. Она нерешительно откинулась назад, удивленно глядя на меня широко открытыми глазами. Я прижал ее к своей груди, и она откликнулась на мое движение так легко и просто, словно уже давно была моей.

— Мы не должны заставлять Дона ждать. Можно я помогу вам собраться?

— Вы можете помочь мне... — ответил я, по-прежнему ее не выпуская. — Вы замечательная, Наттана.

— А вы так дороги мне, Джонланг.

Я поцеловал ее, она ответила на мой поцелуй — огонь пробежал по жилам, покой разлился в душе.

— Я счастлив с вами, Наттана.

— Я тоже счастлива. Сама не знаю почему. Но вам пора.

— Моя Наттана...

— Я люблю ваши губы и ваши ясные глаза.

— А я — ваши волосы.

— Вам пора, — повторила она, пытаясь оттолкнуть меня и одновременно прижимаясь ко мне. — Пора.

Она рванулась, и я отпустил ее. В мгновение ока Наттана превратилась в расторопную, практичную хозяйку. Она побежала в мою комнату и, пока я надевал теплую одежду, в которой был во время первого путешествия с Доном, аккуратно сложила мои вещи в мешок.

— Пока вас не будет, — сказала она, плавно двигаясь по маленькой комнате, — я буду шить ваш костюм. Он может вам очень понадобиться. Когда вернетесь, кое-что можно будет уже примерить.

— Всего три дня, Наттана. Ведь это недолго.

— Не очень... и я постараюсь быть спокойной.

Она помогла мне закинуть мешок за плечи, и мы обернулись друг к другу.

— До свидания, Наттана. Вы всегда были милой и доброй, а теперь значите для меня еще больше.

Я взял ее руку, уверенная и крепкая, она немного дрожала.

И, словно повинувшись некоей силе, мы снова обнялись и поцеловались. Уже спускаясь, я обернулся: Наттана застыла на верхней ступеньке.

— Ты сказала, что не выйдешь за меня, но это важно: я чувствую, что ты — моя.

Нагнувшись и протягивая ко мне руки провожающим и удерживающим, любящим жестом, она шепнула:

— Твоя... да — твоя.

Шурша лыжами по свежевывавшему снегу, мы уходили во тьму. Дон шел первым, Гронан, Самер и я, Ланг, — следом. Ветер ненадолго стих, было довольно тепло. Самер сказал мне, что путь наш лежит на север, к неровной гряде, протянувшейся к востоку от Дорингклорна в направлении ущелья Лор. Мы поднимались по горным пастбищам, иногда незначительно отклоняясь то влево, то вправо, что было почти неощутимо в темноте. Неожиданно путь наш преградила изгородь, и пришлось сделать небольшой крюк, чтобы найти ворота. Появлявшиеся в небе звезды быстро гасли в сгущающемся тумане. Луны не было.

Время продвигалось скачками. Вкус поцелуев Наттаны и ощущение крепко прижавшегося ко мне девичьего тела защищали меня, как доспехи. В усадьбе уже, наверное, отужинали, и Наттана сейчас моет на кухне посуду вместе с сестрой. О чем они говорят? О чем она думает, моя новая избранница, подарившая мне такое счастье?

Начался лес, темный, и тропа настолько сузилась, что ветки хлестали по лицу. Я двигался легко, как во сне. Прошло около трех часов, и если ориентироваться на американское время, то было восемь-девять вечера. Дон то и дело выкликал свое имя, чтобы мы не потерялись в темноте. Наши имена звучали одно за другим на разные голоса, как во время школьной переключки: Дон! Гронан! Самер! Ланг!

После подъема мышцы ног болели, бруски пощелкивали, не давая лыжам соскользнуть назад. Я устал, и мне казалось, будто я это не я, — так внезапен был переход в новый мир, где я впервые лицом к лицу столкнулся с неведомым, где вполне реальный, полный ненависти враг поджидал в засаде.

Еще через час мы добрались до сторожки в лесу, одной из многих, разбросанных в здешних горах. Некоторые, сооруженные очень давно, были построены охранявшими ущелья солдатами. После отвода гарнизонов их поддерживали частные лица, в том числе Дон и участники его «патрулей».

Большая хижина была рассчитана на восемь человек. Койки, в три яруса, располагались вдоль стен; они, очаг, небольшая поленница и шкаф с запасом провизии, оружия и снаряжения составляли всю обстановку. Огонь скоро жарко запылал в очаге, и все мы, кроме Дона, разместились на койках, чтобы не путаться друг у друга под ногами. Наш предводитель выступил также и в роли добровольного повара. Приготовленная им горячая мясная похлебка и растопленный снег с красным вином — таков был наш ужин.

Кругом царила тишина. Близких друзей среди нас не было, но общее дело связывало всех узами не менее крепкими. Заинтересованность и взаиморасположение звучали в голосах, находя отклик в каждом биении моего сердца.

Уставший больше других, Гронан заснул. Самер какое-то время лежал, напевая что-то вполголоса, потом тоже затих. Дон сидел перед очагом. Ничто не мешало мне думать о Наттане, снова и снова желать ее, и с этими мыслями я задремал...

Было уже совсем поздно, когда я проснулся. Дон все еще сидел на полу, уронив на грудь свою большую черноволосую голову, однако он не спал. Сильная, с длинными пальцами рука вытащила полено и умело подсунула его в очаг. Искры взметнулись снопом. Дон вновь принял свою задумчивую позу...

Казалось, он вообще мог не спать. Наутро, еще до зари, он поднял нас.

Звезды густо запорошили небо, когда мы вышли из сторожки, но восток уже светился. Идя вдоль русла замерзшего ручья, мы вышли к верхнему краю леса, а между тем снег уже розовел в лучах солнца.

И вот начались бесконечные часы карабка вверх по крутым снежным склонам; используя ледорубы и веревки, взятые в хижине, мы преодолевали узкие скальные карнизы, огромные снежные поля, протянувшиеся на несколько миль и почти идеально ровные, продвигаясь все выше между гигантскими валунами по коварному льду. У нас просто не оставалось времени подумать о чем-либо постороннем, ничего, кроме желания изучить приемы, используемые при восхождении, и запомнить рельеф места, где рано или поздно кому-то из нас придется нести постоянное наблюдение.

Все утро громада Дорингклорна нависала над нами с запада — не горный пик, а скорее сложный массив, с резко очерченными черными уступами и белыми пятнами снежных полей, контрастных на фоне темно-синего неба. К северо-востоку от Дорингклорна и к западу от нас виднелся низкий острый пик, а между двумя вершинами можно было различить сверкавшее белизной большое снежное поле, на вид ровное, нависшее над долиной Доринга и питавшее ледник. На востоке за этим вторым пиком и протянулось пока не видимое нам ущелье Ваба,

куда мы направлялись.

Глядя почти все время перед собой, мы лишь изредка бросали взгляд на юг, на то, что оставалось позади. Сейчас мы находились высоко над долиной, так что озеро казалось отсюда круглой лужицей. А дальше, от вершины до подножия, открывалась Островная, и вершина за вершиной, пропорционально уменьшаясь вдаль, тянулись на восток и юго-запад.

Склон, почти сплошь из обледенелых валунов, кончился, и мы очутились перед казавшимися абсолютно отвесными скалами с нахлобученными на них шапками снега; путь наверх был один — по крутым каменным карнизам и расщелинам, полагаясь лишь на веревку и ледоруб. Для человека опытного подъем был несложный, однако у всех нас, за исключением Дона, он вызывал невольное чувство страха и головокружения, на котором лучше не сосредоточиваться; к тому же рано или поздно всем нам предстояло научиться проделывать этот путь в одиночку. Мы стали подниматься. Дон следил за каждым нашим движением, отдавая краткие, быстрые указания и постоянно готовый прийти на помощь. На последних двадцати футах мужество едва не изменило мне, но в тот момент, когда никто этого не ожидал, мы, задыхающиеся, неожиданно очутились на краю снежного поля, полого уходившего вниз, к тянувшемуся на север ущелью. Итак, мы достигли перевала Ваба. Если считать, как утверждали немцы, что пограничная линия проходит по верхней отметке, значит, мы находились на германской, или карейнской, территории, а ущелье вело напрямиком в стан наших врагов.

Дальше небольшой участок пути мы прошли на лыжах, что обычно оказывалось самым легким, но не теперь, когда после подъема нервное напряжение и слабость в коленях делали любое движение опасным.

У горловины ущелья, на карнизе, вознесенном над снежным полем, здесь спускавшимся к небольшому леднику, стояла сторожка, настолько слившаяся с заснеженными выступами скал, что я не сразу различил ее.

— На сегодня хватит, — сказал Дон. Мы, новички, были рады возможности наконец немного отдохнуть, перекусить и вздремнуть, пока Дон разводит огонь.

— Эти дрова, — заметил с улыбкой Дон, указывая на север, — я приношу отсюда.

Вопреки его словам о том, что на сегодня все наши труды позади, к вечеру мы спустились на лыжах к леднику, укрытому толстым слоем снега и вполне безопасному, вившемуся вдоль ущелья, как река. Через две мили он резко ушел вниз и скрылся из виду за скалами справа.

У наших ног расстилались степи Собо — свободная от снега, бледно-желтая мерцающая равнина, далеко-далеко внизу, приподымаясь, она уходила к горизонту. Прямо под нами, но выше равнины тянулась темная полоса леса; вдоль ее внешнего края, отчасти скрытая мощной стеной гор, виднелась россыпь белых точек. Это было большое горское селение Фисиджи, находившееся от нас на расстоянии миль десяти. Там находились сейчас наши враги и наши возможные друзья — горстка немецких военных, наблюдавших за порядком.

Дон рассказал об обязанностях дозорных весной. Чуть выше того места, где мы стояли, располагался пункт, откуда можно было следить за подъемом на перевал. Наблюдение за Фисиджи необходимо было вести с рассвета до наступления темноты, поскольку, боясь подниматься ночью, горцы вполне могут выступить на заре. При первом же признаке их появления часовой обязан поднять тревогу. Как можно быстрее он должен вернуться и зажечь сигнальный огонь, который в долине заметят в усадьбах Дазенов и Хисов. Глаз у обитателей усадеб был наметанный. Далее наблюдателю и его напарникам — поскольку в хижине всегда обязаны находиться еще двое — следовало действовать исходя из численности отряда горцев. Если он окажется небольшим, мы будем ждать в специально выбранных Доном точках, которые он покажет нам позже, а затем начнем перестрелку. Если большим, то мы зажигаем два костра и спускаемся к месту встречи возле сторожки в лесу. За ущельем Ваба закреплялось четыре

человека, которым предстоит приступить к своим обязанностям сразу после начала таяния снегов, ожидавшегося через пять-шесть недель. После шести дней на перевале предоставлялось шесть дней отдыха. Каждый третий день дозорных обязаны менять. Четвертым в нашем дозоре будет кто-то из Эккли, соседей Хисов. В течение шести дней, что мы будем на перевале, троим отводилась роль дозорных, остальные трое должны были присматривать за хижинкой, готовить и пополнять запасы. Возвращающиеся после отдыха будут доставлять новые запасы провианта, но о дровах нам придется заботиться самим. Ближайшее место в этом смысле были расстилавшиеся внизу леса, и заготовка дров считалась самым опасным поручением.

Мы вернулись в хижину. Теперь мы побывали на той стороне перевала и видели селение наших врагов. Только зима с ее снежными заносами разделяла нас. В ту ночь я поначалу спал плохо: во сне отовсюду грозила опасность, и я, спасаясь от преследования, карабкался на немыслимые кручи, где меня поджидали засады; но постепенно характер сна изменился, страх вытеснило чувство уверенности в себе и надежного присутствия рядом Дона, а под конец — трудно представить, но сон окутал меня сладостными, нежными путами, и проснулся я совершенно счастливый, еще слыша в ушах голос Наттаны, образ которой так живо только что стоял передо мной. И уже не послезавтра, а завтра я наконец увижу ее!

Дон был хорошим вожаком, и рядом с ним никогда не покидало ощущение правильности того, что делаешь. Уже вполне свободно ориентируясь на перевале и в темноте, и в снегопад, мы обследовали места сигнальных костров, наблюдательную позицию и те тактически важные пункты, расположенные на склонах над ледником, где мы могли, укрывшись в относительной безопасности, поджидать отряды горцев, зная, что путь к отступлению — выше, в горы — за нами есть. Для меня это было настоящее приключение.

После полудня, когда осмотр позиций завершился, Дон сказал, что надо отправиться за дровами, и оглядел всех нас.

— Ланг — самый быстрый, — сказал он. — Мы пойдем с ним.

Я уже знал повадки страха: сначала он сковывает, парализует силы, потом перерастает в едва выносимое напряжение, однако вместе с тем обостряет внимание и все чувства. Дон не стал распространяться, сколь опасна наша вылазка. Половина опасностей была плодом фантазии, но что-то было вполне реальным; я заметил это по тому, как осторожно, с оглядкой движется Дон. С перевала мы спустились на лыжах и стали двигаться к северо-востоку от ледника, чуть ли не на каждом шагу останавливаясь, чтобы оглядеться. Время тянулось тем дольше, чем дальше и выше, позади нас, оказывалась сторожка. Наконец по одной из расселин мы спустились к краю лесной полосы, начинавшейся на высоте семи тысяч футов; акры и акры поваленных, умирающих деревьев — в основном старых, сучковатых, похожих на сосны, но не встречавшихся на островитянской стороне — тянулись перед нами. С помощью небольшого топорика и веревки Дон связал две охапки хвороста, между тем как я следил за голыми, хотя и изрезанными складками склонами внизу. За каждым выступом, за каждым камнем легко могло померещиться темнокожее лицо.

Во время долгого обратного подъема, выбиваясь из сил, с тяжелой ношей за плечами, я думал о том, что у страха глаза велики и, пожалуй, опасность была сильно преувеличена. Дон держался по-прежнему осторожно, однако уже не так, как при спуске. Горцы, сказал он, никогда не откажут себе в удовольствии подстрелить островитянина, оказавшегося по их сторону перевала, но только когда нет свидетелей и можно не бояться расследования; кроме того, в этих лесах никто не жил и разве что только готовящийся к набегу отряд мог заночевать здесь, а в такой час, когда быстро темнеет, немногие, кого следовало бояться, охотники-одиночки были уже далеко, спеша вернуться в селение.

В тот вечер, третий по счету проведенный в горах, чувствуя себя связанными общим делом, мы — Дон, Самер, Гронан и Ланг — держались уже вполне дружески, обсуждая наши обязанности и планы на будущее. Мой испытательный срок завершился, и я вместе с остальными был зачислен в дозорные ущелья Ваба. Из чего следовало, что теперь мне нужно обзавестись постоянным местом жительства, а стало быть, жить мне придется, вероятнее всего, в Верхней усадьбе, а не у Файнов. Вплоть до отъезда из Островитянии я мог считать это своей службой, мысли о путешествиях пришлось оставить: шесть дней я буду проводить в горах, а шесть — в усадьбе, работая с Эком и Аттом. Перемена была неожиданная и значительная.

Мы устроились на койках. Ночь выдалась морозная. Через шесть недель начнутся наши бдения. Дрова, которые я помогал собирать, горели в очаге, и я испытывал невольную гордость и был готов снова рискнуть отправиться для пополнения наших запасов в карейнские леса. Страх, подобно влюбленности, то отпускал, то охватывал меня с новой силой. Не опасайся карейнцы снежных заносов и лавин, они легко могли бы добраться до нас. Спуск в долину Доринга тоже был далеко не безопасен. Смогу ли я когда-нибудь держаться среди этих отвесных круч так же бестрепетно, как Дон?.. Но сегодня ночью страхи почти не тревожили меня. Наттана должна была поддержать мое решение вступить в отряд Дона, хотя и не могла не понимать, что, принимая его, я в определенной степени рассчитываю на нашу совместную будущность, поскольку мне придется теперь надолго осесть в Верхней усадьбе, под одной крышей с нею. Гордиев узел наших отношений не мог быть разрублен моим отъездом.

Пора полуправд и притворной дружбы прошла. Два пути лежали передо мной. Первый — словесными убеждениями и доводами попытаться склонить ее к мысли выйти за меня замуж, что было чревато либо полной неудачей, либо невыносимой ситуацией, которая неизбежно сложится между нами, если Наттана будет упорствовать. Другой, более рискованный, состоял в решительном действии — овладеть девушкой, пользуясь ее тягой ко мне, и завоевать ее окончательно и навсегда, едва лишь мы станем близки. Она могла отклонить мои притязания — что ж, я буду настойчив. Она могла не сдаться на волю победителя. Тогда это стало бы для меня окончательным поражением... Но, так или иначе, Наттана будет моей.

Похоже, Дон не стремился возвращаться раньше намеченного срока. Следующий тренировочный день оказался долгим и беспокойным. Дон подробно повторил весь маршрут, которым мы следовали из долины на перевал. Под его бдительным наблюдением мы провели не один час среди скал, изучая каждый карниз, каждую выемку, за которую можно зацепиться. Когда же, около полудня, показалось, что мы наконец-то направляемся домой, он заставил нас задержаться в сторожке, где мы провели первую ночь, чтобы пополнить запас дров и привести в порядок снаряжение, которым пользовались. Только после этого и после того, как мы подтвердили свою готовность и оставили свои адреса (Ланг — Верхняя усадьба Хисов), Дон отпустил нас.

Попрощавшись с нами, он ушел вперед, так как нам было не под силу тягаться с ним в скорости, к тому же Гронан, совсем выбившийся из сил, задерживал нас. Время шло к ужину, когда я, тоже усталый, сказав своим спутникам «до свидания», подкатил на лыжах к каменному крыльцу усадьбы, которая, словно темный, непроницаемый панцирь, скрывала за своими стенами не только пугающую и заставляющую больно сжиматься сердце неизвестность, но и готовое согреть своей мирной любовью сердце Наттаны.

Я вошел. В столовой горели свечи, и стол был почти накрыт, но Наттаны я не увидел. Взяв свечу, я не спеша поднялся к себе оставить вещи. Все так походило на обычное возвращение домой, что у меня возникло искушение отложить решительный разговор — пусть все идет своим чередом.

— Вы вернулись, Джонланг? — вдруг услышал я.

— Да, — ответил я, и быстрые шаги Наттаны раздались на лестнице.

— Все в порядке? — воскликнула девушка, без стука ворвавшись ко мне, вся запыхавшаяся, и тут же застыла, едва переступив порог.

— В порядке, Наттана, ни единой царапины.

Вновь увидев ее, сильную и гордую, я понял, что она не из тех, кто покоряется мужской воле, если это противно ее желанию. Я любил ее за то, что она такая, и был до рези в глазах рад ее видеть.

— А я только вошла с кухни, накрывала на стол, вдруг вижу — на полу снег. Я поняла, что это вы... Так, значит, все в порядке?

— В полном порядке.

— Я так рада, что вы вернулись.

— Наттана!

Я шагнул к ней, но она тут же отступила, словно избегая меня.

— Вы сказали, что не выйдете за меня, Наттана. Возьмите свои слова назад.

Глаза ее не сверкнули, как обычно, но лицо стало отрешенно-упрямым. Она покачала головой.

— Вы должны сделать это.

— Нет! Никогда!

Я рассмеялся, и глаза ее широко раскрылись. Наконец и на ее губах показалась улыбка. Положив руки ей на плечи, я поцеловал ее, и только тогда понял, как истосковался по ней, как она нужна и желанна.

— Моя Наттана.

— Пустите, — сказала девушка. — Я не хочу, чтобы Эттера беспокоилась.

— Моя!

— Должна ли и я сказать это?

— Нет... не сейчас, но потом — обязательно.

Я отступил назад.

— Поторопитесь, — сказала Наттана, — а то не успеете к ужину.

Особенно, однако, торопиться не пришлось: времени вполне хватило, чтобы принять ванну, побриться, после чего я окончательно почувствовал себя бодрым, свежим и даже почти отдохнувшим. За ужином я рассказал о событиях минувших трех дней, включая наш с Доном поход за дровами. Все, кроме молча и выжидательно слушавшей Наттаны, засыпали меня вопросами. Жизнь в доме шла своим чередом. После ужина сестры отправились на кухню мыть посуду, а мы с Эком и Аттом перешли в гостиную и развели огонь в очаге.

Старший из братьев произнес краткое, положенное по традиции слово:

— Вам придется ходить на перевал до следующего снега. Я рад, что поэтому вы сможете задержаться в нашем доме.

— И я рад, — присовокупил Атт.

Эк устремил взгляд на горящие поленья.

— И вы, я надеюсь, поможете Наттане не скучать, — сказал он наконец.

Догадался ли он о наших отношениях? Он был настоящим хозяином в доме, и от его решений много зависело.

— Я просил ее стать моей женой, но она отказалась, — сказал я.

— Это вам решать самим, — медленно, с расстановкой отвечал Эк. — Возможно, она и передумает. Если да, то вы, я полагаю, возьмете ее с собой?

— Мне придется это сделать, поскольку я не имею права оставаться в Островитянии.

— Вы должны все хорошенько вместе обдумать, вы и она. Мы вмешиваться не станем.

— Да, — подтвердил Атт, — но учтите, что Эттера... — И, не договорив, он, как и старший брат, устремил взгляд на пляшущее в очаге пламя.

— Постарайтесь не причинять друг другу страданий, — произнес Эк после паузы, — никаких иных советов я вам дать не могу.

Итак, все было сказано. Я чувствовал себя взволнованным, слегка уязвленным, но мне было легко.

— Когда я буду свободен от дозора, я постараюсь, по возможности, быть полезным здесь. Эк смутился.

— Да, конечно, — пробормотал он, — но ваши сочинения, вам не следует бросать их.

Атт спросил о распорядке дежурств на перевале. Предложенное Доном распределение обязанностей не очень понравилось ему, особенно то, что Самер будет дозорным, а Гронан — поваром и фуражиром. Оба слишком нерасторопны.

Вошли Эттера с Наттаной и присели возле огня. Скоро пора ложиться. Когда же мне перемолвиться с Наттаной?

Эттера тоже задала несколько вопросов, и постепенно разговор затих.

— Я думаю, Ланг очень устал, — неожиданно сказала Эттера. — Не стоит его задерживать.

Наттана взглянула на меня, как мне показалось, с упреком, и не успел я перехватить ее взгляд, как она потупилась.

— Да, я действительно устал, — сказал я, вставая, и обошел всех по очереди, сказав каждому «спокойной ночи» и задержавшись перед Наттаной, выжидая, пока она не взглянет на меня. Взгляд ее был бесстрастным, только изумруд блеснул на яркой белизне белков.

Я поднялся в ее мастерскую, закрыл за собой дверь и приоткрыл другую, ведущую в спальню. Поставив свечу на стол, сел и стал ждать. Я должен был повидаться с Наттаной наедине и высказать все, что у меня на сердце. Необходимость действовать расчетливо, втайне, не доставляла особого удовольствия, однако сейчас это мало что значило. Страсть, как разлившаяся река, поглотила меня, и я был не в силах противиться, даже если бы и захотел. И эта река, в своем разливе, должна увлечь и ее.

Я боялся, что не выдержу слишком долгого ожидания, — так билось мое сердце, но скоро на лестнице раздались голоса и смолкли; Наттана, как обычно, проходила в свою комнату через комнату Эттеры. Мгновение спустя сквозь приоткрытую дверь донесся звук отпираемой дальней двери, веселый голос Наттаны, прощающийся на ночь с сестрой, и, наконец, к моему величайшему облегчению, дверь захлопнулась. Наттана была в спальне одна. Скоро она обнаружит меня. Я не сводил с двери глаз.

Наттана что-то тихо напевала, вдруг пение оборвалось. Раздались шаги, все ближе. Голова Наттаны выглянула на мгновение и скрылась. Дверь сначала прикрылась, потом широко распахнулась, и Наттана быстро и тихо вошла в мастерскую, мягко закрыв за собой дверь, потом взглянула на меня, приложив руку к груди:

— Что вы хотите, Джонланг?

— Поговорить с вами, Наттана. Подойдите ближе?

Она нерешительно подошла. Я подвинулся, освобождая ей место на скамье. Все так же неуверенно она села.

— О чем поговорить?

— Я снова прошу вас быть моей женой.

— Нет, — коротко ответила она. — Ради нас обоих.

— Я не отстану от вас с этим вопросом, Наттана. Помните!

Я придвинулся к девушке, взял ее за руку.

— Бедный Джонланг!

Я выжидал, собираясь с силами; Наттана тоже ждала, что я скажу. Пламя свечи на столе почти не колебалось, горело беззвучно и ровно. И, словно глубокая река, оно увлекало нас за собою.

Слова, которые мне предстояло сказать, я уже не смогу взять обратно, они должны так многое изменить, но смолчать в эту минуту означало бы навек отравить себе жизнь сознанием собственной трусости.

— Все равно, Наттана, вы принадлежите мне, хоть и отказываетесь стать моей женой.

— Да... это правда, — глухо отвечала она.

Сначала медленно, затем, подобно некоей могучей волне, ко мне вернулась решимость. Повернувшись к девушке, я обнял ее:

— Не знаю, что это — *ания* или *апия*, но я хочу вас. И вы — моя, моя навсегда. Я заставлю вас выйти за меня замуж.

— Вы хотите меня? — переспросила она, вся дрожа. — Но и я хочу вас.

Я впился в ее губы, так что мучительно перехватило дух. Зубы наши клацнули, столкнувшись; мы все теснее прижимались друг к другу.

— Будьте моей, Наттана.

Итак, слова были сказаны.

Она откинула голову:

— Я — ваша, возьмите меня.

Это было так просто, что я не мог поверить.

— Мы должны принадлежать друг другу, Наттана. Так не может больше продолжаться.

— Нет, это невозможно, пока вы здесь... и вы тоже не можете уехать теперь.

— Я и не думал ни о чем подобном, когда дал слово Дону.

— А я думала. Я все знала заранее.

Чтобы унять ее дрожь, я все теснее прижимал ее к себе, но как трудно было подобрать точные слова!

— Я так боялась, что вы не вернетесь, Джонланг. Потому что знала: мы будем вместе, если... если вы этого захотите.

Теснее, еще теснее!

— Но это не заставит меня выйти за вас, — неожиданно сказала Наттана. — И не думайте! Я слишком дорожу вами.

— Но я буду надеяться.

— Нет, вы не должны, Джонланг.

— Должен! Вы — моя!

Но она, я чувствовал, принадлежала мне лишь наполовину, и это было невыносимо...

— Я хочу вас всю, Наттана.

— Вы можете попытаться меня переубедить, — сказала она мягко. — Но не надейтесь.

— Я не оставлю надежды.

И снова мы сделались как чужие. Я попытался было задержать ее, но мои руки лишь покорно слушались меня... Так вот, значит, что такое страсть?

— Мы оба все время чего-то боимся, разве не так? — тихо спросила Наттана.

— Это не просто страх.

— Ничего страшного. Ребенка у нас не будет. Ведь мы его не хотим. Я знаю, что сделать.

— Но, кроме того, Наттана...

Она вздрогнула, голос ее прозвучал резко, почти визгливо:

— Джонланг, вы хотите все испортить!

Что я мог ответить?

— Я хочу вас. Пойдемте ко мне, Наттана.

Закрыв лицо руками, она застыла в нерешительности.

— Если вам кажется, что это дурно!.. — воскликнула она.

— Пойдемте!

Она напряглась и отстранилась, стараясь взглянуть мне в глаза.

— Я приду, — сказала она наконец, — но вы пойдете первым, а я приду попозже.

Я выпустил ее из своих объятий. Непоправимый шаг был сделан.

Дверь моей комнаты беззвучно открылась. Со свечой в руке, босая, закутанная в плащ, появилась Наттана. Все так же молча, быстрым и решительным движением она заперла дверь и поставила свечу на стол. Плащ мягко скользнул на пол. Наттана нагнулась над свечой, и свет на мгновение затрепетал на ее шелковистой коже.

Лежа в темноте, под теплыми одеялами, мы целовались, как делали уже не раз, и знакомые ощущения снимали неловкость, но все же медленно, с робостью касаясь такой еще непривычно близкой чужой наготы. Маленькое, стройное, бесхитростное тело Наттаны прильнуло ко мне. Она всхлипывала, сама явно не понимая почему. Счастье нахлынуло внезапно, и, главное, не было ничего естественнее и проще, чем быть вместе.

Неожиданно открывшееся нам чудо заставило позабыть о желании, прокравшемся в наши ласки, как ночной тать. И мы встретили его вместе; Наттана, дрожащая и всхлипывающая, оказалась все же более стойкой, чем я. Я обожал ее прямодушное, наивное бесстыдство и ее смелость.

Все было так просто. Таинственная завеса, так долго смущавшая нас, пала. На ее место явилась другая, еще более загадочная и непостижимая. Мы превратились в единое существо, слитые воедино немислимой природной близостью, и в то же время каждый был сам по себе, со своей любовью, заключавшей полную меру отпущенного каждому счастья и блаженства. Мы спускались в безмолвные глубины, которые невозможно уже потом забыть, но которые помнятся лишь чувством, а не умом.

Медленно поднимались мы на поверхность, но то была уже новая жизнь, новый мир. Мы лежали рядом в тревожном немом изумлении.

Слов и не надо было; после того, что произошло, никто и ничто не могло отнять у меня Наттану. Я крепко обнял ее, моля, чтобы мои чувства отозвались и в ней.

Наттана нарушила молчание первой. Она должна вернуться, прежде чем проснется Эттера. Рано или поздно сестра, конечно, обо всем догадается, но пока... Было еще очень рано. Время не торопило, мы могли уснуть, не разлучаясь, но и проснуться мы обязаны были вовремя. Обязаны!

Накопившаяся после нескольких дней в горах усталость навалилась свинцовой тяжестью. Предстояло еще принять столько важных решений, пережить столько хлопот, но все это пока маячило в отдалении, а сейчас Наттана была моей, и только моей. «Ты никуда не уйдешь», — сказал я и уснул, не выпуская ее из объятий.

Всплывая из глубин сна — сна без сновидений, окруженный тишиной и мраком, думая, что Наттаны рядом уже нет, я обнаружил, что она по-прежнему здесь, неузнаваемо близкая и знакомая, и обжигающе-сладостной была эта находка, неожиданная, о которой я даже не успел подумать. Сонным, чуть смущенным голосом она прошептала, что проснулась только что. Потом, прильнув ко мне, шепнула, что хочет меня. Ее желание мгновенно передалось мне, и то,

что ее чувства так легко сообщаются мне, было новым, хотя тоже простым и естественным чудом...

Наттана лежала, застыв неподвижно, как мертвая.

— Теперь вы должны выйти за меня, Наттана.

Она не спорила. Она не могла отвечать. Я снова уснул, уверенный, что никогда больше не расстанусь с ней.

Бледный свет был разлит по комнате. Наттана, уже проснувшись, сидела на краю кровати и расчесывала рыжую путаницу своих волос.

— Мне пора. — Голос ее прозвучал встревоженно.

Смертельной тоской повеяло от мысли, что я останусь один. Я обнял ее, прижавшись лицом к полной теплой груди:

— Теперь мы — муж и жена, Наттана. Мы должны сказать им.

Опустив голову, она поглядела на меня, лицо ее смягчилось; светящееся любовью, оно было не столько красивым, сколько дорогим и поразительно милым.

— Нет, Джонланг, — ласково ответила она, и слезы покатались по ее щекам.

— Да, Наттана! Так надо.

— Нет... но теперь мы можем быть счастливы вместе.

Будем ли мы счастливы? Сомнение закралось в душу. Она поняла это по моим глазам, и тут же лицо ее нахмурилось и словно постарело.

— Вы слишком хороши для меня... или, скажем так, я слишком мудра, много мудрее вас! Пустите меня, Джонланг.

Я выпустил ее, не в силах, однако, отвести глаз от ее лица. Она выскользнула из постели, и в неясном, дымчатом свете раннего утра тело ее показалось мне не таким хрупким, а кожа — белее. И прежде чем я осознал, что на самом деле теряю ее, она уже стояла передо мной укутавшись в плащ.

— Мы никогда не должны расставаться, Наттана.

— Не заставляйте меня чувствовать себя дурной, Джонланг! Ах, поймите, ведь я — ваша, пока вы здесь. Разве вы этого не понимаете?

— И все же я надеюсь, — сказал я, чувствуя, как быстро ускользает от меня надежда. Боль отчаяния отступила, лишь когда я понял, что мне предстоит провести с Наттаной еще много долгих месяцев.

— Уж лучше вам поскорей расстаться с вашей надеждой, — сказала Наттана. — Тогда мы будем только счастливее.

Вопреки рассудку, надежда вернулась ко мне.

— Да, мы счастливы, Наттана.

— Ах, Джонланг!

Она подошла, и я обнял и поцеловал ее.

Весна пришла рано. Седьмого сентября, восемь дней спустя после нашего возвращения с перевала Ваба, Дон заехал к Хисам предупредить, что дозорные, по всей вероятности, должны будут приступить к своим обязанностям недели через две-три. Здешнее начало сентября соответствовало началу марта в Америке. Снег повсюду таял, и покров его делался тоньше. Скалистые пики — стражи Доринга — все чаще показывались сквозь редкую белую пелену тумана. Выдался только один холодный, по-настоящему зимний день, когда мы с Наттаной, пользуясь своим правом «сокращенного дня», смогли выбраться на коньках к скалам южного берега — и, пренебрегая риском, снова любили друг друга.

Обитатели усадьбы по-прежнему безмятежно трудились. Ничто не изменилось в жизни Эка, Агта и Эттеры, да и сами они не очень менялись, и даже несмотря на то, что в наших отношениях с Наттаной произошла глубокая и очень важная перемена, мы тоже вели прежний образ жизни: Наттана ткала, сидя у себя в мастерской, я же, в роли подручного, помогал то тут, то там и часто уходил вместе с братьями достраивать новую конюшню. Иногда, когда я думал о случившемся между этой женщиной и мною, оно казалось таким же значительным и непостижимым, как рождение и смерть, и, какие бы планы мы теперь ни строили относительно будущего, ничто, подумал я, не властно разрушить наш тайный брачный союз; но чем дальше, тем чаще, по мере того как наши отношения становились все обыденнее и привычнее, случившееся представлялось мне иначе — вполне естественным фактом, что я, мужчина, наконец нашел женщину, которую полюбил и обладания которой добился, что нечто подобное испытывали почти все мужчины, а я сам и моя жизнь остались теми же. Более того, новые отношения вовсе не означали, что отныне мы будем понимать друг друга с полуслова. Несмотря на всю нашу близость, мы, по сути, были все так же далеки внутренне. Правда, в глубине души я надеялся, что ни один из нас не станет для другого источником обид и огорчений.

На следующий день после посещения Дона я, прихватив кое-что перекусить, отправился к новой конюшне, стены которой день ото дня становились все выше. При кладке стен третья пара рук была как нельзя нужнее: один замешивал раствор, другой укладывал камень, а третий управлялся с небольшим подъемным воротом. Мне хотелось провести этот день вне дома, чтобы не видеть Наттаны, а заодно обдумать некоторые новые для меня ситуации, в которых мы часто оказывались, служившие поводом для мелких размолвок, впрочем неизменно кончавшихся миром, и, в частности, то, что по вполне тривиальной причине сегодня ночью Наттана ко мне не пришла.

От тающего кругом снега подымалась дымка, воздух был пропитан студеной сыростью. Бурые пятна голой земли уже выступали в полях к западу от амбара, дороги развезло. Казалось, я уже знаю это место лучше, чем какой-либо другой уголок Островитянии... Мне хотелось быть свободным, отправиться с Наттаной в путешествие куда-нибудь, где мы могли бы не делать тайны из нашей любви. Но я смогу уехать лишь через восемь месяцев, к тому же один, если только — на что было не похоже — Наттана вдруг не поймет, что не сможет прожить без меня.

На днях она сказала, что ей кажется, Эттера кое о чем догадывается.

— Она заходила ко мне в комнату после того, как я ушла к вам, — сказала она, — а утром спросила, где я была. Пришлось сказать, что я спускалась в кухню. К счастью, она за мной не следит. Правда, не знаю, верит она мне или нет. Надо быть осторожнее.

Я попросил Наттану объяснить, о чем именно она просила меня не заводить больше речь.

— Поженись мы, Наттана, и нам не пришлось бы больше прятаться.

— Если вы чего-то стыдитесь, Джонланг, то я — нет!

— Я не стыжусь, но все как-то ненормально.

Эти слова, которые относились вовсе не к нашим отношениям, а к нашему притворству, не на шутку рассердили Наттану.

— Если вы считаете, что это ненормально, я не буду больше приходить.

Мне пришлось пуститься в объяснения.

— Нет, вы считаете, что это ненормально, — сказала Наттана. — Вам стыдно — за себя и за меня. А я только и откладываю объяснение, чтобы Эттере было легче. Ей это известие причинит боль. Она такая же, как вы!

Я пытался протестовать, Наттана ничего не хотела слушать.

— Ладно, — сказала она наконец, — сегодня ночью я к вам не приду!

Что толку было говорить, как я хочу ее. Честно признаться, я был рад, что выпала возможность побыть одному, но мне несносна была мысль, что Наттана отвоевала себе право не приходить ко мне.

Атт ловко, быстро управлялся с раствором. В последнее время он стал все больше походить на эдакого грубоватого деревенского шутника. Эк наблюдал за тем, как ложатся каменные блоки, — занятие ответственное, целиком поглощавшее его внимание. Моя работа состояла в том, чтобы по сигналу поднимать, опускать или удерживать ворот на нужной высоте. Я был без куртки: работа, достаточно нелегкая, согревала, да и передышки были слишком короткие, чтобы замерзнуть. И так, в любовники Наттане достался разнорабочий — именно разнорабочим я себя постоянно ощущал. Руки мои, привыкшие иметь дело с камнем и веревкой, загрубели, покрылись мозолями. Некогда тонкий стилист Джон Ланг превратился совсем в другого человека; ум мой тоже притупился, и чувства утратили остроту.

День шел своим чередом, подобно многим другим дням, и все же в нем было что-то необычное. Ощущение счастливого чуда, как и прежде, удивляло и дарило радость, но уже не вытесняло иных, посторонних мыслей. До сегодняшнего дня лишь одно могло тревожить меня — нетерпение, недуг легко излечимый. Любовь Наттаны была столь велика, что я не особенно боялся быть брошенным. Но сейчас в душу закралась печаль. Почему мы постоянно ссоримся? Почему наши мысли и чувства не в ладу?..

Трое разнорабочих возвращались в усадьбу.

Хотя буря еще явно не улеглась в сердце Наттаны и она не торопилась менять гнев на милость, я знал, что приветствовать меня она будет как обычно — почтительным наклоном головы и быстрым зеленым блеском глаз. Когда мы встречались в присутствии других, она настолько владела собой и с таким совершенством играла роль хозяйки дома, что трудно было поверить, что я уже владел ею и она мечтает о том, чтобы это повторилось; и все же — не рассудком, а подспудно, в глубине души — я чувствовал: это так.

Хорошо потрудившиеся работники, усталые и голодные, тяжело топали башмаками по кухонному полу. Эттера, которой я побаивался — ведь в ее глазах я совершал нечто предосудительное, — хлопотала у очага, не оборачиваясь к нам. Братья разбрелись по своим комнатам. По дороге к себе я заглянул в гостиную. Увидев сидящую за столом Наттану, я почувствовал, как у меня перехватило дыхание. Да, я, несомненно, любил ее.

Наттана быстро подошла, взяла меня за руку:

— Я весь день только о вас и думала.

— А я — о вас.

Голоса у нас обоих дрожали. Она поднесла мою руку к губам, но честь была непомерно велика, и я удержал Наттану.

— Эттера может войти! — быстро прошептала она.

Руки мои безвольно опустились... Теперь говорить было легко, но сердце по-прежнему отчаянно билось.

— Приходи сегодня, Наттана!

— Конечно! Но поторопитесь, ужин уже почти готов.

Радостное, счастливое нетерпение вновь охватило меня.

Наттана запаздывала, но наконец бесшумной тенью скользнула в комнату.

Одним движением сбросив плащ, она почти выкрикнула мое имя, голос ее звучал возбужденно, готовый сорваться, она словно не замечала, что стоит передо мной совершенно нагая. Я хорошо знал ее тело, изучив каждую его линию, каждый изгиб. Теперь в нем не было тайны, но и не было на свете ничего более желанного.

— За ленчем Эттера снова будет дуться, — сказала она. — Я провела целый день одна и все думала, думала. Даже работать не могла! Еле удержалась, чтобы не пойти к вам и не сказать, что виновата.

— Мне тоже жаль.

— Мы оба виноваты! Если Эттера еще не уверена, то догадывается. Я знаю, что вы думаете, но прошу, не говорите об этом.

— Не буду. Иди ко мне!

Наттана послушно скользнула под одеяло. Я поцеловал ее и крепко обнял, но она отодвинулась и сказала:

— Я знаю: вы думаете, что мы ссоримся оттого, что скрываем все от других, и это держит нас в напряжении...

— Да, Наттана! Мне бы хотелось уехать отсюда.

— И мне, но мы не можем, а если бы и могли, куда бы мы поехали?

— Позволь мне сказать, Наттана. Это единственное решение.

— Почему вы всегда недовольны тем, что имеете, Джонланг?

— А вы, Наттана, довольны?

На мгновение она умолкла, и я обрадовался этой передышке, устав от слов, но голос Наттаны вновь зазвучал, неотступный:

— Да, Джонланг, и я недовольна, хоть это и неправильно. Но если я свяжу себя с вами навсегда, будет только хуже.

— Довольствуйся тем, что имеешь, — сказал я. — Что тебя тревожит?

Я целовал и гладил ее, стараясь отогнать недобрые мысли, но Наттана лежала неподвижно, не отвечая на мои ласки.

— Ах, я во всем сомневаюсь, Джонланг. Раньше хоть я и боялась, что все сложится неудачно, но в глубине сердца надеялась...

— Что же неудачно, Наттана?

Она лежала в моих объятиях, и огонь желания палил, ослеплял меня.

— Не знаю, но я чувствую — что-то неладно, — сказала она так, словно ей не было никакого дела до моих чувств и желаний; в эту минуту я почти ненавидел ее. — Но это не ваша вина, милый Джонланг. Вы сделали все, что смогли.

— Все прекрасно, — сказал я, целуя ее. — Лучше и быть не может.

И снова, не в силах противиться желанию, прильнул к ее безвольным губам.

— Вы хотите меня? — спросила она, неожиданно изменившимся, удивленным голосом. Преград больше не было.

Казалось, я держал в объятиях свое счастье, но оно все дальше ускользало от меня.

Обладание телом Наттаны дарило легкой радостью, и только.

Однако теперь желание настигло девушку, она прижалась ко мне, всхлипывая, и казалась надломленной, едва ли не жалкой.

Чувство скорбного одиночества вновь пробудилось во мне. Любовь оказалась простым опьянением, в котором дурное трудно было отличить от хорошего. На краткий миг скорбь растворилась в желании. Обнимая все еще всхлипывающую, жмущуюся ко мне Наттану, я старался ласками заглушить в ней сомнения.

— Мой дорогой, единственный, — послышался слабый, жалобный голос, — возлюбленный мой, Джонланг, да, это прекрасно, когда ты хочешь меня, когда ты любишь меня, так прекрасно, что ничто не может с этим сравниться.

Я поцеловал ее в губы, но они снова мучительно искривились.

— Что? — прошептала Наттана. — Что же мне мешает?

Наттана предложила не встречаться несколько ближайших дней. Работа продолжалась, однообразная и утомительная. С Наттаной мы виделись по вечерам, а однажды провели время после полудня у нее в мастерской, поведав друг другу столько всего о себе, сколько могут лишь любовники; теперь мы знали каждый про другого еще больше. В нас обоих появилось новое, ранее незнакомое чувство нежной, ласковой пронизательности, основанное не только на любви, но и на жалости, и мы с величайшей осторожностью старались избегать обоюдно болезненных тем. Так было легче, потому что каждый становился свободнее в своем одиночестве и потому что Наттана действительно казалась выбитой из привычной колеи.

Оттепель продолжалась. Горные вершины порой проступали сквозь туман, стоящий над тальм снегом, все такие же незапятнанно белые, хотя кое-где виднелись потемневшие места: там снег уже сошел. Иногда мы видели, как скользят лавины, и слышали отдаленный грохот. На дорогах была мягкая, по щиколотку, грязь. Тем не менее курьер приезжал регулярно, главным образом чтобы проверить состояние снега в ущелье Мора, но привозил и письма. Файны, очевидно догадавшиеся, что мой визит к Хисам затянется, не дожидаясь почты от меня, первыми прислали по-родственному теплое послание.

Были письма и из дома, а также от дядюшки Джозефа, с молчаливым укором воспринявшего факт моей отставки, выразившего мне свои соболезнования, намекавшего, что не прочь был бы получить от меня более подробную информацию, и интересовавшегося моими планами на будущее. Консульское прошлое давно меня не волновало, но вопрос о том, что я собираюсь предпринять дальше, невольно задевал за живое. Придет день, когда Островитяния станет для меня не более чем воспоминанием. И теперь, пока она была еще моей, обступала меня со всех сторон, близкая и живая, мне следовало как можно более жадно впитывать ее дыхание, и, читая письма родных, я на мгновение увидел ситуацию глазами Наттаны. Филипп и Алиса, родители и дядюшка Джозеф вольно или невольно старались вернуть меня к прежней жизни, и если я привезу с собой частицу Островитянии — Наттану, они будут всячески пытаться переделать ее на свой лад. И хотя я по-прежнему мечтал жениться на ней и вовсе не хотел расставаться с ней и ее страной, в душе я отчасти понял упорство, с которым она отвергала меня.

Еще несколько недель назад Джон Ланг был очарованным странником, блуждавшим в романтическом тумане, надеявшимся на несбыточное совершенство. Теперь от мечтателя не осталось и следа. Жизнь оказалась более прозаической и трезвой, и вкус ее отдавал горечью. Обладание женщиной, которую я желал, лишило обладание покровом таинственности и превратило желание в привычку, не сделав при этом повседневную жизнь ни менее сложной, ни более счастливой.

Но было и еще одно письмо, от женщины, но гораздо более молодой, а именно от Глэдис Хантер. Написано оно было в спешке, потому что мать Глэдис болела и нуждалась в уходе, и за границу они поэтому, как предполагалось, не поехали, однако, несмотря на торопливость, заметную по почерку, мне было приятно, что Глэдис не дает нашей переписке угаснуть, по-прежнему живо интересуется тем, что я пишу, и всегда с готовностью отвечает на любой мой вопрос. К тому же это уже не было детское письмо, как те, что приходили раньше. Читая его, я испытывал легкую внутреннюю дрожь, думая о том, продолжала бы моя корреспондентка и дальше так же исправно писать мне, узнай она про некоторые перемены в моей жизни... Но, даже, в сущности, не зная ее, я интуитивно чувствовал, что и заподозрив что-то она принимала бы меня таким, какой я есть, и не нарушила бы обещания отвечать на все мои письма.

На следующий день после завтрака, когда сестры мыли посуду, а мы с Эком и Аттом собирались идти работать, я почувствовал на себе пристальный взгляд Наттаны, по выражению которого понял, что перед уходом должен обязательно перемолвиться с ней. Сославшись на то, что забыл что-то у себя в комнате, и многозначительно взглянув на Наттану, я стал медленно подниматься по лестнице. Девушка нагнала меня на площадке.

— Вы тоже что-то забыли, Наттана?

— Нет, а вы?

Я отрицательно покачал головой. Наши глаза встретились, и все сразу стало ясно. Чувствуя, как она дрожит, я обнял ее, и она жадно впиалась в мои губы.

— Вы еще хотите меня? — спросила она.

— Да, Наттана, — ответил я после мгновенного колебания.

— Сегодня ночью я приду к вам, Джонланг, я больше не могу без вас.

Все тревоги как ветром сдуло, счастливое нетерпение охватило меня, и небо казалось еще выше и голубее, как после хорошего глотка вина.

Мы собирались работать весь день, но в полдень Эттера позвала нас, и мы вернулись. В гостиной сидел Амринг, один из арендаторов, весь забрызганный грязью: он только что приехал из Нижней усадьбы и рассказывал сестрам о том, как добирался.

Амринг приехал по делу, связанному с перегоном скота весной, и собирался подробно обсудить это с Эком и Аттом. Так что на сегодня рабочий день можно было считать оконченным.

Когда остальные уже собирались уходить, Амринг достал пачку писем и передал их Эттере. Там были письма ей и братьям от родственников и одно для меня. На конверте я узнал почерк Дорна. Он отправил письмо в Нижнюю усадьбу, рассчитывая, что я могу оказаться там.

Наттана стояла в ожидании, пока старшая сестра не закончит раздачу писем.

— А тебе, Наттана, ничего, — злорадно сказала Эттера.

Наттана пожала плечами и, ни на кого не глядя, ушла в мастерскую.

Я присел прочесть письмо Дорна.

Вначале мой друг сообщал события политической жизни. Дипломатическая колония окончательно разделилась, так и не придя к единому мнению относительно передачи Феррина в международное владение. Однако граф фон Биббербах собирался задержаться еще на несколько месяцев. Переговоры продолжались с учетом принятых решений. Лорд Дорн был серьезно настроен вновь восстановить пограничные дозоры вне зависимости от согласия или несогласия графа.

Последнее известие глубоко взволновало меня. Ведь если охрану границы будут нести солдаты, то необходимость в патрулях Дона отпадает и я стану свободен. Взбудораженное, радостное чувство овладело мною не потому, что неожиданная новость клала конец моим

страхам — я по-прежнему надеялся, что смогу быть полезен, и стремился навстречу опасности, — а потому, что теперь я не был так привязан к Верхней усадьбе.

Надо было немедленно поделиться новыми известиями с Наттаной.

Но прежде дочитаю письмо. Некка приняла хозяйство у Файны. Теперь она была одной из Дорнов. Мой друг чувствовал себя бесконечно счастливым...

Начало следующего абзаца заставило мое сердце учащенно забиться:

«Дорна останавливалась в Западном дворце, мы несколько раз виделись, а потом она приезжала на Остров. У нее все прекрасно, и, сдается мне, теперь она своего счастья не упустит. В марте она должна родить, и просила, чтобы я сообщил тебе об этом...»

Внезапно замужество Дорны представилось во всей своей значительности, и я понял, что теперешняя ее жизнь действительно полна. Все, что я пережил с Наттаной, она испытала, будучи женой молодого короля Тора, но у Дорны к тому же будет еще и ребенок.

Я принялся читать дальше:

«Когда дороги подсохнут и можно будет проехать через ущелье Мора, она собирается во Фрайс, где будет ожидать рождения ребенка. В свое время так поступила королева Альвина. По пути она думает остановиться в Верхней усадьбе Хисов и будет рада тебя видеть».

С письмом Дорна в мою жизнь вошло нечто почти неосязаемое, однако значительно изменившее ситуацию. И именно сегодня ночью Наттана собиралась прийти ко мне. Жаль, что я не получил письмо днем позже. Но так или иначе, нельзя было скрывать его от Наттаны.

Поднявшись в мастерскую, я протянул письмо девушке. Сидя у окна, она шила мне куртку, закинув ногу на ногу, упираясь носком в пол.

— Вы хотите, чтобы я прочитала?

— Конечно.

Я сел и стал следить за выражением ее лица. Наттана читала медленно и очень сосредоточенно, свет красиво падал на ее обращенное ко мне в профиль лицо. Оно казалось повзрослевшим, даже несколько более своевольным и упрямым, впрочем по-прежнему дорогим и милым. Потеребив одной рукой воротник, она снова лениво опустила ее на колени.

Потом повернулась и внимательно поглядела на меня, хотя лицо продолжало оставаться бесстрастным. Я видел, что она дочитала до того места, где говорилось о восстановлении гарнизонов. Я ждал ее реакции, но она промолчала и продолжала читать дальше. Выражение ее едва заметно изменилось, став отрешенно-далеким, независимым и суровым.

Сложив письмо, она с улыбкой на губах вернула его мне:

— Спасибо.

— Я думал, вам может быть интересно, — сказал я, вставая.

Она вскинула на меня глаза:

— А что вы еще думали, Джонланг?

Как мог я объяснить ей, что происходит у меня в душе? Лгать было нельзя, но где я мог найти искренние, внятные слова? Самыми простыми и искренними были слова любви, но этого не зная она не могла.

— Что же изменится? — настаивала Наттана. — Если лорд Дорн что-то решил всерьез, он этого добьется.

— Изменится ли что-нибудь или нет, решать не нам с вами. Я могу лишь сказать, что вы никогда не были для меня более близки и желанны.

Брови Наттаны сдвинулись, словно от боли. Она тяжело вздохнула.

Я наклонился к девушке и поцеловал ее, но она продолжала сидеть, и тогда я встал перед нею на колени и обнял.

— Вы по-прежнему хотите меня? — спросила она. — Мне кажется, я хочу вас день ото дня

все больше. — Она погладила меня по лицу, руки ее дрожали... — Если солдаты вернутся, Джонланг, вы окажетесь здесь не нужны. Неужели вы уедете?

— Не знаю, — ответил я, это была чистая правда, и добавил: — Но если и да, то вы должны поехать со мною.

— Ах нет, Джонланг. Теперь яснее ясного, что я не могу стать вашей женой и уехать с вами в Америку.

Она снова коснулась ладонями моего лица. Выражение ее было сердитым, любящим и непреклонным.

— Разве вы со мной не согласны? — серьезно спросила она.

— Наттана, — сказал я, — в письме домашние не одобряют того, что я отказался от должности, и моих планов на будущее. И я очень хорошо представил, чем скорее всего окажется моя, да и ваша жизнь, если мы вернемся. Но не будем складывать оружие, моя любимая! Конечно, вы не станете счастливы там, как здесь, у себя дома, но я надеюсь, что вы хоть немножко хотите стать моей женой.

Губы девушки сжались в тонкую линию, лицо потемнело от боли.

— Я знала, что этого не избежать, — воскликнула она, — и дорого бы я дала, чтобы этого не случилось!

Я изо всех сил сжал в ее объятиях, и постепенно она расслабилась, а затем еще теснее прижалась ко мне...

— Мы ведь еще хотим друг друга, Наттана!

— Я пойду за вами, если вы попросите меня сейчас.

Поднявшись, я схватил ее руки, но она все еще вырывалась, то плача, то смеясь, пока я, вконец не ослепленный желанием, не поднял ее на руки.

Темнота сгущалась. Наша одежда была в беспорядке разбросана по полу моей комнаты. Мы любили друг друга неистово, ничего не стыдясь.

Сумрачный, неприветливый свет был разлит кругом. Наттана притихла в моих объятиях. На какое-то время давящий, тяжелый покой овладел нами, желание иссякло...

— Сейчас все по-другому, правда? — прошептала Наттана.

— Для меня все осталось таким же, — ответил я, но Наттана явно не поверила мне.

— Поначалу мы были счастливы и не знали тревог, — продолжала она, — теперь же мне хочется, чтобы вы любили меня все больше, но мне всегда чего-то жаль, и я почти чувствую себя виноватой.

Она оказалась честной до конца, и про себя я не мог не признать, что чувствую то же.

— Интересно, это случается со всеми любовниками? — задумчиво спросила она.

— Быть может, просто вечер выдался такой грустный?

— Мне было так хорошо... — шепнула она.

Глядя на тени на потолке, я решил снова попытаться уговорить Наттану стать моей женой. Пусть это будет последняя попытка, но тем тяжелее ей будет устоять...

— Но день еще не кончен, — продолжала она, — теперь же мне хочется, чтобы вы любили меня все больше, но мне всегда чего-то жаль, и я почти чувствую себя виноватой.

Она оказалась честной до конца, и про себя я не мог не признать, что чувствую то же.

— Интересно, это случается со всеми любовниками? — задумчиво спросила она.

— Быть может, просто вечер выдался такой грустный?

— Мне было так хорошо... — шепнула она.

Глядя на тени на потолке, я решил снова попытаться уговорить Наттану стать моей женой. Пусть это будет последняя попытка, но тем тяжелее ей будет устоять...

— Но день еще не кончен, — сказала девушка, — и я думаю, нам надо подниматься.

Одеваться одновременно было невозможно из-за размеров комнаты. Я уступил право первенства Наттане. Как всегда, она словно не ощущала своего тела. Я, напротив, уже очень хорошо узнал его, и оно не казалось мне прекрасным или чувственным.

Цельное поначалу, мое ощущение Наттаны теперь как бы раздвоилось. Плотское желание ослабевало, порой становясь почти болезненным; с другой стороны, все сильнее делалось чувство более сильное, чем дружба, надрывающая сердце нежная привязанность, которая буквально переполняла меня в эту минуту, причем желание в нем начисто отсутствовало. И я знал, что этой внутренней раздвоенности суждено длиться вопреки моей воле.

Когда чуть позже я спустился в гостиную, Амринг, Эк и Агт по-прежнему сидели там, занятые беседой.

— Эттера хочет поговорить с вами, — обратилась ко мне с кривой улыбкой накрывающая на стол Наттана.

На кухне Эттера взглянула на меня с такой явной неприязнью, что мне стало не по себе.

— Дон заходил и хотел вас видеть, — сказала она сухо, презрительно и с укором кривя губы, — но я ни за что на свете не решилась бы побеспокоить вас с Наттаной. Поэтому мне пришлось соврать и сказать, что вы ушли прогуляться. Он ходил на ту сторону перевала и был близко от того их селения... в большой опасности. Ему показалось, что готовится набег. Он хочет выставить дозорных завтра же и просит, чтобы вы собрались пораньше. Я сказала, что вы будете готовы. Правильно я поступила?

— Разумеется.

— Я подумала: а вдруг вы не захотите уезжать?

— Все правильно. Спасибо, Эттера.

Мы обменялись сердитыми взглядами, в глубине которых, однако, таилась признательность.

После ужина я с братьями и Амрингом перешел в гостиную, но был не в состоянии воспринять ни слова из их разговора. Немного погодя, с отчаянно бьющимся сердцем, я вернулся в столовую. Наттана появилась не сразу, неся стопку вымытых тарелок. Она ласково улыбнулась, и я приободрился. Подождав, пока она поставит тарелки, я подошел и взял ее за руку.

— Пойдемте! — сказал я, но умолк, не в силах продолжать. Наттана попыталась отнять руку.

— Куда? Что это значит?

— Поженимся, как это принято у вас: пойдем и все скажем.

Рука девушки обмякла, и я уже думал было, что победил, но вдруг она резким движением освободилась:

— Так, значит, вы решили застать меня врасплох! Ах, Джонланг!

Она стиснула руки, и лицо у нее стало как у готового заплакать ребенка. Слезы появились на глазах...

— Простите, — сказал я.

Резко повернувшись, она бросилась вверх. Я слышал быстрый стук ее сандалий на ступенях, потом громко хлопнула дверь.

Оставалось лишь вернуться в гостиную. Войдя, я улыбнулся и сел в углу у очага, моля только об одном — чтобы никто не обращал на меня внимания... Последняя попытка оказалась неудачной. Больше не стоит и пробовать. Но у меня хватит мужества перенести отказ, взглянуть правде в глаза. Наттана еще вполне могла выйти за другого. И к этому я тоже должен быть

готов.

Амринг стал расспрашивать о наблюдении за ущельем. Я подробно рассказал о нашей вылазке, которую было приятно вспоминать, сознавая, какой опасности мы все подвергались и что вел нас сам Дон.

Прошел час. То, как Эк, Агт и подошедшая позже Эттера отзывались о Доне и его дозорных, скупое, но по достоинству оценивая их, не могло не воодушевлять.

— Наттана зовет вас, — сказал старший из братьев, который тогда, казалось, был больше других расположен ко мне. Я так увлекся, что даже не услышал голоса девушки.

Она ждала меня на верху лестницы, свет обрисовывал юный, очаровательный, любимый профиль.

— Пришлось кричать, чтобы вас дозваться, — сказала она, — не могла же я идти вниз заплаканная... С нами такого не должно быть.

— Нет, Наттана, ведь мы так заботимся друг о друге.

Зайдя в мастерскую, мы прикрыли дверь и сели рядом.

— Пробовала шить, — сказала Наттана, указывая на разложенные на столе и кресле лоскуты. — Хочу закончить все к вашему возвращению.

Мы замолчали. Я взял ее за руку — большего было не нужно.

— Продолжим разговор? — ласково спросила девушка. — Или отложим до того, как вы вернетесь?

— Продолжим, — ответил я, — но прежде я хочу, чтобы вы знали, как я счастлив сейчас.

— Я тоже.

— Я больше не стану просить вас выйти за меня, Наттана.

Рука ее напряглась.

— Надеюсь, — ответила девушка со вздохом.

Мы снова замолчали, потом я поцеловал ее. В комнате словно стало светлее, но мысль о том, что скоро мы расстанемся, была как рана, боль которой может на время утихнуть, но внезапно пробуждается с новой, еще большей силой.

— Чего вы ждете от меня теперь? — спросила Наттана, накрывая мои руки ладонью. — Скажите.

Я стиснул ее пальцы.

— Не бойтесь, скажите, — повторила она. — Нам не надо стыдиться наших чувств.

— Вы желанны и близки мне, Наттана. И я хочу быть уверенным, что мы навсегда останемся друзьями, что я смогу вот так сидеть рядом, держа вашу руку, или просто сидеть рядом и говорить с вами о чем-нибудь...

— Все это возможно, — сказала девушка. — И мне кажется, я тоже хотела бы именно этого... Но только пока вы находитесь под крышей этого дома, Джонланг.

— Почему «только пока я под крышей этого дома», Наттана? Почему не пока я вообще нахожусь в Островитянии?

Она помолчала.

— Не знаю, что и ответить. Думаю, так лучше. Все еще очень неясно.

— Что вы будете делать, когда я уеду, Наттана?

— Жить здесь.

— И может быть, выйдете замуж?

Было легче самому вонзить в себя этот острый клинок.

— Может быть, но вряд ли.

— Почему, Наттана?

— Если *апия* так сильна и со временем становится все сильнее, она убивает в женщине

способность к более сильному, лучшему чувству. Женщина отдается ей настолько, что большего уже не может.

— Что же я сделал с вами, Наттана?

— Вы сделали меня женщиной. Вы доказали, что многое, казавшееся мне сплошной выдумкой, — правда. Думаю, уже ни к одному мужчине я не смогу испытать то, что испытывала к вам. А пока я в этом не уверена, я не выйду замуж.

— Вы говорите только про *апию*. Но она никогда не должна приходиться одна. У меня это началось совсем с другого.

— И все равно это *апия*... и в вас, и во мне.

— Для меня нет, Наттана...

Однако, пока я говорил, во мне говорила именно *апия* — чувство несомненное, знакомое всякому мужчине.

— Вы ни разу не сказали: «Наттана, я хочу от вас ребенка», а если бы и сказали, то страшно напугали бы меня. Для вас я всегда была только «я», и ничего больше. И кроме этого и, быть может, того, как мы будем жить вместе, вы ничего не видели. И вам этого хватало, потому что... потому что вы американец! Простите меня! Но ласки Наттаны и ее дружба скоро бы вам надоели. А я устала бы от вас, Джонланг. При том, что вы самый дорогой для меня человек из всех. Помните это! Но я — островитянка и, выходя замуж, должна чувствовать и *алию*.

— Вы мне дороже всех, кого я знаю! — воскликнул я.

— Это неправда, — мягко возразила девушка.

Она была права.

— Но я не хочу, чтобы вы соглашались со мной сейчас, — добавила она тут же. — Просто скажите, что теперь для вас нет никого дороже. Этого довольно.

— Да. — И я поцеловал ее.

Помолчав, мы заговорили о дозорах на перевале, о том, какие меня ждут обязанности и сколь велика опасность. Слова Наттаны вселяли уверенность, в них слышалась скорее забота, чем тревога.

Каждое мгновение без нее было для меня невыносимо, и она сказала, что проведет эту ночь со мной, и я снова любил ее, и это дало мне новые силы. Проснувшись ночью, я протянул руку — Наттана была рядом, и в душе моей воцарился покой.

Утром я быстро собрался. Наттана была со мной до последней минуты, и, уходя в серый предрассветный туман, я уносил на губах вкус ее поцелуев.

Тяжелые мешки с провизией мы несли за спиной. Мы — это Дон, Самер и я, которому предстояло провести на перевале неделю. Долина лежала притихнув, укрытая тенью, низкое солнце пряталось за серыми облаками. Мы шагали по промерзшим колеям дороги, скользким от жидкой грязи. Дорога вела за ферму Дазенов, потом уходила в горы.

Мы шли молча, только грязь чавкала под ногами. Скоро от утренней стылости не осталось и следа. Временами любая затея, даже самая важная, казалась мне пустой и нелепой. Словно какой-то неумолимо-мрачный субъект вытащил тебя из кровати, чтобы ехать на скучнейший пикник, где ты, не подумав, обещался быть, причем в погоду, никак к пикникам не располагающую. И конечно, неотвязное чувство опасности. Оно льдинкой затаилось в сердце, хотя память о Наттане еще переполняла меня, отгоняя недобрые мысли. Так уж повелось, что мужчины искони отправлялись исполнять свой долг, зачастую рискуя жизнью, напутствуемые своими возлюбленными, помня теплоту их рук. Каждая частица меня еще помнила руки Наттаны. Я не мог представить себе ничего более упоительного, чем бесстрастная, но пронзительно-нежная близость проведенной вместе последней ночи...

Темные облака над долиной расходились, но в просветах между ними сквозила не синева неба, а лишь новая, ярко-белесая облачная завеса.

Легкая усталость, нервное измождение прошедшей ночи давали о себе знать... Хотелось встряхнуться, перевести дух. Предстоящие дни в горах дадут такую возможность, но я всегда буду с благодарностью помнить Наттану. Тяжело будет отпустить ее, но я знал, что теперь смогу...

Позже, когда весь лед наконец сойдет, путь на перевал будет не таким утомительным: в свое время солдаты проложили здесь основательную дорогу. Тогда, отправляясь в дозор, я смогу выезжать из усадьбы верхом после полудня, с тем чтобы оказаться в хижине к вечеру. С наступлением света я буду подниматься на перевал. Тот, кого мне придется менять, верхом на моей лошади проделает обратный путь и еще до полудня окажется дома. Скоро вся процедура утратит новизну, станет делом привычным. Но сегодня, когда снег на отрогах почти стаял и воспользоваться лыжами было нельзя, когда дороги были плохи, а более высокие склоны до сих пор оставались покрытыми льдом, мы добрались до нижней сторожки только к полудню, а до верхней, на леднике, — уже затемно. Здесь еще стояла зима.

Дон остался с нами, чтобы первым пойти в дозор назавтра, и присутствие его заставляло нас чувствовать себя в безопасности.

На рассвете семнадцатого сентября первые посты были выставлены. Кругом еще царила темнота, и Дон с Самером захватили фонарь. Морозный воздух застыл без малейшего ветерка. Я остался в хижине. Дон и Самер взяли ружья, одно, заряженное, было у меня под рукой в хижине. Холодок страха в груди становился все ощутимее.

Однако обязанности того, кто оставался присматривать за хижинкой — стряпать и запасаться дровами, — были хоть и менее ответственными, но отнюдь не менее хлопотными. В них входило, по крайней мере дважды в день, а в ненастную погоду и чаще, проверять хворост для сигнальных костров; необходимо было увериться в том, что хворост не отсырел и костры можно при необходимости быстро разжечь; надо было готовить завтрак и обед, поддерживать огонь в хижине, всегда имея наготове запас наколотых дров; держать наше жилище в чистоте; периодически смотреть, не видно ли костров в долине — знак, предупреждавший нас об опасности, заметив который дозор должен был покидать посты; относить ленч дозорным и, наконец, самое опасное — спускаться под вечер в карейнскую долину за дровами. Словом, дел на утро хватало, и это было лучше, чем сидеть сложа руки, пугаясь собственных страхов. А мысль о вылазке, которая мне предстояла, признаться, не давала покоя.

Около девяти Дон вернулся. Он собирался устроить подобный же пост в ущелье Лор, в тридцати милях к востоку.

Я уже говорил ему о приезде Дорны, и он ответил, что будет следить за каждым ее шагом, а в день, когда она проследует через перевал, дозоры будут удвоены. Прежде чем покинуть хижину, он повторил сказанное, добавив:

— В Фисиджи могут и не знать, что королева проедет в двух шагах от них, и все же надо быть начеку. Никому не известно, как им удастся разведать наши секреты. Возможно, кое-что доходит через немцев, а до тех, в свою очередь, от кого-нибудь из наших. Вдруг найдется дурак, который решит предупредить немецкие патрули, чтобы те в такой-то день получше следили за горцами.

Пронзительный взгляд его горящих глаз остановился на мне.

— Они считают особой заслугой перед своими богами, — продолжал он, — когда им удастся поймать кого-нибудь из нас, особенно женщину. А уж если это королева — счастливая загробная жизнь им обеспечена. Я надеюсь, вы не откажетесь подежурить, когда Дорна будет проезжать здесь?

Ответ мой последовал незамедлительно, и не мог быть иным. Конечно, могло случиться, что я не увижу ее, но это не имело значения.

— Итак, мне пора, — сказал он, вставая. — Не похоже, что они скоро объявятся, но и не похоже, что они не объявятся вовсе. Поэтому держитесь так, как если бы ожидали их появления в любую минуту. Будьте настороже, когда пойдете за дровами, и постарайтесь оставлять как можно меньше следов. Если увидите кого-нибудь из них, без сопровождения немца, сразу же стреляйте, даже если он побежит от вас. Я предупредил их. Я оставил письмо на двери их храма десять дней назад. Они знают мое имя — *Кана*.

Прощальным его напутствием было: «Мир вам». Что это означало — мрачную шутку? Он поразил всех нас, и присутствие его ощущалось, даже когда он уже находился далеко, хотя теперь мы не чувствовали себя в безопасности.

Мне было легче от сознания, что Самер неподалеку, и я никак не мог дожждаться часа, когда должен буду отнести ему ленч.

Наконец я спустился вниз расселины с едой для нас двоих, топориком, бечевкой, чтобы увязывать хворост, ружьем, веревкой и ледорубом. Дон отметил тропу сложенными в кучки камнями — по снежному полю и леднику... Я шел, с трудом сдерживая желание побежать.

Самер не меньше моего обрадовался, увидев меня, и оба мы не пытались скрыть наши чувства. Без Дона нам было не по себе. Ответственность была слишком велика, и оттого, что горцы «похоже, скоро не объявятся», нам не делалось легче.

Внизу, на карейнской стороне, снег полностью сошел. Глядя вниз, мы видели местность, переживающую совсем иное время года. По всему пространству степей цвела весна; изумрудно-зеленый ковер, начинавшийся на головокружительной глубине под нами, простирался, поднимаясь, до самого горизонта, а лес, на краю которого — белыми крапинками — виднелись строения Фисиджи, прежде серовато-голубой, то тут, то там опушился новой, светло-зеленой листвой.

Самые напряженные часы ожидания остались позади, и было маловероятно, что набег случится сегодня, однако мы по-прежнему внимательно следили за подходами к ущелью, беседуя о наших делах, о Доне... И тогда-то Самер рассказал о вылазках Дона в Фисиджи и в расположенный восточнее город Фупу. Раз или два в году он пробирался в эти селения и оставлял там послания горцам. Делал он это не потому, что кичился своей храбростью, а чтобы посеять страх среди туземцев, которые считали его едва ли не сверхъестественным существом. Поговаривали, хотя Самер не мог поручиться, что это истинная правда, что однажды охотник-горец стрелял в Дона. Человека этого больше никто никогда не видел, но его искореженное ружье с разбитым прикладом нашли приколотенным к забрызганной кровью стене храма в Фисиджи.

Самер рассказал мне еще несколько жутких историй в том же роде.

Наконец пришло время спускаться за дровами.

— Я буду следить всюду и открою огонь, если что-нибудь замечу, — сказал Самер и добавил: — И все-таки я вам не завидую.

— Завтра ваш черед, — ответил я.

— Удачи, — услышал я, уже сзади, голос Самера.

Я вернулся. Вернулся живым и невредимым. Только увидев Самера, я понял, что наконец в безопасности. Я задышался от страха и усталости и благодарил Бога, что испытать подобное мне предстоит не раньше чем через двое суток. Одиночество, невыносимая и невыразимая никакими словами тишина, враждебное внимание каждого камня, каждого дерева — такое могло привидеться только в кошмаре...

На сегодня опасности были вроде бы позади. Мы медленно возвращались к сторожке, но тьма сгущалась за нами, и мы усилием воли сдерживали шаг, стараясь не побежать, ведь между нами и врагом не было никакой физической преграды — лишь хрупкие доводы рассудка.

Утром, еще затемно, я отправился на наблюдательный пункт. Самер приготовил горячий завтрак — сегодня был его черед оставаться в сторожке. Свет фонаря скачками двигался впереди, выхватывая то здесь, то там небольшие кучки камней. Тело мое закоченело от холода. Но было легче идти во тьме навстречу опасности, чем чувствовать ее у себя за спиной. Уже светало, когда я подошел к пункту, аккуратно загасив фонарь перед последним поворотом. Страна карейнов темной бездной лежала у моих ног. Из-за полной тьмы ничего нельзя было разглядеть, от холода невозможно было стоять на месте.

Я прошелся, энергично размахивая руками... Но морозный чистый воздух бодрил, и восход выглядел поистине величественным. Снежные вершины, тяжеловесные белые громады на фоне темно-синего, усеянного звездами неба окрасились розовым. Я вспомнил Дорну. Вот к кому моя любовь действительно была вечной...

Остроконечные полосы желтого света протянулись сквозь холодные тени равнины. Ближние скалы выступали из-под покрова ночи. Я стал вглядываться.

Солнце начало пригревать спину. Глаза глядели зорко. Вряд ли кто-нибудь, оказавшись на перевале, долгое время мог оставаться незамеченным. Задача наблюдателя была не такой уж пустой, как могло показаться. Каждый момент, находясь на своем посту, я приносил пользу тем, кто оставался там, в долине. Не было в мире зрелища столь величественно-застывшего, столь поразительно необъятного! Опасность лишь добавляла волнующего очарования этому чуду. О, какое великолепие расстилалось передо мной! Я не уставал благодарить Дона, доверившегося мне.

И все же словно целая жизнь — от юных дней до зрелого возраста — успела промелькнуть, пока не появился Самер, чтобы сообщить, что самые опасные, утренние, часы — позади.

Между нами постепенно завязывались дружеские отношения; в любой момент разговор наш мог неожиданно перейти на какую-то, казалось бы, совсем постороннюю тему, прямо не касавшуюся текущих дел и обязанностей. Здесь, на перевале, поводов для разговора оказалось предостаточно. Там, в долине, я вряд ли стал бы особенно откровенничать с Самером. Немного старше меня, он был полон ничем непоколебимого чувства уверенности и уважения к собственной персоне. Все его разговоры так или иначе сводились к женщинам. Не скажу, чтобы рассказы его точь-в-точь напоминали истории, которые можно услышать в американском вагоне для курящих, но покровительственное желание разрешить ваши самые интимные проблемы в них присутствовало... Чего ради, собственно, я должен был все это выслушивать? Казалось иногда, что безотчетный совершенный мною шаг известен моему собеседнику — что до Атта, тут сомневаться не приходилось, — и оба они обращались со мной как с равным. Но я все же отличался от них, и двусмысленность их рассказов порой корбила меня.

А возможно, таким образом он просто хотел отогнать страхи, одолевающие человека в лесах. Я понимал его. Я понимал и ту смутную, но, безусловно, помогающую снять напряжение тягу к соленым шуткам, но мне было не до того, мне хотелось достичь мира в душе, очиститься.

В ту ночь, думая о том, что уж если мне суждено быть убитым, то мне не избежать этой участи, будем ли мы следить за сторожкой или нет, что я уже дважды спускался за хворостом, а Самер — всего один, а Дон многократно, и совершенно спокойно проделывал это, я уснул таким крепким сном, как мог. Я бы спать только дома, но и во сне не переставал следить за бескрайними и пустынными горными склонами.

Самер отправился в дозор. Я осмотрел сигнальные костры, прибрался в сторожке, и у меня

оставался еще час свободного времени. Захватив с собой несколько, листов почтовой бумаги, я принялся сочинять послание Глэдис Хантер, в котором писал, между прочим, что сожалею по поводу болезни ее матери, благодарил за внимание, с каким она писала мне, и рассказывал о своих нынешних занятиях. По мере того как я писал, образ Глэдис становился все живее и притягательнее: Наттана изменила что-то в моем отношении ко всем женщинам... Мне столько всего нужно было сказать Глэдис, что приходилось довольствоваться скудными фактами, предоставляя ей самой подбирать им соответствующую окраску. Какую разную жизнь мы сейчас вели! И все же, пусть мы жили как бы в разных мирах, два потока существования перетекали из строки в строку. Я еще раз поблагодарил Глэдис, что она не теряется из виду, добавил, что и мне доставляет удовольствие держать ее в курсе моих дел, а чтобы быть честным, не умолчал и о Хисе Наттане, описав ее и сообщив, что мы с ней очень хорошие друзья и она мне очень нравится.

На четвертый день я снова стоял в дозоре. Самер приготовил завтрак. Ближе к полудню его сменит Гронан, он же принесет мне ленч.

Утро было туманное и ужасно холодное. Что до погоды, нам представлялось решать самим: если она выдавалась слишком скверная — и пребывание на посту становилось небезопасным и, с другой стороны, крайне маловероятным делалось появление врага на перевале, мы могли по собственному усмотрению оставлять пост и ждать, покуда условия не изменятся к лучшему. Я принял решение стойко исполнять свои обязанности, жестоко мучась от холода, а под конец, когда появился Гронан, изнуренный, с виду совсем старик, успел замерзнуть как ледышка. Гронан был самым старым из нас, старше даже Дона, и все тяготы нашего дежурства давались ему с большим трудом. Он понравился мне с самого начала.

Было ясно, что поход за дровами окончательно измотает его, к тому же он ни разу еще не спускался в лес, да и дорога была едва различима. Я пошел вместо него — и это даже согрело меня, — а передвигаться в тумане оказалось куда менее страшно.

С Гронаном мы тоже сдружились, хотя дружба наша была сдержанной, немногословной, и в тот вечер, пока мой напарник отдыхал, я продолжал письмо.

— Знакомой в Америку, — пояснил я.

— А девушки у вас тоже хорошенькие?

— Эта, по-моему, да, но она еще почти ребенок.

Следующий день я провел в сторожке, потом снова на посту. Жизнь на перевале сделалась привычной, да и длилась она так долго, что все происходящее — будь то во время наблюдения, в лесу, в сторожке — воспринималось как нечто естественное, и все же ледяная заноза страха глубоко засела в сердце, и холодок ее я ощущал во сне и наяву.

Возвращаясь с Гронаном из дозора, я думал о том, что очередной срок моего пребывания на перевале окончен. Завтра рано утром молодой Экли займет мое место, а я поспешу к Наттане. Нетерпение всю ночь не давало мне уснуть.

Незадолго до восхода, неся за плечами тяжелый мешок, появился Экли, готовый заступить на мое место. Это был худощавый, но сильный юноша лет двадцати пяти, хорошо знавший горы, второй в нашем отряде. У него были карие — пожалуй, слишком широко расставленные — глаза, держался он скромно и дружелюбно, хотя и несколько замкнуто. Он сказал, что приехал верхом и оставил лошадь у нижней сторожки, так что я смогу воспользоваться ею при спуске.

Впервые я спускался по крутым склонам без страховочной веревки, один. Привычность спуска сделала его легче, чем я предполагал, однако и в мастерстве скалолаза я тоже успел поднатореть. Раньше мне было бы страшно, теперь же я испытывал радость, и мысли о Наттане придавали мне новые силы.

За неделю, что меня не было, в долине началась весна. Тропу и дорогу, ведущую вниз, к озеру, развезло, но лошадь Эккли легко двигалась вперед. Чем ниже мы спускались, тем меньше и реже становились лоскуты снежного покрова, уцелевшие между деревьями. В глубине леса деревья были словно окутаны нежно-зеленой дымкой распускающихся почек, воздух ощутимо теплел. Лед все еще сковывал озеро, но то тут, то там на нем виднелись маленькие и большие промоины. Птицы перелетали с ветки на ветку, на солнечном берегу пробивалась зелень и распустились похожие на колокольчики цветы.

Словно для вящей полноты и без того переполнявших меня чувств, Наттана выехала встретить меня. По обе стороны дороги росли кусты, набухшие почки на них полураскрылись, приоткрывая тесно сложенные внутри молодые зеленые листья. Слева лежало озеро, и в свободных ото льда участках воды отражались перламутрово-белые облака и синева неба. Наттана ехала мне навстречу верхом на Фэке, чьи крепкие копытца шумно шлепали по грязи. Девушка была очаровательна, все в ней принадлежало мне: золотисто-рыжие, переливающиеся на солнце волосы, ее белое с зеленым — мое любимое — платье.

Широко улыбнувшись, она помахала мне рукой:

— Привет, солдат!

Я едва сдерживал себя — так хотелось мне поскорей обнять и поцеловать ее.

Она повернула, и мы вместе поехали к усадьбе.

— Я так рад видеть вас! — сказал я, ничего не замечая кругом, кроме Наттаны: ее губ, полных белых рук, голых коленей, соблазнительных, дразнящих. — Вы прекрасны, как сама весна, Наттана. Слишком прекрасны.

— Весна! — воскликнула она. — Дни стали длиннее, чем ночи. И я рада, что я прекрасна.

— Меня так долго не было.

— Но вы в порядке? Вас не ранили? Вы не обморозились?

— В полном порядке.

— Я знала — так должно быть. Во всяком случае, никаких плохих предчувствий у меня не было. У нас все по-прежнему, только... в общем, я все им рассказала про нас.

Это было неожиданное потрясение. Теперь мне нелегко будет встретиться с хозяевами усадьбы.

— Эттера сказала, что уже давно все знала сама и что ей было бы много легче, если бы мы не скрывались.

— А Эк? — спросил я.

— Похоже, он удивился и сказал, чтобы я хорошенько обдумала все, прежде чем выходить за вас. Я ответила, что вы хотели жениться, но об этом не может быть и речи... А Агт — отпустил одну из своих шуточек!

В голосе ее зазвучали сердитые нотки, потом она рассмеялась.

Мы подъезжали к конюшне, слева от дома. Снег сошел с полей, и бурая их поверхность была расцвечена прозеленью. Оба брата, сняв плащи, работали над новым крылом, которое было заметно выше первого. Помахав нам и приветствовав нас криками, они снова принялись за работу.

— Им не хватало вашей помощи, — сказала Наттана. — Вы так нам помогли.

Мы спешили, и я шагнул к ней.

— Подождите, надо отвести лошадей, — сказала Наттана. Она вела себя сдержанно и, казалось, нарочно не спешила, не выказывала особых чувств, хотя я весь дрожал.

— Я позабочусь о тебе, — обратилась она к Фэку, — даже если ему этого не хочется. — И она легко шлепнула по крупу Ролана — лошадь молодого Эккли.

Я схватил ее за руку и привлек к себе, осыпая поцелуями ее лицо, шею, лаская и глядя ее. И

снова все в ней казалось мне чудом, и я умирал от желания.

— А теперь, солдат, — сказала девушка, — пойдем в дом.

Я хотел обнять ее, пока мы проходили через открытое пространство между конюшней и домом, но она удержала мою руку.

— Эттера может следить, — заметила она беззаботно, — а впрочем, теперь это не важно...

Однако я чувствовал, что это все еще важно...

— Почему вы называете меня «солдат»? — спросил я.

Наттана рассмеялась:

— Вы похожи. Да и потом, вы ведь и вправду солдат, верно?

За ее словами крылось что-то большее... Неожиданно в голову мне пришла новая мысль.

— Если теперь знают в усадьбе, то скоро узнают и все в округе, — сказал я.

— Ну, округа невелика.

— Дойдет и до вашего отца.

— Да, до него уж точно дойдет. Эттера расскажет... я могла бы и сама, но так не положено.

— Поэтому вы ей и сказали?

— Главное — потому, что без тайн всем жить легче, ну и из-за отца, конечно... Так будет проще. Куда мы сейчас пойдем?

Я провел ее наверх, в свою комнату, и запер дверь.

— Я хочу тебя, — сказал я.

— Еще бы.

— Ты — моя!

— Так возьмите меня. — Голос ее прозвучал довольно невыразительно.

Она ни в чем не противилась мне, но ответное чувство ее было весьма рассудочно и довольно прохладно. Да, я держал ее в своих объятиях, обладал ее телом, но она лишь покорно подчинялась моим ласкам, слишком безвольная, чтобы действительно быть моей.

Когда все это кончилось, во мне произошла какая-то перемена, но что это было? Сбросив навязчивый груз желания, я почувствовал себя легче, но даже тяжелая физическая истома, затуманившая голову, не могла затмить чувство собственного ничтожества и предательства по отношению к самому себе. Кто-то, может быть, назвал бы это любовью, но для меня это была не любовь. Была ли в этом хотя бы *апия*?

Наттана, по-прежнему сохранявшая полное спокойствие, уверенная в себе, словно спохватившись, что нечто произошло, заговорила, как бы объясняясь:

— Я рада, что могу дать вам это. Мне показалось, вы действительно хотите меня. Я рада.

— Но вы? — вскричал я. — Вы сами?

— Я?.. Но что я?

— Вы сами ничего не испытали.

— Зато вы получили то, что хотели. Разве этого недостаточно? Я не могу влиять на свои чувства. — В голосе ее прозвучал готовый прорваться гнев.

— Достаточно, — солгал я, лишь бы остановить поток слов: ссора сейчас была бы более чем позорной. Девушка глубоко вздохнула, пошевелилась, и я с радостью отпустил ее, но она не уходила, оставаясь лежать рядом.

— Я вовсе не стала бесчувственной, — сказала она после долгой паузы, примирительно и с сожалением, — я умею хотеть, как и прежде, но, похоже, я — это уже не совсем я... Ах, Джонланг, я по-прежнему рада принадлежать вам, когда вы этого хотите.

— Благодарю вас, Наттана.

Она коротко застонала, как от боли.

— Но вы не удовлетворены! — воскликнула девушка.

Разминувшиеся Желания — и в такую минуту! Я стремился к гармонии любви, а не просто к акту, который приносил бы облегчение мне одному. Пусть не тело, но хотя бы ее сердце должно было переживать то же, что и мое. Будучи мужчиной, я неизбежно предавал свое чувство, обладая лишь телом, но она, женщина, могла оставаться холодной и утаивать свои истинные эмоции.

— Нет, вы не удовлетворены, — с чувством сказала Наттана, — даже после того, как вы сделали *это* со мной!

— Я удовлетворен, Наттана.

Мы лежали молча, не касаясь друг друга, пока она вдруг не встала и не вышла, сказав, что пора готовиться к ленчу.

Эк, Атт и Эттера с нетерпением ожидали моих рассказов о том, что делается на перевале. Наттана держалась очень ровно, постоянно избегая моего взгляда, как если бы я чем-то обидел ее.

Я предложил помочь братьям, но сегодня у них как раз был укороченный день. Тем не менее всегда имелась возможность поколоть дрова. Я решил поработать, привести чувства в порядок, а потом поговорить с Наттаной. Я понимал, что должен первым сделать шаг навстречу. Пока я работал, чувствуя, что все более успокаиваюсь, в дверях появилась Эттера. Я молчал, ожидая, что она скажет.

— Кажется, весна и в самом деле началась, — сказала Эттера. — Я хотела бы уехать на несколько дней.

— Что же вам мешает?

— А кто станет готовить?

— Наттана или кто-нибудь из Эккли.

— Куда бы съездить?

— Я думаю, в Нижнюю усадьбу.

Эттера лукаво посмотрела на меня.

— Волнующие дни, — сказала она. — Подумать только — молодой человек отважно несет дозор на перевале, кругом ходят слухи о готовящихся набегах... и скоро приезжает Дорна.

— Это все новости за последнюю неделю?

— Ну что вы, — ответила она с легким вздохом и добавила: — У вас получалось бы лучше, Ланг, возьми вы другой топор... — С этими словами она удалилась.

Итак, она приходила — дать мне понять, что мы по-прежнему друзья... Все обстояло не так уж и плохо, однако нашу размолвку с Наттаной следовало уладить.

Дверь в мастерскую была закрыта, но на площадку проникал слабый, кисловатый, хотя и отнюдь не неприятный запах, чем-то похожий на запах, стоявший у нас в доме, когда готовили айвовое желе. Разгоряченный работой, я принял ванну и, придав себе как можно более ухоженный и представительный вид, постучал.

— Входите! — раздался из-за двери звонкий голос.

Я вошел.

— Ах, это вы! — радостно воскликнула Наттана.

Полдела было сделано.

В комнате царил беспорядок. Красильный котелок кипел на огне, выпуская тонкую струйку пара. Запах хоть и ощущался здесь сильнее, все равно был растительно-приятным. Наттана сидела с распущенными волосами, в большом фартуке, снизу доверху покрытом пятнами, пальцы — словно выпачканы в йоде, щека тоже была чем-то вымазана.

— Самый ответственный момент, — сказала она. — Если вы не против, я буду продолжать. Она указала буро-коричневым пальцем на скамью, где оставалось немного места куда

присесть, а сама подошла к котелку и наклонилась над ним. Я наблюдал за ней со стеснением в груди.

— Боюсь, уже слишком темно! — сказала она нетерпеливо. — А осветить больше нечем.

Вам очень идет такой цвет лица, как сейчас, Джонланг, а каким бледным вы были в Городе.

— Что вы делаете, Наттана?

— Это ваша рубашка.

— Вы хотите сшить мне и рубашки тоже?

— Да, и гетры, все — кроме обуви.

— Наттана, вы слишком обо мне заботитесь.

— Это мое самое большое удовольствие. Я хочу, чтобы у вас был настоящий гардероб...

Честно говоря, Джонланг, я вначале побоялась вам сказать насчет рубашек и прочего.

— Вы слишком добры ко мне. Даже не знаю, чем я смогу вам отплатить.

— Подумайте, Джонланг... Впрочем, разве это важно! Мне просто нравится заботиться о том, чтобы вы были одеты как следует.

— Наттана, — сказал я, — вы и вправду делаете для меня чересчур много, но я не стану вам мешать. Все это мне нужно.

— Разумеется.

— Но когда-нибудь я вас отблагодарю.

— Вы и так вполне благодарный заказчик... Часть рубашек будут коричневые, часть — зеленые, и еще у меня есть чудесная желто-коричневая краска... Только, пожалуйста, давайте минутку помолчим...

Она продолжала хлопотать возле котелка, проверяя краситель на лоскутках ткани. Довольно скоро она добилась нужной смеси.

— Можете мне помочь, — заявила она. И какое-то время мы молча работали вместе. Один за другим я передавал ей мотки ниток, и она опускала их в раствор. Лицо ее было спокойно и в то же время сосредоточенно, казалось, сейчас она воспринимает меня исключительно как помощника. И все же работа эта делалась для меня... Помогая Наттане, я думал о том, что, может быть, мужчина и способен ненадолго забыть о привлекательности и обаянии женщины, о которой он заботится, но женщина, заботясь ничуть не меньше, наверняка может надолго позабыть о мужчине, если что-либо еще занимает ее мысли...

Наконец все мотки прошли окраску и теперь сушились на специальной сушилке. Наттана вылила остатки краски и стала чистить котелок, высказывая при этом свои мысли вслух: да, цвет получился светлее, хотя поначалу казалось, что выйдет слишком темным... всегда так... наперед ничего не узнаешь... разве что иногда...

Но вот она вздохнула, выпрямилась, сняла фартук и стала прибираться в комнате.

— Ну все, с этим покончено! — воскликнула она облегченно.

С моей стороны казалось, что неловко и даже жестоко беспокоить ее сейчас, но я знал, что если не сделаю этого, то натянутость в наших отношениях не исчезнет.

— Наттана, — начал я, — признайтесь, что вы были холодны со мной сегодня утром.

Девушка резко остановилась и обернулась ко мне:

— Я была рада, что вы любили меня.

— Уж не угрожают ли нам снова *Разминувшиеся Желания*?

Лицо Наттаны залилось густым румянцем, и сердце мое забилось быстрее.

— Но ведь вы действительно хотели меня, Джонланг! — сердито воскликнула она.

— Да, но разве этого достаточно?

Наттана неожиданно отвернулась и подошла к окну. Казалось, она вся дрожит, но голос ее

звучал ровно:

— Я знаю, вам — нет. Другим мужчинам, наверное... Но вы хотите от меня больше, чем мне хочется вам дать.

Это был смертный приговор, и острой и глубокой была боль утраты.

— Но почему вы не хотите отдать себя целиком, как раньше, Наттана?

— Мне кажется, я — уже не совсем я.

— Что это значит? Объясните.

— *Апия* — это не все мое «я». Разве у вас не так? Думаю, и для вас тоже, Джонланг. Мы должны были рано или поздно это понять. Когда вы уезжали, я все время думала. Думала про других мужчин, про то, что было между нами и как это могло бы быть с другими... ну хотя бы с Ларнелом, если вы желаете все знать до конца.

Она умолкла в смущении. Я же, почувствовав укол ревности, резко встал. Наттана обернулась.

— А вы! — продолжала она. — Помню, когда вы получили то письмо от Дорна. Я следила за вами, пока вы его читали. И я знаю — вы думали о том, как это у вас было бы с ней. Простите, что я это говорю... Мы должны быть откровенны!

Я вспомнил Глэдис и разговоры с Самером.

— И я думал о других женщинах.

Глаза Наттаны сверкнули.

— Теперь больно мне! Смешно, не так ли? Мы оба как куклы на ниточках: дерни — и она подскакивает. Вот что делает с человеком *апия*, Джонланг. И у меня больше поводов ну, скажем, сомневаться, ведь вы любили Дорну сильнее, чем я кого-нибудь раньше. Я знала, что разочарование в *ании* рождает *апию*. Это был мой шанс!

Все это звучало для меня неожиданно.

— Вы с самого начала заинтересовали меня, — продолжала Наттана. — Вы тогда меня не поцеловали, — помните? — и я знаю, что вовсе не потому, что я вам не понравилась. Любой наш мужчина, какой бы он ни был чопорный, по крайней мере поцеловал бы меня, хотя бы в шутку, чтобы мне не было стыдно, как было стыдно мне в тот раз. И я никак не могла понять — что это за щепетильность, из-за которой человек ведет себя невежливо?

— Что же нам делать теперь, Наттана?

— Я знаю, что мне делать, за последнюю неделю мне все стало ясно. Я испугалась за себя, когда начала представлять, как делаю это с другими мужчинами. И то же должно происходить с вами, потому что мы похожи. Мы оба прекрасно знали, какова природа наших чувств. Вы будете желать других женщин, Джонланг, и меня будет влечь к другим мужчинам. Это порочный путь, и я не хочу следовать по нему. Тогда я стала работать с утра до ночи, только чтобы не думать, как я занимаюсь *этим* — с вами или с кем-нибудь еще. А когда вы вернулись, что-то в вашем взгляде, в том, как вы касались меня, что-то... словом, я поняла, что вы прошли через то же, что и я, и теперь, как любой солдат, хотите просто женщину... любую хорошенькую женщину, не обязательно меня... Разве я не права?

— Я думал только о вас.

— Да, я знала, что вы будете думать обо мне... Но я не хотела, не могла ответить на ваш порыв, именно потому, что я тоже просто хотела мужчину. Пусть даже все это время вы были мне дороже, чем когда-либо. Я знала, как тяжело вам там, наверху, и почему вы там. Я хотела принадлежать вам. И я поехала встречать вас, Джонланг!.. В то утро я очень хотела этого. Вы понимаете меня?

— Понимаю. Я тосковал по вас, как никогда, но что-то умерло в вас, Наттана.

— А вы думаете, оно жило?

Я прикусил губу.

— Во мне тоже умерло что-то, — признался я.

Она вскрикнула, потом коротко засмеялась:

— Значит, я была права?

— Насчет чего?

— Это была только *апия*.

— Но что-то еще живо, — воскликнул я. — Оно живо во мне и по сей день, и это называется *любовью*. — Я произнес это слово по-английски.

— *Любовь*, — повторила она с необычным милым акцентом. — Хорошо, пусть это было и остается *любовью*.

— Теперь весна, — сказала она немного погодя другим тоном, — и нам с вами надо побольше гулять. Мы будем счастливы. — Она помолчала. — Да, мне все окончательно ясно: вы и я не из тех, кому достаточно одной лишь чувственной любви, без *ании*.

Она снова умолкла, потом продолжала:

— Неужели вы несчастны, Джонланг? Я — нет. Теперь я люблю вас еще сильнее и лучше.

— Я не чувствую себя несчастным, Наттана, но не могу представить, что больше никогда не коснусь вас.

— Давайте не будем выдумывать никаких глупых правил, дорогой. Если, пока вы здесь, вы захотите меня так сильно, что решите, что лучше не сдерживать себя, — попросите меня прийти к вам, и я с радостью приду.

— И вы сделаете так же, если решите, что это лучше для вас?

— Да, у нас все будет обоюдно... Я могу прийти сама, хотя ничего не обещаю.

— Я пойму вас.

— Конечно. Разве можем мы не понять друг друга? — Она подняла на меня глаза. — Поцелуйте меня.

Наттана была права, и в правоте ее крылась большая мудрость. Вместо тягостного, навязанного самому себе ограничения я получал свободу узнать себя — кто я и чего хочу в этой жизни, сейчас или позже.

Дни шли за днями. Работа над новой конюшней продолжалась, и Эк и Атт были все те же: один — постоянно погруженный в свои размышления, серьезный, другой — беспечный весельчак. Они не скрывали, что им все известно, однако не давали советов, принимая случившееся как факт и упоминая о нем лишь косвенно, например, когда Эк предложил, что, как только станет теплее, мы с Наттаной можем из наших комнатушек перебраться спать в эллинг.

Приближалось двадцать восьмое, когда мне снова предстояло отправляться в дозор. Накануне мы с Наттаной взяли укороченный день и пошли прогуляться вдоль южного берега озера по еще не просохшей дороге, ведущей к ущелью Мора. Мы говорили о том, как будем жить каждый в своей стране, условившись всегда оставаться друзьями и переписываться. Домой мы возвращались в пылающих лучах заката, взволнованные ощущением совершающегося вокруг и в нас самих чуда. Отныне я препоручал Наттану некоему мужчине, к которому она почувствует *анию*, и она надеялась, что мне наконец встретится у меня дома женщина, которую я люблю по-настоящему и захочу жениться на ней, а она согласится выйти за меня замуж. Нет, это была не прогулка, это было прощание навсегда.

Но той же ночью, когда я уже засыпал, дверь открылась — и вошла Наттана.

— Я пришла, — сказала она, — потому что хочу быть с вами.

Тело ее белело в темноте. Я обнял ее.

— Не надо ни о чем думать, — шепнула она. — Ни о чем меня не спрашивайте, и я не стану

спрашивать вас. И не будем ничего говорить.

Той ночью мы любили друг друга так страстно, как никогда. Мы стали искушеннее, и любовь наша была безудержной. Прежние надежды и желания ожили. Казалось, что я не смогу жить без нее, но я молчал. Она принадлежала мне, и мы понимали, что это скорей всего никогда не повторится, но молчали.

Потом она быстро поцеловала меня и выскользнула из моих рук, а я продолжал гадать: пришла ли она потому, что решила, что так будет лучше для нее, или потому, что подумала, что я хочу ее... Впрочем, это не имело значения: старые раны могут долго болеть, но завтра я снова вернусь на перевал. В любом случае поступок Наттаны был замечательно прост.

Из дождливой апрельской свежести Фэк снова привез меня в царство зимы, и я, дрожа от холода, провел ночь в нижней сторожке, над которой грозно нависали крутые склоны, по ним завтра мне предстояло подняться на перевал. Шесть проведенных в долине дней притупили мое чутье скалолаза, и нелегко было на следующее утро одному, да еще с тяжелым грузом за плечами, карабкаться по предательски скользким выступам скал, таким узким, что порою едва можно было поставить ногу. И все же в конце концов вверху, над последней у-образной расщелиной, я увидел яркую синеву неба и скоро уже стоял на краю небольшого снежного провала.

Эккли ожидал меня, сидя на плоском валуне, откуда видна была долина.

Он сообщил, что особых новостей нет, Самер в дозоре и ждет меня. После чего проворно стал спускаться и скоро исчез из виду, на пути к дому, где его ждал покой и отдых.

Оказавшись на месте, я быстро втянулся в привычный и несколько надоевший поток каждодневных дел. Там, в долине, жизнь на перевале вспоминалась как мимолетный эпизод, а усадьба как нечто реальное, но здесь уже через час усадьба Хисов представлялась лишь местом, где я провел короткие каникулы, а теперь снова вернулся в школу отбывать свой жизненный урок. Хотя здешний кругозор ограничивался заснеженными горами и небом над головой, хотя сторожка была невелика и чувствовалась стесненность, а поддерживать чистоту было трудно, все же она была знакомым, не лишенным уюта местом. Здесь радовало постоянное ощущение того, что ты делаешь некое доброе дело, обязанности вошли в привычку, вид с наблюдательного пункта по-прежнему открывался прекрасный, и та же привычка, надеялся я, поможет мне преодолеть страх во время походов за дровами. Всего шесть дней, и снова — каникулы, во время которых можно вздохнуть с облегчением, позабыв про опасность.

Когда я принес Самеру ленч, он бодро приветствовал меня и тут же принялся жаловаться на мрачный характер Эккли. С работой своей он справлялся хорошо и вообще вызывал у Самера восхищение как человек, наделенный самыми разнообразными способностями, с ним Самер чувствовал себя в безопасности, но из него просто невозможно было вытянуть хоть слово насчет чего-нибудь, что не касалось бы того, чем он в данную минуту занят.

Самер был рад возможности выговориться.

Как поживают Хисы? Как продвигается новая постройка? Чем я занимался в свободные дни? И как вообще меня, американца, занесло в долину Верхнего Доринга? Где я познакомился с Хисами?

Я чувствовал, что за всеми этими вопросами кроется личный интерес, и, зная мысли Самера, боялся, как бы он не завел речь о женщинах, к примеру о Наттане.

В человеке, работающем с двумя напарниками, скоро развивается отчетливая симпатия к одному и столь же сильная антипатия к другому. Я предпочел бы оказаться в компании Гронана, так же как Самер обрадовался моему появлению на месте Эккли.

К тому же в тот день Самер явно не был бдителен настолько, насколько это полагалось. Я, наоборот, не спускал глаз с пустынных, по виду спокойных подходов к перевалу и со зловещего, ковром раскинувшегося внизу леса, еще ярче расцвеченного юной зеленью, чем неделю назад, леса, где вполне могли скрываться притаившиеся враги.

Неприязнь к Самеру была столь велика, что я почти с облегчением отправился вниз за дровами.

Ночи стояли необыкновенно тихие, холодный воздух был чист и свеж. Разве можно было

противиться здоровому, крепкому сну! Так что ночь тоже избавляла меня от назойливого общества Самера.

Три дня рядом с ним тянулись бесконечно; быстрее всего бежало время, когда я находился в дозоре. Я почти свыкся с постоянным ознобом страха, опасность казалась призрачной. Глядя на поднимающееся солнце, на то, как тают горные туманы, я пытался представить жизнь людей, населяющих лежащий внизу город, людей, которых я так еще ни разу и не видел! Трудно было питать к ним враждебные чувства...

Однако на третий день, когда Самер ушел на пост, я не мог избавиться от тревоги и страха, уверенный, что он по-прежнему беспечен и неосторожен, и, неся ему ленч, я уже было решился поговорить с ним начистоту и лишь усилием воли сдержал себя. Столь болтливых людей мне еще не доводилось встречать, к тому же он втягивал в разговор и меня, поскольку мне не удавалось вести себя нарочито жестко, как Эккли. Перспектива и дальше находиться в обществе этого человека, которого судьба определила мне в напарники, рисовалась крайне малоприятной.

Поначалу разговоры Самера и вопросы, которые он задавал, казалось, не имели особой цели — так, еще раз перемыслить косточки общим знакомым, но постепенно я стал замечать в них вполне определенную направленность и все большую откровенность... Когда я собираюсь вернуться домой? Были ли у меня подружки — дома, а может, и здесь? Разница, наверное, огромная? Как они насчет этого, американки? А если островитянку взять в Америку, каково бы ей там пришлось? Нелегко, должно быть, мне уезжать из Островитянии, покидать своих друзей. Ведь у меня здесь много друзей, близких друзей, даже, может, очень близких подружек, а?

Он был отнюдь не глуп и временами лишь вызывал раздражение, но наконец я разгадал, куда он клонит; я был разгневан, встревожен — и я начал лгать. Он хотел разузнать побольше о моих отношениях с Наттаной и что она за женщина, имея на прицеле то время, когда я уеду.

То ли до него дошли какие-то слухи, то ли достаточно было просто того, что я живу у Хисов, — не знаю. Если *апия*, как сказала Наттана, порождает все новые *апии*, то, несомненно, женщины, склонные ее испытывать, представляли особый интерес для мужчин типа Самера, а может быть, и для мужчин вообще. Как обесценивалось в его речах все касавшееся меня, Наттаны!

Слава Богу, наступил четвертый день, и на рассвете я отправился в дозор, попрощавшись с Самером и зная, что в полдень ленч мне принесет Гронан.

Время шло. Самер уже ушел, Гронан, должно быть, возится в сторожке. Лес был так далеко внизу, что даже порыв ветра, наклоняющий верхушки крон, меняющий оттенок зелени, не скоро достигал меня...

Стоит ли тревожиться из-за Самера? Такой ли уж он неприятный субъект? У него — свои желания, и он просто хотел узнать, может ли он, и если да, то как, добиться своего. В желании самом по себе не было ничего неестественного и порочного. И я когда-то испытывал те же чувства и отличался от него только тем, как действовал — вслепую, наугад.

Крупная, медлительная фигура Гронана показалась на ведущей вверх тропе, которую мы успели протоптать. Я был рад ему, и мне так о многом хотелось узнать. Мы поели вместе, и Гронан рассказал о том, что нового в долине. Он проезжал мимо усадьбы: дней через десять на новом крыле начнут поднимать стропила. Меня так и подмывало поделиться своими последними мыслями. Что ж, когда-нибудь я смогу это сделать.

Назавтра в дозор ушел Гронан, а в полдень настала моя очередь спускаться за хворостом. Это был уже восьмой раз, и, выходя, я вдруг почувствовал, что не испытываю обычного страха.

Дымка скрывала степи, отчего темный их цвет казался еще более тусклым. В косых лучах солнца лесной покров рисовался отчетливее и резче. Погода стояла теплая, почти жаркая. Я

спускался быстро, бегом преодолевая те уже хорошо знакомые участки, где было бессмысленно задерживаться, теряя время, поскольку обзор здесь был невелик; но в других, не менее знакомых местах я выжидал, застыв и внимательно оглядываясь по сторонам.

До сих пор я ни разу не заметил ничего подозрительного.

Наконец я уже почти достиг цели и бежал вдоль текущего по неглубокой лощине на протяжении сотни ярдов ручья. Рассудок подсказывал, что бояться нечего: с высоты все подходы хорошо просматривались. Обратный путь — вверх по руслу ручья — вот что было действительно волнующим и небезопасным.

Выстрел... один-единственный... и снова тишина.

Ничего особенного, просто звук, к тому же далекий, но я замер, не в силах пошевелиться. Над головой — ровная синева небес, и все те же скалы кругом.

Стреляли из ружья, где-то далеко.

У меня за спиной тоже висело ружье. Осторожно я снял его и взвел громко щелкнувший курок.

Лощина со всех сторон была защищена скалами; стоило мне двинуться назад, как я оказался бы на открытом месте. И я пошел вперед. Вот и все.

Один выстрел, всего один, к тому же я не слышал полета пули. Если бы мишенью был я, последовал бы второй... Может быть, это Гронан? Но Гронан находился слишком высоко, чтобы я мог слышать звук так отчетливо. Или стреляли по нему? Но снизу его никак нельзя было заметить.

Значит, скорей всего стрелял охотник. Эхо в лощине было глубокое. Охотник мог находиться и далеко. Стрелял он один раз, возможно сразу попав в цель, — допустим в оленя. Тогда он, должно быть, думает только о своей добыче и как бы поскорей добраться домой — приближались сумерки.

Все это были одни догадки, но я продолжал идти вперед. Мои мучения не должны пропасть зря.

Лощина кончалась открытым со всех сторон склоном. Я снова застыл, скованный страхом... Однако нерешительности следовало бояться больше, чем самой опасности.

В сотне футов внизу лежали поваленные сухие деревья, форму ветвей и расположение которых я хорошо знал; ниже темной стеной вставал лес. Между деревьев виднелась просека, на ней — никого. Я еще раз хорошенько пригляделся и быстро, стараясь производить как можно меньше шума, сбежал по склону. Собирая хворост, я изо всех сил удерживался, чтобы не смотреть по сторонам, сосредоточившись исключительно на своем занятии.

Лицо, ладони, все тело непривычно покрылись холодным потом. Кругом стояла такая тишина, что каждый удар топорика громом отдавался у меня в висках. Мне самому хотелось схватить ружье и выстрелить.

Возможно, это был глупый риск, но охотник мог испугаться меня не меньше, чем я его. Стук топорика выводил меня из терпения. Пот градом катил по лицу...

Обратно я поднимался так быстро, что, когда добрался наконец до Гронана, дыхание у меня перехватило и не было сил ни вдохнуть, ни выдохнуть, однако вязанка хвороста получилась не меньше обычной. Я растянулся на траве, мало-помалу приходя в себя.

Гронан был бел как полотно.

— Никогда не знаешь, чего ждать, — сказал он. — Первым делом я подумал, что стреляли где-то далеко к западу. Ветра нет, и звук идет вверх. Но я понимал, что могли стрелять и по вас, и даже хотел оставить пост и спуститься, но приказ не разрешает. И я остался, думая: «Вот и

убили нашего мальчика-американца». Глупо, конечно, но мне тоже хотелось подстрелить кого-нибудь в отместку.

Никогда еще он не произносил такой долгой речи.

Прежде чем пойти назад, мы дождались темноты. Путь до сторожки показался очень длинным, и по дороге и весь тот вечер разговоры сводились к одному — выстрелу в лесу. Окончательного объяснения так и не нашлось, но, возможно, это все же был охотник, который даже если и заметил нас, не обратил на это особого внимания. Такая гипотеза была по крайней мере самой рациональной.

— Да, натерпелись вы, Ланг, — говорил Гронан, готовя ужин, — и сил потратили немало. Помнится, вы как-то раз тоже ходили вместо меня за дровами, так что теперь лежите, я все сделаю сам...

Позже, когда мы уже поели и последние красноватые отсветы пламени освещали темную хижину, я услышал голос Гронана, донесшийся с его койки:

— Почему вы так мчались наверх, Ланг?

— Не знаю, — ответил я.

— Только не обижайтесь, но, по-моему, это было не очень-то разумно.

— Конечно нет. Это была паника!

— Да, там внизу, в долине, человек может отвечать за себя и не терять голову, а здесь — навряд ли. Вот почему такого рода вещи никогда не должны случаться.

Последовала долгая пауза.

— Ладно, спокойной ночи, Ланг.

— Спокойной ночи, Гронан.

— Хорошо бы уснуть, но вот только удастся ли.

Но вскоре я услышал его обычное тяжелое дыхание.

Как в свое время Эккли ждал меня, так теперь и я не находил себе места: мои шесть дней истекли, и через несколько часов я уже буду ехать берегом озера к усадьбе. О, какое наслаждение будет снова окунуться в мир весенней зелени, вдохнуть запах земли, травы и озерной свежести, глядеть на новые, только что распутившиеся листья и посмотреть, насколько продвинулась работа над конюшней!

А горячая ванна, чистое белье и ленч за общим столом!

Сверху озеро казалось не больше пруда. Я почти различал рябь на его освободившейся ото льда поверхности. Может быть, Наттана захочет покататься со мной в лодке, а если лодки еще не готовы, то мы можем вместе привести их в порядок и покрасить...

Первой показалась курчавая голова Эккли, а за ней другая — черная как смоль, с ярко-белой чертой пробора. Появление Дона было неожиданным и не очень приятным. Оба несли тяжелые мешки. Дон подошел ко мне.

— Ланг, — сказал он, — вы не против задержаться?

Разумеется, ответ мог быть только один, но разочарование мое было велико.

— Какой-то умник попросил немцев удвоить патрули из-за королевы. Теперь и нам придется удвоить число дозорных, чтоб те, снизу, не прокрались поодиночке. Я их видел.

Мы непроизвольно взглянули в сторону хижины.

— Когда она должна проехать? — спросил я.

— Через пять-шесть дней. Сможете остаться дней на восемь? Тогда за нее не придется беспокоиться.

— Смогу — на сколько потребуется.

— Гронана сменим как обычно. Мне бы хотелось, чтобы подежурили именно вы с Эккли. Я тоже буду навещать. Без меня главным будет Эккли, потом — вы.

Я был польщен отведенной мне ролью.

Дон оставался с нами всего несколько часов и отбыл — проверить посты в ущелье Лор, но, прежде чем уйти, он рассказал всем, что совершал разведку вблизи от Фисиджи, что горцы явно что-то замышляют и что он видел их отряд в снегах северо-западных отрогов Доринглорна. Я, впрочем, понял, насколько тревожны эти новости, только когда Эккли вечером упомянул, что никому и никогда раньше не приходилось видеть горцев в районе снегов.

Характер жизни на перевале, под началом Эккли и учитывая обстоятельства, изменился. Раньше мы чувствовали себя достаточно свободно, теперь — нет; опасность, о которой временами удавалось забывать, теперь постоянно была рядом; дозор уже не возвращался до темноты, дежуря круглые сутки в разные часы, поскольку близилось полнолуние, и, как правило, состоял не из одного человека, а из двух; заготовщики дров спускались в лес вместе с вооруженным вожатым, и Эккли прямо и довольно резко высказывал свое мнение, когда ему что-то не нравилось. Конечно, мы продолжали считаться добровольцами, но он ввел среди нас жесткую дисциплину. Никому не хотелось слышать упреки в небрежении, и все же никто не держал зла на Эккли: справедливость и очевидность его придинок делала их необидными.

Сначала, три дня, я менял Гронана, потом — Самера в дозоре и в дежурстве по хозяйству. Эккли проводил утра на посту, сопровождая сборщика хвороста, а однажды, когда с севера обрушилась сильная снежная буря, спустился, несмотря на опасность, в нижнюю сторожку за провизией. Он был активен и неутомим, сосредоточив все внимание на том, чем непосредственно занимался — а занятие его в конечном счете сводилось к непрестанному наблюдению за ущельем, — невозмутимый, что бы ни случилось, и, как всегда, неулыбчивый. Было понятно, почему Самер так невлюбил его, но я не разделял неприязни Самера, хотя оставлял за собой право взбунтоваться, не нанося при этом ущерба общему делу. В армии рядовые часами напролет могли мечтать, как однажды скажут сержанту все, что о нем думают. Эккли отчасти вызывал подобные желания, и я хотел сказать ему, что он слишком всерьез отнесся к своим новым обязанностям, но слишком хорошо понимал, что в нынешней обстановке это единственный возможный выход. К тому же он вел себя достаточно умно, воспринимая всерьез не столько окружающую нас опасность, сколько наши обязанности — ни на минуту не ослаблять бдительности и не забывать о главной цели.

Дни были тяжелые и тянулись долго. Часовые менялись в самое неожиданное время. Для других работы тоже прибавилось: в любой момент мог поступить приказ — срочно приготовить и отнести еду дозорным. По тропе от сторожки до наблюдательного пункта я мог бы теперь пройти с закрытыми глазами, она начинала уже снится мне. Спать, впрочем, приходилось немного: в любую минуту тебя могли поднять, днем же нечего было и думать о том, чтобы хоть ненадолго присесть или подумать о чем-нибудь постороннем.

И все-таки дважды, когда наставал мой черед проверять сигнальные костры, я улучал минутку взглянуть вниз, на долину Доринга. Я видел дорогу, которую мы охраняли и которая, подобно огромному коридору, ведущему на запад, терялась в мощных отрогах Доринглорна. Мне казалось, что я вижу Дорну — маленькую, медленно приближающуюся фигурку, легкое живое присутствие в самой глубине разверстой передо мной бездны, хотя я помнил, что до ее появления оставалось еще несколько дней.

И даже когда долину целиком укрывала густая пелена тумана, разрывая которую вздымались к небу горные пики, видение едущей по дороге Дорны не оставляло меня.

Однако когда мне второй раз удалось незаметно выкроить минутку для себя — день стоял ясный, — я нашел взглядом маленький кружок озера и крошечные белые точки на его берегу — Верхнюю усадьбу Хисов. Наттана, наверное, работала в мастерской сидя за станком, но за последние дни ощущение времени у меня сместилось: происшедшее недавно перепуталось с

тем, что было когда-то. Порою мне казалось, что я попал в ущелье Ваба прямо из дома, а Островитяния — всего лишь сон. Мысли туманились от напряжения и усталости.

Я поспешил прервать свое досужее занятие и не возвращаться к нему: мне вовсе не хотелось, чтобы Эккли, чьи появления всегда были неожиданны, застал меня глазающим на долину и мечтающим о жившей там девушке.

Страх был подобен боли, столь длительной, что если она на мгновение и отпускала, то нервы все равно продолжали ныть. Иногда я впадал в полнейшее безразличие ко всему, ощущая одну лишь безмерную усталость, напряжение едва не приводило меня в состояние паники, когда мне хотелось незаметно выскользнуть за край снежной горловины и бежать отсюда навсегда.

Если бы Эккли хоть раз пошутил или хотя бы улыбнулся! Однажды, когда Самер рассказывал очередную байку, я уловил ее довольно соленый смысл и едва не рассмеялся, но при виде каменно-сурового Эккли... Все же Самер был более человечным... Мне хотелось поболтать с ним, пусть даже о том, о чем прежде, казалось, упоминать было невозможно, но случая не представлялось.

Шесть дней до появления Дона и еще по крайней мере восемь я уже находился на перевале. Две недели — срок небольшой, если только вы не ощущаете каждую отмеряемую тикающими часами секунду как острый укол. И нельзя заставить стрелки двигаться быстрее. Даже красоты, открывающиеся с наблюдательного пункта, не давали отдохновения; дежурство было подчинено железной дисциплине: часовой обязан был постоянно вышагивать взад и вперед, чтобы не поддаваться дремоте, каждому предписывалось следить за строго определенным участком местности, что давало ощущение ритмично качающегося маятника, и рядом — верным спутником — ходил страх.

Однако мне удалось придумать некое мысленное упражнение, помогавшее справиться со страхом, избавиться от напряжения и сбросить усталость: мыслями я, шаг за шагом, прослеживал путь Дорны. Наверняка она будет двигаться простыми маршрутами, ведь с ней ребенок — единственное, что, кроме смерти, продолжало оставаться для меня чудом в порядке опостылевшем мире... За несколько мгновений до того, как уснуть, и минуту-другую в течение дня я представлял себе: где же сейчас Дорна, как она? Пятого октября, в день, когда появился Дон, я представлял ее себе такой, какой запомнил в Баннаре, шестого — в Мэнсоне, седьмого — где-то между этим городком и Хисом, восьмого — как она разговаривала в Нижней усадьбе с Айрдой и младшими детьми. Приближаясь, она становилась все различимее. День за днем я мысленно воссоздавал ее путь. Цепочка всадников двигалась медленно, временами — едва заметно, так что я мог буквально видеть, как ступает лошадь Дорны, и иногда даже принимался считать ее шаги... Однако девятого моя «слежка» за Дорной не принесла обычного облегчения: королевская кавалькада приближалась к горловине одного из ущелий. Долину тесно обступили горы — Дорингклорн с северо-запада, Брондер — с юга. И может быть, теперь, в эту самую минуту, укрывшийся в засаде отряд горцев...

В ту ночь я не мог уснуть. Десятого октября было еще тяжелее, ведь сейчас Дорна проезжала недалеко от перевала, который охраняли мы. И все время, пока я — беспомощный дозорный! — следил не отрывая глаз за карейнской стороной, сердце мое не находило покоя. Было бы мне лучше, находишься я в сторожке, — не знаю. Быть может, сейчас мне удастся увидеть — конечно, не Дорну, она находилась слишком далеко — хотя бы маленькое движущееся пятнышко и по нему догадаться, что с ней все в порядке?..

Бесшумно подойдя сзади, Эккли вполголоса спросил, не заметил ли я чего-нибудь. Я и не знал, что он рядом. Мне хотелось верить, что хотя бы в такой критический момент что-то удастся заметить, но Эккли спрашивал, просто чтобы лишний раз проверить мою бдительность.

Ни он, ни я ничего не видели, и все же нервы мои еще долго не могли успокоиться.

После заката, когда уже совсем стемнело, Эккли сказал, что я могу быть свободен, он же останется на дежурстве всю ночь: полнолуние миновало недавно, и ярко светившая луна скоро должна была показаться в небе. И не попрошу ли я Самера принести ему чего-нибудь перекусить?

Возвращаясь вверх по расселине, я заметил движущиеся тени — точь-в-точь такие, какие уже не раз мерещились мне.

В хижине сидел Дон с моим приятелем Самером. Он приехал затемно и сутки до этого ничего не ел.

— Я воспользовался вашей лошастью, Фэком, — сказал Дон. — Фэк хорош в горах, на крутизне, а мне надо было спешить. Я оставил его у нижней сторожки.

Мне было приятно, что Дон так свободно распоряжался принадлежащим мне, и вообще его появление подействовало на меня расслабляюще: я почувствовал, что ужасно устал и весь дрожу, и едва не позабыл о просьбе Эккли.

Выслушав ее, Дон велел Самеру немедленно отправляться уведомить Эккли, что он приехал и чуть позже сам подойдет на пост. Самер взял свое ружье и вышел.

Дон лег на койку, вытянувшись.

— Вчера ночью я был в ущелье Доринг, — начал он сонным голосом. — Надо бы мне вздремнуть часок. Пожалуйста, разбудите меня.

Стоило Дону уснуть, как чувство, что я в безопасности, мгновенно улетучилось.

Но тут же вновь раздался его голос:

— Ланг, я чуть не забыл. Дорна с сопровождающими в безопасности — в Верхней усадьбе. Я присоединился к ним по дороге. Она просила передать вам это.

Пошарив в складках своего плаща, он передал мне в несколько раз сложенную помятую записку. Едва я успел принять ее, глаза его опять закрылись...

— Луна! — громко сказал он вдруг, но уже во сне.

При свете горевшей в хижине свечи я прочел послание Дорны. Казалось, я слышу ее голос:

Джон, мой друг,

я была уверена, что увижу Джона в Верхней усадьбе, и теперь глубоко разочарована. Зная, где он сейчас, я немного боюсь за него, но, конечно, и рада тоже. Пока не могу сказать почему. Мне очень хочется и мне нужно повидаться с ним скорее.

Дорна.

Передано Дону.

В эти последние дни мы охраняли и сторожку тоже. Прихватив ружье, я вышел. Луна показалась над скалистой грядой на востоке. Кругом чернели тени, белел снег, все было скованно холодом и тишиной...

Как и много раз раньше, Дорна умела вложить в несколько слов большой смысл, и я, пребывавший в относительном покое до того, как прозвучал ее голос, теперь терялся в мучительных догадках. Что-то было ей нужно от меня?..

Течение времени вновь стало ощутимым. Противоположный, затененный скат провала казался черной чугунной отливкой, а рядом — яркий лунный свет нежным сиянием разливался

по снегу. Я медленно отошел от сторожки. Красота ущелья Ваба настолько превосходила все ранее виденное мною, что я наверняка никогда не забуду его. Справа заснеженный, резко обрывающийся край провала походил на воздетый к небесам блистающий клинок. Там за длинной утесистой грядой, за лесами и фермами, не так уж далеко от меня, Дорна и Наттана спали рядом, и ничто не грозило их мирному сну. Было около одиннадцати. Пора будить Дона. Я повернул обратно, к сторожке.

Над окаймлявшим провал снежным кольцом и выше, по склонам гор — повсюду лился на скалы и утесы яркий лунный свет. Наверху в нескольких местах были аккуратно сложены сигнальные костры...

Черный камень сдвинулся с места, за ним — другой. По ущелью раскатились далекие звуки трех быстро следовавших друг за другом выстрелов, потом раздался четвертый.

— Дон! Дон!

Я поднял ружье и прицелился в сторону движущихся камней. Там, где были сложены сигнальные костры, вспыхнул желтый огонек. Чуть позже раздался звук выстрела, и почти одновременно с ним громынуло мое ружье.

Происходящее казалось сном, явь грозила смертью.

Дон был уже рядом. Я снова прицелился, когда вспыхнул другой огонек, за ним — громкий раскат, и над нашими головами просвистела пуля.

Я выстрелил, Дон тоже.

Мы не видели противника, самих же нас было легко различить на залитом светом снегу.

— Надо спускаться! — сказал Дон. — До костров мы не доберемся.

Он побежал, я — следом. Резко остановившись, он опустил на колено и выстрелил в сторону склона позади, потом вскочил на ноги и бросился дальше. Я повторял каждое его движение. Желтые вспышки были не страшны, но, когда пуля со свистом пролетела рядом, голова у меня кружилась.

Луна светила по-прежнему ярко. Была — я знал это — лазейка, путь к отступлению в обход сторожки, потом вверх по склону, так можно было выбраться из огненного кольца, одно из укрытий Дон тоже показывал нам, но мы должны были попытаться спуститься в долину вместе, чтобы один прикрывал другого; если вдвоем у нас еще оставался небольшой шанс спастись, то уйти одному шансов не было. Прорваться этим путем и предупредить — такова была наша задача.

Снежный наст пружинил под ногами. Мы бежали вверх по склону, стараясь приблизиться к расселине, через которую обычно поднимались на перевал.

Припав на колено, я выстрелил. Сразу несколько вспышек ответили мне с темного склона. Дон бежал, пригибаясь все ниже и ниже, чуть не на четвереньках. На бегу он кашлял. Потом упал.

Я пробежал мимо того места, где припала к снегу его черноволосая голова. Все мои мысли были только о том, как выбраться из провала и спуститься вниз, ведь теперь я остался один.

Вспышка, за ней еще...

Уступы скал окружали меня со всех сторон, стены расселины, сужаясь, уходили вверх. Я почувствовал удар, и что-то обожгло мне бок.

Я не помнил пути точно, но память, пусть наполовину затуманенная, вела меня там, где глаз ничего не различал в темноте.

Кругом вновь воцарилась мертвая тишина, и теперь только от меня зависело добраться и предупредить обитателей долины, я не должен спешить, чтобы не сорваться при спуске. Теперь мне следовало двигаться расчетливо и осторожно, как учил Дон, и не думать о нем, сохраняя

хладнокровие.

Они наверняка бросятся в погоню, но я знал тропу, и им меня не догнать. Был отрезок пути, когда, дойдя до края провала, они смогут увидеть меня, но отрезок этот был коротким...

И вновь я оказался на открытом пространстве и вынужден был бежать петляя. Сверху доносились звуки выстрелов, но свист пуль был уже слабый, на излете.

Теперь надо было бежать, но, хотя я знал, что враги сзади, мне следовало беречь силы, чтобы добраться до сторожки, оседлать моего Фэка и скакать до усадьбы.

Я обязан был побороть гнавший меня вперед ужас и не упасть бездыханным на полпути.

Итак, я заглянул смерти в лицо... Я стрелял, чтобы убить другого человека... Но я приказывал себе не думать об этом и даже о своей конечной цели. Благоразумие было слишком драгоценно сейчас, и утратить его означало подвергнуть себя величайшей опасности...

Что произошло? Как долго все это длилось?

Лес обступил меня, темный, таинственный, спасительный, и белая луна, высоко в небесах, указывала мне путь.

Даже если я перейду на шаг, сил у меня едва хватит, хотя боль в легких отступила; но как все же странно было идти обычным шагом, так, словно ничего не случилось и я, отдежурив свой срок на перевале, мирно направляюсь в долину на отдых, — идти, глубоко дыша и чувствуя за спиной дыхание смерти.

В сторожке было тихо и темно. От Фэка, стоявшего в пристроенной рядом конюшне, даже сквозь попону исходило тепло. Он зашевелился в своем стойле — я мог дотянуться до его морды и погладить ее. Я почувствовал, как он тычется в мою руку, колени у меня подогнулись, я обнял его крепкую шею.

Жизнь животного заставила меня вспомнить о собственной. Надеть седло было выше моих сил, но Фэк стоял так смиренно...

Сев в седло, я мог ненадолго перевести дух.

— Давай, Фэк! Теперь твоя очередь.

Я надеялся, что он сам найдет дорогу, мне надо было лишь держаться в седле.

Луна то скрывалась, то появлялась из-за верхушек деревьев. Фэк шел уверенным, ровным шагом.

Человек, которого я любил, погиб... Но когда об этом станет известно, гарнизоны, вне сомнения, снова появятся на пограничных перевалах. Это было то, чего он так хотел... Веки мои сомкнулись...

— Фэк, мы должны двигаться быстрее — быстрее, чем люди, что идут за нами!

Фэк перешел на рысцу — быстрее двигаться он не мог, не рискуя оступиться и упасть. Я чувствовал, что наши преследователи с каждой минутой приближаются. Это были скачки наперегонки с невидимым соперником. Конечной метой служила дорога, ведущая вниз, к озеру. Там Фэку придется пуститься во весь опор, если я буду хорошенько погонять его.

Лесная тропа перешла в дорогу, похожую на дороги в наших лесах, только проложенную солдатами, — прочную и надежную.

Вот он — путь к спасению! Мое волнение и страх сообщили Фэку, и он еще ускорил шаг. Луна, путаясь в ветвях, мчалась вровень с нами, потеплевший воздух трепал мои волосы. Теперь казалось таким глупым — намеренно сдерживать лошадь и дать врагу подойти близко. Я чувствовал, я почти видел наведенное на меня сзади дуло — круглую черную дырочку, но по-прежнему не терял самообладания и не позволял своей лошадке перейти на рискованный галоп.

Казалось, наше спасение — в скорости, которую преувеличивали ночь и темнота... В

какой-то момент я ощутил, что если они еще недавно и были близко, то теперь наверняка далеко отстали. Я был рад, что могу дать Фэку передышку, но теперь он вошел во вкус, так что мне пришлось натянуть поводья.

Время, подобное непрерывно тянущейся ленте, вдруг оборвалось. Желтые вспышки выстрелов на перевале, темная фигура, лежащая на снегу, стремительный спуск, стесненное дыхание — все это уже не имело отношения ко мне, живому, скачущему по знакомой дороге. Начался отсчет нового времени. Я был свободен и скакал на моей верной лошадке вниз, в долину, чтобы предупредить об опасности, оставив Дона умирающим или уже мертвым, но так приказал бы мне он сам. Впрочем, далеко не все еще было позади. Надо было не забыть поднять на ноги Дазенов. Эк и Агт пусть соберут по тревоге всех вооруженных мужчин — выследить и уничтожить разбойников, как они уже делали это раньше. Остальным лучше было бросить все и верхами спускаться в долину. Опасность еще не миновала. Горцы контролировали перевал и, возможно, сейчас, подгоняя своих лошадей, скакали по той же дороге, ведь мне удалось уйти.

Фэк пошел медленнее. Я снова пустил его в галоп. О, мой мудрый, мой дорогой спутник! Бег его был ровным и легким. Никогда еще ему не приходилось скакать так быстро, и он понимал, сколь велика опасность, но он понимал также и то, что ему предстоит неблизкий путь и надо рассчитать силы. Я мечтал взять на себя хотя бы часть его тягот.

Из притихшего ночного леса мы выехали на залитый лунным светом берег озера, наконец-то ступив на землю долины. Фэк сначала нерешительно, но все же замедлил шаг — слишком грязной и скользкой была дорога. Она свернула, пересекая небольшой мыс. Земля пошла суше, и Фэк внешне спокойно, но слегка вздрагивая снова перешел на галоп. Дорога сплошь состояла из спусков и подъемов. И вновь открылась ширь озера, более темная у противоположного берега, где немногим больше чем в миле находилась усадьба Хисов. Я заставил Фэка свернуть с дороги, на которой в той, другой жизни встретил Наттану восемнадцать дней назад. Лошадь было заупрямилась, но тут же подчинилась и, одолев подъем, ведущий к ферме Дазенов, пустилась в галоп.

Было далеко за полночь, и во всех окнах уже погасили свет.

Я спешил. Фэк стоял дрожа и опустив голову. Боясь, что могу опоздать, я изо всех сил принялся стучать в дверь. Окно наверху открылось, и я услышал голос старого Дазена.

— Ланг! — крикнул я, не узнавая своего голоса, и лицо Дазена в окне тоже, казалось, мне снится. — Горцы захватили перевал и движутся в долину.

— Когда? — прокричал Дазен.

— Только что! Я должен предупредить Хисов!

Подбежав к Фэку и усевшись в седло, я оглянулся, но сзади по-прежнему расстилались безлюдные тихие поля, залитые светом стоявшей высоко в небе луны.

Потом, испугавшись, что не все успел сказать, я посмотрел на дом Дазенов. В окнах уже мелькали огни свечей.

Фэк снова пошел галопом, но тяжело, хотя сейчас-то уж надо было выкладываться до последнего. В усадьбе было много народу, и пока они все соберутся... Если им удастся спастись, они должны благодарить Фэка. Без него я не смог бы ускользнуть от горцев и теперь мучился, глядя, как ему тяжело. Это было несправедливо, ведь Фэк вернул мне силы, которые вконец покинули меня там, у сторожки. И только колотье в боку, какое бывает после долгого бега, давало о себе знать.

Фэк тяжело скакал по дороге через поля. До половины поднятая стена новой конюшни белела в лунном свете, но в самой усадьбе было темно.

Я спрыгнул на землю — Фэк стоял прерывисто дыша и широко расставив ноги — и побежал к дому, боясь оглянуться и увидеть Фэка лежащим на земле.

Несколько раз я прокричал свое имя в страхе, что меня могут не услышать:

— Ланг! Ланг! Это Ланг! Они идут!

Забежав за дом, я рывком распахнул заднюю дверь. В дровяном сарае пахло, как всегда, сухим деревом. На кухне стоял тот же запах. Было темно, однако на лестнице, ведущей в комнаты братьев, уже слышался шум шагов.

В слепящем свете свечи лицо Эка выглядело жутким, как маска.

— Горцы! — сказал я. — Всем нужно уходить.

Эк ни о чем не стал спрашивать и сразу же крикнул Атту, чтобы тот спускался...

— Как давно это случилось?

— Не знаю. Но они уже были на перевале, когда я спустился. Я торопился как мог. Они — пешие, но, вероятно, уже поблизости.

Атт бегом спустился к нам.

— Горцы? — невозмутимо спросил он.

— Они прошли через ущелье. Теперь их ничто не остановит! — крикнул я. — Разговаривать некогда. Скорее разбудите всех.

Я обернулся к Эку, но он опередил меня, сказав:

— Да, надо седлать лошадей.

Мы бросились к конюшне. Я посмотрел на восток, но никого не увидел в полях, по-прежнему мирно-безмятежных... ни единой желтой вспышки.

— С вами все в порядке? — спросил Эк.

— Почти. Только колет в боку.

— А остальные? Дон?

— Его ранило. Про Экли и Самера — ничего не знаю.

Фэк стоял, опустив голову, у входа в конюшню, ожидая, пока его впустят, я мгновенно отпер засов... На мгновенье радость видеть его живым и невредимым затмила все остальное.

Внутри было много неизвестных мне лошадей.

— Кто-нибудь пусть скажет Экли.

Эк бросил седло и выбежал.

Среди новых лошадей я различил лошадь Дорны. Первым делом я оседлал лошадь Наттаны; где упряжь для остальных, я не знал.

Вошли двое: один был мне незнаком, вторым был молодой Стеллин. Оба сразу же принялись седлать лошадей.

Вернулся Эк, а вслед за ним вошел одетый наспех старик Экли. То здесь, то там мелькали тени и свет фонарей. Перед глазами у меня все поплыло.

Надо было сделать что-то еще...

Эк затягивал на одной из лошадей подпругу; он выглядел спокойней и уверенней остальных.

— Пусть Атт немедленно бежит в долину предупредить всех.

— Да, конечно.

Со всех сторон на меня посыпались вопросы: как далеко горцы? где Дон? неужели нас застали врасплох? Я отвечал односложно, коротко. Потом, потом, когда я все вспомню, расскажу подробнее.

Лошади подобрались норовистые, справиться с ними было нелегко.

Эк что-то сказал Атту, после чего тот повел одну из лошадей к выходу.

Я следил за Фэком, который, войдя вместе с нами, сразу направился в свое стойло. Он не

сможет скакать наравне с другими, но я ни за что, ни за что не оставлю его на милость горцев. Мы доберемся до ближайшего леса и спрячемся там...

Стеллин и Эк уже выводили лошадей. Стук копыт и громкое ржание разносились по конюшне.

Взяв под уздцы лошадь Наттаны и Фэка, я вышел на двор, в ночь, навстречу лунному свету. Глоток свежего воздуха взбодрил меня.

У подъезда усадьбы столпилось много беспорядочно движущихся людей с фонарями. На востоке было все так же темно и тихо...

Кругом царило смятение, так что я не мог различить отдельных лиц.

— Все ли взяли с собой свои ценности? — раздался голос Эттеры.

Потом я услышал не похожий ни на какой другой, родной, знакомый звонкий голос, спрашивавший у кого-то:

— Ланг? Где Ланг?

— Я здесь, Дорна!

Из-за обступившей Дорну толпы я не мог ни увидеть ее, ни подойти к ней, к тому же лишь с трудом удавалось удержать на поводу нервничавшую лошадь Наттаны. И снова раздался чистый, ясный голос:

— С вами все в порядке?

— Абсолютно! Цел и невредим!

— Можно помочь вам, Дорна? — спросил кто-то. Безмятежные звуки голоса были хорошо знакомы, и я почти сразу узнал Стеллину.

Неожиданно рядом со мной кто-то остановился.

— Никак не могу проснуться, — сказала Наттана, — но с вами действительно все в порядке? Ах, милый! — Она коснулась моей руки.

— Колет в боку, долго бежал, — сказал я как можно бодрее.

— Вы привели и мою лошадь! — воскликнула девушка.

— Может быть, сядете, а то она просто не дает мне покоя.

— Сейчас, только подержите это.

Она сунула мне под мышку тяжелый сверток — и вот уже сидела в седле, возвышаясь надо мною. Она была босиком.

— Теперь давайте мой сверток! — крикнула она. — Как себя чувствует Фэк?

— Не знаю, — ответил я, но продолжать разговор было трудно: лошадь Наттаны то и дело взбрыкивала, вставала на дыбы, и я обернулся к Фэку. Остальные уже сидели в седлах.

— Что нам предпринять? — спросил, подъезжая ко мне, Стеллин.

Ответ мог быть только один:

— Поезжайте вниз, в долину, и как можно скорее.

— А не лучше ли укрыться в лесу?

— Нет. Я не знаю, сколько их, а у вас большой отряд. И не медлите!

— Вы поедете с нами?

— Да, следом за вами, но у меня другое задание.

Стеллин отъехал назад к верховой группе.

Я шепнул Фэку несколько слов — мне так хотелось узнать, как он.

У крыльца оставался всего один человек. Я подвел Фэка ближе.

Это был Эк, который привел четырех лошадей, трех — под седлом.

— Эттера! — позвал он. — Скорее!

— Если они подожгут усадьбу, — крикнула та в ответ, — я буду сражаться до последнего!

— Фэк, должно быть, выбился из сил, — сказал старший из братьев, — возьмите одну из

этих лошадей.

— Я поведу Фэка. Я не могу его бросить.

— А наш скот! — воскликнул Эк в отчаянии.

— Не беспокойся, дорогой, — сказала сестра.

Крыльцо опустело. Все уже были на конях.

— Дазен! Дазен! Дазен! — раздались крики вдалеке, и группа всадников проскакала через поле на восток.

— По нас стреляли! — крикнул один из них. — Поторопитесь!

— Эк! — крикнул я. — Мы с вами поскачем последними.

Теперь все было готово, и я отдал команду:

— Скачите все! Быстрее!

Тесная группа верховых показалась у карьера. Остальные последовали за ней. Я не без труда сдержал свою лошадь. Эк тоже придержал свою.

Наттана подъехала к нам.

— Поезжай с ними! — крикнул Эк.

— Нет! Я с вами!

— Поезжай, Наттана!

— Не поеду!

— Наттана, — сказал я, — вы должна поехать с ними!

— Значит, вы меня заставляете? — Голос девушки едва ли не дрожал от негодования, почти ненависти, но она повиновалась.

— Поедем за ними? — невозмутимо спросил Эк, когда она удалилась ярдов на сто.

И мы двинулись вслед, придерживая наших лошадей и оглядываясь. Фэк бежал последним.

Душа моя буквально разрывалась: я сам обрек себя на то, чтобы замыкать колонну, но, если Фэк не сможет поспевать за нами, его придется пристрелить. Остальные опережали нас, но пока не больше, чем я на то рассчитывал. Они уже показались на большой дороге — длинной, растянувшейся кавалькадой: шестеро сопровождало Дорну, затем Эттера и Наттана, шесть человек от Эккли, четырнадцать от Дазенов, включая арендаторов с семьями, и еще около двенадцати на запасных лошадях.

Эк сказал, что ему кажется, горцы не осмелятся приблизиться к усадьбе, даже если их много. «Но навредить они могут, — добавил он по-прежнему ровным голосом. — Сколько наших трудов пойдет прахом! Хорошо еще, что большую часть скота не перегнали».

Я вкратце рассказал, что произошло на перевале, но говорить было трудно. Мысль о Доне и оставшейся после него вдове заставляла мое сердце сжиматься от ужаса. Они жили через реку, далеко от большака. Кто ее теперь предупредит? Сейчас уже было поздно: мы отъехали примерно на милю к западу.

— Я помню: на той стороне остались Гронан и еще несколько семей, — сказал Эк. — Атт послал второго сына Эккли сказать им.

Мы скакали, оглядываясь едва ли не каждую минуту. Дорога за нами стелилась, безлюдная и безмятежная, залитая мирным лунным светом. Фэк, о котором я тревожился больше всего, иногда отставал, но я подзывал его, и он снова нагонял нас. Все же он бежал налегке, он был силен, а мы скакали не так уж быстро. Передняя группа часто терялась из виду.

— Думаю, теперь мы в безопасности, — сказал Эк. — Лошадей в усадьбе не осталось, а пешими они нам не страшны... Вы, наверное, очень устали.

— Нет, только колет в боку.

— Может, неловко повернулись.

Чувство, что мы, кажется, наконец вне опасности, повергло меня в сонное, расслабленное состояние, и я снова слышал выстрелы, видел желтые вспышки в темноте и снова и снова догонял Дона...

Мы проехали мимо нескольких брошенных ферм: Атт успел опередить нас. Дорога перед нами, на запад, должно быть, запружена беженцами.

Небо стало бледнеть, луна светила уже не так ярко... Однако мы успели добраться до Реннеров, живших в стороне от дороги, милях примерно в десяти от Верхней, прежде чем рассвело. Их усадьба служила сборным пунктом для жителей долины, спасавшихся бегством от горцев. Всего здесь собралось человек пятьдесят-шестьдесят, включая Дазенов и Эккли. Тем не менее Дорна и сопровождавшие королеву, а также все женщины не стали задерживаться и поскакали дальше. Приехавшие последними Эк и я подтвердили, что не видели и не слышали ничего подозрительного.

Тана по имени Горт, высокий, крепкий седовласый мужчина, принял на себя командование. — Скачите дальше, — обратился ко мне Эк. — Вы и без того сделали достаточно. Ну а я пойду с отрядом.

— Я тоже, — ответил я не задумываясь.

Мы предложили Горту наши услуги.

— Чем нас больше, тем лучше, — был ответ.

Меня представили Горту как человека, который поднял тревогу. Он задал мне несколько вопросов. Я рассказал о гибели Дона — если, конечно, ему все же не удалось спастись. Слушавшие сопровождали мою речь тяжелыми вздохами.

И все же нас собралось достаточно много, чтобы выступить навстречу врагу, и времени терять было нельзя.

Я наведалься к Фэку. Он стоял в конюшне один, поскольку ему одному выпало проскакать столько миль. Потом снова присоединился к основной группе. Передовой отряд уже выступил.

На востоке, соперничая с поднимающимся солнцем, разгоралось алое зарево. Похоже, горела Верхняя усадьба.

— Вы ранены! — неожиданно сказал ехавший рядом Эк.

— Правда?

— У вас вся одежда сбоку в крови!

Я провел рукой — действительно, одежда была заскорузлой от засохшей крови и боль отчетливо сосредоточилась в одном месте. На мгновение у меня закружилась голова, однако нелепо было придавать большое значение тому, что я уже так долго терпел бессознательно.

Тем не менее Эк настоял на том, чтобы остановиться и исследовать мою рану. Пуля всего лишь задела кожу сбоку, кровотечение уже прекратилось. Кто-то из отряда, похоже обладавший хирургическими навыками, смазал рану жгучим раствором и перевязал ее. Боль только усилилась, но хуже всего было то, что из-за меня пришлось задержаться и остальные успели отъехать достаточно далеко.

От меня теперь не было пользы, и уж лучше было действительно отправиться вместе с женщинами! Горькое разочарование — в такой момент оказаться выключенным из игры.

Противясь чрезмерной опеке, я вырвал поводья у своего спутника, пытавшегося придержать мою лошадь, и скоро мы уже догоняли отряд.

— Рана может открыться снова, — предупредил он меня.

Я ответил, что уже несколько часов провел в седле...

Наконец мы добрались до Верхней. Горцы уже успели побывать здесь. Крыша сарая сгорела, сено тоже, скотину перебили. Видны были следы попыток поджечь и сам дом. Но если

в этом разбойников постигла неудача, то внутри все было сломано, разбито, перевернуто.

Мой целитель оказался прав. Рана снова открылась, и я слишком ослабел, чтобы догнать устремившийся к ущелью отряд.

Помощь мне оказывали наверху. От мастерской Наттаны, по сути, ничего не осталось. Я был вне себя от жалости и гнева. В моей комнате все тоже было вверх дном, и одежда, которую шила для меня Наттана, исчезла — больше ничего не тронули. Одна из ножек кровати сломалась, но оставшийся ухаживать за мной человек быстро приспособил вместо сломанной ножки полено.

Я лег и тут же погрузился в белый холод беспометства. Сон мой был долгим, и в сменяющих один другой кошмарах звучали выстрелы, кто-то гнался за мной, и я все порывался сделать что-то, чего мне никак не удавалось.

Каким облегчением было проснуться, а проснулся я поздно, и первым делом услышать, что меня хочет повидать молодой Эккли.

Он был бледен и изможден. Он вернулся вместе с людьми Горта, остановившимися на подходе к ущелью. Там оставили сильный дозор, в то время как остальные прочесывали окрестный лес, хотя Эккли не сомневался, что горцы уже вернулись в свое селение.

Мы поведали друг другу, что произошло с каждым.

Эккли стоял в дозоре и дожидался Самера. Случайно взглянув вверх, хотя обычно он наблюдал за нижними склонами окружавших ледник скал, он заметил движущиеся фигуры. Он полагал, что горцы поднялись на ледник не там, где мы ждали их, а, наоборот, спустились на снежное поле с западной стороны. Дон — голос Эккли дрогнул — говорил ему, что обучавшие местную полицию немцы могли войти в контакт с горными племенами и в конце концов приучить горцев передвигаться по льду и снегу, которых те раньше побаивались. Короче говоря, немцы, пусть даже с самыми лучшими намерениями, могли «невзначай» помочь горцам взять перевал.

По Эккли начали стрелять, и у него завязалась с врагом перестрелка. Он слышал наши с Доном выстрелы тоже. Поняв, что горцы наступают большими силами, он стал подниматься вверх, надеясь спуститься в долину по южному склону. От преследования ему уйти удалось, но он оказался в местах, чересчур опасных, чтобы продвигаться по ним ночью. Когда солнце взошло, он осторожно продолжал свой путь, добравшись до точки, откуда был виден провал, на краю которого стояла верхняя хижина. Несколько горцев сторожили ее. Добравшись доверху, он увидел, как горят подожженные амбары Хисов и Дазенов.

Он признался, что в ту минуту думал только о себе и, зная, что рано или поздно горцы вернуться, предпочел остаться там, где был.

К полудню они вновь появились в ущелье, двигаясь в северном направлении. Женщин среди них он не заметил, и тогда впервые у него зародилась надежда на то, что жителей долины успели предупредить, хотя сигнальные костры, как он видел, зажжены не были.

У него оставалось еще несколько патронов, к тому же он был уверен, что они его не заметят. Расстояние составляло около сотни ярдов.

Глаза Эккли сверкнули.

Видели бы вы, как они припустили, продолжал он, и двоих ему удалось уложить, этим он особенно гордился.

Когда не осталось сомнений, что горцы ушли, он, что было делом нелегким, спустился в провал. Там он нашел тело Дона. Дон был мертв. Но они не тронули его... С Самером произошло иначе. Тот не мог не заметить выстрелов Эккли и вернулся в сторожку, где его уже поджидали. Горцы искромсали его ножами...

Но, продолжал Эккли, дело в том, что он осмотрел труп одного из застреленных им.

Эккли пристально поглядел на меня.

— На нем была форма, — сказал он, — а в кармане я нашел вот это. Вы можете прочесть?

Он протянул мне сложенную вдвое карточку из плотной бумаги. Отпечатана она была на немецком. Текст гласил, что это удостоверение выдано «такому-то, уроженцу Фисиджи, в том, что он принял присягу на верность кайзеру и т. д. и что, пройдя специальное обучение, назначается офицером полицейского подразделения Е.И.В., расквартированного в Фисиджи для защиты границы, и уполномочен производить задержание нарушителей». Под текстом удостоверения стояла подпись немецкого офицера — командира специального подразделения полицейских сил в протекторате Собо.

— Так я и думал, — сказал Эккли. — А значит, набег производят как раз их патрули, и гарнизоны необходимо поставить снова. Я немедленно собираюсь известить об этом лорда Дорна, он сейчас в столице. Вы не поедете со мной?

Я согласился, мне этого действительно хотелось. Вдвоем мы могли нарисовать полную картину происшедшего в ущелье Ваба, чего не сумел бы сделать один человек, могли заверить, что с нашей стороны агрессивных действий предпринято не было и в обоих случаях горцы открыли огонь первыми. Эккли предстояло рассказать об убитых им горцах, мне — о том, как застрелили Дона.

Мы условились выехать на завтра.

Когда Эккли ушел, я почувствовал, что совершенно без сил, а когда попробовал встать — не смог.

Следующими навестили меня Эк и Атт. Они уже всюду наводили порядок в доме. Казалось, отчаяние им неведомо. Потери скота, по их словам, оказались не столь велики: часть стада не успела вернуться с пастбища, и ее просто не нашли. Соседи пообещали освежевать туши, так что и кожи не пропадут.

— На время мы сможем всех обеспечить мясом, — сказал Эк, — а в другой раз они нам помогут.

Сена тоже сгорело немного.

Основное, что их беспокоило, — крыша сарая, но сейчас, весной, соседи наперебой предлагали им пособить в починке.

— Никого в беде не оставим, — продолжал он. — Дазенам досталось еще больше, чем нам. Но вот уж кто и в самом деле пострадал, так это Наттана. Глядя на ее мастерскую, сердце разрывается. Там уже ничего не поправишь.

— Что же теперь с ней делать? — спросил Атт.

Эк вздохнул:

— Лучше ей перебраться в Нижнюю. У отца сердце не камень. Когда он все узнает, не прогонит же он ее. Такие встряски ему на пользу. А вы что скажете, Ланг?

— Завтра я еду в Город, — ответил я и рассказал о том, что мы решили с Эккли. — Он уверен, что гарнизоны восстановят.

— Мы все так думаем.

— В таком случае я уже не буду нужен на перевале и смогу переехать куда-нибудь в другое место, если, конечно, вам не понадобится моя помощь.

— Да мы и сами управимся, но если вы уедете — жаль.

— Не уверен, — сказал я, — по крайней мере пока Наттана здесь... ведь все-таки вы боитесь, что мы с ней можем пожениться.

— Это вам решать.

— Если у вас есть свое мнение — скажите.

— Что я могу вам сказать? Не мое дело.

— Да... и все же, мне кажется, вы не хотели бы этого.

— Не хотел бы, — сказал Эк, покраснев. — Она будет так расстроена.

Он умолк. Последние его слова прозвучали непонятно.

— Вы хотите сказать, что теперь, когда у нее больше нет мастерской, она может и согласиться?

— Дело в том... вы спасли ее от горцев.

Я поднял голову и внимательно посмотрел на Эка. Это была правда, и, казалось, мне снова дается возможность, но это не могло послужить причиной менять принятое нами решение. Да, я жадно, отчаянно, страстно желал ее в этой самой комнате, но я уже лишь отчасти был тем, кем был тогда... И все же соблазн повторить предложение оставался.

— И вот еще что, — нарушил мои мысли Эк. — У нее появилась возможность вернуться домой. Если вы не поженитесь, там ей будет лучше.

— Даже если отец станет держать ее в черном теле — из-за меня?

— Я за этим пригляжу, — сказал Эк. — Я знаю, как к нему подойти.

Мысли мои начинали путаться.

— Видимо, лучше, если она переберется в Нижнюю усадьбу, — сказал я.

— Я тоже так думаю. Но если вы с ней захотите остаться здесь, пока вы не вернетесь домой, я буду рад. Ведь вам с Наттаной больше негде жить...

— Нет! — ответил я. — Дайте ей возможность вернуться.

— Отлично! Думаю, она и сама так решит. А пока, на время, останется здесь. Недели через две я поеду за скотом и увижу отца. Так что, если она захочет...

На том мы и расстались.

Пока Эк говорил, Атт прибирался в комнате, и теперь в ней снова стало уютно.

Я с усилием приподнялся и сел: все кругом заволокло белой пеленой, предметы медленно закружились, но через мгновение все стало на свои места. Сквозь открытое окно мне была видна освещенная закатом дорога вниз, в долину, — та же, по которой при лунном свете мы бежали из усадьбы. В промежутке был сон. И хотя сон должен был бы восстановить мои силы, я по-прежнему чувствовал себя слабым. В ушах все еще стояли звуки выстрелов. Голова была слишком тяжелой, чтобы оторвать ее от подушки, но слишком легкой и пустой, чтобы думать. Мне уже случалось переживать чувство одиночества в этой стране, но никогда еще оно не было таким острым.

Сейчас передо мной стояла задача — за двенадцать часов набраться сил, которых бы хватило на четыре дня в седле. Человек, перевязывавший мою царапину, сказал, что я потерял довольно много крови. Потерю, крови можно было возместить едой. Я впервые почувствовал, что голоден.

Братья как раз успели состряпать ужин, и Атт принес его мне наверх. Очень осторожно я снова сел и, подождав, пока голова перестанет кружиться, заставил себя приняться за еду. На этот раз я чувствовал тяжкую неловкость, доставляя обитателям усадьбы излишние хлопоты.

Атт что-то искал в комнате, и я спросил, что он ищет.

— Дорна и ее люди оставили много своих вещей. Хочу их все собрать. Дорна жила как раз в этой комнате.

Он вытащил из-под кровати старую коричневую сандалию, но больше ничего не было.

— Если это все, — сказал Атт, — она молодец. Стеллина чуть не половину вещей бросила... Эттера прихватила самое необходимое, а вот Наттана уехала как была.

— Но я видел у нее большой сверток.

— Может, чей-нибудь еще?

— Ну а вы с Эком, что вы взяли?

— Мы-то?.. Да мы все оставили.

Он вышел, прихватив сандалию Дорны, а как бы мне хотелось, чтобы он оставил ее — может быть, тогда мне было бы не так одиноко...

На следующее утро я уже чувствовал себя значительно окрепшим. Эк потуже перевязал мне рану, после чего они с Аттом оседлали лошадь, чтобы мне не пришлось лишний раз напрягаться.

Настало время ехать.

Мне страшно не хотелось оставлять братьев сейчас, когда у них было по горло забот, но они сказали, что, во-первых, скоро вернутся Эттера с Наттаной да и соседи помогут.

— Обязательно навестите нас, прежде чем поедете домой... А после столицы куда собираетесь?

Я и сам не знал и ответил, что напишу им, и Наттане тоже.

Так многое осталось несказанным, что мы невольно умолкли. Мы поблагодарили друг друга, и я покинул Верхнюю усадьбу.

В качестве спутника Эккли сильно отличался от того, каким он был, когда командовал нами на перевале, но по-прежнему все внимание его занимали сиюминутные дела, и он непрестанно возвращался к тому, что мы будем говорить лорду Дорну.

Мы ехали медленно, боясь потревожить мою рану, которая, как мы надеялись, заживет почти окончательно через пару дней; на сегодня же нашей целью было добраться к ночи до постоянного двора в ущелье Мора.

За взрослой рассудительностью и серьезностью в моем спутнике крылось что-то мальчишески бесхитрое. Мы успели сдружиться, и вдруг мне пришло в голову, уж не тот ли это мужчина, о котором рассказывала Наттана... Ее будущее беспокоило меня. Многие из того, что она говорила в последние дни, давало к этому повод.

Солнце быстро поднималось, и становилось все теплее. Запас сил, с утра казавшийся достаточным, быстро таял, и еще задолго до полудня я уже настолько устал, что не мог сдержать охватившей все тело дрожи; роскошный горный пейзаж казался далеким и бледным, но хуже всего было то, что усталость и нервное напряжение делали память о недавних событиях еще живее и ярче, особенно мучительно было вспоминать Дона...

Мы проезжали места, которые я помнил, потому что уже бывал здесь больше полутора лет назад: величественное ущелье — протекая через него, Доринг спускается в долину — и хижину, где мы однажды ночевали с Доном, но все это виделось мне смутно, как в тумане. Губы так дрожали, что я уже не мог говорить. С другой стороны, острая боль в боку вдруг совсем прекратилось.

«Эккли, — сказал я, чувствуя, что теряю сознание, — мне плохо...»

Я пришел в себя оттого, что кто-то плескал холодной водой мне в лицо. Рана снова открылась и кровоточила. По счастью, постоялый двор был уже недалеко, но стало ясно, что еще нескольких дней пути мне не выдержать.

К вечеру, после глубокого, без сновидений, сна голова у меня прояснилась, и мы с Эккли смогли обсудить положение. Было решено, что дальше он поедет один и отвезет письменное сообщение, если я буду в силах такое составить. А пока обо мне здесь позаботятся. Когда рана полностью заживет, я поеду дальше по своему усмотрению, если только не понадобится лорду Дорну или если дозоры в горах не возобновятся.

Подкрепившись стаканом *сарки* и кое-чем из съестного, я продиктовал моему новому другу

рассказ о том, чему был очевидцем. Потом Эккли зачитал его вслух, и я поставил свою подпись. Формальности были соблюдены.

Эккли отдал распоряжения по уходу за мной и спросил, что еще может для меня сделать. Я боялся, что если Наттана узнает про то, что я лежу здесь больной, она приедет, и, хоть я и жаждал ее видеть, разговор с нею страшил меня. Поэтому я попросил Эккли проследить за тем, чтобы мое пребывание на постоялом дворе оставалось в тайне. Устроить это было несложно: еду я попросил приносить мне в комнату, из которой не намеревался часто выходить, проводя несколько дней в покое, ничем особым не занимаясь.

Было уже очень поздно. Эккли собирался выехать на рассвете, так что до его отъезда мы виделись в последний раз.

И снова не находилось слов, чтобы высказать все, что лежало на душе, и мы замолчали.

— Значит, больше ничего? — спросил Эккли. — Хотелось бы мне, чтобы вы были одним из нас. Трудно даже представить себе: Ланг — иностранец и скоро уедет к себе.

— Я и был одним из вас.

— Да, Дон вас очень любил.

— Он говорил про меня?

— Он как-то сказал, что ему пришлось видеть вас однажды в затруднительном положении, из которого вы вышли с честью, и с тех пор он полюбил вас еще больше.

Должно быть, он имел в виду случай на перевале Лор.

— Тяжело думать о том, что...

— Не надо! — прервал меня Эккли. — Он для меня — живой, и я буду хранить его память.

Он встал, чтобы идти:

— Итак, больше ничего?

— Ничего, — ответил я. — Попросите только передать Дорне, что я здесь, если она тоже здесь остановится.

Мы попрощались.

Я закрыл глаза, и мне представился Дон — неповерженный смертью, распростертый на снегу, а такой, каким я запомнил его во время нашего совместного пути от Файнов к Хисам, — горделиво осанистый, меряющий дорогу своими широкими шагами. Каждое связанное с ним воспоминание было намного ярче, чем живая реальность иного человека, и все они были для меня исключительно драгоценны, словно я удостоился чести по-дружески общаться с каким-нибудь героем из легенды — Тором, Зигфридом или Гераклом.

Комната, отведенная мне, была маленькая. Единственное окно ее выходило на скат горы. Отапливалась она небольшим очагом, и по ночам было холодно. В день после отъезда Эккли я лежал в кровати, стараясь как можно меньше шевелиться, боясь любого усилия. Немыслимо было, что еще недавно я мог бежать. Поздно вечером появился врач, которого распорядился прислать Эккли. Он сменил повязку и сказал, что сама по себе рана не опасна — все дело в потере крови. Переписав дату, он отбыл, добавив перед уходом, что, судя по характеру ранения, больше никаких средств не понадобится.

Долгий сон освежил меня, но и следующий день я провел как накануне, потому что стоило мне оторвать голову от подушки, как все вокруг начинало плыть и кружиться. Течение мыслей, еще вчера тяжелое и бессвязное, приобрело стройность... Даже если дозоры на перевале возобновятся, что было маловероятно, определенный период моей жизни закончился, и следовало подумать о том, как жить дальше. Связь с Наттаной осталась в прошлом. В каком-то смысле даже лучше, что обошлось без тягостного расставания. Я помнил ее вплоть до мелочей — юную, яркую, очаровательную, с присущей ей своеобразной живостью. И пусть мы

расстались, каждый продолжал быть для другого чем-то особенным, и хотя печально было, что пути наши разошлись, печаль эта не причиняла боли.

Что ожидало меня в будущем? Останусь ли я в Островитянии еще на семь отпущенных законом месяцев? Или поеду к своим друзьям, гостя по очереди у каждого, и, лишь попрощавшись со всеми, отправлюсь домой? И как мне покажется дома? Со временем я это узнаю, ведь, так или иначе, мне придется жить там.

И только одна боль, шипом вонзившись в сердце, оставила в нем незаживающую рану — Дорна. Ее записка, которую я получил на перевале, удивила, смутила меня и не давала покоя моим мыслям. Она писала, что глубоко разочарована, не застав меня в Верхней усадьбе. Ей очень хотелось, ей нужно было меня видеть... Каждое слово таило скрытый смысл, и каждое порождало бесконечные догадки.

Если она действительно хотела меня видеть — я давал ей такую возможность...

На следующий день, незадолго до полудня, в дверь моей комнаты постучали. На мой вопрос «Кто там?» ответа не последовало, и в комнату вошла женщина. Я уже оделся, но лежал, пока еще чувствуя большую слабость. Она вошла робко, но, едва увидев меня, быстро приблизилась, сказала, чтобы я не вставал, и присела на край кровати... Снова я глядел в глаза Дорны.

Она тут же спросила, как я, и я вкратце рассказал ей...

Казалось, она стала выше. Глаза стали больше и ярче, рисунок губ — тверже, взрослее. Ее лицо дышало силой, благородством, выглядело более зрелым, и никогда еще она не была так хороша, яркий румянец горел на шелковистой коже.

Она сидела улыбаясь, глядя на меня, и молчала, и мне припомнилось, в какое беспокойство повергало меня когда-то ее молчание, эти затянувшиеся паузы. Но сейчас мне хотелось смеяться. И она вдруг рассмеялась и, протянув ко мне руки, воскликнула:

— Ну что я могу сказать?

— А разве в этом есть нужда?

— И все же я хочу кое-что сказать. Я прекрасно понимаю, чем обязана вам.

— Чем же?

— Если бы не вы, я уже давно была бы мертва.

Многое сразу стало мне ясно, и было замечательно сознавать, что это благодаря мне уцелела ее красота, ее величественная безмятежность, ее жизнь.

— Мы только про то и говорили, — продолжала Дорна, — Стеллина, Донара, Наттана, Эттера и я. Покидать Хисов пришлось в такой спешке, что мы только потом во всем разобрались. А что нас могло ожидать — мы знаем. Нам не оставили бы и шанса! Они проникли бы в дом, когда никто ни о чем не подозревал, и... И ведь я была в вашей комнате — первой наверху.

Она говорила спокойно, но вдруг глаза ее широко раскрылись, словно от ужаса, и она отвернулась.

— Лучше об этом не думать, Дорна.

— Нет, об этом надо думать, Джон! И мы все время думаем об этом. По крайней мере я. Стеллина по характеру спокойнее. А с Наттаной чуть не случилась истерика.

— Она с вами?

— Ах нет, — произнесла Дорна с явным облегчением. — Она доехала с нами только до усадьбы... Все думают, что вы на пути в столицу. Почему вы никого не известили? Наттана, я думаю, захотела бы приехать и позаботилась бы о вас.

— Я хотел обойтись своими силами.

Дорна пристально и серьезно взглянула на меня, потом опустила глаза.

— Давайте говорить начистоту, — сказала она. — Я случайно узнала о том, что было между вами и Хисой Наттаной.

При этих словах я испытал мгновенное потрясение и сразу же вслед за тем понял, что мне безразлично, знает ли Дорна про нас с Наттаной или нет. Я вновь открыл глаза: Дорна была все там же, чуть более далекая, но реальная, живая.

— Мне сказала Эттера, — продолжала между тем Дорна. — Это было, когда с Наттаной случилась истерика. Мы два дня провели вместе в их усадьбе внизу, в долине. Наттана единственная вполне поняла, какую важную роль вы сыграли, и очень переживала из-за вас. Она не думала, что вы поскачете обратно вместе с отрядом Горта. А когда узнала, что вы ранены, и вовсе не смогла удержаться. Эттера увела ее, а позже объяснила мне, что вы жили с Наттаной. Никто не принуждал ее, но она была очень взволнованна и расстроена... Почему вы не захотели, чтобы она приехала?

— Потому что все прошло, Дорна.

— И у нее тоже?

— Думаю, да, если она не переменялась.

Дорна снова робко взглянула на меня:

— Но что между вами было?

— Я предложил ей выйти за меня.

— И она не захотела?

— Да.

— *Апия?*

— Поначалу я так не думал, но она, кажется, знала это все время.

Дорна вздохнула:

— Я не имею права упрекать вас.

Я закурил губу — удержать готовый сорваться вопрос: а что же на самом деле? Но Дорна сама ответила на него:

— И все же в некотором смысле я виню вас. Если бы вы знали, что это *апия*, с самого начала... впрочем, все равно! Я приехала не для того, чтобы говорить о Хисе Наттане, и к тому же у меня мало времени... И я действительно рада, что вы с Наттаной были близки. Уверена — это было хорошо.

— Как она? — быстро спросил я.

— О, все такая же. Снова в делах. Ее мастерскую разгромили, но она говорит, что у нее и без того много шитья, чтобы занять себя до отъезда в их вторую усадьбу. И она разыскивает вас: у нее остался сверток с вашей одеждой, которую она взяла в ту ночь, и она не знает, куда ее послать.

На мгновение я позабыл о Дорне...

— Мне пора! — вдруг сказала она, вставая. — Меня уже заждались. Мы хотим сегодня к вечеру добраться до Фрайса. Я приехала просить вас, чтобы вы навестили меня там, как только окончательно поправитесь и прежде чем ехать куда-нибудь еще. Так вы приедете? — Голос ее звучал кротко, почти просительно.

— Приеду, Дорна.

— Нам о многом надо поговорить.

Что она имела в виду?

Но Дорна уже стояла в дверях.

— Пусть Наттана не знает, что я был здесь, — обратился я к ней.

— О, разумеется, положитесь на меня! — С этими словами она вышла.

За два прошедших после этого дня я вполне окреп и, выехав с постоянного двора, направился в сторону Фрайса, неподалеку от которого в охотничьем домике ждала меня Дорна.

У лошади Хисов, на которой я ехал, понятие об аллюре сильно отличалось от того, что было у Фэка, и это доставляло мне немало неудобств. Уже через пару часов я чувствовал себя страшно уставшим и мечтал только о том, чтобы поскорее добраться до цели и чтобы хозяйка домика не сразу высказала мне то многое, о чем нам надо переговорить.

Снег местами лежал на покрывавшей горные склоны и уже вовсю зеленевшей траве. Повсюду в ней виднелись маленькие белые и синие цветы, и все же горы не могли не подавлять своим ослепительным величием.

Рана моя затянулась, но, чтобы не беспокоить ее, я то и дело напрягался, так что тело у меня ломило.

Сучковатые, в наростах, мертвые деревья стояли вдоль дороги, но я старался не глядеть на них, слишком живо напоминали они о недавних страхах, о другом, но похожем месте, звуки выстрелов мерещились мне...

Однако наконец начался настоящий лес, и это было похоже на возвращение домой после болезни — пяти дней, проведенных за чертой лесов, где из окна виден только голый скалистый склон.

Вот на холме показалась башня, значит, позади уже больше половины пути. Настало время перекусить, и я спешил, хоть и понимал, что рискую: неизвестно, смогу ли я снова сесть в седло. Но кусок не лез в горло, и я ограничился несколькими глотками вина, весьма меня взбодрившего.

Когда время, положенное на отдых после ленча, истекло, я встал, чтобы продолжать путь. К счастью, в этот момент на дороге показалась группа путников. Я приветствовал их, и сильные мужские руки помогли мне сесть в седло. Я объяснил им, что ранен и еще не до конца поправился.

— Вы — Ланг? — спросил мужчина.

Я ответил, что да, и они тут же окружили меня. Похоже, они знали о набеге, о гибели Дона и о том, как одному из дозорных удалось бежать и вовремя предупредить людей в долине.

— Вы спасли нашу красавицу, — сказал один из путников.

— Солдаты в Тиндале завтра отправляются на перевалы, — добавил тот, что помог мне.

В голове у меня стоял приятный туман. Значит, Эккли довел дело до конца, и действия лорда Дорна не заставили себя ждать! Люди, окружившие лошадь, и их голоса то удалялись, то приближались, но приступ слабости скоро миновал.

Один из путников предложил сопроводить меня, но в этом не было необходимости. Я поехал дальше один, и вдруг с совершенной ясностью осознал, что теперь, когда моя помощь на перевале не нужна, я действительно остался не у дел...

Лошадь встала. Когда мы раньше подъезжали к каменистому склону, ведущему во Фрайс, я спешил, но сегодня конь должен был сам поднять наверх своего седока. Я пришпорил его, и он с явной неохотой стал преодолевать подъем.

Мир распахивался мне навстречу, а лес внизу лежал темно-зеленым ковром. Сверяясь с памятью, я не мог поверить, сколь круты и высоки скалы, на вершине которых расположился Фрайс. Проехав через башенные ворота, я выехал на первый луг, ветер волновал свежую зеленую траву.

Было уже недалеко, и, пожалуй, я прибыл вовремя: силы убывали с каждой минутой. Казалось, мы бесконечно долго ехали по лугу, а затем по тропе, петлявшей между покоившихся по всему склону огромных валунов. Однако наконец мы добрались-таки до террас — неровной формы, поросших деревьями, с ведущими вверх и вниз тропинками.

Впереди появился пеший мужчина. Услышав мое имя, он повернулся, и я последовал за ним, радуясь неожиданной компании, настолько я ослабел.

Домик, сложенный из бурого камня, с высокой островерхой крышей и застекленным вторым этажом, вдруг предстал моим глазам. Опираясь на руку мужчины, я соскользнул с седла.

— Рана еще дает себя знать, — пояснил я ему. Через невысокую дверь мы вошли в длинный, темный, с низким потолком, зал. В глубине ярко пылал огонь очага.

— Джон! Джонланг!

Она была так добра! Она не стала, как нянька, настаивать, чтобы я тут же отправлялся в кровать, по покой, нет, она поставила кресло, в котором можно было полулежать, обложившись подушками и укрывшись пледом, пододвинула его к очагу, но так, чтобы обращено оно было к окну, и, когда я наконец лег, блаженно расслабившись, ничего не спросила, а просто села рядом, спокойная и милая, и завела речь о самых простых вещах: о том, как я добрался и как добиралась она, о набеге, о Фрайсе, о том, что когда-то здесь жила королева Альвина...

Глаза у меня слипались; последнее, что я увидел, была темноволосая голова Дорны на фоне маленьких оконных створок, за которыми ветви сосен мягко раскачивались в небесной сини.

Урывками сознание возвращалось ко мне. В зале стояли сумерки. То, что я лежу в кресле, плед и подушки, сама комната казались незнакомыми и странными, но сидевшая у окна женщина повернула ко мне, уже совсем скрытое тенью лицо, безупречная в своей юной прелести.

— Дорна!

— Да, Джон?

— Сколько прошло времени?

— Не знаю... Вы спали очень спокойно.

— Да, не слишком-то любезно со стороны гостя...

— Не будем об этом! Поговорим о другом... Скажите, вы хорошо выспались?

— Прекрасно.

— И вы готовы выслушать мое объяснение? Или потом? Времени у нас предостаточно.

— Что же нуждается в объяснении?

— То, зачем я просила вас приехать... Вы поступили великодушно!

— И зачем же вы просили меня, Дорна?

— Потому что, расставаясь, мы причинили друг другу боль. Зачем нам и дальше жить с этими ранами? Я подумала, что если бы мы спокойно и терпеливо постарались понять друг друга, то больше не боялись бы встреч и раны были бы залечены. Было время, когда одна только мысль о вас причиняла мне жгучую боль, и я всячески стремилась избегать встреч с вами, но это прошло... И заслуга тут отчасти принадлежит Стеллине. Так что вы ее должник, да и я тоже. Я рассказала ей о вас, и после того, как мы встретились на «Плавучей выставке» в Доринге, она посоветовала рассказать брату о ваших чувствах, ведь он ваш самый близкий друг. И он поехал к вам, как только узнал от меня все...

Она резко умолкла, потом спросила:

— Что с вами? Вы так бледны!

— Продолжайте, Дорна. Со мной все в порядке.

— А Стеллина? Что ж, она добрая и мудрая... иногда даже слишком мудрая! Она считает,

что каждый, кого любили и добивались, но кто по какой-то причине не смог ответить взаимностью, в долгу перед тем, кто любил его, и должен сполна искупить свой долг — так, чтобы между ними обоими не оставалось никаких тайн и недомолвок. И еще она говорит, что только жестокая женщина будет неискренна в отношениях с мужчиной, который хотел, чтобы она стала его женой, или просто желал ее. И при этом она имела в виду меня! А в первом случае — нас обоих! Так пусть настанет для нас час воздаяния, Джон. Не знаю, чем все это может закончиться, но отчего не попробовать?

Внезапный страх перед чересчур откровенным разговором всколыхнул во мне все былые мучительные сомнения. Лицо Дорны в тени было почти не видно, но я чувствовал на себе взгляд ее ярко горящих, глубоко озабоченных глаз.

— Думаю, что попробовать стоит, — ответил я наконец.

— Мы должны быть честными и откровенными и ничего не скрывать друг от друга. Мы не должны молчать, щадя чувства другого.

Она опустила голову, затем резко выпрямилась.

— Я расскажу вам все без утайки! — воскликнула она. — За этим-то я и просила вас приехать.

— И за этим вы прислали на перевал записку?

— Да. Она причинила вам боль?

— Я испугался, Дорна.

— Чего, Джон?

— Того, что мои чувства к вам могут пробудиться с новой силой.

— Быть может, и я хочу удержать вас, но не настолько, Джонланг. Пожалуй, я догадывалась, что записка встревожит вас и заставит теряться в догадках. Но вряд ли я могла быть до такой степени жестока. Я полагала, что смогу поправить все позже.

— Дорна, объясните, что вы имели в виду, сказав: «Я хочу удержать вас, но не настолько».

— Я сама не до конца понимаю себя. Во мне до сих пор живо одно чувство, от которого я никак не могу избавиться. И я стараюсь сделать так, чтобы оно не руководило мной. Вы — мой, Джонланг, и я хочу, чтобы мой Джонланг желал одну лишь меня и лишь на мне одной хотел жениться. И я внутренне осуждаю его, когда он любит других женщин. Сама я не желаю его близости, хотя оставляю за собой право на свободу чувств. Но рядом существует и еще одно, не менее сильное стремление: мне хочется, чтобы он был счастлив и доволен жизнью. Если другая женщина, действительно достойная его, может доставить ему счастье, я не могу на это сердиться.

Неужели она хотела побольше узнать о Наттане? Но сердце мое молчало об этом. Были ли мы счастливы с Наттаной — наше дело и должно остаться между нами.

И все же Дорна соблюдала предложенное правило — быть откровенными до конца. Я остро ощущал, сколь сильно ее желание говорить искренне, и это значило больше, чем то, что именно она говорила. В ответ, если она пожелает, я расскажу ей о своих чувствах... Когда сам хорошенько разберусь в них.

Мы долго молчали. Небо за окном отливало стальной синевой, и переплет окна, ветка за ним, лицо Дорны медленно погружались во тьму...

— Что еще вы хотите сказать мне? — спросила она.

— Пока ничего, Дорна. У вас было время обдумать все заранее, а я еще до сих пор не совсем пришел в себя.

— Отлично. Обдумаете во сне... Вы пройдете к себе в комнату или поужинаете с нами?

— Пожалуй, я поужинаю с вами.

— Общество будет небольшое: Тор, Донара и я. Тор заехал на несколько дней. Он был в

столице, когда узнал о набеге, и тут же поспешил сюда, приехав вчера вечером. Он знает, что мы с вами встретились, чтобы не спеша поговорить по душам. Это вызвало у него сложные чувства, но победило желание, чтобы мы смогли до конца объясниться. Он будет рад вам, ведь вы спасли два самых дорогих для него существа. — Она звонко рассмеялась: — Кстати, вы знаете, что я жду ребенка?

— Дорн писал мне.

— Я стала другой, очень реальной, хотя пока еще плохо знаю себя, новую... Вы рады, что у меня будет ребенок?

— Да, потому что не хочу, чтобы вы когда-нибудь исчезли бесследно.

— Я не исчезну... из-за вас, Джон! Я так рада, так рада.

Темной тенью она поднялась и подошла к очагу. Красноватый отблеск огня высветил ее профиль, на губах блуждала довольная, задумчивая улыбка.

— Я думаю, сможем ли мы так же мирно беседовать днем?.. И все-таки мы понимаем друг друга! — произнесла она счастливым голосом.

Комната, куда меня провели, была расположена в юго-западном крыле дома, на втором этаже. На южной стороне была дверь на веранду и два окна, еще одно выходило на запад. Снаружи стояла уже такая тьма, что невозможно было различить ничего, кроме древесных крон, слившихся в одно черное пятно, и усыпанного звездами неба. В комнате стоял слабый, казалось не выветрившийся с давних времен, запах кедра и недавний, свежий запах фиалок.

Перед ужином Донара, молодая женщина лет тридцати пяти, спутница, подруга и одновременно камеристка Дорны, пыталась выказать свою благодарность мне, спасшему ее от такой страшной опасности. Наконец, к моему облегчению, с комплиментами было покончено.

Трудно было представить себе более видную пару, чем Тор и Дорна. Он превосходил ее красотой, безупречными пропорциями лица и фигуры, благородством черт, умом, ярко светящимся в его ясных глазах, силой и мягким изяществом каждого движения. Трудно было отвести глаза от его безупречно вылепленного лица и невозможно не удивиться, что он затмевает Дорну. Когда, налюбовавшись королем, я повернулся к ней, она в ответ улыбнулась мне, словно польщенная. Видя их вместе, я почувствовал, как никогда, отчетливо, сколь необычные узы связывают эту пару. Дорна сама выбрала себе супруга, а скоро их в семье будет уже трое.

Тор заговорил о набеге, и я повторил свой рассказ от начала до конца. Теперь, неделю спустя, он виделся мне более связно и детально. Тор много расспрашивал, как осуществлялось наблюдение и, в частности, о наших походах за дровами. Я рассказал о случае, когда слышал выстрел, и как мы боялись спускаться в те леса.

— Я хорошо знал Дона, — сказал Тор. — Риск этот может показаться неоправданным, но, я думаю, ему казалось, что вылазки пойдут на пользу дозорным, которые проводят часы за часами, сосредоточившись лишь на одном. Для него опасность имела иной смысл, чем для большинства людей. Она влекла его, как некоторых влечет игра, опасность обостряла его восприятие, требуя напряжения сил и мысли.

Наконец мой рассказ дошел до ночи, когда произошел набег. Я рассказал о появлении Дона и о том, как непривычно было видеть его таким уставшим. Дорна вмешалась, сказав, что всю ночь накануне он не спал, наблюдая за ущельем Доринг, еще до полудня спустился в долину, перехватив их караван на пути к Хисам, проехал вместе с ними до Верхней усадьбы, пробыл там буквально несколько минут и снова отправился в ущелье Ваба.

Продолжив свою историю, я рассказал, как после того, как все уже легли спать, я вышел и увидел на залитом лунным светом снегу движущуюся фигуру и почти одновременно услышал

выстрел. Тор спросил, где я в этот момент находился.

— Рядом с хижинкой.

— Почему же вы не вернулись в укрытие?

— Я даже не подумал об этом. Первой моей мыслью было разбудить Дона.

— И что потом?

— Вернуться, чтобы отстреливаться. Дон подоспел тут же.

— Но вы могли бы укрыться.

— Да, хижина была всего в нескольких ярдах. Но это не принесло бы никакой пользы. С той стороны, откуда стреляли, не было окон.

— Стало быть, вас легко могли загнать внутрь и окружить.

— Да, стоило только зайти в сторожку. Мне это даже не пришло в голову. Потом Дон приказал бежать к краю провала, к тому месту, где мы обычно спускались.

— Значит, у вас не было иного выбора, кроме как запереться в сторожке или бежать через открытое пространство?

— Мы могли забежать в сторожку и подняться с той стороны или прямо бежать вниз, в долину, но я тогда не сообразил.

— Если бы вы спустились в долину, вас могли бы настичь люди, убившие Самера?

— Могли бы.

— А если бы удалось подняться наверх?

— Тогда мы ушли бы от них, уверен. Там был крутой выступ, он бы нас прикрыл. Но что толку? Тогда нам пришлось бы спускаться самым окольным путем и мы не успели бы никого предупредить.

— А был ли еще выход из лоцины, где вы находились? — спросила Дорна.

— Да, был.

— Кажется мне, — сказал Тор, — что у вас с Доном был очень неплохой шанс спастись наверняка, но вы выбрали опасный, рискованный путь, чтобы успеть.

— Дон мог бы и догадаться, все взвесив, но не я. У меня не было никаких сомнений в том, что нам следует делать. Дон отдал приказ, и я его выполнил.

— Это был истинный подвиг, — сказал Тор.

— В этом и состояла наша задача. Они помешали нам дать сигнал. Надо было придумать, как выйти из такого положения.

Смерть Дона обходили молчанием. Зато все расспрашивали о подробностях моего бегства, и я рассказал им как мог о себе и о стойкости и сообразительности Фэка.

Скоро разговор зашел о мерах, предпринятых лордом Дорном. Он немедленно отправился вместе с Экли во Дворец, а затем — к графу фон Биббербаху, хотя было уже поздно.

— Мы пошли втроем, — сказал Тор. — Граф попросил отсрочки и расследования. Он был в крайнем замешательстве, когда Экли показал ему найденную у убитого горца карточку. Лорд Дорн, со своей стороны, сказал, что об отсрочке не может идти и речи, поскольку в опасности не только королева, но и все жители долины... Известие о том, что королева в опасности, произвело на графа глубокое впечатление, и он даже не нашелся что ответить. Мы сказали, что гарнизоны будут поставлены в течение ближайших дней. Граф ответил, что не знает, какие последствия это может повлечь. Единственное, что он мог сделать, — это известить свое правительство. Будут предприняты все меры к наказанию виновных, хотя потери имелись с обеих сторон. Вооруженные дозоры на перевале — несомненная провокация, к тому же они ставили под сомнение эффективность германской полиции. Если перевал был бы свободен, кто знает, как могли развернуться события. Кроме того, дозорные на перевале даже не являются военными... Словом, он изо всех сил старался вывернуться. Чего ждать дальше — не знаю.

Тор снова взглянул на Дорну:

— Впрочем, я в любом случае пробуду здесь день-два, не больше. Потом хочу вернуться в столицу... Мы могли бы поехать вместе с Лангом. Лорд Дорн хочет видеть его.

Дорна беспокойно пошевелилась.

Из гостиной мы перешли в залу с низким потолком. На полках вдоль стен ярдами расположились книги, некоторые из них явно очень старые. Возле большого камина стояло продолговатое старинное кресло из темного дерева.

Дорна села в него, вытянувшись и со вздохом облегчения заложив руки за голову. Беременность пока не слишком заметно отразилась на ее фигуре. Сияние ее красоты сейчас не могла затмить даже красота Тора. Волосы мягкими волнами обрамляли скулы. Длинные черные ресницы отбрасывали тени. Лицо лучилось довольством и покоем. Губы были полусомкнуты, словно в мирной улыбке. Они стали сочнее и словно ждали поцелуев, уже зная их вкус, и вместе с тем невинные.

Тор подошел и встал рядом с ней, улыбаясь.

— Кресло Альвины, — сказал он тоном, в котором слышалась едва уловимая, добродушная ирония.

— Я хочу, чтобы мой ребенок был другим, — ответила Дорна, угадав его намек. — Пока он мой. Потом можете делать с ним что хотите. Я люблю думать об Альвине и поступать так, как могла бы поступить она. Это единственная великая женщина, когда-либо жившая в нашей стране.

— Более великая, чем любой король, — ласково заметил Тор.

— Не любой... Однако, Тор, я отставать не хочу.

За разговором они забыли обо мне. Обратившись к книжным полкам, я прошел в дальний конец залы и наугад взял с полки книгу, но голоса говорящих все равно доносились до меня. Они вели между собой негромкий спор, начатый, как видно, еще раньше. Как я понял, король хотел, чтобы Дорна провела рядом с ним еще несколько месяцев, прежде всего потому, что он должен быть в столице в связи с политическими обстоятельствами...

Я пытался отвлечься чтением.

Голоса зазвучали тише.

Любопытство заставило меня взглянуть в их сторону. Дорна поднялась, и теперь оба стояли возле очага. Рука Тора, лежавшая на плече жены, соскользнула, коснувшись ее бедра. Она быстро подняла на него глаза и чуть склонилась к нему.

Меня защищала надежная броня. Любой клинок не оставил бы на ней даже царапины, но иногда в ней возникала щель, и тогда острое вонзалось глубоко.

В своей тихой комнате, пахнувшей кедром и фиалками, я спал долго и крепко. Проснулся я оттого, что мне смутно привиделась Наттана; словно поселившись где-то в глубинах памяти, она старалась утвердиться в моих мыслях, сейчас обращенных к другой. Утренняя свежесть дохнула на меня прохладой, когда я вышел на веранду, застекленной галереей протянувшуюся по всей длине дома и разделенную на ряд выступов-«фонарей».

Дорна прислала сказать, что появится не раньше полудня. Тор уехал охотиться, и мы позавтракали вдвоем с Донарой. Она не была «одной из них» — то есть обитательницей болот, — но тесное родство связывало ее с несколькими семьями, жившими неподалеку от Острова Дорн. Овдовев и после смерти единственного ребенка Донара оставила усадьбу мужа, о которой было кому позаботиться, найдя для себя новый интерес в жизни — Дорну, которую она знала с детства.

Прогулка оказалась столь утомительной, что я скоро вернулся, причем успев составить

представление об окрестностях охотничьего домика. За домиком, отделенная от него густой сосновой рощей и окруженная со всех сторон крутыми скалистыми склонами, была выемка площадью акров в пять, где разместилась крошечная копия поместья. В конце ее, под утесистым навесом, был небольшой пруд, его питал ручей, каскадами ниспадавший из узкой расселины.

Вернувшись, я решил дожидаться Дорну в зале, где мы провели вчерашний вечер, избегая, однако, садиться в кресло королевы Альвины и ее — Дорны.

Наконец она появилась и направилась ко мне, ступая, как всегда, легко, мягким и пружинистым, как у пантеры, шагом. Лицо ее сияло какой-то новой красотой, впрочем как будто уже давно знакомой и любимой.

— Такая чудесная погода, не хочется быть в комнате, — сказала она. — Давайте найдем другое место. Можно захватить пледы и посидеть где-нибудь на солнышке.

Место, которое она имела в виду, находилось в восточном конце веранды. Солнце стояло над густыми верхушками сосен, чей резкий запах освежал воздух. Мы устроились поудобнее, полулежа в двух шезлонгах будто на палубе парохода. Солнце светило ярко, согревая нас своим ласковым теплом. Прямая линия горизонта открывалась взгляду.

— Здесь мы с вами как двое раненых на поправке, — сказала Дорна. — Будем говорить или помолчим?

— Будем говорить, — ответил я. — Впрочем, разве это важно?

— Для меня сейчас — нет, но если мы упустим такую возможность, то как бы нам потом не пожалеть. Впереди у каждого из нас долгая жизнь. И мы оба станем счастливей, если по-настоящему узнаем друг друга... Вам не кажется?

— Я хотел бы знать одну вещь, Дорна. Почему вы, и ваш брат, и даже Наттана предупреждали меня, чтобы я не влюблялся в островитянок и не давал им повода влюбляться в себя? Что было, по-вашему, со мной не в порядке?

— Я догадывалась, что вы спросите меня об этом!.. Не могу говорить за них, и саму себя-то я не до конца понимаю... — Она прижала ладони к лицу. — Мне кажется, вам будет больно это слышать.

— Вряд ли вы сможете причинить мне боль тем, что думали обо мне когда-то.

— Вы позволите, я вернусь к тому, что было в самом начале? — спросила Дорна. — И пожалуйста, простите меня... Когда брат вернулся из Америки, он часто рассказывал о вас. Из его слов складывался довольно расплывчатый образ, и все же...

Она замолчала.

— И я оказался не таким, Дорна?

— И таким, и не таким... Я уже начинала думать о замужестве, и я надеялась, полагала, что это может быть выход... Случалось, я повсюду искала путей вырваться.

— Когда же я приехал, выяснилось, что такой выход вас не устраивает? Вы были разочарованы?

— Да, но это не ваша вина... И все же меня влекло к вам. Правда! Когда вы касались моей руки там, на башне, это волновало меня... я была очень тронута и хотела поведать вам свои самые сокровенные чувства, рассказать об *алии*, связывающей меня с Островом... обо всем.

— И я был тронут.

— Ах, я знаю! Если бы это было не так... впрочем, не важно.

Она снова умолкла.

— Как я могу?! — вдруг воскликнула она, закрывая руками. — Я обязана вам жизнью! Как я могу быть такой жестокой? И вы были ранены из-за меня!

— И все же — я очень разочаровал вас, Дорна, признайтесь. Ответьте мне. Вы не причините мне боли...

— У вас не было никакой цели, вы были сгустком чувств. Я видела, что вы недостаточно сильны, чтобы сделать женщину счастливой, и мне казалось, что и у вас самой жизнь сложится несчастливо. Я боялась, вы захотите, чтобы кто-то из наших женщин ответил вам взаимностью, и что никто не разделит ваших чувств... Теперь я все сказала вам.

Я рассмеялся и подумал о Наттане. Мелькнула лишь мимолетная мысль и о самой Дорне.

— Почему же не было цели? Потому лишь, что я не знал, что такое *алия*, как вы ее понимаете?

— Да, именно. До вашего приезда мне просто не могло прийти в голову, что вы не знаете, что это такое. Я думала, *алия* — естественное чувство каждого... Но и это не все! Дядя и брат — натуры более тонкие, чем я. Для них действительно ничего не значило, что ваши действия направлены против них, зато для меня — значило очень много! Мне виделись сонмища людей, у которых нет своего дела, нет иной цели, кроме неумного, слепого желания менять все вокруг, я представляла, как эти орды обрушиваются на мою страну, и... хотя и среди подобных людей встречаются очень привлекательные, видела, как вы отравляете все вокруг себя... Я почти ненавидела вас, Джон, и часто сердилась и жаждала мести...

— Вы никогда не показывали этого, Дорна.

— Спасибо за ваши слова. Временами чувства эти были очень сильны... Мне хотелось сделать вам больно, изменить вас, а если бы это не удалось, отравить по крайней мере одного врага... Однако не думайте, что меня не тянуло к вам, Джон, — добавила она.

Замечание Дорны вновь разбредило сожаление об утраченных возможностях.

— Но почему я ничего не замечал?

— Спросите себя, Джонланг. Я чувствовала и давала это понять, пожалуй даже слишком.

— Когда, Дорна?

— Да во время всего нашего путешествия на «Болотной утке»!

— Но ведь тогда мы были счастливы, разве нет?

— О, это был дивный сон. Такой прекрасный!

— Я помню одну минуту, когда я подумал, что вы можете... — Голос мой прервался.

— Почему вы не поцеловали меня? — требовательно спросила она. — Вы могли это сделать... Я так прихорашивалась.

Утраченная возможность, вечное угрызение — вдвойне невыносимое, поскольку сама Дорна обвиняла меня!

— «Сгусток чувств», как вы сами выразились, Дорна.

— Но не только. Вы думали, что это будет нехорошо!

— Я думал... да, вы правы.

Дорна коротко, горько рассмеялась:

— Вы могли поцеловать меня. Вы могли пойти дальше и обнять меня, все к тому шло. Меня завораживали ваши руки. У большинства наших мужчин руки крупные, широкие и загрубевшие от работы. А у вас — узкая ладонь, тонкие, но сильные пальцы. Ах, Джон!.. Но меня не просто влекло к вам. Я чувствовала себя несчастной, жалкой! Я понимала, что сама склоняю вас сделать именно то, против чего вас остерегала, и я без конца винила себя. И все же меня ни на минуту не покидал соблазн быть для вас желанной, подчинить вас себе — и отравить врага.

— Но все выглядело так естественно, Дорна, казалось, что мы оба счастливы...

— И в то же время я желала вашей близости. Думаю, если бы я позволила вам поцеловать, обнять меня, то... Я сказала, что вы действовали на меня завораживающе. И это правда в какой-то мере. Но я была девственницей, Джонланг.

— Мы оба были невинны, Дорна.

— Про себя я благодарил вас, что вы все же не поцеловали меня и не стали устраивать

сцен. Вы были правы, это я ошибалась. Мы ничего не добились бы, возбуждая наши чувства и останавливаясь на краю. Ведь остановиться пришлось бы, вы сами знаете.

— Вы хотите сказать, что остановили бы меня.

— Вы сами сдержались бы, Джонланг, дорогой.

Я предпочитал думать, что пошел бы до конца, и все же Дорна была права.

— Другие мужчины целовали меня и держали мою руку в своей, как вы, так что отчего бы вам было не поцеловать меня? Иногда поцелуй — это яд. Даже если чувства ваши не слишком глубоки, они меняют ваши внутренние ценности, ваши взгляды... Но для вас этот эпизод мог значить больше, чем для меня. Я это знала. А вы поступили мудро...

— То была не мудрость, а слабость!

— В конце концов — мудрость. Ведь вы не страдали, когда уехали с Острова, правда?

— Нет, Дорна.

— А могли бы, если бы мы целовались и обнимались, — словом, немного поиграли бы в любовь, и этим все кончилось!

— Это было бы прекрасно, Дорна!

— Само по себе — да. Это всегда прекрасно, но потом, когда затрагиваются чувства, у человека появляются желания, которые он не может удовлетворить, а это уже неразумно. Ваши же чувства затронуты не были.

— И ваши — тоже! — сказал я.

— О да, конечно. Но вы все-таки преодолели свое желание, не правда ли?

— Отчасти... Вспомните, ведь вы сами предостерегали меня. Я не думал о вас как о своей будущей жене... по крайней мере тогда... Вы едва ли не приказали оставить вас.

— Не совсем так...

— Но как же должен вести себя мужчина?! — воскликнул я.

— Не принимать слишком всерьез никаких уверений женщины, если он действительно ее хочет. Мужчина никогда не завоеует женщину, если будет постоянно считаться с ее желаниями, Джонланг. Такого рода обхождение скоро надоедает нам.

— Как легко совершать ошибки, Дорна! Мужчина должен знать, с какими жизненно важными желаниями женщины ему следует считаться, а когда ему следует идти ей наперекор, если она этого втайне хочет. И это при том, что она выражает и те и другие совершенно одинаково.

— Мы хотим от мужчины большего, чем обычная проницательность, Джонланг, и сердимся, когда этого не находим, но мы страдаем не меньше, настаивая или не настаивая на своих желаниях, чем вы, когда вам не удастся угадать, чего мы хотим в действительности.

— Однако, как мы мудры, когда все уже позади!

— Но вот одного, — начала Дорна, словно сомневаясь, говорить ей это или нет, — одного я никогда не могла до конца понять. Вы хотели жениться на мне, я знаю. Такова была ваша цель, верно?

— О да, Дорна.

— Вы знали, как ненавистна мне мысль о том, чтобы Островитянина подстраивалась под чужой образ жизни. И это мое желание вы поддерживали в ущерб собственным интересам. Ради меня вы пожертвовали своей *алией*. Когда вы сказали, что не прилагаете никаких усилий, чтобы найти для себя место, создать себе *алию*, которую я могла бы разделить с вами, я не могла этого понять. Вы лишили вашу *анию* самого главного, в чем она нуждалась. И я до сих пор пытаюсь понять; мне это трудно, потому что у нас *алия* для каждого — высшее благо, основа жизни, тогда как то, что заменяет *алию* в вашей стране, отнюдь не высшее благо и постоянно меняется. Подумайте только, как выглядит в глазах островитянки мужчина, который собирается жениться

на ней и в то же время сам лишает себя всех прав!..

— Но вам была ненавистна и та *алия*, во имя которой я мог бы трудиться.

— Да, конечно, и все же это было бы лучше, чем ничего. Она поддержала бы во мне *анию*, а без нее все было впустую. Джонланг, я помню ту минуту, когда вы открылись мне. Мы шли тогда на веслах... Потом я плакала, горько плакала. И в то же время я торжествовала: по крайней мере один враг был обезоружен. Я была тронута до глубины души... И неужели вам до сих пор не ясно: именно тогда, когда мне больше всего хотелось простых, недвусмысленных отношений, вы сами все спутали своим ужасным поступком... Впрочем, теперь я лучше его понимаю. Наши жизни безнадежно расходились все дальше и дальше. Но ваша ошибка состояла в том, что вы пытались угодить мне, вместо того чтобы трудиться, отвоевывая место в жизни для меня. Если бы я хотела выйти за вас, что я бы предложила, как вы думаете?.. По-моему, двух мнений быть не может.

— Вы очаровательны, Дорна. Слушая вас, я чувствую, что вы во всем правы, хотя у меня появляются и возражения. Но только я собираюсь их высказать тут же все забываю.

— Каждый из нас старается понять логику другого, но образ мыслей, глубоко укоренившийся в нас обоих, мешает нам понять чужой ход мыслей до конца.

Она взглянула на меня, слегка запрокинув голову, словно ожидая подтверждения, и я кивнул. Дорна улыбнулась, затем выражение ее лица изменилось; подперев щеку, она поставила локоть на ладонь, лежавшую на подлокотнике кресла. Руки ее отличались от таких знакомых мне маленьких, чувственных рук Наттаны. Я поспешил отвести глаза.

— Позвольте сделать вам упрек, — сказала Дорна, покачивая головой.

— Разумеется!

— Ах, Джон, позвольте мне сказать вам это, пожалуйста. Когда вы приехали прошлой весной, я была расстроена, совершенно подавлена. Я очень много думала о вас. Признаюсь: я ездила к Ронанам, чтобы не видеть вас, чтобы снова не проникнуться к вам привязанностью, которая могла бы смутить мой душевный покой... Ах, мой душевный покой! Моя безмятежность! Я просила вас беречь их, и вы исполнили просьбу, но я же почти открыто предлагала вам нарушить их! Вы томились по мне, но, поверьте, быстро надоедает, когда кто-то постоянно и страстно желает вас, даже если все это выглядит изысканно и красиво. Вы так заботились обо мне, были так нежны. Но ведь скучно, когда человек все время безупречно тактичен.

Помните тот вечер, когда вы отвозили меня к Ронанам? Я хотела уехать одна, но вы настояли и отправились меня провожать. Это взволновало меня. Я и хотела, и не хотела этого. Тогда, на ступенях, когда мы в темноте искали лодку, я, пользуясь вашим словом, — я почти «любила» вас. Я действительно любила вас! Это была наша ночь, наш час. Мы отплыли, и я сказала: «Бедные Ронаны!» Почему вы не увезли меня тогда куда-нибудь? Неужели вы не видели, что всякий раз, как вы проявляли решительность, я становилась кроткой и подчинялась вам? Помните, как я не хотела, чтобы вы сходили на берег? А ведь я боялась, что могу позволить себе какую-нибудь дикую выходку! И все же, когда вы сошли, я не противилась. И что же вы сказали?.. Что единственное, чего вы желаете мне, — это мирных радостей. Вы сами ничего не захотели! И если вы скажете, что это не так, я вам не поверю. Если мужчина желает женщину, он хочет, чтобы и она желала его, и ему безразлично ее спокойствие! Вы спросили, не помешал ли ваш приезд моей спокойной жизни. И про себя надеялись, что помешал. И скажи я «да», это тронуло, это взволновало бы вас! Да, да, Джонланг, и мне хотелось сказать «да». Конечно, я стремилась отдалить вас от себя, но это, увы, оказалось так несложно. Почему вы даже не постарались добиться меня? А ведь я давала вам такую возможность — дважды! Я дважды спрашивала, что вы хотите от меня услышать. Вы не настаивали, хотя я прекрасно понимала,

чего вам хочется. А вы... вы были сама тактичность, сама нежность! Вы спросили, рада ли я видеть вас на Острове. Вдумайтесь хорошенько! Не завоевать меня, а лишь угодить мне — вот чего вы хотели. Полагаю, вы могли и не знать, чего вам действительно хочется, иначе бы не боялись причинить мне боль.

— Я хотел, чтобы вы стали моей женой! — воскликнул я. — Я думал сказать вам об этом, но мне не хотелось делать вам больно. Я знал, что вы мучитесь, и не хотел усугублять ваши страдания. Вы просили... предупреждали меня.

Она снова наклонилась вперед:

— Что вы имеете в виду, говоря, что хотели жениться на мне? Скажите, не бойтесь. Это не будет для меня ударом.

Я молчал.

— Вы хотели обладать мною?

— Да, Дорна.

— Чего вы хотели еще?

— Жить, никогда не разлучаясь с вами.

Она нервно сжала руки:

— И вы хотели, чтобы я стала матерью ваших детей?

— Да, Дорна, — ответил я не раздумывая.

— И тогда вы тоже думали об этом?

— Нет! — крикнул я. Вопрос Дорны рассердил меня. — Я любил вас. Я желал вас. Я полюбил бы и наших детей, но тогда мысль о них просто не пришла мне в голову, да и почему я должен был обязательно думать об этом? Все было так прекрасно, так ново, так полно жизни!.. Ваш вопрос напоминает что-то вроде экзамена, которому вы, островитяне, подвергаете друг друга. У нас любовь уже подразумевает радость отцовских или материнских чувств. Она вырастает с ходом времени, с ростом любви. Мы не думаем о детях заранее!

— Да, — сказала Дорна, — не думаете, а мы — думаем. Эта мысль всегда с нами, потому что нет ничего прекраснее, чем, глядя на человека, всем своим существом ощущать, что «именно этот человек, такой не похожий на меня, объединив свои усилия с моими, может дать начало новой жизни».

Я смутно ощутил, что же это действительно за чувство, и уже не взялся бы отстаивать «любовь» в сравнении с *анией*.

— Не думайте, что ваша «любовь» так уж замечательна, Джон. Приятно ни о чем не думать заранее, знать, что для тебя в данный момент хорошо, и стараться не упустить свое благо, быть уверенным в своем счастье, зная — что бы ни случилось, ему ничто не угрожает. Мы тоже умеем наслаждаться минутой. И ничего не теряем оттого, что в глубине души предчувствуем естественные последствия наших желаний.

— О, я понимаю — хотя, вероятно, лишь отчасти, поскольку я не островитянин, — и все же не могу до конца поверить человеку, утверждающему, что он знал нечто большее, чем «любовь» в том смысле, в каком мы ее знаем.

— Больше? — переспросила Дорна. — Разве я сказала что *ания* больше любви? Просто таков наш путь. У вас он — свой. Быть может, именно ваши чувства сильнее, поскольку проще, ближе к животным и менее продуманы... Не знаю и не слишком забочусь об этом. И то и другое равно прекрасно. Ваша любовь была чудом, которое вы мне подарили. Были и другие мужчины... Они видели во мне будущую мать своих детей, я это знаю, но их *ания* была мне скучна и вовсе не так прекрасна, как ваше чувство. Я понимаю, насколько оно выше простой *апи*.

За мгновение до этого все старые обиды и боль неудовлетворенности вернулись и

пронеслись, как порыв жаркого летнего ветра. Я попросту устал и думал о том, как хорошо сидеть на прогретой солнцем веранде и говорить с Дорной.

— Вы так добры, — сказал я. — В глубине души я все время чувствовал, что вам доступно совершенство, несмотря на все различия и преграды.

— Значит, я — совершенство? — мягко спросила она.

— Абсолютное совершенство, Дорна...

Закрыв глаза, я слушал, как словно издали доносится ее голос.

— Вы достаточно натерпелись от меня, дорогой Джонланг. После ленча я расскажу вам о себе. А пока пойду взгляну, что там на кухне.

И действительно, беседа наша возобновилась лишь после ленча. Примерно на час мы разошлись по своим комнатам, и я, как настоящий инвалид, даже вздремнул немного. Мы встретились вновь в уставленной книгами зале с низким потолком: поднялся туман, и на веранде стало холодно и неуютно.

— Итак, хотите ли вы, чтобы я рассказала вам о себе, Джонланг? — спросила Дорна, когда мы удобно расположились возле камина; Дорна — в кресле королевы Альвины.

— Да, Дорна.

— Во-первых, — начала она, — позвольте сделать вам еще один упрек.

— Смелее, Дорна.

— Это насчет вашей «Истории».

— И в чем же я виноват?

— Вы были довольны помощью Мораны?

— Конечно.

— Однако пытались внушить мне мысль, что предпочли бы мою помощь.

— Я был бы счастлив, если бы вы помогли мне.

— Почему?

— Чтобы работать с вами рядом!

— А разве вам не хотелось, чтобы «История» сыграла какую-то определенную роль?

— Разумеется.

— Так могла ли я помочь вам? Ведь я принадлежу к другой партии, я — ваша противница.

— Уверен, что вы не прибегли бы к нечистой игре.

— Уверены? Не знаю, но помогать бы я вам не стала... Почему вы изменили решение превратить «Историю» в воинствующий документ и смягчили тон?

— Вы хотите сказать, что она — недостаточно сильный аргумент в пользу установления торговых отношений?

— Весьма слабый! Уверена, что Морана никогда не пыталась повлиять на ваш замысел — сделать из «Истории» документ воинствующий, — но ее гораздо меньше интересовала ваша убедительность, чем красота вашего стиля. И вы прониклись тем же настроением. Кое-где в книге сохранились следы первоначального замысла, но они словно островки, полузатопленные мощным приливом. В конечном счете все, что осталось, — это сухой отчет о вашей стране, никого ни в чем не убеждающий. Я ожидала серьезных доводов в пользу развития внешней торговли.

— Вам было интересно, Дорна?

— О да, написано простым, доступным, хорошим языком — в остальном же ни то ни се. Я была разочарована.

— Жаль...

Критика Дорны была неотразима.

— Попробуйте еще раз, Джонланг, стараясь при этом быть беспристрастным.

Я хотел сказать, что покончил с подобными вещами.

— Если желаете знать, мне нравилось, что Морана помогает вам... Я никак не могла удержаться от мысли, что, встретить вы ее раньше меня, «полюбили» бы ее и она, конечно, обращалась бы с вами куда лучше...

— Вы были ко мне справедливы.

— Но она не увлеклась бы вами так, как я...

Сердце у меня замерло. Мы старательно избегали глядеть друг на друга.

— Я чувствовал, что вы увлечены мной, но никогда не предполагал, что настолько.

— Мне не хотелось бы воскрешать в вас какие-либо надежды... — сказала она, помолчав.

— Воскрешать уже нечего.

— Не будьте столь самоуверенны, — резко ответила Дорна. — Я тоже немного с этим знакома.

Я поклонился, но промолчал.

Они сидела опустив голову, очень тихо и, казалось, внимательно разглядывала свои руки, но взор скользил мимо.

Румянец медленно проступал на ее щеках. Потом она резко вскинула голову, глаза ее горели.

— Когда вы приехали весной, я знала, что вы «любите» меня... по крайней мере я думала, что это так. Я знала, что это не *ания*, но мне и не хотелось иных, более глубоких чувств. И еще мне было жаль вас. Ведь я ощущала себя предательницей. Однако к жалости примешивалось и еще нечто. Не *ания*, нет. По отношению к вам я никогда ее не чувствовала.

Она сжала руки так, что костяшки пальцев побелели...

— Ах, правда в том, что я хотела, чтобы вы пробудили во мне это чувство! А вы только и думали, как бы развлечь меня. Мне хотелось касаться вашего ясного, открытого лица, целовать ваши честные, удивленные, растерянные глаза! Мне нравилось все, что было связано с вами. И я вовсе не боялась вас, я боялась себя самой.

Помните, как мы поднимались на башню? В тот день я поняла, что никогда не смогу покинуть наш Остров. Я любила вас и Остров одинаково сильно. Вы предложили способ, как избежать разлуки с родными местами. Ваша скромность, мягкость, готовность последовать за мной, каким бы человеком я ни оказалась, лишили меня твердости... и заставили поступить именно так.

Я думала о том, как прекрасен Остров, и уже не в первый раз мне приходила в голову мысль — не могли бы вы стать одним из наших посредников и жить с нами на Острове. Ближайший живет в Эрне, это очень далеко от нас, обитателей западной части болот, и мы нередко подумывали о посреднике, который мог бы жить с нами... Как сейчас помню, вы стояли рядом, такой спокойный, влюбленный, и, казалось, догадывались о моих мыслях.

Я дала вам руку. И подумала: «Да, вот как мне следует поступить. Я не выйду за Тора...» И вдруг все стало так ясно. Вы верили мне, но вы не понимали меня. А мне не хватало веры. Я решила, что принесу вам одни лишь несчастья. И сама я не буду счастлива, вспоминая об упущенных возможностях. Я стану вашей женой лишь потому, что больше всего люблю свой дом. И обреку вас на жалкое положение — быть едва ли не приживалом у Дорнов. Вы были мне слишком дороги и слишком невинны, чтобы так обойтись с вами. Но я хотела вас, Джон, хотела, чтобы вы были моим мужчиной и чтобы вы обладали мной всегда.

Я сказала себе: «Будь я американкой, этого было бы достаточно...» И тогда я отняла свою руку и убежала. Мне хотелось как можно скорее перестать видеть вас — я боялась, что у меня не хватит выдержки и все снова запутается: мысли, чувства. Вы преследовали меня как

наваждение... Если бы вы тогда попытались меня удержать — не знаю, что бы случилось. Я могла бы не выдержать и... и осталась бы с вами.

Потом я решила, что со всем покончено и надо продолжать, и вот тогда я вам солгала... Помните? Помните, как я извинялась, что заигрываю с вами? Мои слова больно задели вас, но мне было еще больнее. Так больно всегда преуменьшать пережитое! Но я решила не поддаваться чужому человеку, не дать превратить себя в американку...

И все, все это время я шла по очень тонкому льду, надеясь, что он провалится подо мной, что вы позаботитесь о нас обоих!..

Но вы не сделали этого. И я виновата лишь наполовину. Остальная часть вины — ваша!.. Пусть я ненавидела вас, но вы восхищали меня, поскольку оставались верны себе, верны природе вашей «любви». Эта «любовь» была бескорыстна и именно поэтому потерпела крах. Но и тут вас нельзя винить. Будь ваша любовь эгоистичной, она стала бы жестокой. Для меня оставался один выход: превратить вас в островитянина. Сердцем вы чувствовали, что лишены *алии*, которая могла бы питать *анию* во мне, даже если бы ваши чувства обрели гармонию. У вас была возможность. Думаю, вы отчасти догадывались об этом, но упустили ее ради меня. Вы пожертвовали собой ради меня!

Ах, бедный Джон и бедная Дорна, как мы жалки, перед нами нет открытого пути, и мы даже не можем решать, следовать ли по нему или забыть о нем, а вместо этого — такого простого! — вопроса вынуждены толковать неизвестно о чем.

Теперь, когда я узнал, что сердце ее принадлежало мне, чувство утраты стало похоже на то, что испытываешь, когда порываешь с тем, кто еще минуту назад был для тебя самым близким человеком.

— Я не знал, что был почти у цели, Дорна! Как тяжело слышать это сейчас.

— Вы обвиняете меня?

— Нет, себя!

— Но вы не изменили себе.

— Я желал вас и сам же вас потерял.

— Это не самое важное...

— Ах, Дорна! Я мог обладать вами, но теперь этого никогда не произойдет! Мне хочется умереть!.. Я хотел вас, хотел, чтобы вы были моей. Вы словно вонзили нож мне в сердце.

— Пожалуйста, прошу вас, милый, не сердитесь! Вам не должно быть больно, ведь вы уже не хотите меня, как раньше!

Образы прошлого мелькали передо мной: Дорна на «Болотной утке», засучив рукава — на кухне у Ронанов, ее обнаженное тело в воде...

— Я не знаю...

Слова ее едва доходили до меня.

— Мы близки и всегда будем близки друг другу, Джонланг, но наше желание — это всего лишь вспышка страсти, которая погубит нашу дружбу. Скажите откровенно! Вы хотели обладать моим телом. Вы не хотите этого сейчас. Вам нужно от меня что-то другое.

— Почему вы так решили, Дорна? Потому ли, что я еще не оправился от раны, а вы ждете ребенка?

— Вы сами должны ответить себе... Но вспомните — так ли вы хотели меня в последние месяцы, когда жили у Файнов, прежде чем отправиться в горы? Вспомните хорошенько. И разве что-то в вас не переменялось после разговора с братом? Ответьте честно!

— Я снова смирился с жизнью.

— И не забывайте о Наттане.

— Ах, Дорна!

— Я понимаю, это еще не значит, что вы остыли ко мне. Трудно быть однолюбом и хранить верность лишь одному человеку. Я не виню вас. Я понимаю все, и даже то, что вы предложили ей стать вашей женой, вы, с вашими привычками и взглядами, с вашей «любовью», лишенной *алии*, — даже тогда ваше чувство ко мне могло быть подлинной *анией*.

— Оно и было ею, мне так кажется. Но жить с Наттаной тоже было хорошо... Неужели я совсем запутался?

— Не думаю.

— Но *ания* не может умереть!

— Она и не умирает, что-то остается навсегда, как прекрасная картина, ставшая частью вашей жизни.

— Но что превращает ее в эту картину?

— Настрой наших чувств и ума, Джонланг, любое резкое вмешательство или перемена в вашей жизни. Не обязательно связанное с другой женщиной.

— Какие же перемены произошли со мной?

— А разве вы сами не чувствуете, как сильно изменились? С вами произошло немало всего. Теперь у вас есть цель, которой прежде не было.

— У меня нет цели, Дорна.

— Вы уверены? Но вы жили так, словно она у вас была.

— Какая же, по-вашему, цель стояла за моими поступками?

— Цель — выбрать себе определенный образ жизни, перестать быть сгустком чувств. Цели появляются раньше, чем мы осознаем их. Это лишь отчасти — мысли, порожденные нашим умом.

— И все же я не вижу определенной цели в своей жизни.

— Дело серьезней, чем вы полагаете, мой милый Джонланг: ваша бескорыстная любовь дарила себя другим. Вы глядели в лицо смерти, спасая мою жизнь и жизнь моего ребенка.

— Я не понимаю.

— Потерпите, мой дорогой... Теперь вы и я достигли того, что недоступно почти никому из мужчин и женщин, — мы полностью понимаем друг друга.

— Как же все это может сделать мою любовь меньше?

— Не меньше, нет... просто вы перестанете стремиться обладать мною. И про себя я ничего не могу сказать наверняка, как, впрочем, и вы, пока не встретите и не пожелаете кого-нибудь еще.

— Дважды пережить *анию*, Дорна? Это возможно?

— Да, если в вашу жизнь властно вторгнется что-то новое. То, что случилось, может сделать вас свободным. Ведь вы хотите свободы, не так ли? И оставьте право на свободу мне!

— Разумеется, если не смогу обладать вами.

— Вы никогда не сможете этого.

— Как вы жестоки, Дорна!

— Не отчаивайтесь, Джонланг. И не позволяйте мне отвращать вас от этой новой цели...

— Которая мне непонятна!

— Потерпите! Молю вас, потерпите!

— Как долго прикажете терпеть?

— Пока не почувствуете себя уверенным. Вы еще колеблетесь.

Она замолчала.

— Хорошо, я потерплю. Больше мне ничего не остается.

— Не старайтесь воскресить старую любовь, если ей суждено умереть.

— Вы хотите сказать: перемены, о которых вы упоминали, убьют ее.

— Дадим им такую возможность, чтобы я окончательно перестала быть помехой вашей жизни... Мне не хотелось бы говорить вам, но это — единственная правда, которую я могу вам сказать.

— Но по чему я узнаю, что, если моя любовь к вам умрет, это будет естественно и правильно?

— Ждите — вот все, что я могу вам сказать!

— Но чего, Дорна?

— Того, что подарит вам жизнь. Иногда она делает подарки. Может быть, и я смогу помочь вам.

— Чем сможете вы помочь мне, Дорна? Вы никогда не будете моей.

— Кто знает, быть может, я смогу дать вам нечто лучшее, нежели женщину, которой вы неспособны принести счастье и которая лишь помешает стать счастливым вам. — Она встала. — Давайте закончим пока на этом наш разговор, — сказала она дрожащим, напряженным голосом и быстро, не оглядываясь, вышла.

Подождав какое-то время, чтобы снова не столкнуться с Дорной, я вышел из дома. Туман, окутывавший Фрайс, снизу мог показаться густыми облаками. Случается, человек слушает музыку и глубоко тронут ее звуками, но после этого неожиданно в душу изливается покой, еще более благословенный, чем был ведом когда-либо раньше. Дорна сейчас была подобна музыке, волнующей, надрывающей сердце, но доносящейся издалека. И все же у отчаяния есть родная сестра — равнодушие, и, когда отчаяние заводит человека слишком далеко и оказывается для него невыносимым, является равнодушие, неся с собой обманчивое облегчение, похожее на счастье. Как приятно наконец ощутить его, оставив позади мучения, беспокойство, обиды!

Дорна сказала: «Потерпите!» Я ответил: «Что мне еще остается?» В тот момент это не казалось смешным, но сейчас я вдруг развеселился. Ведь и в самом деле жизнь, проведенная в ожидании, неизбежно чахнет... Мне хотелось каких-то решительных действий... Может быть, это и была та неведомая мне цель, о которой говорила Дорна.

В тот день я ее больше не видел и лишь мельком — вернувшегося с охоты Тора; впрочем, Дорна прислала мне записку: «Завтра я должна сообщить вам две важные вещи, Джон». Записка разбудила во мне любопытство, что было вдвойне приятно, поскольку обещала это любопытство удовлетворить.

Вечером мы поужинали вдвоем с Донарой, которая много говорила о Дорне как о ребенке, непослушном, трудном, упрямом, порою капризном и замкнутым, но всегда очаровательном и любимом. Мне было приятно добавить эти новые штрихи к портрету женщины, которую я любил и образ которой всегда будет со мной.

Облачная завеса поднялась, и на следующее утро лил настоящий ливень. Мутная вода протекавшего рядом с домом ручья бурлила и пенилась.

Я скучал, дожидаясь Дорну, но она, некогда любившая вставать раньше всех в доме, теперь усвоила привычки королевы. Время близилось уже к полудню, когда она снова появилась в продолговатой зале.

Она подошла, я встал ей навстречу. Она подошла несколько ближе, чем я ожидал, и мы обменялись быстрыми взглядами. Никто из нас ничего не продумывал заранее, но в какое-то неуследимо краткое мгновение мы без слов поняли друг друга. Я поцеловал ее, прямо в губы, и она ответила мне таким же крепким, честным поцелуем. В эту минуту я в полной мере познал всю сладость обладания и власти над столь желанным существом.

Она робко, вопросительно и с благодарностью взглянула на меня, потом опустилась в кресло Альвины.

— Вы собирались сказать мне две вещи, — произнес я.

— Ах да! Одна действительно должна вас порадовать! Что же до второй...

Дорна замолчала, глядя в огонь, накрыв одну руку другою.

— Что же вторая, Дорна?

— Мое замужество. Я долго думала, в каких пределах могу быть с вами откровенна и что подумает король. Вчера вечером я сказала ему, что хочу полной свободы в разговоре с вами, даже в том, что касается его и меня, даже в том, о чем он и сам не подозревает. Он попросил объяснений. Я ответила ему то же, что сказала вам: что принесла вам несчастье, что вы желали меня и в конце концов потеряли, что теперь вы стремитесь вновь обрести себя, что загадки и половинчатое знание лишь продлевают страдания и что вы сможете зажить с собой в мире, узнав, насколько счастлива и несчастлива была я. Еще я сказала Тору, что не могу предугадать, что вы почувствуете, открыв правду, но, по крайней мере, больше не будете мучиться из-за необоснованных догадок и беспочвенных надежд, созданных вашим воображением.

Он согласился, сказав, что это и вправду не его забота, знаете вы что-то или нет. Потом я стала говорить, как была счастлива с ним, и постаралась, чтобы это звучало как можно правдоподобнее.

— Дорна... — начал я.

Она жестом прервала меня:

— Дайте мне договорить. Я должна сказать это. Я хочу, чтобы вы знали. Это так просто. Он начал приезжать, чтобы повидаться со мною, три года назад... то есть повидаться прежде всего со мной. Ему помогал в этом его друг Стеллин. Когда я была еще совсем молода, мне казалось, что я могу быть счастлива со Стеллином. Мы решили выждать, и... ах, это немного напоминает историю с вами. Вы оба не годились на роль мужа... Не противьтесь тому, что я говорю, ведь потом...

— Снова — цель, о которой я не знаю, Дорна?

— Именно. Отнеситесь к ней серьезно... Стеллин не подходил мне по другим причинам. Он был слишком беспристрастным, недостаточно самолюбивым, чересчур мудрым — совершенным, как цветок! Думаю, мне в ту пору хотелось чего-то более положительного, сильного, мощного. Итак, мы расстались, хотя и дружим по сей день. Он быстро справился со своими чувствами. Этого и следовало ожидать. Он точно знал, что делать в подобных случаях. Его невозможно надолго вывести из равновесия!

Но я вовсе не собиралась говорить о нем, хотя рассказ мой может кое-что объяснить. И вот меня стал навещать Тор. Он очень мужественный и красивый. Подобно прочим, я была увлечена им и даже немного презирала себя за это. Однажды мы поссорились. Он очень, почти поживотному, прост. Для него не существует пороков и обмана. Когда ему чего-то хочется, он прямо идет к цели. А если встречает сопротивление, без всяких угрызений добивается своего — не то что вы и Стеллин. Но и я достаточно сильна. И я не собиралась уступать ему!.. Я считала, что той сценой все закончилось, и не слишком переживала. И все же часто думала о нем — не в этом смысле, а потому что он — сильная личность. Он не похож на большинство из нас, я это отлично понимаю. Отчасти это и послужило поводом. Я говорила вам, что была тогда другой. И я люблю его за то, что он действительно — Тор, а не слабое существо, каких много. Мне нравился его тип, его настойчивость, когда нужно добиться цели. Мне нравилась таящаяся в нем сила. Я чувствовала в нем ровню!

Он просил моей руки еще до того, как появились вы. И вы представляете, мне явилось видение! Словно я помогаю ему, направляя его силы. Мы понимали друг друга, хотя частенько и расходились во мнениях. Мы ощущали взаимное сходство. Мне казалось, мы сможем основать новую, могущественную династию, с которой не справится Морам.

Она быстро взглянула на меня и тут же отвела взгляд.

— Так или иначе, он был мужчина, с которым мне хотелось вместе жить и трудиться, единственный, кто мог удовлетворить хотя бы одну сторону моей натуры. Он мог дать мне возможность осуществить себя. Ни вы, ни Стеллин не могли сделать этого. Только Тор!.. Я знаю, о чем вы думаете: да, он — лидер, он может предложить больше, чем мы, в его руках власть, а Дорна властолюбива, особенно когда речь идет о политической власти. Что ж, я согласна! И это имело значение, но кроме этого...

Что за сомнение точило меня изнутри?.. Способны ли вы понять женщину, которая хочет выйти замуж, потому что ценит качества будущего супруга и жизнь, которую он может предоставить, и в то же время не хочет быть его женой? *Ания*, Джонланг, но лишённая подлинного желанья, скорее страх... Простите, что мучу вас своим неотвязным сомнением. Потом вы стали мне дороги...

Я решила продолжать! И держалась своего решения. Больше мне практически нечего сказать. Да, это была *ания*. Я счастлива иметь от него ребенка. Ребенок оправдывает в моих глазах все остальное. Если бы я не испытывала радости, нося в себе его — и мое тоже! — дитя, это был бы крах. Но желанья нет, и я боюсь, мне никогда его не дожидаться. Я берегу себя ради себя самой. Я хочу отдавать — и не могу. Ах, порою... но так было бы с любимым.

Вот в чем мое несчастье. Но у меня есть способы с ним бороться. Мы трудимся вместе, живем в согласии, лучше, чем я могла предположить. Видимо, этого достаточно... Вот и все, что я хотела сказать.

Мне казалось, я уже давно знал все, что мне довелось только что услышать. Моя вина в том, что я потерял Дорну, была невелика. Она сама отказалась от совершенства и естественности, — впрочем, и мы с Наттаной не достигли их.

— *Ании* недостаточно, — сказал я.

— Об этом-то я и думаю.

— Быть может, Дорна, вы по ошибке приняли за *анию* что-то другое?

— Не говорите так, Джонланг! Я верю, что чувствую *анию* по отношению к Тору!

Я было успокоился на мгновение, но сразу же понял, какую *анию* имела в виду запутавшаяся в сетях самообмана Дорна — казавшаяся такой мудрой и уверенной в себе и все же изменившая теориям, которые сама же пыталась мне внушить!

— Давайте больше не будем об этом, — сказала она. — Все сказано! Но я хочу, чтобы вы знали одно: я не разуверилась в *ании*, чувство это совершенно, даже если мне самой не дано испытать его.

— А если бы вы стали моей женой?

— Если бы я стала вашей женой... — Она посмотрела мне в глаза и покачала головой. — Это могло бы случиться, но наш брак оказался бы неудачным, ненастоящим по другим причинам. И дело тут не только в совершенстве. *Ания* должна быть полной и завершенной во всех смыслах.

Теперь мы лишь по-разному понимали смысл слова, но одинаково — смысл происшедшего.

— Я не настоящая островитянка, — продолжала она. Я всего лишь Дорна... Будьте же вы им!

Она разжала руки. Я взял ее ладонь, подержал и отпустил. Все несказанное было понятно, и теперь нам предстояло жить с этим.

И вновь Дорна поспешно удалилась, сказав на прощание: «Сегодня днем я еще кое-что должна сообщить вам». Но я и так знал уже все, что хотел.

Долго еще я сидел, обдумывая то новое, что открылось мне в словах Дорны. И так, был

момент, когда почти ничто не мешало нам пожениться, но из-за какой-то присущей Дорне жесткости, не свойственной большинству островитянок, она не захотела уступить той малости, которой мне не хватало, чтобы собраться с силами и завоевать ее. Подобно драгоценности, я буду отныне хранить память о том, как тесно нам удалось сблизиться; многие старые раны как рукой сняло, но горько было сознавать, что нас разделяло столь небольшое и все-таки я упустил свое счастье, хотя слова Дорны и вселяли неожиданные и тревожные надежды на будущее. Сейчас она с головой ушла в семейную жизнь, стараясь сделать ее как можно более полной и гармоничной, и мне ни в коем случае не следовало мешать ей в этом; но, быть может, настанет время, когда она не захочет расставаться со мной?

Сидя у себя в комнате, я слушал шум дождя, с упоением глядя на темные, низко нависшие тучи. Но дождь кончился, и солнце ярко засияло на влажной зелени травы и листьев. Жаль, дождь успокаивал, как присутствие друга.

Мы сидели на залитой солнцем веранде. Дорну явно беспокоили те же мысли, что и меня.

— Я полагала, будет правильно открыть вам все, — начала она. — Но теперь я сомневаюсь — не была ли я чересчур откровенна, дав толчок чему-то новому вместо того, чтобы покончить с болью старых ран. — Она заглянула мне в глаза: — Теперь я принадлежу Тору, ношу его ребенка. Через восемь-десять лет их может быть уже трое или четверо.

Слова ее прозвучали так, будто она хотела сказать: «Да, пока я храню верность мужу, но, когда с моими материнскими обязанностями будет покончено...»

— Десять лет не казались таким уж долгим сроком, по истечении его я смогу вернуться на Островитянию. — После чего, — продолжала Дорна, — отношения между мужчиной и женщиной очень меняются. Позади — один из этапов их совместной жизни. Дом построен. Остается поддерживать в нем порядок. Но их общение становится иным. Не знаю, каковы будут мои чувства тогда, но знаю, как лучше всего поступить нам с вами.

Она потупилась, сплетя пальцы и ожидая, когда я сам спрошу, что она имеет в виду.

— Я думаю о том же, Дорна. Скажите, к чему пришли вы.

— К чему я пришла?! Вы не должны еще целых десять лет жить надеждой, и я — тоже. Надежда не должна влиять ни на вашу, ни на мою жизнь. Она недостойна этого, Джонланг. Она разрушает, вместо того чтобы созидать, потому что нам никогда не начать новой жизни вместе. В лучшем случае мы... — Она передернула плечами, словно одна эта мысль внушала отвращение: — Уж если мне захочется подобного рода развлечений, я, пожалуй, выберу кого-нибудь другого!

— Я не собираюсь питать никаких надежд и дожидаться чего-либо, — ответил я. — И вообще маловероятно, что я еще вернусь в эту страну.

— Не говорите так! — воскликнула Дорна. — Вы не должны рассуждать подобным образом из-за меня... То, что я сказала, жестоко, знаю, ведь не только замужние люди ценят верность, но я сказала правду. Нам нужно окончательно порвать все отношения, Джонланг, ведь перед вами — целый мир, целая жизнь. Вы молоды, не женаты, вы расстались со мной, в вас самом произошли изменения, и теперь вы полностью свободны и можете устроить свою жизнь наилучшим образом.

— А как же вы?

— Я сделала выбор. В моей новой жизни нет места для вас.

— Но вы говорили...

— Я знаю, что говорила. Это не меняет дела!

Глаза ее сверкнули. Я не мог сказать, что совершенно с ней не согласен: я тоже хотел освободиться от нее. Но еще недавно она почти принадлежала мне, и я не мог так легко сдаться.

— Предположим, я вернусь через десять лет, и мы еще будем любить друг друга, Дорна?

— Как любить?

— Пусть это будет *ания*.

— Только не для меня. К тому времени во мне останется одна чувственность.

— Даже если и так! Предположим, *ания* еще будет жива во мне, вы же ответите на нее желанием.

— Я брошу вас, — воскликнула Дорна, — если во мне сохранится хоть одно действительно доброе чувство к вам! Я буду жестока, если позволю вам овладеть мною. Это лишь усугубит ваши страдания. И я не стану обманывать себя, как то делают некоторые, полагая, что мое *желание* сможет переродиться в *анию*; да и вы слишком умны и слишком добры, чтобы утешать меня, уверяя, что «да, пока это только *ания*, но со временем она обратится в *анию*». Подобное вряд ли возможно, Джонланг. Если у человека нет любви, она не появится и после физической близости. Вы согласны, не так ли?

— Согласен, — ответил я, — но кое-кто может и не согласится. Любящие всегда стараются внушить свою любовь тем, кто от любви отказывается.

— Каждый, если он не бесчувствен и достаточно силен, откажется от такой любви... Но вам не сохранить *ании* за десять лет, Джонланг!

— Кто знает. Во всяком случае, если мне это не удастся... если останется лишь *ания*...

— В нас обоих?

— Да, Дорна.

— Ах, если вы будете по-прежнему свободны и если это не заденет Тора — я не из тех, кто дает абсолютные зароки. Мужчины и женщины всегда делают только богаче от взаимной откровенности, но зачастую они теряют, становясь на ложный путь. И не унижим ли мы тогда сами себя, Джонланг, ведь нам довелось пережить нечто гораздо более высокое?

— Вы тоже можете почувствовать *анию*, Дорна.

— Никогда!

— Но предположим...

— Хорошо. Предположим, что оба мы почувствуем *анию*... Тогда, скажу я вам, останется лишь пожалеть нас обоих. Что ждет нас, если я не могу порвать с Тором, да и вы уже не будете свободны? Возможно, было бы лучше для нас собраться однажды вместе, чтобы по-настоящему узнать друг друга и разрешить все сомнения и тайны, но если мы будем встречаться время от времени, ни на минуту не забывая об упущенной нами полной, гармоничной жизни, — это принесет одни лишь страдания и никакой пользы. Тогда мы действительно окажемся в безнадежном положении. Лучшее, что мы можем сделать, это оставаться чуткими, заботливыми друзьями, готовыми, если нужно, прийти на помощь хотя бы словом. Но подобного не суждено ни мне, ни вам!

— Почему вы так уверены?

— Я беру в расчет наши годы, время, потребность в полнокровной жизни, столь сильную в нас обоих. Я — твердый человек, Джонланг. И вы станете таким же — твердым и сильным.

Я рассмеялся, и Дорна рассмеялась вслед за мною. Наши глаза встретились, и мы оба слегка покраснели. В конечном счете все это были лишь догадки, игра ума.

— Ведь вы знаете, чего я от вас хочу, правда? — спросила Дорна.

— Да — быть свободным. Что ж, я свободен.

Она пристально посмотрела на меня, потом улыбнулась довольной, едва ли не счастливой улыбкой, однако каждый знал, что у другого есть кое-что на уме и лучше пока не высказывать это вслух.

Несмотря на дождь, Тор отправился на охоту, и нам с Дорной снова представилась возможность спокойно и обстоятельно продолжить беседу. В том, что он избегал нас, сказывалась своеобразная ласковая опека, которую я не мог не чувствовать и в которой отражалась подлинная природа отношений между супругами.

После дождя небо прояснилось, и мы решили прогуляться, выбрав для этого сосновую рощу, расположенную в четверти мили к востоку от дома. Пройдя рощу, мы сели рядом у крутого, усыпанного валунами склона, спускающегося к нижней террасе. Синее небо и зеленые кроны сосен раскинулись над нами, а внизу, плавно поднимаясь к ровной черте морского горизонта, расстилались равнинные земли центральных провинций. Какое-то время мы разглядывали панораму, указывая друг другу места, где нам случалось бывать. Вот — Ривс, а вот Островная река, бегущая по своему руслу, а дальше — Город, к западу от которого расплывчатым белесым пятном на голубой равнине лежала Бостия.

— Как не похоже на Остров, — сказала Дорна. — Хотя обзор здесь шире, виды разнообразнее и красивее, а все вместе больше похоже на Островитянию.

— Но на Болотах тоже простор, Дорна.

В ответ она молча кивнула:

— Мне нравится, когда небо, как купол, встает над головой... и запах болот, и соленый запах моря, и крепкий ветер с океана.

Солнце стояло уже высоко, сильно пригревало, и воздух был напитан сильным, пряным и влажным запахом хвои. Сидевшая рядом Дорна, словно силой волшебства, перенеслась сюда из родных и привычных мест.

— Вам здесь нравится, Дорна?

— Да, — ответила она. — Мне кажется, да. Я понемногу проникаюсь духом этих мест, а Остров я любила просто, не раздумывая, как дышишь, моя любовь была естественной и легкой. Когда любовь сознательная, рассудочная — все совсем иное... А вам — вам нравится здесь?

— Во Фрайсе?

— Не только, вообще в Островитянии?

— Я люблю ее всем сердцем.

Дорна и Островитяния значили для меня одно.

— Хотели бы вы, чтобы она стала и вашей страной?

— Островитяния? О, я никогда не забуду ее.

— И вам будет достаточно воспоминания? Неужели вы не хотите, чтобы она действительно стала вашей?

— Поселиться здесь, Дорна?

— Да, Джонланг!

Голос ее дрожал, в глазах стояли слезы, но я не понимал, что могло так тронуть ее. Пытаясь представить Островитянию своим домом, думая о навсегда покинутой Америке, я ощутил глубокую, острую боль, которую испытываешь, приобретая взамен нечто неизмеримо более ценное.

— Не знаю, Дорна, я никогда не думал об этом всерьез, — ответил я и добавил, помолчав: — Нет, я не хочу, чтобы она стала моей.

— Но почему? — спросила Дорна, умоляющим жестом протягивая ко мне руки.

— Пожалуй, я бы мог еще долго прожить здесь. А уезжать придется скоро, вы сами знаете, — словом, все это очень сложно.

— Вы не должны уезжать! — воскликнула она. — Ах, почему вас так трудно убедить остаться?

Она на мгновение закрыла лицо руками, потом обернулась ко мне:

— Останьтесь и будьте одним из нас! Если вы захотите, мы с Тором сделаем все возможное. Если на следующем собрании Совета мы попросим для вас бумагу, удостоверяющую, что вы — полноправный островитянин, уверена, что Совет не откажет. Вам стоит только захотеть, Джонланг. Ведь вы по-настоящему любите Островитянию, правда? Неужели вы никогда не чувствовали себя здесь дома? Вы по самой природе своей — один из нас. Тор и я хотим, чтобы вы были с нами, да и многие другие тоже. Разрешите подарить вам Островитянию. Я дарю ее вам.

— Берегитесь, я снова влюблюсь в вас, Дорна.

— Влюбитесь в мою страну.

— Но чем я обязан такой чести? Почему закон готов сделать для меня исключение?

— Причина прежде всего во мне, Джонланг. Весть о грозящей с перевала опасности — только часть, хотя и далеко не маловажная, поскольку дает Совету основание трактовать ваш случай как исключительный. Поверьте, я не преуменьшаю ценности подарка, но уже давно хочу, чтобы Островитяния стала вашей.

— Я и так в долгу перед вами, Дорна, а теперь новая милость!

— Я верю, что смогла дать вам хоть что-то, и счастлива этим. Но давайте не будем подсчитывать, кто у кого в долгу. Позвольте мне отплатить вам сполна!

— Я с радостью приму ваш подарок, Дорна, хотя и не знаю, что сказать. Ведь и мои планы, и та цель, о которой вы говорили, — все они связаны с моей родиной...

— Просто раньше вы не понимали, что за судьба вас ждет. Разве не здесь ваш дом?

— Скорее гостеприимный приют, Дорна.

— Ваш наконец-то обретенный настоящий дом, мой дорогой Джонланг.

— Но что мне здесь делать? Какая от меня польза? Где мне жить?

— Я обо всем подумала. Наш дар будет неполным, если мы вместе с ним не передадим вам своей *алии*. Ах, что только не приходило мне в голову! Вспомните, я видела вас нашим поверенным, но, пожалуй, для нас обоих это сейчас не лучшее решение! Лучше всего быть владельцем усадьбы — *тана*. Вы можете купить или выстроить ее себе, Джонланг. Мы поможем вам подыскать имение, где трудились бы опытные арендаторы, а вы изучали бы хозяйство, пока новое поколение Лангов, выросшее на этой земле, не взялось бы за дело само.

— И где же я смогу найти подобное?

Она помедлила с ответом и наконец заговорила, тихо, не глядя в мою сторону:

— У Дорнов три усадьбы. Одна явно лишняя. Они могут продать вам ее, не ту, что на Острове, а Горную или усадьбу на реке Лэй, которую вы еще не видели. Я говорила об этом с братом и Неккой — мы недавно встречались.

Плотно сжав руки, она заговорила теперь с облегчением, словно главное было сказано:

— Если не это, мы — Тор и я — найдем поместье, которое вы могли бы купить. Вы как-то говорили, какой суммой располагаете, а ваши деньги по стоимости соответствуют нашим.

Стало ясно, что если я куплю поместье, то мне придется перевести мои американские вклады в золото и уже этой наличностью распорядиться в Островитянии. Признаюсь честно, идея почему-то показалась мне непривлекательной.

— Я мог бы начать как арендатор, — сказал я.

— И об этом я тоже думала, — ответила Дорна. — Главное, чтобы вы остались здесь, и как один из нас, а будете вы *тана* или *денерир* — невелика разница.

Стать арендатором означало выполнять такую же работу, какой я занимался у Файнов и в Верхней усадьбе Хисов, жить в таком же доме, как Аноры, Эккли или даже Неттера. И жить там одному, без семьи, хотя впоследствии — будь я арендатором или владельцем — я, как и любой нормальный островитянин, смогу подыскать себе жену, иначе моя *алия* прервется с моей

смертью. Полноценная жизнь не мыслилась мне без детей. Если я останусь, то должен буду продолжить свой род. Одно из необходимых условий — *ания* — уже имелось, но с кем свяжу я свою жизнь? Мелькнувшую было мысль о Наттане я тут же с неприязнью отверг... Да, я люблю ее, но не как жену. Моя избранница должна была быть такой женщиной, в обществе которой я смог бы обрести тот полноценный, гармоничный покой, какого никогда не знал с Наттаной, но который ждал бы меня с Дорной, не будь она столь сурова и самолюбива; мне нужен был кто-то похожий на меня, кто мог бы вместе со мной пуститься в это приключение, такой же, как и я, странник на полных загадок просторах жизни...

— Прошу вас, не уезжайте! — сказала Дорна и расплакалась молча, ее плечи вздрагивали, она спрятала лицо в ладонях и отвернулась от меня.

Вновь пораженный силой ее чувств, я раздумывал, уместны ли сейчас мои утешения, и несколько отстраненно наблюдал это небывалое зрелище — рыдающую Дорну.

Глядя на далекие равнины, я с удивлением сознавал, что благодаря Дорне земля эта действительно отчасти моя. Однако ее предложение одновременно означало конец визита: настало время покидать Фрайс.

Я снова взглянул на Дорну. Она уже успокоилась, но сидела по-прежнему отвернувшись. Я решил, что лучше подождать, пока она окончательно не придет в себя. Откинувшись назад, я попытался представить себя в роли островитянина и понял, что в некотором смысле это для меня вполне естественно, однако большая часть моих чувств пребывала в смятении.

Горячий, душный запах соломы, слепящий блеск солнца не давали сосредоточиться.

Дорна принадлежала мне. Ее дар снял с тайны наших отношений последние покровы. Какая разница, что право обладать ею, воспитывать ее детей принадлежало другому? Если мужчине и женщине хоть на мгновение случалось проникнуться друг к другу подлинным интересом — они снова принадлежат друг другу, стоит им оказаться вместе, сколь ни были бы крепки социальные узы, связывавшие их в прошлом или будущем с остальными людьми. Дорна принадлежала мне, а я — ей в самом глубоком, сокровенном смысле.

Протянув руку, так что Дорна не могла этого видеть, я осторожно взялся большим и указательным пальцами за краешек ее юбки. Одно легкое прикосновение, но вместе с ним в душу мою снизошел покой, теперь мне немного надо было: чуть погода вернуться в домик, упаковать свои вещи, оседлать лошадь и отправиться к Файнам, если успею до темноты.

Дорна вздохнула с облегчением. Сейчас оба мы были готовы к тому, что ожидает нас дальше, грядущее уже не беспокоило и не тяготило нас. Все самое важное было сказано. Мы пережили череду изумительных озарений, и никакие недомолвки уже не могли причинить нам вред. Пришло наше время — время, когда мы могли просто помолчать вместе, и, право, для нас это было сладостнее любовных утех.

Дорна тоже легла, заложив руки за голову, и так мы и лежали, следя за мягко плавающей в глубоком синем небе сосновой ветвью. Тело мое каждой клеткой впитывало живительное тепло прогретой солнцем земли, сосновых игл, мелких камешков, а местами — выпирающего корня или камня покрупнее, молча дававших мне понять, что это такое естественное, спокойное и мягкое ложе все-таки не дело рук человеческих.

Долго пролежали мы так, не обменявшись ни словом, прежде чем возвращавшийся с охоты Тор, проходя мимо, заметил нас, подошел и присел рядом. С ним вернулось ощущение реальности мира, жизнь в котором требует бодрости мысли и решительных действий. Дорна была довольна уже тем, что уверилась: теперь я понимаю, что она хочет, чтобы я остался в Островитянии, с меня же было довольно и сознания, что это возможно. Однако, когда, снова поднявшись, Дорна рассказала Тору о своем предложении, он переспросил меня, что же я

намерен делать.

— Ланг только-только узнал, что может стать одним из нас, — сказала Дорна. — У него не было времени принять решение.

Однако решение уже не вызывало сомнений.

— Я люблю Островитянию, — ответил я. — Вполне возможно, мне захочется провести остаток дней именно здесь, но было бы жаль принимать излишне скоропалительные решения. Я хотел бы посетить свою страну — пусть это будет нечто вроде испытательного срока, — пожить там, скажем, год. Тогда я смогу решить что-либо окончательно.

— Не следует торопиться, — ответил Тор. — Сначала мы попросим, чтобы Совет пригласил вас поселиться в Островитянии, если вы этого пожелаете. Полагаю, и вам нужно время взвесить все «за» и «против».

Теперь я ждал, что скажет Дорна.

— Если вы вернетесь домой, что вы будете там делать? — В вопросе ее не слышалось и тени разочарования или удивления.

— Устроюсь на работу, как и предполагал. Дядюшка мне поможет. Отказываться от его помощи я не стану.

— Вы можете и не вернуться, — ласково заметила она.

— Справедливо, Дорна, однако если это и произойдет, то потому, что я решу, где именно я хочу жить.

— Ланг прав, — сказал Тор. Затем, помолчав, продолжал: — Дорна стоит на том, что идея пригласить вас исходит от нее, а я — что это моя мысль.

Дорна слегка покраснела.

— Приглашение вы получите в любом случае, — снова заговорил Тор, — и мы оба будем ждать вас с надеждой и нетерпением.

Слова его, я знал, не были простой учтивостью.

— Если я вернусь, — сказал я, — то, надеюсь, буду достойным островитянином и верным подданным — вашим и Дорны.

— Безусловно, — быстро ответил Тор, но у Дорны было свое мнение.

— Это неважно. Островитяния — всего только слово, Джонланг. Будьте верны вашей *алии* и той *ании*, что может прийти к вам.

Тор рассмеялся:

— Мы, все трое, говорим об одном и том же.

Я кивнул, однако Дорна промолчала.

Немного погодя Тор заговорил снова. На следующий день утром он предполагал отбыть в столицу и надеялся проделать путь за два дня. При первой же возможности он повидается с лордом Дорном и обсудит с ним, как преподнести Совету дело о приглашении для Ланга остаться в Островитянии. Совет собирается девятого. Тор не сомневался в конечном успехе (глаза его сверкнули), противиться никто не станет. И все же разрешение Совета являлось необходимой формальностью.

Он ласково тронул руку Дорны:

— Мы будем рады, когда вопрос решится окончательно, не так ли?

— Да, — ответила она, слегка поджав губы...

Не важно, кому первому пришла в голову эта идея, — он, Тор, позаботится ее осуществить.

— Вы пробудете у нас до тех пор, пока не завершится Совет, я надеюсь? — спросил король.

Когда главное решено, многое упрощается.

— Думаю отбыть в середине декабря, — ответил я, чувствуя на себе взгляд Дорны. — Разрешите поехать завтра с вами?

Тор ответил не сразу. Его прозрачные серые глаза внимательно изучали меня.

— А может быть, еще ненадолго останетесь с Дорной?

Оба ждали ответа. Лицо Дорны было безучастно, да я и не ждал от нее подсказок: настало время уезжать.

— Хочу вскорости повидать Файнов, — сказал я. — Их усадьба стала для меня вторым домом. До отплытия меньше двух месяцев. И еще мне хотелось бы повидать Дорна, Некку и остальных.

Глядя прямо в глаза Тору, я как можно более ровным голосом сказал, что хотел бы отправиться вместе с ним. Глаза Тора скользнули в направлении Дорны, но по выражению его лица, нисколько не изменившемся, я понял, что и ему было отказано в помощи.

— Стало быть, поедем вместе, — сказал он. Итак, мы разрешили и этот вопрос.

Дорна продолжала хранить молчание, и немного погодя мы вместе вернулись в дом.

Все, что могли выразить слова, было сказано, и тем не менее во мне осталось смутное чувство неудовлетворенности, словно некая внезапная трещина появилась в наших отношениях с Дорной.

За ужином в тот вечер она была очень ровна, однако принятое мною решение с каждой минутой упрочивалось во мне и казалось все более правильным. Беседу главным образом поддерживал Тор, уделяя внимание в основном моим планам на будущее. Он повторил то, что я уже слышал от Дорны насчет приобретения усадьбы, и, кроме того, пожелал узнать более определенно, как я хочу распорядиться пятьюдесятью пятью днями, которые мне осталось провести в Островитянии, и что намерен делать, когда вернусь домой в Америку.

Он очень помог мне обстоятельно разобраться в собственных мыслях и осознать суть принятых мною решений. Скоро я поеду домой и буду не покладая рук трудиться на благо американского общества. Если это окажется лучшим применением моих сил, то выбор будет сделан. А пока неделю-другую погощу у Файнов и, когда почувствую себя в состоянии, отправлюсь в столицу повидать лорда Дорна: он хотел сам выслушать рассказ очевидца о происшедшем в ущелье Ваба.

После ужина мы прошли в зал. Дорна, почти не вмешиваясь в разговор, сидела в кресле королевы Аль-вины погруженная в собственные мысли, которые, кажется, витали где-то далеко. Чувство тайной неудовлетворенности стало еще мучительнее, и в то же время наша беседа с Тором текла все оживленней. С жаром обсуждали мы сходства и различия между Островитянией и Соединенными Штатами, не боясь широких обобщений, с неподдельным интересом говоря то, что уже много раз говорилось, но по-новому расставляя акценты — так, чтобы те же идеи и знания могли пригодиться нам в будущем. За разговором мы почти позабыли о Дорне. Тихо сидя в углу, она слушала, как двое мужчин ведут мужской разговор о серьезных проблемах, едва обращая на нее внимание, однако я ни на минуту не забывал о том, скольким обязан ей, сколько от нее узнал, и чувствовал, что она понимает это; и я догадывался, что ей доставляет немалое удовольствие, слышать свои собственные мысли преобразенными и, в свою очередь, подмечать, что некоторые из моих суждений и чувств почерпнуты в общении с другими, в том числе и с Наттаной. За весь долгий вечер выражение ее лица ни разу не изменилось, и временами она, безусловно, целиком погружалась в свой мир, где мужу и несостоявшемуся любовнику отводилось не главное место.

Потом она встала и прошла к себе, так же легко и просто, как делала это когда-то на Острове, и, когда она ушла, я понял, что больше всего хотел снова повидаться с ней наедине, и наш разговор с Тором мало-помалу расклеился.

Вскороости и я поднялся к себе. Две свечи горели на столе, камин был разожжен, поскольку ночи здесь, во Фрайсе, стояли прохладные, а перед камином сидела Дорна, наклонившись к огню и подбрасывая в него новое полено. Мягкие отблески огня вплетались в ее полураспущенные волосы, затененные ресницами глаза ярко горели, хотя выражение их было немного сонным, кожа, казалось, впитала тепло полуденного солнца. Желто-коричневое платье, которое было на ней за ужином, Дорна сменила на мягкую блузу цвета весенней зелени.

— Стало быть, вы уезжаете завтра, — только и сказала она.

— Я рад, что вы пришли, — ответил я, — потому что боялся уже не увидеть вас.

Дорна промолчала. Я пододвинул к огню второе кресло и сел.

— Вот и Тор стал вашим другом, — медленно проговорила она, глядя на языки пламени. — Я боялась, он так хлопчет о том, чтобы вы поселились здесь, только ради меня. Но он любит вас, Джонланг, и тоже хочет видеть вас рядом. Я рада, что все случилось именно так.

— И я, Дорна.

— Я на минутку, — сказала она, умолкая.

Подложенное ею в огонь сырое полено шипело и трещало. Потом стало гаснуть, и глаза Дорны потемнели. Она подтолкнула полено ногой, пламя вспыхнуло с новой силой, высветив ее лицо и ярко блестящие глаза.

— Кажется, мы уже почти все сказали друг другу, Дорна.

И снова она промолчала.

— Пожалуйста, не забывайте, что я просила вас быть свободным, Джонланг. Это главное.

— Хорошо, Дорна. А вы...

— У вас есть для меня совет?

— Будьте настоящей королевой, Дорна, ничем не поступаясь. В этом ваше счастье.

Она согласно кивнула.

— Смогу ли я увидеть вас до вашего отъезда декабре?

— Вряд ли, Дорна.

— Да, я понимаю.

— Полагаю, мой визит оказался успешным.

— Я тоже... и не будем портить его под конец.

— Мы оба любим Тора.

— Моя замужняя жизнь еще только образуется... А что до вас, то, если я сбила вас с предназначенного пути, за вами — Островитяния.

— Я принимаю ее от вас, Дорна.

— Я дарю ее вам только потому, что вы — это вы, Джонланг.

Наступившее затем молчание показалось бесконечным; я упивался близким присутствием Дорны, ее красотой, силой, юностью...

— Я ухожу, Джонланг, — неожиданно раздался ее голос. — Если хотите, я встану проводить вас завтра.

— Стоит ли, Дорна? Не будет ли это...

— Жалкие слова! Нет. Начните вашу новую жизнь прямо сейчас, Джонланг.

— Хорошо, Дорна.

Она встала и обернулась ко мне:

— Чем я могу помочь вам?

— Я достаточно силен, Дорна. Быть может, вам нужна моя помощь?

— Мы всегда сможем возобновить нашу дружбу, — ответила она, — сможем думать о ней и лелеять эту мысль.

Мы глядели друг на друга, а время неумолимо шло, и не было сил двинуться.

— Хотите, я поделюсь с вами одним наблюдением? Подумайте над ним, — сказала Дорна. — Влечение мужчины к женщине заключается в его мыслях и его плоти, и хотя обе страсти влияют друг на друга, они существуют отдельно; у женщины же эта сила — в самой ее сердцевине, и то, что она думает, и влечения ее плоти часто не столь важны для нее, как для мужчины. Ему легче управлять собою, чем ей.

— Это просьба, Дорна?

— Почти... если вы вернетесь.

— Я подумаю над тем, что вы сказали, Дорна.

— Вот и все, о чем я вас прошу.

— Поцелуемся, Дорна, и пожелаем друг другу доброй ночи.

Она коротко, быстро вздохнула. Я обнял ее и поцеловал в губы. На одно мгновение тело Дорны бессильно обмякло в моих руках, но я отпустил ее, хотя и слишком хорошо понимал, что теряю.

Дорна медленно пошла к выходу, я опередил ее и распахнул перед нею дверь. Стоя на пороге, она с улыбкой обернулась ко мне:

— Ведь этого нам достаточно, не так ли, Джонланг.

— Да, Дорна.

Вспышка радости озарила ее лицо. И пока я держал дверь открытой, она вышла, закутавшись в свое длинное зеленое платье.

Охотничий домик во Фрайсе был тихим местом, в моей же комнате у Файнов, где я отдыхал после стремительной скачки с Тором и его приближенными, царило безмолвие склепа. Домик во Фрайсе полнился звуками голосов, волнующей близостью Дорны, там я размышлял об открывшихся мне истинах; здесь — хозяевами были мои немногословные старики, даже ветерка не слышно было в послеполуденной тишине, и казалось — пережитое стихает, подобно удаляющимся голосам.

На столе передо мной лежал полураскрытый сверток, однако я еще не успел рассмотреть его содержимое. Именно этот тяжелый, неуклюжий тюк первым делом захватила с собой Наттана, не взяв ничего из своих вещей, когда, полуодетая, покидала Верхнюю усадьбу, — так стремилась она спасти сшитое ею для меня. Она отправила одежду к Файнам с курьером, оплатив заранее все расходы, не переслав мне даже коротенькой записки и ничего не велев передать на словах. Передо мной лежал труд многих месяцев, от начала и до конца сотканный и выкрашенный ее руками. А сколько тысяч стежков сделала игла в порхающих над шитьем пальцах Наттаны! И ни одну из множества деталей этого костюма нельзя было бы надеть дома, в Америке, разве что на костюмированном вечере, на каникулах, в глухом лесу, или поместить в витрине этнографического музея.

А ведь это была одежда на всю жизнь, не ведающая износа! С каким вкусом, умением и тщательностью была она сшита!

Как мог я выразить Наттане свою признательность, чем отплатить ей? Она наверняка стала бы противиться, милая поборница равенства, но долг оставался долгом, и не только за труд ткачихи и швеи, но и за все, что она дала мне, я был бесконечно ей обязан. Итак, мне следовало дать знать о получении посылки, поблагодарить девушку и рассказать ей о своих планах.

Лежа у себя, я мысленно составлял послание Наттане. Кроме того, надо было написать еще несколько писем, сообщить о своем возвращении. Пароходы отбывали в начале ноября. Сегодня было двадцать первое октября, и если я не успею, то письма придут не намного раньше меня.

Все время, пока я еще здесь, на мне будет костюм, сшитый Наттаной.

Десяти дней у Файнов мне хватит, чтобы восстановить здоровье и вновь привыкнуть к тому образу жизни, который я у них вел и который мне так нравился.

Все кругом знали о моем близящемся отъезде и возможном возвращении, и многие имели свои соображения касательно последнего обстоятельства, как общие, так и частные. Мне повезло в главном: теперь я легко смогу найти для себя нечто вроде ниши — свою *алию*. Самое великодушное предложение сделал лорд Файн, обещав построить мне дом, если я соглашусь стать одним из его арендаторов, но предложение лорда было заведомо неприемлемо, поскольку в его имении уже арендовали землю три семьи, а этого было вполне достаточно. Полный энтузиазма, Ларнел был склонен несколько идеализировать положение дел. Ему во что бы то ни стало хотелось удержать меня в долине, и он робко заводил разговоры о том, что сам он вряд ли когда-нибудь женится, что в доме из всего двое — он да сестра, а она — девушка очень хорошенькая... Представить себе Ларнеллу в роли жены! Толли позаботился навести справки относительно нескольких усадеб, где арендаторам были бы рады.

Останься я с ними, жизнь моя была бы полной: близость Файнов радовала ощущением родовитости, благородства, покоя и мудрости; Кетлин был источником самых разнообразных познаний; Анор, как никто, знал землю, народное искусство и особенности местной жизни; Ларнел обладал кипучей энергией; мой ровесник Толли был поэтической натурой,

мечтательный, хорошо начитанный; дочери Кетлина воплощали очарование юности. Я чувствовал, что с каждым из них меня день ото дня все крепче связывают невидимые нити...

Толли со временем мог стать близким другом. Как-то вечером мы допоздна проговорили с ним о здешней жизни. Юноша упорно не соглашался, что она однообразна и скучна, и развернул передо мной целую философию. Он опровергал меня, когда я называл его *алию* камнем на шее, тянущим ко дну. Спор разгорячил нас обоих, и всю дорогу до дома в ушах у меня неотвязно звучали слова Толли: «Вы ничего не поймете в нашей жизни, пока не проживете ею так, как мы, — довольствуясь тем, что имеете, и даже в мыслях не держа когда-нибудь покинуть этот край!»

Я позировал Кетлине Агтне, пожелавшей вырезать мой портрет на камне; его решено было поставить на мельнице в память о моих посещениях долины и ее обитателей. Портрет изображал склоненную фигуру человека в профиль, вымеряющего опору для изгороди. Сам я казался себе неузнаваемым, однако Анор, к чьему мнению Кетлина прислушивалась, остался доволен. Никакой островитянин, по его словам, никогда не будет так работать и так выглядеть за работой, — ну вылитый Ланг.

Вдохновленная успехом, Кетлина принялась за большой рельеф, изображающий события в ущелье Ваба, который, как предполагалось, будет украшать мой дом, если я вернусь и если, конечно, работа удастся. На сей раз Кетлина сделала целую серию набросков, полновластно распоряжаясь моим временем. Она тоже плела нить, привязывающую меня к ее стране. В моем доме, по замыслу автора, должен будет красоваться еще один большой рельеф — сцены из жизни моих предков, если только... Таких больших работ Кетлине делать еще не приходилось, это был смелый, затрагивающий самолюбие замысел, на исполнение которого, ввиду его сложности, потребуется не менее года.

За два дня до того, как покинуть Файнов, я получил ответ от Наттаны:

«Ланг, мой дорогой,

я рада, что Ланг наконец выздоровел, но, скажу начистоту, мне очень забавно, как серьезно относится он к одежде, что я для него сшила, и как прочувствованно меня благодарит. В ту ночь набега все происходило в такой спешке. Узнав, что он в безопасности, я была очень счастлива. Так что я не очень переживаю из-за того, что многое пропало. Станок мой все равно нельзя было погрузить на лошадь. Конечно, я прежде всего подумала об одежде Ланга, над которой так долго работала.

Не стану и пытаться благодарить его за то, что он сделал ради меня и ради всех нас в ту ночь. Никаких слов тут не хватит.

Значит, он возвращается домой, и неизвестно, вернется ли еще в Островитянию. И про это я тоже не знаю, что сказать. По правде, говорить об этом нечего.

Ланг вовсе не обязан видаться со мной перед отъездом. Хотя, конечно, я буду счастлива, если он к нам заедет.

Я пробуду в Верхней усадьбе еще месяц. Мы все много работаем, чтобы привести хозяйство в порядок. На это нужно время. Когда мы в основном все закончим, я переберусь домой, то есть в Нижнюю усадьбу.

Как поживает Ларнел?

Напишите мне, если я больше не увижу Ланга, и расскажите мне про него.

Я немного беспокоилась, но теперь все равно.

Подумайте о том, что у меня не получилось сказать в этом письме!

Н.-Ткачиха»

Вместе с письмом я получил еще три рубашки, к одной из которых была приколотая записка: «Остальное — позже».

Первого ноября я покинул Файнов и направился в Город, намереваясь заехать к ним еще на день, уже перед самым отъездом. Силы полностью вернулись ко мне, и только слегка перехватывало в боку, когда я делал слишком глубокий вдох.

Дорога была по-прежнему пленительна, хотя вряд ли очарование сменяющихся один другой пейзажей смогло бы когда-нибудь полностью поглотить мое внимание. Цель, пусть даже неведомая, переполняет человека беспокойством и нетерпением, мешающими ему сосредоточиться на окружающем.

По дороге от Ривса до столицы я решил никому не говорить в Америке о возможном возвращении в Островитянию. Мне будет много легче разобраться в американской жизни, если друзья и родственники не узнают, что у меня есть выбор; в противном случае каждый сочтет своим долгом по крайней мере высказать свое субъективное мнение об Островитянии.

Остановился я во дворце лордов Дорнов, поскольку сам старый лорд тоже пребывал в это время в столице. В первый же вечер по приезде я подробно рассказал ему о случившемся в ущелье Ваба. Лорд Дорн в свою очередь сообщил о посещении Тора и выразил уверенность, что Совет не станет препятствовать просьбе короля.

— Вы хотите вернуться домой, — продолжал он, — и решить все самому, чтобы ни у кого не сложилось предвзятого мнения о вас. А выбрать место, где вы могли бы жить, мы поручим моему племяннику. И Тор, и я уже писали ему.

Что до дипломатов, то все уже отбыли, кроме графа фон Биббербаха, месье Перье, который, как и ранее, полуофициально представлял все державы, за исключением Англии и Германии, и Гордона Уиллса — он, как полагал лорд Дорн, останется до тех пор, пока не уедет граф, чтобы не терять контроль над действиями немцев.

Я заинтересовался предложениями о передаче в международное владение Феррина. Они, сказал лорд, будут рассмотрены на конференции в Лондоне, куда в качестве представителя Островитянии отправится молодой Мора.

Выбор показался мне несколько странным, однако лорд Дорн сухо возразил, что молодой Мора вряд ли поступится интересами страны.

Затем, сменив тон, он принялся расспрашивать меня о моих планах на будущее и, не давая прямых советов, ясно дал понять, что и его обрадует мое возвращение и я смогу зажить полнокровной жизнью в его стране.

— Вы еще молоды, — сказал он, — и существо ваше податливо. Вы еще не настолько закоснели, прониклись американскими идеями и идеалами, чтобы не приспособиться к нашим. К тому же у вас не связано с Америкой никаких определенных, а стало быть, важных для вас амбиций.

— У меня дома, — сказал я, — отсутствие амбиций считается большим недостатком.

— Это естественно, ибо чувство, что вы в чем-то обделены и должны трудиться, чтобы возместить ущерб, знакомо почти каждому.

— Иногда амбиции направлены на заботу о благе других людей, — сказал я вопросительным тоном.

Лорд хитро прищурился:

— Амбиции, призванные подавлять подобные амбиции и устремления, могут принести огромный вред. Но и чрезмерная забота о других не лучший образ жизни. Реформатор в начале своей деятельности — реалист, а под конец может стать догматиком.

В рассуждениях лорда мне почудились отзвуки христианства. Возможно, уловив мое

молчаливое неодобрение, лорд Дорн продолжал:

— Непроизвольные добрые деяния, основанные на реальных нуждах, следует рассматривать иначе. Подозрения вызывают толки об общем благе и переменах для всех без исключения.

У меня мелькнула мысль преподнести неожиданный подарок Наттане, которой приходилось так много шить. Я с величайшей робостью обратился к лорду Дорну с этой просьбой и получил от него великодушное разрешение везти в Островитянию некую новинку. Я рассказал ему историю с моим костюмом и добавил:

— Это будет произвольное доброе деяние, лорд Дорн, осуществленное вопреки вашим рассуждениям о том, что любая новинка — вред для общего блага.

— Видите, скольких милостей сразу вы удостоены, — ответил старый лорд. — Конечно, мы бываем непоследовательны, но к тому понуждаете нас вы, иностранцы.

Два дня я провел в сборах — до отплытия оставалось всего шесть недель, — а также навещая друзей: Уиллсов, Тора, семью Перье, Келвинов и Моров.

На третий день, верхом все на той же лошади Хисов, я ехал на восток, через Субарру и Камю. В прошлый раз, когда я навещал Стеллинов, в полях белел снег, теперь же кругом цвела свежая майская зелень. Споры между братом и сестрой о новых посадках, о кустарниках и деревьях неминуемо должны были возобновиться, ведь их поместье, естественное, как сама природа, в то же время несло на себе отпечаток тонкой, художественно чувствующей души. Судьба щедро одарила их, научив столь успешно сочетать два великих типа красоты.

Тор сказал, что сестра его должна быть у Стеллинов. И хотя он был краток, но по тону его я кое-что заподозрил. Возможно, замужество Дорны освободило Стеллина — не от реально существующей привязанности, ведь их взаимное увлечение было делом давним, а от привычки к одинокой жизни. Так же и с меня ее замужество и два проведенных вместе дня сняли какие бы то ни было узы.

Догадки мои подтвердились: Стеллин и Тора были недавно помолвлены.

Лорд Стеллин, Даннинга, Тора, Стеллин и Стеллина до мельчайших подробностей знали о происшествии в ущелье Ваба, а также и об обещанном мне приглашении.

За ужином и после, когда все перешли в гостиную, только и разговору было, что о набеге, моем поступке, причем активнее прочих беседу поддерживали Даннинга, Тора и в особенности лорд Стеллин, который, казалось, стремился полностью свести на нет роль случая в спасении своей дочери.

Стеллина с братом сидели примолкнув. Какое-то время спустя, отвечая на вопросы, я встретился взглядом с девушкой, и глаза ее, почти всегда широко распахнутые навстречу собеседнику, потупились; передо мной была уже не та, прежняя Стеллина, а женщина, пережившая страшное испытание, и она боялась выдать это своим взглядом. Судьба, волею которой я оказался ее спасителем, устанавливала между нами некие новые отношения, о которых ни она, ни я не решались пока заговорить.

Лорд Стеллин принялся рассыпаться в благодарностях.

— Случай сыграл немалую роль, — отвечал я, — случай, а кроме того, пронизательность Дона и выучка дозорных. Для тех, кто это пережил, все было слишком необычно, чтобы мы могли понимать, что происходит. Совсем иное дело, когда пловец спасает жизнь тонущему. Тогда благодарность была бы уместна, но происшедшее в долине Верхнего Доринга — совершенно другое. Думаю, Стеллина со мной согласится. То, что я сделал, не стоит благодарности. Я там был и знаю это.

— И все равно вы по праву заслужили благодарность, — сказала Тора, — и я тоже

собиралась поблагодарить вас.

— И теперь, после того, что сказал Ланг? — тут же переспросил лорд Стеллин.

— Теперь я в несколько затруднительном положении, — отвечала принцесса.

— Его ожидает иная благодарность, — сказал Стеллин. — Все мы без слов понимаем друг друга. Благодарность на словах лишь смущает того, к кому она обращена.

Последовало умиротворенное молчание. Если Стеллин понял меня, то и его сестра, так на него похожая, не могла не понять.

Когда на следующее утро мы встретились со Стеллиной, речь об истории на перевале Ваба уже не заходила. Неторопливо беседуя, мы гуляли по знакомым местам, любуясь помещьем в его весеннем обличе. Стеллине нравилось вспоминать, как здесь было зимою, и сравнивать зимние и летние пейзажи. Потом она спросила о моих планах на будущее, внимательно выслушала, но не стала задавать никаких вопросов. Большею частью разговор наш касался окружающей нас природы. Взгляд Стеллины утратил вчерашнюю робость. Изящная и стройная, девушка двигалась своей привычной легкой, упругой походкой.

Чистая вода — прозрачна, и, кажется, нет ничего в мире проще ее, однако она — само чудо, внятное лишь немногим чувствам, невидимая в своем прохладном струении. Она утекает меж пальцев, но распяляет жажду, и все, что укрывает она своим кристальным покровом, делается оттого лишь чище и ярче...

Настал вечер. Повевало прохладой, и все собрались в гостиной, погруженные в свои мысли, лишь изредка нарушая тишину каким-нибудь замечанием. Тем не менее все казались довольными таким несколько скучным времяпрепровождением, для меня же было достаточно видеть красоту обеих девушек и молодого человека. Стеллин и Тора недавно вернулись с дальней прогулки, и от усталости тонкое лицо юноши казалось более мужественным. Тора, несмотря на высокомерное выражение милостивого лица — лица избалованного ребенка — и на некоторую чопорность, с которой она держалась, понимая, что приехала как бы на смотрины, раздурманилась, глядела сонно и с таким видом, будто хочет, чтобы ее поцеловали.

Луна, вчера еще полная, взошла, и ее белый свет, лившийся в не завешенные окна, делал желтое пламя свечей и красноватые отсветы огня в очаге несколько искусственными. Стеллин предложил Торе прогуляться при лунном свете, взглянув также на меня и на сестру. Обе девушки закутались в накидки, и мы вышли.

Словно отлитая из серебра, луна ярко светила в небе, но поля скрывала дымка, и туман бродил между деревьев; все казалось расплывчатым, утопало в нежном белом сиянье.

Стеллин и Тора, взявшись за руки, уходили все дальше. Мы со Стеллиной остались наедине. А вот и поле, где зимой мы рубили березняк. Девушка оперлась на мою руку, и прикосновение ее пальцев было легким, как прикосновение опавшего листа, она двигалась рядом так неслышно, что казалось, будто плывет в воздухе, не касаясь земли.

— Луна! — вдруг произнесла Стеллина. Каждая черточка ее лица, бледного, восторженного, озаренного лунным светом, словно стала еще изысканнее, еще гармоничнее.

— Сказать вам, что я сейчас чувствую, Стеллина?

— Почему бы и нет, — холодно ответила она, и по тону ее я понял, что она уже привыкла выслушивать от мужчин комплименты.

— Вы так красивы. И вы так много для меня сделали.

— Что же?

Тон вопроса показался мне обнадеживающим, и я продолжал:

— Сегодня вы не стали обсуждать все «за» и «против» моего возвращения в Островитянию, но вы вновь оживили для меня ее красоту, которую я стал ощущать чуть слабее. Это ваш

подарок.

— Я рада, что вам так кажется.

— Ах, вы и сами знаете это, Стеллина. Вы помогаете видеть красоту природы.

— Правда?

— Да, да. Правда!

Она слушала меня спокойно.

— Вы необычное существо, Стеллина. Вас даже нельзя назвать сестрой. Я никогда не испытывал по отношению к вам *ании* или *апиу*, но...

— Достаточно и того, что я для вас — необычное существо.

— Если я вернусь... — начал я.

Мы шли все дальше. Березы встали впереди, темные и окутанные опаловой дымкой, почти достающие верхушками до ночного светила. Девушка шла так легко, что собственные мои шаги казались тяжелыми, грузными... Однако она так и не спросила, что же будет, если я вернусь.

— Если я вернусь... — повторил я.

— Вас будет ждать здесь еще один друг.

Рука Стеллины мягко направляла наши движения, и мы словно не шли, а скользили по лугу, лежавшему вокруг в кольце лунного света.

— Никогда не думал, что буду говорить с вами об этом. Вы добавляете к облику Островитянии что-то, чего ему не хватает.

— Когда вы вернетесь, вы тоже привнесете что-то новое в нашу жизнь.

Мы вошли в тень берез, и Стеллина мягко задержала меня на месте.

— Оглянитесь, посмотрите на дом, — сказала она.

Очертания дома на холме были чуть размыты, казались проще в дымке тумана, камень стен опалово светился в лунном свете, а за домом плотной, темной стеной стояли деревья...

— Вы снова сделали это, Стеллина!

— Что?

— Подарили мне красоту — красоту, дающую жизнь тысячам надежд и стремлений.

Слившиеся в темноте деревья, вдоль которых мы шли, напоминали гряды скал.

— Вы хотите чего-то еще, — сказала Стеллина. — Скажите, и, быть может, я смогу дать это вам.

Сердце мое забилося.

— Чего же я хочу, Стеллина?

— Думаю, ни поцелуи, ни прочее не принесут вам надежного утешения. Да и я могла бы подарить свою любовь только тому мужчине, в котором была бы вполне уверена — так же, как в себе... Может быть, вы хотите знать...

— Нет, Стеллина.

— Я ни к кому не испытывала настоящего желания, и ни один мужчина не обладал мною.

Мы прошли дальше, дом скрылся за небольшой возвышенностью.

— Спасибо, Стеллина.

— Вы хотите жить полной жизнью, — сказала девушка. — Подумайте хорошенько, где найти такое место.

Я почувствовал, что рука ее слегка дрожит, казалось, она с трудом подбирает слова.

— Если вы вернетесь, это будет для вас приключением, быть может рискованным... Позвольте сказать вам, что я чувствую... Если вы предпримете его не один, а с кем-нибудь, с какой-нибудь женщиной, для которой это станет таким же полным новизны великим приключением, как для вас...

— Вы хотите сказать, что если мне и следует жениться, то на американке?

И снова — эти горькие предостерегающие слова, которые мне столько раз доводилось слышать:

— ...разве тогда вам не будет веселее?

— Стеллина!

— Любая из нас, — продолжала она, — все время будет чувствовать, что она — дома, все время будет как бы вашим учителем.

— Ах, друг мой! — Я крепко сжал ее узкую, тонкую ладонь.

— Что я сделала? — спросила девушка.

— Вы избавили меня от того, что так давно и долго причиняло мне боль.

— Вам говорили это и другие?

— В ином духе.

— Пойдемте обратно, — тихо, ласково произнесла Стеллина.

Я выпустил ее руку, и мы повернули к дому. Через минуту я снова почувствовал прикосновение ее руки.

— Мне хотелось бы помочь вам, — сказала Стеллина. — Если вы приедете сюда с американкой, позвольте мне навестить вас.

Мы поднимались по пологому склону, и лунный свет блестел на влажной от тумана траве. Земля под ногами была холодной. Стеллин и Тора, две стройные фигуры, рука в руке, показались впереди, возможно и не догадываясь, что мы следуем за ними.

Перед самой дверью дома они не сговариваясь, одновременно остановились и, повернувшись друг к другу, застыли лицом к лицу. Дверь растворилась, и они вошли в прямоугольник мягкого желтого света — две темные тени, мужчина и женщина.

Подойдя к тому месту, где они только что стояли, мы следом вошли в дом. На душе у каждого было покойно и радостно.

На следующий день я вернулся в столицу. Меня ждало письмо от Дорна с настойчивой просьбой как можно скорее приехать на Остров. Фэк был в трех днях пути, в Верхней усадьбе, и все остальные поездки я собирался совершить на моей верховой лошади. К тому же я могу заехать к Хисам и попрощаться с Наттаной.

Назавтра утром я снова ехал по знакомой дороге в Ривс, а через день к вечеру был у Файнов. Я провел в их усадьбе целый день и попрощался со всеми обитателями долины.

Выезжая утром по направлению к ущелью Мора, я думал о том, что стоит только свернуть на другую дорогу, и можно провести день-другой с Дорной. Если бы лошадь сама повернула к Фрайсу — хватило бы у меня воли удержать ее? И все же в глубине души я знал, что все кончено раз и навсегда, и мой упрямый соблазн происходил не столько от желания продлить былое, сколько от стремления к новому, доселе не испытанному.

Еще не было полудня, когда мы подъехали к башне у развилки. Лошадь продолжала уверенно идти большаком, и я понимал, что тоже по-настоящему не хочу сворачивать, и все же испытывал облегчение оттого, что с каждым шагом дорога на Фрайс остается все дальше позади.

«Вы больше не властны надо мной, Дорна, — мысленно обратился я к своей любимой, — и к вашей чести то, что, не желая окончательно терять меня, вы все же избрали наилучший способ дать мне свободу. Вы сбросили с себя покров тайны и, даже открыв мне, что не всегда были искренни, доказали, что Дорна как человек — существо гораздо более благородное, чем тот идеал, который рисовало мне воображение... Но, Боже, как бы я мог любить вас!»

Дорне я был обязан возможностью считать ее землей своей, но были и другие, перед кем я состоял в не меньшем долгу. Я думал о тех, кто больше всех помог мне: о Наттане, о моем

друге, о Файнах, Стеллине, Хисе Эке, Джордже, Моране, Торе. Все они останутся моими друзьями, если я вернусь, причем у каждого будет своя особенная заслуга. Единственная, с кем я еще не до конца уладил отношения, была Наттана. Теперь я освободился и из-под ее власти, но то, что мне даровало Островитянию, снова влекло меня к ней...

Оказавшись в ущелье Мора, я испытал огромное удовольствие, ведь из обескровленного, беспомощного существа я вновь стал человеком, в котором бродят жизненные соки и силы. Приятно было сознавать и то, что каждый в этих краях знал меня как одного из дозорных Дона в ущелье Ваба, предупредившего и спасшего жителей долины, и смотрел на меня не как на некую заморскую диковину. Но самое большое удовлетворение испытал я при виде солдат на постоялом дворе, где они отдыхали, спустившись с окрестных перевалов.

На следующий день, когда рано утром я покидал свой ночлег, дорогу покрыл тонкий белый слой изморози. Вверху, на перевале, было холодно. Долина Доринга, которой еще не коснулись лучи восходящего солнца, лежала едва различимая в тусклом мареве. В тумане она казалась больше, и воображение рисовало мне, как меняется ее ландшафт на протяжении сотен миль — от гор, через болота, к морю. Быть может, Запад и был для меня Островитянией в Островитянии, и здесь я чувствовал себя как нигде естественно и свободно — словно в родном доме. И вдруг я сильно и ясно ощутил желание иметь свое место в этой внутренней Островитянии.

Буроватая дымка в воздухе предсказывала безветренную, жаркую погоду. Хотя было только тринадцатое ноября, что соответствует шестнадцатому мая в Америке, долина наполнилась очарованием рано наступившего лета. Едва я проехал гигантские утесистые ворота, где кончался горный край, и очутился в лесу на южном берегу озера Доринг, как меня окутало облако жары, сосны издавали резкий запах смолы, над головой раскинулась ясная синева неба, а копыта лошади глухо стучали по дорожной пыли.

Однако до озера оставалось еще пятнадцать долгих миль. Я покачивался в седле в приятной полудреме, хотя и не мог полностью подавить скрытого волнения и беспокойства, и наконец достиг берега. Теплый сухой ветер рябил бледно-синюю поверхность воды. В затуманенной дали виднелось на холме здание Верхней усадьбы — небольшая белая, но вполне различимая точка. Память о прожитых там днях нахлынула на меня. Все они виделись мне зимними: ранние, темные сумерки, укрытые снегом поля, холодные по ночам комнаты, желанное тепло одеял, горящий в очагах огонь, над которым можно погреть окоченевшие руки; вспоминалась мне и конюшня с постоянно висящей в студеном воздухе тонкой каменной пылью; она оседала на моей одежде, лице, на лицах Эка и Атта; я вспоминал, как Эттера возится на кухне, запах опилок в дровяном сарае, пощелкивание станка Наттаны, доносящееся из ее мастерской, постоянную усталость, дремотные домашние пересуды; ночи с Наттаной, когда мы согревали друг друга теплом своих тел, ее поцелуи и ее волосы, мягко щекочущие мое лицо.

Я ехал, сам точно не зная, что я ей скажу, о чем спрошу. Джонланг-островитянин, который упрямо продолжал оставаться американцем. И хотя умом оба мы отвергали мысль о постоянных узах и разница крови делала невозможным наш союз — плоть наша подсказывала другое.

Впрочем, мне не следовало забывать о том, что у Наттаны свой взгляд на многие вещи и что желание часто обманывает человека фальшивыми подобиями, чтобы запутать его и сбить с истинного пути. И что бы я ни сказал, что бы ни сделал, о чем бы ни спросил — я должен быть правдивым и откровенным.

Несколько миль дорога шла берегом озера, то приближаясь к воде, то отступая в сосновые леса; временами сквозь стволы деревьев тускло сверкала водная гладь, мельком можно было увидеть поместья Дазенов и Хисов в тени высоких бледных гор, по мере нашего приближения они становились все отчетливее, проступая сквозь голубую дымку зеленью своих полей.

Наконец копыта лошади коснулись земли возле родного дома, знакомой мне, но успевшей изменить цвет на пороге лета.

О моем приезде никто не знал.

Сердце отчаянно билось в груди, пыль толстым слоем покрыла вспотевшую липкую кожу, осела на коричневой рубашке, которую сшила мне Наттана.

Как она воспримет мой приезд? Если с ней случилась истерика при известии о моем ранении, то не окажется ли и мое появление для нее слишком сильным переживанием?

Новые стропила высились над крышей конюшни. Несколько мужчин работали там, но я проехал к главному крыльцу дома, обращенному к озеру, и громко произнес свое имя.

Никто не откликнулся.

Привязав лошадь, которая рвалась на конюшню, я вошел. В доме снова царил порядок. От учиненного разгрома не осталось почти и следа. Все стояло на своих местах, и память, как крикетный шарик, закатилась в точно подогнанную под нее лунку. В гостиной, столовой и на кухне никого не было. Я заглянул в дровяной сарай, но и там было пусто. Тогда я поднялся наверх; в моей комнате, очевидно, кто-то недавно останавливался. Станок в мастерской так и не починили, но на полу лежали два тюфяка и седельные сумки. Я постучал в дверь Наттаны и, не получив ответа, открыл и вошел. И здесь лежали тюфяки и сумки. В дом явно съехалось множество гостей.

Через открытое окно доносился частый стук молотка, со стороны амбара слышались голоса. Туда-то я и отправился, вновь сев на хозяйскую лошадь.

С одного края новая крыша представляла собой голый остов, но с другой стороны уже клали черепицу. Между стропилами бродили рабочие. Один из них заметил меня и назвал мое имя остальным. Лошадь чуть ли не галопом внесла меня внутрь. Небо над головой было перечеркнуто четкими, стройными линиями стропил. Перестук молотков долетал сверху. Эк поймал лошадь за узду, и я спешил. Подошли остальные.

— Добро пожаловать, Ланг! — сказал Эк. — Мы надеялись, что вы к нам все же заглянете. Вся округа, как видите, собралась помочь нам закончить крышу. Мы слышали, что вы уезжаете. Погостите у нас хоть неделю.

— В доме нет места...

— Не беспокойтесь. Для вас место всегда найдется.

Рыжеволосый юноша в рубаше с засученными рукавами, в коротких штанах и сандалиях подошел к нам, и вдруг я услышал голос Наттаны. Это и впрямь оказалась она. Пот градом струился по ее лицу.

— Привет, Ланг, — сказала она. — Мы рады, что вы приехали.

Никаких признаков волнения или замешательства я не заметил. Замолчав, она отошла в сторону, чтобы дать высказаться остальным: Атту, Эттере, молодому Эккли, подошел Гронан и люди из отряда, собравшегося под начальством Горта в усадьбе Реннеров, и все выражали радость по поводу того, что видят меня.

Я предложил Эку свою помощь.

— Помощь нам и вправду нужна, — сказал он, — но вы скоро уезжаете.

— Я могу задержаться на несколько дней, если буду полезен.

— Никаких сомнений. Оставайтесь!

Все заговорили разом. Кое-кто из тех, кто уже успел поприветствовать меня, вновь принялся за работу.

— Фэк в порядке, но ему надо размяться. А как вы? — услышал я рядом голос Наттаны.

— Совершенно здоров, Наттана. А вы как поживаете?

— Я теперь — подмастерье у плотника. Взгляните на мои руки.

Она протянула ко мне свои руки, все в царапинах. Я обвел взглядом ее лицо, всю ее фигуру. Но вот послышался голос Эттеры:

— Я знаю, чем вас занять, — сказала она. — Пойдемте со мной, поможете готовить ужин, если, конечно, не слишком устали... Народу так много.

— И мне надо снова приниматься за работу, ничего не поделаешь, — сказала Наттана и отошла, не оглянувшись.

Эттера соорудила мне постель в углу комнаты Эка, где они помещались вместе с Аттом. Сама Эттера и Наттана занимали комнаты братьев. В остальных спальнях и мастерской расположились соседи, пришедшие помогать достраивать амбар, всего их было девять человек, и еще шестеро остановились у Эккли. Они приходили и уходили, отдавая работе у Хисов все свое свободное время. Так было последние полмесяца, и это могло затянуться еще на несколько недель. Никто и не думал просить жалованья; наоборот, многие приносили продукты с собой, но приготовление еды взяла в свои руки Эттера: она стряпала на всех, принимая помощь тех, кто почему-либо оказывался свободным. Забот у нее хватало. Скоро и я с головой ушел в кухонные хлопоты, так что времени подумать о чем-то постороннем не оставалось.

Время шло, тени стали длиннее, в воздухе повеяло прохладой. Возвращавшиеся работники мешали Эттере, бродя по кухне и беря припасенную ею воду. Условия для работы у нее были, прямо сказать, не самые подходящие, но, хотя с лица ее почти не сходило несколько угрюмое выражение, к чести ее, она ни на минуту не теряла самообладания. Появилась Наттана, этакий проказливый мальчуган, в компании крупного, добродушного, бородатого мужчины; она тоже взяла воды, поднялась наверх и спустилась уже вполне девушкой — в юбке, с заплетенными косами.

Ужинали поздно, пришлось зажечь свечи. За стол село одиннадцать человек, исключительно мужчины. Эттера и Наттана ждали, пока мы поедим, и прислуживали нам. Лица у обеих были усталые, но радостные, сестер ободрял царящий за столом дух добродушного веселья. Эк и Атт первыми закончили есть, уступив место сестрам, и в свою очередь стали прислуживать им.

Я перехватил взгляд сидящей напротив меня Наттаны, она в ответ дружелюбно взглянула на меня, коротко улыбнулась и тут же так быстро отвела глаза, что это даже слегка задело меня. Мужчины, перегнувшись через стол, болтали с ней, и она была со всеми приветлива, смеялась, быть может немного заигрывая с каждым.

После трапезы охотников помочь в мытье посуды оказалось более чем достаточно. Мое предложение запоздало и было решительно отклонено полновластно командовавшей на кухне Эттерой, которая сказала, что я и без того вдоволь потрудился; и все же мне почудилось, что это своего рода немилость.

Остальные расселись на темном крыльце, и так как я последним из всех был в столице, то мне и пришлось рассказывать о политических новостях. Косой столб желтого света падал из окна кухни, доносились голоса и смех, среди которых я узнавал Наттану.

Вопросов задавали много. Казалось, все знали, что я уже почти свой, островитянин. Все в Верхней усадьбе было не таким, как я ожидал, но чувствовал общий подъем духа, и отношение ко мне тоже изменилось.

Скоро стали расходиться. Я вернулся в дом, но было уже слишком поздно. Эттера еще доделывала что-то, но Наттана, по ее словам, очень устала и ушла к себе наверх. Я тоже изрядно устал, но это мало что значило. Эттера разрешила мне помочь ей в последних на этот день хлопотах. Она снова была добра, радушна и напоминала мою старшую сестру. Я рассказал ей, что еду домой и не уверен, вернусь ли. Беседа текла спокойно, мирно.

Мы отправились спать последние. Приоткрыв дверь, Эттера посветила свечой на спящую Наттану: та лежала, подложив ладонь под щеку, и волосы у нее рассыпались по лицу, как у ребенка.

— Она так устала, — шепнула Эттера.

Мы пожелали друг другу «доброй ночи», и я наощупь отыскал свой угол. Мои соседи по комнате, Эк и Атт, уже давно спали.

Понутру дом зашевелился, пробуждаясь. Долина лежала омытая утренним светом. За завтраком все в основном молчали: никто еще до конца не проснулся.

Возможности переговорить с Наттаной так и не выдавалось. Вместе с мужчинами я отправился к амбару и стал помогать двум из них, работавшим на укладке черепиц в той части строения, где стропила были уже установлены. Каждая черепица была величиной едва ли не с могильную плиту. Часть их сняли со старой кровли, но большинство треснуло от огня либо упало и разбилось. Новую черепицу доставляли из карьера внизу долины, складывали штабелями на земле, а потом поднимали с помощью ручного ворота.

С нового рабочего места — крыши, достигавшей одной высоты с вершинами деревьев, открывался широкий вид на лежащую внизу долину и расположенные то тут, то там фермы. Земля, поросшая зеленью, была далеко внизу, люди сверху выглядели маленькими фигурками — пузатыми карликами, которые забавно шевелили коротенькими ножками и то и дело задирали кверху кружочки лиц. Солнце припекало, с запада по-прежнему дул суховей. Многие, не только братья Хисы, сняли с себя все, кроме рубашек, коротких штанов и сандалий.

Нам, кровельщикам, работавшим снаружи, большую часть времени приходилось наблюдать, как трудятся плотники, поднимая стропила. Скоро среди них появилась Наттана. Работа ее в качестве «подмастерья плотника», похоже, сводилась к тому, чтобы подавать инструмент добродушному бородачу, разговаривать с ним и веселить его. Он хохотал, обнажая белоснежные зубы. Оба явно были старыми друзьями. Потом она, присев на корточки, пилила доску, а бородач, стоя, наблюдал за ней сверху. Короткие штаны Наттаны плотно обтянули ее ягодицы и бедра. Все еще считая ее своей, я предпочел бы видеть на ней другую одежду. Но мог ли я вообще считать ее своей?

Работали не спеша. Все трудились с величайшим тщанием: новая крыша строилась не на один год. Постановка стропил или новый уложенный ряд черепиц воспринимались как важное событие. Тем не менее к полудню дело заметно продвинулось. На сердце у людей было легко, никто не отлынивал.

В полдень все оставили работу и отправились к озеру. Некоторые, большей частью женщины с детьми и несколько мужчин — жены и родственники помогавших Хисам, — поехали верхом, прихватив кое-что из провизии.

Все дружно посбрасывали одежду, но в воду входили робко — она была еще слишком холодная. Я с разбегу бросился в воду и подплыл к тому месту, где Наттана, затаив дыхание, медленно приседала, собираясь с духом, чтобы окунуться целиком. Встав, я снова увидел ее во всей наготе.

— Я хотел бы поговорить с вами, — сказал я. — Когда это можно будет сделать?

Она помолчала, что-то про себя соображая.

— Сколько времени нам понадобится?

— Я думаю, полдня.

Наттана изучающе посмотрела на меня, и трудно было сказать, враждебным или ласковым был ее взгляд.

Вдруг, словно очнувшись, она резко окунулась, окатив меня веером холодных брызг. Я

взглянул вниз, на ее круглую голову и белую шею. В зеленоватой воде тело ее казалось размытым, с растопыренными, как у лягушонка, руками и ногами.

— Как долго вы пробудете здесь? — спросила она.

— Еще три дня.

— Полдня — немало, когда кругом столько дела.

— Но и не так уж много, Наттана. Уделите мне полдня.

— Хорошо, — сказала она. — Скоро придется снова отправляться на карьер за камнем для черепицы. Мы с вами можем поехать в одной тележке. Правда, там будут и другие, но поговорить мы сможем, и это займет как раз полдня.

Конечно, мы сможем поговорить и на карьере, хотя рядом все время будут посторонние. Но стоило ли продолжать торговаться?

— Когда, Наттана?

— Завтра или послезавтра.

— Спасибо, — сказал я.

Она коротко рассмеялась.

— Замерзла, — сказала она, вставая и поворачиваясь ко мне своей розовой, влажной, блестящей спиной. Полуобернувшись, она через плечо взглянула на меня, и в глазах ее я прочел укор. Она поняла, что в этот момент мне хотелось сказать ей, что она — моя и что я снова хочу ее...

Для ленча выбрали место рядом с эллингом. Развели костер, тепло которого было особенно приятно после холодной воды. Я совладал с собою и решил больше не докучать Наттане.

Потом, так же дружно, мы отправились на работу. Она становилась для меня все привычнее. Ведь когда-нибудь и я могу стать хозяином поместья, и мне придется возводить крышу своими силами, так что многому еще предстояло научиться. И пусть Наттана заигрывает со своим напарником. Я почти не вспоминал о ней, поглощенный тем, как ровными, красивыми рядами ложатся тяжелые, с синеватым отливом, каменные плиты.

Для меня было ново видеть, как островитяне, приспособившись к обстановке, объединяются в некий единый хозяйственный организм. Для некоторых хозяйств набег оказался настоящим стихийным бедствием. Все были озабочены тем, как вернуть жизнь в нормальное русло. Когда равенство будет восстановлено, жизнь вновь замкнется, обособится от других.

Гронан, я и еще несколько человек рассуждали на эти темы, сидя на крыльце в сумерках после ужина, пока Наттана, Эттера и Бранда, чей муж тоже входил в число добровольных помощников, трудились на кухне вместе с мужчинами, которых избрали себе в подручные. Среди последних был и бородач-плотник Дорс.

Как и Нэзен, один из двух кровельщиков, с которыми я работал, он был ремесленником и жил в Хисе. В подобных случаях такие люди, как он, действительно становились во главе работ. За свои услуги они получали плату, на которую жили. Живя в Хисе, он, должно быть, знал Наттану с детства, но мне не понравилось, что он вдовец. Вроде бы мы с Наттаной условились, что связь наша порвана, однако на деле разрубить этот узел оказывалось не так-то просто.

Тем не менее оба следующих дня мы играли в весьма сомнительную игру — такие любовные «кошки-мышки». Скрытая ее цель — обольстить партнера, заманить его в ловушку. Каждый рассчитывает, что его обвинят, будто он избегает партнера, и тут уже у него наготове набор отговорок, напускной вид оскорбленной добродетели и взаимные упреки. Еще одно из правил игры в том, чтобы притворяться, будто ничего не происходит, в то время как каждый только и ждет, что другой не вытерпит. Победителем же выходит тот, кто терпит до конца.

Когда за столом рядом с Наттаной или со мной оказывались свободные места, кто-либо из

нас сознательно выбирал другое и, сев, тут же заводил оживленный разговор с соседом о чем-либо якобы очень важным; однако все правила хорошего тона соблюдались неукоснительно: мы ни разу не забывали пожелать друг другу доброй ночи, мы даже иногда улыбались один другому и тут же отворачивались, словно и не ожидая ответной улыбки. А если кому-либо случилось подметить, как другой украдкой смотрит на него, он выигрывал очко...

Жалкая эта игра, ведь обоим игрокам все время приходится мучиться и оба всегда в проигрыше.

Но настал третий день, когда запас плит оказался почти весь израсходован, и, чтобы продолжать работу, необходимо было его пополнить. До моих ушей долетел разговор, который вели находившиеся неподалеку, на крыше, Эк и Нэзен. Они как раз обсуждали этот вопрос и решили снарядить в карьер пять тележек, одна из которых принадлежала Хисам и четыре — их соседям. На следующее утро, которое, по моим расчетам, должно было быть последним, проведенным в Верхней усадьбе, тележки подготовили, но, только когда дело уже шло к ленчу, Эк сообщил мне, что Наттана хочет, чтобы мы с ней поехали в тележке Хисов.

Игра подошла к концу. За ленчем она ни разу не взглянула в мою сторону, когда же настало время выезжать, молча дождалась, пока я подойду к ней.

— Ну? — сказала она. — Так мы едем?

При этом она даже не улыбнулась, и вид у нее был такой, словно она испила свою чашу до дна.

Мне не часто случалось передвигаться в Островитянии на колесах. И было непривычно катить по дороге в подпрыгивающей, без всяких рессор тележке, вместо того чтобы идти или ехать верхом.

Три тележки ехали впереди и одна сзади, впрочем, на достаточном расстоянии, чтобы не утонуть в облаках пыли, поднимаемых лошадьми и колесами.

Наттана, держа поводья, бесстрастно глядела вперед. Я не выдержал и украдкой то и дело поглядывал на нее, поражаясь тому, как могли мы, еще недавно столь близкие, что тела наши сплетались, ни ласкам, ни словам не было преград, теперь стать такими далекими и чуждыми. Как будто именно то, что мы сейчас рядом, отвращало нас друг от друга.

— Наттана?

— Да?

— Взгляните на меня, улыбнитесь и скажите же хоть что-нибудь.

Она медленно обернулась ко мне, все еще избегая моего взгляда, сдерживая улыбку, но наконец наши взгляды встретились, и мы, словно после долгой разлуки, признали друг друга.

— А разве есть что говорить? — сказала Наттана.

— Я хочу кое-что сказать вам.

Она снова отвернулась, устало понурившись, словно тяжелая ноша легла ей на плечи, и улыбка исчезла с ее лица.

— Вы написали такое замечательное письмо, так благодарили, что я спасла вашу одежду, вот я и думала о том, как она вам к лицу.

— Нет, не о том, Наттана.

Она вздохнула:

— Уж не связано ли это с тем, что вы можете вернуться?

— Да, — ответил я, и сердце мое часто забилося.

— Надеюсь, вы не будете снова просить меня выйти за вас замуж.

— Да, Наттана. Ведь нас всегда разделяло то, что я не островитянин.

— Нет, — быстро ответила она, словно ответ был готов уже заранее. — Ничего не изменилось. Если я скажу, что согласна выйти за вас, вы будете чувствовать себя обязанным

вернуться, а это нехорошо. Когда вы приехали, то говорили Эттере о том, как поедете к себе домой, в Америку, и там решите, возвращаться в Островитянию или нет.

— Если вы станете моей женой, Наттана, мы вместе поедем ко мне домой и вместе все решим. Зная, что мы можем вернуться, вы увидите мою страну другими глазами. Вам даже может понравиться там, а если нет, то я с радостью вернусь в Островитянию. Я хочу, чтобы вы стали моей, это главное, тогда место, где мы останемся жить, уже не будет играть роли. Мы выберем его сами. Раньше это было невозможно.

Она бросила на меня быстрый взгляд.

— Ах, Джонланг! — воскликнула она. — Я и не думала, что вы все так повернете. Я уже сказала: мне представлялось, будто вы действительно хотите сделать свободный выбор, а если вы женитесь на мне, это свяжет вам руки.

Я думал, что переиграл ее, и теперь отчаяние и разочарование буквально парализовало меня.

— Но когда вы говорите «мы решим», — продолжала между тем Наттана, — «мы с вами», мы, мы, мы! Ах, Джонланг, ведь это ваше «мы» включает и меня тоже!

Вся моя прежняя любовь к Наттане вспыхнула с новой силой.

— Я хочу вас, Наттана!

Она взглянула на меня полными слез глазами и как-то странно рассмеялась. Потом подхлестнула лошадь.

— Вы такой милый! — сказала она. — Вы были прекрасны! Я думала, вы предложите мне стать женой такого уважаемого человека, но не думала, что вы будете так последовательны и логичны. Спасибо, Джонланг! Мне уже никогда не встретить никого, похожего на вас. Но я не стану вашей женой, и мы оба чувствуем это.

— Наттана, я действительно хочу вас!

— Я верю, но брак наш был бы ошибкой.

— Почему?

— Дело не в разнице между нашими странами. Это не главное. Ах, если бы только... но тогда я уже давно была бы вашей женой. Есть другие причины, куда более важные.

Я против воли почувствовал облегчение, хотя и был до глубины души раздосадован.

— Так, значит, вы не выйдете за меня, Наттана? Все ваши возражения ничего не значат... Мы рядом, и мы любим друг друга! Нас ожидает прекрасная жизнь, когда мы найдем себе место и никогда не будем разлучаться.

— Пожалуйста! — сказала она. — Все уже решено. Вы просили Хису Наттану быть вашей женой, и по каким-то своим соображениям она ответила вам «нет».

Я смирил ее взглядом, мысленно оценивая ее упорство, и спросил:

— Вы очень упрямая?

— Вам ли не знать. Вы овладели моим телом вопреки моим намерениям, но вам не победить мой здравый смысл!

— Но вы — моя, Наттана. Я это чувствовал все эти дни.

— Ах, я знаю, о чем вы... но, мой милый, вы уже совершили благородный поступок. Остановитесь на этом! Дальше идти нет смысла. Поверьте, прошу вас. Прекратим этот спор.

— Будьте моей женой, Наттана!

— Нет, нет и нет! — Она рассмеялась.

— Вы должны!

— А вы меня заставьте! Хоть зацелуйте, заласкайте, ничего не выйдет. Все уже давно решилось.

Она оттолкнула мои руки, к тому же я и не мог как следует обнять ее в тряской тележке.

Наттана смеялась и казалась едва ли не счастливой. Во мне вскипел гнев, но, несмотря на это, я тоже рассмеялся, отчего еще больше разозлился на самого себя, но ничего не мог поделать, хотя и не хотел сдаваться.

— Когда я вернусь... — начал я.

— Нет и нет! Вы свободны, если я...

Внутренне я уже сдался, но продолжал увещевать ее.

— Ведь вы свободны, Наттана? Я думал, что свободен, пока не узнал, что могу вернуться.

Эта возможность сняла все преграды.

— Я совершенно свободна, свободна настолько, что стоит мне захотеть, и я выйду за любого или стану чьей угодно любовницей. И вы не должны мешать мне, так же как я не должна мешать вам.

— Ах, вот какие у вас мысли, Наттана!

— А у вас?

— Нет! — воскликнул я. — Я предлагаю именно вам стать моей женой.

— Я скажу вам, только если вы обещаете отказаться от малейшей надежды видеть меня своей женой.

— Но как я могу? Теперь, когда я вернулся и вы по-прежнему одна...

— И вы один, и если вы хотите жениться на мне, то и я должна хотеть выйти за вас замуж!

Но такое можно сказать о любой женщине, о любом мужчине! Значит, на это вы и надеетесь?

— Да, Наттана, но это не так мало, как вам кажется, ведь мы были любовниками.

Она залилась румянцем. Потом пожала плечами и усмехнулась.

— У вас кто-то есть, Наттана?

Она вздрогнула:

— А вам зачем знать? Что это вам даст? Моя *ания* не переросла в любопытство, как у вас.

Мы свободны, а быть свободным — значит делать то, что человеку нравится. Если ваш вопрос был всего лишь дружеским...

— Да!

— Я ничего не собираюсь вам говорить.

— Нет, скажите! У вас кто-то появился?

— Нет! — яростно крикнула она. — И вряд ли будет, уж я-то лучше себя знаю. Раньше я думала — я другая, мне не хотелось допускать до себя мужчин слишком близко. Мне хотелось другого — жить дома, работать. Благодаря вам я впервые представила себе, что такое замужество и *ания*. Я собираюсь поехать домой, уладить дела с отцом... и поселиться там одной.

— Неужели из-за меня вы никогда не выйдете замуж, Наттана? Если так, то...

— Из-за вас? Конечно нет! Но у меня словно открылись глаза. Мне понравилась мысль о том, чтобы жить скромно, одной и много работать. И вот именно из-за вас я так привязалась к своей работе!

— В вашем характере есть что-то от вашего отца.

— Да... мне близки некоторые из его идей, но у меня на то свои причины. Мне не нужны второсортные отношения с мужчинами.

— А то, что было у нас, вы считаете тоже второсортным?

— Конечно, иначе бы мы поженились.

— Не смейте так говорить, Наттана!

— Чувства каждого из нас к другому вовсе не второго сорта. Не путайте разные вещи, Джонланг!

— Мне противна мысль о том, что наша любовь была фальшью.

— Мне тоже! — воскликнула Наттана. — Поэтому не будем! Подумаем лучше о том, что у нас есть сейчас, о том, что нас ждет в будущем, о том, каким вы станете, и о том, чем буду заниматься я.

Тележку то и дело подбрасывало, неплотно закрепленные борта грохотали. В теплом сухом воздухе стояли облака пыли, и сильно пахло лошадиным потом. Острые, высокие, белоснежные вершины холодно вздымались к небу. Перед нами над дорогой стелилась желтая дымка, оставленная передними тележками, скрывшимися из виду на спуске.

Сам жаркий солнечный свет, казалось, был пропитан сладострастным влечением, но в то же время я чувствовал, как с каждым мгновением отдаляюсь от Наттаны, как рвется связь между нами.

Долгое время мы ехали молча, пыльные, прокаленные солнцем. Пять тележек медленно продвигались вперед: даже не нагруженные, они были тяжелыми. На полпути мы остановились у ручья, напоили лошадей и напились сами, перебросившись парой слов. На какое-то время мы — семеро мужчин и одна женщина — почувствовали себя друзьями, и было приятно сознавать, что мы делаем одно, общее, дело, но стоило нам снова рассестись по своим тележкам, и каждый вновь погрузился в заботившие его мысли, и разговоры у путешественников снова пошли разные.

За время работы Наттана успела загореть. В жарких лучах солнца лицо ее горело, а в местах, не покрытых коричневым слоем загара, кожа по-прежнему оставалась нежно-розовой. Я любил каждую выемку, каждую выпуклость этого скрытого одеждой тела и при этом изо всех сил старался думать о Наттане как о друге, как о симпатичной попутчице, оказавшейся со мной в одной тележке в этот жаркий полдень. Я рассказывал о том, как поеду домой, что буду там делать, но, поскольку та сокровенная теплота, которая соединяла нас, исчезла, разговор получался вялый и скучный. Наттана тоже поделилась своими планами: она уезжала домой. Лорд Хис уже знал о нашей истории, но все же разрешил дочке вернуться.

— Вы перед ним чисты, — сказала Наттана. — Он знает, что вы предлагали мне стать вашей женой, но что я отказала вам. Он считает дурной, порочной меня. Не знаю, какого приема ждать, но думаю, когда он узнает, что мы сами решили прервать наши отношения, он поймет, что бессилён.

Потом, оживившись, блестя глазами, она рассказала о новых вещах, которые собиралась ткать...

С большой дороги мы свернули на проселочную (слегка поднимаясь, она вела к холмам) и скоро достигли карьера. Плиты лежали уже обтесанные Нэзенем и другими каменотесами еще до того, как начали крыть кровлю. Каждую можно было поднять только вдвоем. Погрузка оказалась далеко не легким делом, и вскоре все были мокрыми от пота, тяжело дышали, и очень хотелось пить.

Наттана сходила к пруду и принесла воды. Она была очень хороша: гибкий стан, изящно изогнувшийся под тяжестью ведра, свободная рука на отлете, раскрасневшееся улыбающееся лицо, белоснежные зубы и рыжие волосы на фоне голубовато-серых стен карьера и пронзительной небесной синевы. Она смешала нам питье из воды и сухого вина с кислинкой, и мы принялись жадно утолять жажду.

Наш караван направился обратно в прежнем порядке, только теперь Наттана передала мне вожжи, сказав, что мне следует учиться править по-островитянки на тот случай, если я вернусь и у меня будет собственная усадьба.

Мы поговорили об этой предполагаемой усадьбе, и мне было приятно сообщить Наттане, что таковая не фантазия, а достаточно реальна. Я рассказал, что говорила мне Дорна о двух

других родовых поместьях.

— Вы недавно виделись с Дорной? — спросила Наттана как можно более безразличным тоном.

— Я гостил несколько дней у нее с Тором.

— Во Фрайсе?

— Да.

— Я всегда была второй, не так ли? — спросила она, немного помолчав.

Что мне оставалось сказать?

— Отвечайте честно, Джонланг. Теперь мне уже не будет больно. Я всегда прекрасно это знала.

— В каждой из вас есть то, что никогда не будет у другой, — ответил я.

— Но вы дали мне то, что не дали ей. Это по-прежнему так?

— Да, Наттана, и даже в гораздо более глубоком смысле... не просто потому, что был вашим любовником.

Она задумалась.

— Хотелось бы верить, — сказала она наконец, — что я лучше понимаю вас.

— С вами мне всегда все было яснее, Наттана.

— Мне так было легче... я заботилась только о вас. И все же я думала, что больше подхожу такому мужчине, как вы. А как вам кажется: я лучше понимала вас?

— Да, Наттана.

— Правда, Джонланг?

Нелегко мне было хоть в чем-то ее убедить, и даже под конец она сказала:

— Вы желали ее больше, чем меня.

— Но это кончилось.

— И ваша *ания* тоже, Джонланг?

— Я уже не в ее власти.

— Вы уверены? Я слишком многое понимала, чтобы надеяться, что *ания*, которую вы испытывали ко мне, окажется сильнее вашей *ании* к Дорне. Для того, кто уже несет в себе *анию*, *ания* к другому — всего лишь временное забвение... Порою мне было тяжело сознавать это.

— Но вы могли стать моей женой вопреки Дорне?

— Нет, хотя чувства наши были разными... Но спасибо вам и за то, что вы снова предложили мне выйти за вас, повидавшись с нею!

— Да, и я повторяю свое предложение теперь, когда вы знаете, что между мной и нею все кончено.

Наттана коротко, удивленно рассмеялась:

— Это ничего не меняет. Я никогда не выйду за вас.

Нагруженная тяжелыми плитами тележка двигалась не быстрее пешехода. Солнце у нас за спиной клонилось к закату, но воздух словно застыл, сухой и жаркий. Липкий пот покрывал тело; я очень устал. Сейчас я почти не думал о Наттане. Внутренне я уже перенесся к ожидавшему меня Дорну, к морской прохладе Острова и представлял наш разговор о моем будущем.

Прошло немало времени, прежде чем я снова взглянул на Наттану. Она сидела устало расслабившись, сложив руки на коленях, раскачиваясь в такт толчкам тележки. Сейчас ее трудно было назвать красавицей, но я знал ее с ног до головы, она была близка, дорога, желанна.

— Никак не отделаться от ощущения, что вы принадлежите мне и только мне, Наттана.

— Ощущения? — переспросила она. — Когда же мы и вправду покончим с ним?

— Ну, нам не так уж часто придется видаться.

— Семья... работа... или и то и другое, — вяло ответила она, — пока наконец совсем не забудем друг друга.

— Но человек всегда стремится к чему-то большему!

— Больно думать, что что-то хорошее ушло, но мы не должны забывать, что можем быть счастливы и по отдельности!

— И это больно?

— В каждом из нас прошлое оставило рану, и, когда мы рядом, она начинает болеть.

— Так что же нам делать, Наттана?

— Но ведь в наших отношениях была и остается одна замечательная вещь. Никто из нас по-настоящему не знал другого — так не бывает между мужчиной и женщиной, — но нам часто удавалось понимать друг друга. А когда мужчине случается понять женщину и наоборот, это как молния в ночи — на одно краткое мгновение мир озаряется весь, до мельчайших деталей. Все делается яснее и ярче, чем когда это происходит между просто друзьями или подругами, как бы хорошо каждый ни знал другого. Тот свет более постоянный, но и более тусклый. Не знаю, как вам кажется, но, по-моему, подобное понимание было отпущено нам полной мерой, и я верю — навсегда останется с нами.

— Когда мы снова увидимся — если увидимся.

— Я не боюсь взглянуть правде в глаза. Этого может больше никогда не произойти, но это было с нами, Джонланг!

— И сегодня — сегодня днем.

— Да, — сказала она.

Когда пять тележек одна за другой въехали в ворота Верхней усадьбы, мягкие сумерки стояли кругом, солнце уже почти село, пламя заката разлилось над горизонтом. Работники вернулись в дом и ждали ужина. Свечи желтым светом озаряли кухню. Однако прежде надо было разгрузить тележки, отвести лошадей на конюшню и задать им корм. Наттана занялась всем этим наравне с другими, и так славно было, что она — с нами.

Когда мы наконец покончили с нелегкой работой, сложив каменные плиты штабелями вдоль стен амбара, небо было уже густо усеяно звездами.

Мы с Наттаной, рядом, пошли вместе со всеми к дому. Уже повеяло вечерней прохладой, но тяжелый жаркий день давал о себе знать. Из столовой доносились голоса.

— Устала, Наттана?

— Очень... и вы, должно быть, тоже.

— Да. Мы оба устали.

— Не хочу никакого ужина, — сказала девушка, — не хочу быть сейчас среди всех этих людей.

— Я тоже. Давайте побудем вместе.

— Пойду утащу что-нибудь с кухни, вдруг нам захочется есть.

Я остался ждать Наттану на дворе. Тишина ночи была столь глубока, что даже звуки голосов не нарушали ее. Когда Наттана вернулась, я взял ее руку в свою, чувствуя, какая она горячая, и мы пошли, озаряемые светом звезд, пока ноги сами не привели нас к озеру.

В бледном сиянии мы отыскали лодку с веслами у причала и, оттолкнувшись, бесшумно скользнули вперед, рассекая стеклянистую поверхность воды, столь темной и гладкой, что она казалась вторым небом, со звездами на недостижимой глубине.

Скоро мы доплыли до того места, где катались на коньках, и причалили к узкой полосе берега, под прикрытием отвесно вздымающейся, поросшей соснами скалы.

Мы сели на землю, я обнял Наттану, и мы поцеловались. Трудно сказать, было ли то желание. Скорее мне просто хотелось находиться рядом с ней и касаться ее, чувствуя, что ей этого тоже хочется.

Мы легли рядом, глядя в разверстые над нами звездные бездны, касаясь друг друга плечом, рукой, бедром, — и этого было достаточно.

— Как хорошо, Наттана, — сказал я.

Ответа не последовало.

Я позвал ее по имени, прислушался, но услышал только ровное дыхание девушки.

Мои глаза тоже слипались. Сон овладел мной мгновенно, хоть я и продолжал держать в своей руке бесчувственную, мягкую ладонь Наттаны...

Прошло немало времени, пока мы, пошатываясь, снова не уселись в лодку и двинулись к дому. Наттана притихла на носу, как спящая птица.

Все уже улеглись, и только на кухне горел свет.

Возвращение наше тоже напоминало сон — промежуток между двумя снами, и крепкий, уже в постели, сон стал мирным окончанием наших странствий.

Стояла еще ночь, когда я снова проснулся, близко ли, далеко ли была заря — я решил немедленно ехать. Агт так и не проснулся, но Эк приоткрыл глаза, пока я при свече упаковывал свои вещи. С ним одним я и простился. Все остальные спали беспробудным сном.

Когда темный дом остался позади и дорога, в бледно-желтых тенях, скользила назад под копытами Фэка, я окончательно понял, что опасность тягостных прощаний и объяснений и вправду позади. Наттана меня поймет, остальное не имело значения, и я был свободен.

Отныне я не увижу больше ее лица, не услышу ее голоса — всего, что делало ее такой любимой. Я чувствовал пустоту утраты, но природа нашей любви и нашего расставания была такова, что жизнь безболезненно могла восполнить ее. И память о Наттане всегда будет счастливой.

Двадцать третьего ноября, около полудня, после шести дней пути мы с Фэком прибыли в Эрн. Дул легкий ветер, вода отливала летней синевой, и яркая зелень болот, по которой большими неровными пятнами проплывали тени белых облаков, ровным ковром раскинулась на бескрайние мили. Казалось, я снова дома.

Нас в лодке перевезли через проток, а дальше мы уже сами двинулись к Острову, где надо прибегать к помощи паромов.

Вот она, покинутая Дорной *алия*, которую она никогда не оставила бы и которая могла стать и моей, люби она меня или свои родные места хоть чуть-чуть больше. Вероятно, вернись я в Островитянию, я мог бы не покидать столь любезного мне Запада, ведь на Острове все так же нуждались в посреднике. Я то так, то эдак пытался представить себе Остров своим постоянным домом, и сердцу делалось все больнее при виде ослепительно прекрасного в свете уходящего дня острова Дорнов.

Причалив у Рыбацкой пристани и обогнув башню на холме, я проехал через поля и сады, окружавшие усадьбу, постоянно ощущая в воздухе солоноватый запах моря. Потом оставил Фэка на конюшне, взял свою суму и, никем не замеченный, вошел в дом и прошел в свою комнату, которая была для меня готова.

Что бы ни случилось, этот уголок Островитянии навсегда останется моим. Я отнюдь не чувствовал себя здесь гостем. Дарованная мне обычаем привилегия — жить в доме Дорнов, когда и сколько я захочу, — облеклась в форму привычной реальности... И скорее даже она, а не Дорна была главной причиной того, почему Запад казался таким родным.

И конечно, Дорн!

Он вошел, высокий, загорелый и обветренный, белки глаз ослепительно блестели. Он сказал, что слышал, как я пел.

— И что же я пел?

— Одну из наших песен.

— Я даже не заметил.

Дожидаюсь, пока я кончу переодеваться, Дорн присел.

— Мы ждали тебя три-четыре дня назад, — сказал он.

— Я задержался в Верхней усадьбе дольше, чем предполагал: надо было помочь покрыть крышу амбара.

— А что ты еще делал после той истории с набегом?

Я начал рассказывать, и мне самому, как, конечно, и Дорну, делалось все яснее, что то были сплошные встречи с женщинами — Дорной, Стеллиной, Наттаной. Временами я даже конфузился, и мы оба, не в силах сдержаться, начинали хохотать.

— Ну и как они все? — спросил Дорн.

— Прекрасно, — ответил я.

— Пожалуй, теперь ты больше склонен вернуться в Островитянию.

— Да, пожалуй... но не ради них.

— Я верю, что ты вернешься. Я много переживал из-за тебя и надеялся, что мы сможем помочь тебе принять решение. Некка тоже хотела бы тебя повидать, — сказал Дорн и, не дожидаясь моего ответа, встал, и мы отправились к Некке.

Я был рад, что приберег встречу с Дорном на самый конец. Он держался ровно и был доволен всем, с остальными неизбежно приходилось пускаться в долгие, болезненные

объяснения. Каждая из тех, с кем я виделся, подарила мне что-то свое, но дар моего друга оказался не хуже, и его невозможно было у меня отнять...

За ужином уже почти наизусть затверженную историю набега мне пришлось повторить от начала до конца. Рассказывать не составляло большого труда, к тому же основным слушателем был Дорн. Рассказывая, я обращался преимущественно к нему. Файна, Марта, Дорна-старшая и Некка составляли молчаливый фон.

Потом мы прошли в круглый зал, предоставив женское общество самому себе.

— Однако ты счастливчик, — сказал мой друг. — Подумать только: Дорна, Стеллина и Наттана, и все перед тобой в долгу.

И снова — трудно передать словами, почему мы оба расхохотались.

— Некка хорошо выглядит, — сказал я.

— Еще бы!

Мы улыбнулись друг другу.

— С тех пор, как я видел тебя в последний раз... — начал я.

Дорн вопросительно взглянул на меня:

— Нас обоих?

— Наттана не выйдет за меня, хоть я и просил ее об этом... Думаю, она была права.

— Сестры, — многозначительно произнес Дорн, словно это обстоятельство и вправду могло что-то значить. Мы оба улыбнулись. Это был мужской разговор, и мы понимали друг друга с полуслова.

— Я многим обязан твоей сестре, — сказал я. — Она была очень добра. Мы провели несколько дней во Фрайсе и обо всем успели переговорить.

— Она уплатила свой долг, — ответил Дорн, — но, если ты вернешься, я бы на твоём месте был с ней поосторожнее.

— Мы говорили и об этом. — И, сказав это, я вдруг понял, что у нас с Дорной тоже был свой язык, который знали только мы и никто другой... Впрочем, то же касалось моего друга и Некки, разумеется.

Мир светился счастьем...

— Зачем тебе ехать домой? — спросил Дорн.

— Чтобы понять, действительно ли я хочу жить в Островитянии. Ведь в глубине души я все еще американец, ты же знаешь.

— Но и один из нас тоже.

— Все увещевания и предостережения, которые мне приходилось выслушивать с первого дня приезда, оказались правдой лишь отчасти.

— Вспомни, и Дорна первая поверила, что ты сможешь приспособиться к нашей жизни.

— Странная она женщина.

— Они все странные.

— Иногда я ее даже боюсь.

— Она тоже, причем самой себя... и это делает ее судьбу и характер трагическими.

— Она — само очарование.

— Пожалуй, даже слишком... Ронану пришлось от этого хуже, чем тебе.

— Стеллина прелестна и мудра.

— Но, я думаю, ты вряд ли...

— Конечно нет, — ответил я. — Для этого нужно быть человеком необычным.

— Да, с ней непросто. Но что же у вас не сладилось с Наттаной?

— Ничего. Она убеждена, что то была лишь *апия*.

— Я думал об этом. Наверное, она решила, что вам лучше расстаться. И она способна на такое самоотречение.

— Полагаю, она не может слукавить.

— Однако она могла и обмануться.

— В таком случае она безнадежна.

— Они все безнадежны.

— Не сомневаюсь, мы им кажемся такими же.

— Конечно! И все же, — продолжал мой друг, — если ты дашь им совершенно недвусмысленно понять, чего от них хочешь, безнадежности поубавится. Им нужен прямой путь, а уж идти по нему или нет, каждая решает сама. Помни об этом.

— Что ж, я усвоил твой урок, — ответил я. Речи Дорна несколько опечалили меня: выходило, что он разуверился в том, что я считал еще возможным, а именно в отношениях, основанных на том, что каждый в равной степени отдает себя другому, а в выборе пути разницы между мужчиной и женщиной не существует...

— Хорошо, по крайней мере, — сказал я, — что не приходится выбирать за другого.

— Им нравится думать, что выбираем мы, хотя мы всего лишь предлагаем, а выбирают они.

— А сами они когда-нибудь могут предложить?..

— Наступает момент, — сказал Дорн, — когда они понимают, что должно существовать определенное равенство.

— Значит... — вскричал я.

— Да! — ответил Дорн.

— Значит, я могу надеяться!

— Мои надежды уже сбылись, — сказал он, внезапно покраснев.

Но я не позавидовал ему, только потому, что он был женат, хотя и верил, что их жизнь с Неккой сложится удачно. Пока я радовался своей свободе.

— А теперь рассказывай, что собираешься делать; я подолгу и часто думал о тебе.

Я стал говорить, тщательно взвешивая каждую фразу, стараясь подобрать нужные слова, пока совсем не запутался, и тут в середине длинного и неуклюжего периода вошла Некка и села рядом с Дорном. Она изменилась, построинела, стала спокойнее, тише и держалась уже не так робко и застенчиво. Я всегда воспринимал странное, несколько забавное выражение ее лица как некую маску; таким оно и осталось, только маска стала проще. Меня влекло к ней отчасти потому, что она была единокровной сестрой Наттаны и сквозь призму наших с Наттаной отношений была мне роднее и ближе, почти что родственницей, а еще больше, быть может, потому, что, несмотря на всю ее уклончивость, на всю ее загадочную натуру, она решила следовать по прямому пути, который предложил ей Дорн. То, что она принадлежала ему, делало ее в моих глазах какой-то новой, еще ближе и дороже.

Последнее время Дорн отошел от политики и вел хозяйство на Острове: как обычный фермер, следил за стрижкой овец, ходил за лошадьми и скотом. Обо всем этом он рассказывал, когда мы утром следующего дня верхом объезжали хозяйство. Он повторил, что Дорны теперь почти бедняки — столько средств им пришлось вложить в опрос, и вот приходилось медленно и осторожно поправлять дела. Рассказ его напоминал отчет президента какой-нибудь компании перед важным акционером. Чем дальше, тем более подробным становился рассказ, и под конец финансовое положение семьи было уже ясно для меня во всех тонкостях: получалось, что еще год-два Дорны будут испытывать серьезные денежные затруднения.

Потом он сказал, что как нельзя более доволен Неккой и отказывается от всех своих суждений касательно нее, которые он излагал мне восемнадцать месяцев назад. Решившись выйти за него замуж, она полностью приняла его самого и все его идеалы. Если ему и не

случится занять политический пост, вполне вероятно ожидавший его в будущем, — Некку это не слишком волнует. Она смирилась даже с тем, что титул официального владельца Острова будет закреплен не за мужем, а передан по линии лордов Дорнов. За ним останется Горная усадьба или усадьба на реке Лей, и в конце концов он поселится в одной из них, если — что вполне возможно — ему не придется вести хозяйство Острова, пока не подрастет сын Марты. Он даже сможет управлять официальными делами, если лорд Дорн умрет прежде, чем мальчик достигнет нужного возраста.

— Вот тебе моя жизнь, — сказал Дорн. — Похоже, она будет нелегкой, и я с каждым днем все больше убеждаюсь, что Некка — идеальный спутник.

— Ты уже видел Горную усадьбу, — сказал он после долгого молчания. — Теперь я хочу показать тебе Речную. У нас слишком много усадеб, и если ты решишь поселиться в Островитянии, то сможешь купить одну из них... Поначалу эта мысль пришла Дорне, однако уверен, что я бы тоже рано или поздно остановился на ней.

То была великая минута.

— Есть и другие возможности, — быстро произнес Дорн. — Есть другие усадьбы, поблизости или в других краях, которые, я уверен, ты смог бы купить. Если ты вернешься в Островитянию, многие будут рады подыскать тебе место. К тому же ты можешь и сам построить усадьбу, стать первопроходцем, но сомневаюсь, что тебе хватит опыта справиться без посторонней помощи. Я думал и о том, что ты мог бы стать посредником и завести на Острове свою контору. Они здесь нужны. То, чем ты занимался раньше, больше всего располагает к такой работе.

— Это тоже мысль Дорны? — спросил я.

— Нет, — сказал он. — Сестра перебрала много возможностей, но этой среди них не было.

Я мысленно поблагодарил ее за то, что она ничего не сказала брату. Мысль, занимавшая мое воображение накануне, предстала в истинном свете.

— Отбросим эту возможность сразу, — сказал я. — Да, все могло сложиться именно так, если бы Дорна стала моей женой. Именно о таком будущем для нас обоих она думала, когда сомнения одолевали ее. Ей хотелось удержать Остров. Пусть у меня будет своя *алия*.

— Я того же мнения, — ответил Дорн, — но думаю, что если Остров успел стать твоей *алией*, то она окажется настолько сильна, что воспоминания о ней могут помешать росту новой.

— Американцы — существа более сентиментальные, чем островитяне, — сказал я.

— Верно, я и забыл... Но, разумеется, от этой мысли мы отказываемся. В усадьбе, особенно одной из наших, все будет проще, не так ли? Все равно Дорна так или иначе будет напоминать о себе.

— Мне бы этого не хотелось.

Дорн рассмеялся мне в лицо.

— Нам стоит съездить в усадьбу на реку Лей, — сказал он и принялся описывать имение, то и дело употребляя специальные и ранее совершенно непонятные мне специальные выражения.

Мы выехали через день и провели в пути почти неделю.

Чтобы придать нашей поездке праздничный вид, мы отплыли на лодке Дорна, напоминавшей «Болотную утку», но только больше размерами. Погода была неустойчивая, штили сменялись порывистым ветром. Приливы и отливы то облегчали, то задерживали наше продвижение. Времени поговорить было в досталь, и то, что мы совершали «деловую поездку», вовсе нас не заботило.

На второй день в полдень мы подплыли к дому коммодора лорда Дорна и остановились на ленч. После чего, пройдя Тэн, оказались на реке Лей. Характер берегов изменился: вместо

плоских, лишенных растительности солончаковых болот нас окружили поля и луга, деревья свешивали свои ветви к воде, повсюду виднелись строения ферм. Уже темнело, когда мы пристали, привязав лодку к дереву. Ветер с моря не достигал сюда, и все же, по словам Дорна, лодку вполне можно было оставить здесь — отсюда можно было затем попасть в любое место на болотах. Усадьба находилась всего в восьми милях.

Рано утром мы пешком пошли по тропинке вдоль реки. Она текла тихо, лишь местами бурливо вспениваясь. Огороженные изгородями фермы, мимо которых мы проходили, выглядели зажиточно и мирно, с пышными лугами и стройными деревьями, растущими по берегам у воды. Растительность скрывала ландшафт, но очевидно было, что рельеф здесь мягкий, хотя и не такой плоский, как в долине Доринга. Прошло чуть больше двух часов, и мы уже входили в ворота Речной усадьбы Дорнов, мало чем отличавшейся от соседних ферм.

Главное здание, небольшое, из десяти комнат, стояло на возвышенности, ярдах в ста от реки, над водами которой склонились роскошные ивы. Из окон второго этажа открывался приятный, хотя и довольно ограниченный вид на юг, чьей самой запоминающейся чертой были высокие купы деревьев, окружавших остальные фермы; все кругом было зелено, кроме лежавших в голубой дымке то тут, то там невысоких холмов.

Мы пробыли в поместье два дня и обошли его из конца в конец. В нем не было ничего исключительного, как в Горной усадьбе или на Острове, напротив, во всем обыкновенное, оно напоминало тысячи других. Тем не менее оно отличалось большим разнообразием и в целом оставляло приятное впечатление. Вдалеке от реки, ближе к холмам, протянулась небольшая горная цепь, по гребню которой росли сосны. Вид с нее открывался гораздо более широкий и живописный, чем из окон дома. Жилища арендаторов — Стейнсов и Анселей — располагались в маленькой долине в четверти мили от усадьбы Дорнов. В долине били ключи и тек ручьи, перегороженный так, что образовывал запруды. К западу от дома высилась красивая буковая роща. Фруктовые сады и огороды, цветочные клумбы, луга и пастбища — ничто здесь не было позабыто.

Я озираю все это хозяйство уже более опытным взглядом, чем прежде. Мы с Дорном говорили о поместье с утра до вечера, причем не столько о возможности выращивать здесь те или иные злаки и не об удобствах жилья, сколько о том, какое это очаровательное, полное тихой красоты место. Мой друг показывал мне, как прекрасны лесные и полевые цветы, с таким же удовольствием, как замечательную рощу строевого леса, пышный луг или роскошное пастбище.

Мы возвращались к лодке вечером второго дня. Молодая луна стояла в небе. И только на борту, при свете свечи, устроившись на наших койках, мы приступили к тому, что можно было бы назвать «деловым разговором».

— Живя здесь, — сказал Дорн, — ты скоро во всем станешь похож на местных жителей. Поместье это — одно из самых типичных. Как и многие другие, оно лежит вдалеке от больших дорог. До Тэна — восемнадцать миль. Если ты хочешь поглубже окунуться в нашу жизнь, лучшего тебе не сыскать. В Горную усадьбу часто наезжают гости, потому что она особая, не похожая на другие. К тому же она близко от перевала, по которому летом проходит много путников. Вполне возможно, тебе часто придется видеться с Дорной и Тором, когда они будут проезжать из Западного дворца в столицу, — уж не знаю, достоинство ли это или недостаток. Жители центральных провинций, направляющиеся в Верхний Доринг, Доул, Фаррант и Вантри, тоже идут через это ущелье. Словом, там ты сможешь увидеть много поразительных и очень разных людей. Так что, может быть, тебе больше придется по душе Горная.

— А какую склонны продать вы?

— Не знаю. Нам практически все равно. Само собой, ты можешь распоряжаться в этой усадьбе, как сочтешь нужным. Если выберешь Горную, надеюсь, что ты не перестанешь

разводить лошадей.

— А какова цена? — Вопрос был важный.

Дорн не замедлил с ответом. Цена обоих поместий была примерно одинакова; и в том и в другом случае она на несколько тысяч долларов превышала мои сбережения. Я прямо сказал об этом.

— Неважно, — ответил Дорн. — Ты сможешь присылать нам часть своего урожая отсюда или лошадей и скот — из Горной, пока остаток не будет покрыт... Да и нет нужды решать это прямо сейчас. Если вернешься, прикинь, какую из ферм ты выберешь, и дай нам знать. А может быть, тебе приглянется какое-то другое поместье. Мы пока с продажей не спешим.

Всю обратную дорогу до Острова усадьба на реке Лей ярко и живо стояла у меня перед глазами, почти осязаемая: дело было в том, что я взглянул на нее глазами владельца и увидел в ней возможную *алию*... Дорна подарила мне Островитянию, но подарок ее брата был весомее и реальнее... Она знала, что так и будет.

Мы провели два дня на Острове в полной безмятежности. Настал декабрь; еще две недели, и я уеду, и мысль о неизбежно близящемся дне отъезда наполняла меня счастливым, жгучим сожалением. Мне не хотелось уезжать. Лето было не за горами, и красота Острова в своих бесчисленных проявлениях затрагивала каждую струнку моей души. Но я и не хотел останавливать свой выбор на Островитянии, не зная точно, чего хочу от жизни...

Тридцать первого декабря я отправился в Город. Это было мое последнее путешествие по земле Островитянии, последняя поездка верхом на Фэке. Кратчайший путь, уже знакомый мне, лежал через ущелье Доан — самый бедный край, какой мне доводилось здесь видеть. Однако, если я вернусь и поселюсь на Западе, мне частенько придется проезжать здесь. Дорн и Некка сопровождали меня, так что время пролетело незаметно, а величественная красота горной дороги не была отравлена горечью воспоминаний.

По пути нам встретилось немало людей, направляющихся в столицу на Совет, который собирался впервые с тех пор, как лорд Дорн был избран главой правительства.

Большой постоялый двор был заполнен почти до отказа, но нам все же отвели две комнаты рядом, и мы поужинали вместе, присовокупив к нашей трапезе бутылку редкого вина, которую взял с собой Дорн.

В поведении Некки, сидевшей вместе с нами и слушавшей наши разговоры, не чувствовалось никакой отчужденности. Она была равноправным членом нашей компании. Речь шла о делах уже далеко не новых, но присутствие Некки словно придавало им новизну. Все мы были счастливы, слова переполняли нас, и мы с радостным нетерпением стремились навстречу будущему.

Настало время ложиться. Говорить больше было не о чем, да и самое главное тоже уже было сказано. Важным сейчас оказалось, что Некка не противится, а, наоборот, способствует нашей дружбе с Дорном. Отныне мы оба с ней знали, что ревности места в наших отношениях нет и не будет.

И все же вскоре после того, как молодожены ушли, Дорн снова постучал в дверь моей комнаты. Мы условились, что не станем обмениваться прощальными речами, но Дорну хотелось еще побыть со мной. Высокий, сосредоточенный, полный внутренней силы, он был великолепен, как животное, как мужчина — муж женщины, что дожидалась его в соседней комнате, и почти такой же великолепный и незаменимый друг.

Я уже почти засыпал. Дорн присел на краешек моей кровати, довольный тем, что принес день сегодняшней, не меньше, чем возможностями, которые таило завтра.

Несколько минут мы просидели молча. И все же Дорн нарушил взаимное обещание.

— В твоей стране, — сказал он, — связи между людьми так сильны, что часто подменяют собою связь между человеком и его местом на земле — *алию* — или между человеком и чем-то еще, что необходимо ему, чтобы стать самим собой. И ты, Джон Ланг, наполовину островитянин, серьезно рискуешь. Если ты действительно нуждаешься в этой стране, то есть если ты настоящий островитянин, тяга к ней станет самой могучей силой, способной помочь тебе найти себя в жизни или отравить ее; и если ты не удовлетворишь этой потребности, страсти, тебя может постичь нечто вроде летаргии и ты превратишься в живого мертвеца. Не позволяй никакому личному увлечению возобладать над страстью к Островитянии.

— Ты думаешь, я влюблюсь в американку, которая не захочет приехать сюда?

— Это наиболее вероятное искушение, ожидающее тебя.

— Любви, — сказал я, — уже самой по себе достаточно.

— Да, если каждый из вас любит другого за то, что он есть, но если твоя избранница не захочет приехать с тобой, а ты, островитянин в душе, попытаешься вновь превратиться в американца, ты погубишь себя и не принесешь своей возлюбленной ничего хорошего.

— Я могу оставаться островитянином и в Америке!

— Скорее тенью островитянина, Джон Ланг!

— Предположим, что она настолько же истинная американка, насколько я — островитянин.

— Брось монетку, — сказал Дорн, — пусть жребий решит, где вам жить, если тебя не устраивают мимолетные любовные увлечения.

Неужели он имел в виду Наттану?

— Опасность в том, — продолжал мой друг, — что какой-нибудь женщине с сильной волей и убеждениями может захотеться использовать тебя как материал, чтобы изваять образ, которому она станет поклоняться как идеалу. Не женись на женщинах, Джон, которые увлекаются такого рода ваянием! Некоторые мужчины нуждаются в них, но ты теперь — нет. В твоей стране много женщин, которые, заинтересовавшись тобою, будут изо всех сил стараться подогнать тебя под свою мерку. Они станут постоянно расписывать, каким тебе быть, и упрекать тебя, если ты окажешься иным.

— Дорн, — сказал я, — когда я только приехал сюда, ты предостерегал меня не влюбляться в островитянок, теперь ты настраиваешь меня против американских женщин. Значит, мне оставаться холостяком?

— Ни в коем случае! Если ты вернешься, жизнь твоя должна быть полной... Поверь, мне нелегко выразить свою мысль.

— Быть может, ты хочешь сказать, что человеку следует найти себя в себе, и пусть другие любят или ненавидят его, и, как бы ему ни было больно, он должен оставаться собой, никому не потакаая?

— Пожалуй, не так эгоистично, — ответил Дорн, — но в общих чертах похоже. К тому же в конечном счете человек эгоистичен в своих поступках, а не по своей сути.

Он пожелал мне доброй ночи и вышел, а чуть позже за стеной соседней комнаты я услышал голоса. Слов было не разобрать, но отчетливо доносился низкий, глуховатый голос Дорна и чаще — ясные, детски наивные интонации Некки. Была ли Некка из породы женщин-ваятелей? Дорна, несомненно, такая, такой же могла стать и Наттана. А может быть, все женщины немного грешили этим и вовсе не стоило их за это меньше любить? Женский характер много значил в мировом прогрессе, мужчины же терпеть не могли, когда посягали на их драгоценную самостоятельность. Но все равно, как прекрасно было, что никто не пытался изваять из меня нечто сейчас.

Наутро, когда мы уже приготовились отправиться каждый своей дорогой, Некка обратилась

ко мне со своим напутствием:

— Возвращайтесь, ладно? Дорн будет так счастлив, да и я, конечно, тоже.

Я ехал узкой ложиной по берегу Кэннена, глядя вперед, радуясь, что сейчас не зима, а лето. Ночь я провел на постоялом дворе в Инеррии, следующие две — в усадьбах Сомсов, пятую — у Бодвинов, неподалеку от Бостии, и наконец восьмого ноября, достигнув Города, направился во дворец Дорнов в тот час, когда лорд Дорн принимал у себя короля.

Совет собирался на следующий день, однако я не присутствовал, дабы не помешать непредвзятой дискуссии. Тем не менее в тот же вечер лорд Дорн сообщил, что никакого обсуждения не было. Тор, изложив происшедшее в ущелье Ваба, от своего имени и от имени Дорны представил запрос. Совет тут же проголосовал за то, чтобы пригласить американца Джона Ланга на постоянное жительство в Островитянию. Сам лорд доложил Совету, что Ланг желал бы ввезти с собой некое устройство, каковое, по мнению лорда, не могло нанести никому никакого вреда и ни в коем случае не могло рассматриваться как начало торговых отношений. И вновь Совет одобрил предложение.

— Я не сказал только, — добавил старый лорд, — что это будет подарок для одной особы.